

И (Амер)
С 56

СОВРЕМЕННАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ
НОВЕЛЛА

И (Амер)
С 56-

СОВРЕМЕННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА

69

Перевод
с английского

Послесловие
Е. РОМАНОВОЙ

БИБЛИОТЕКА ВГБИ
Инв. № 69023
_____ 195 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

07

МОСКВА 1963

*Сборник составлен
при консультации
Е. С. РОМАНОВОЙ*

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Современная американская новелла» составлен из рассказов, публиковавшихся в США в течение последних пяти лет в ежегодных сборниках лучших рассказов.

Наряду с писателями, творчество которых известно в Советском Союзе, такими, как Джеймс Болдуин, Рай Бредбери, Альберт Мальц, Уильям Сароян, Дж. Д. Салинджер, Ленгстон Хьюз, Ирвин Шоу, в сборнике представлены многие другие авторы, создавшие в последние годы новеллы, небезыңтересные для советского читателя.

Рассказы сборника показывают жизнь различных слоев современного американского общества — рабочих и фермеров, служащих и интеллигенции, индейцев и негров — и в какой-то степени отражают круг проблем, волнующих сегодняшнюю Америку.

ВЫЙДИ ИЗ ПУСТЫНИ

Поль еще не чувствовал на себе ее взгляда, но она следила за ним. Он подошел к окну и посмотрел в щелку жалюзи. По его лицу, повернутому к ней в профиль, она поняла, что погода не предвещает ничего хорошего. В профиль все контрасты его внешности, столь обезкураживавшие ее, выступали еще заметней. У него была длинная, мальчишески тонкая шея, но она поддерживала голову, казавшуюся еще массивней от копны густых курчавых темных волос, всегда или слишком длинных, или безжалостно коротко остриженных. Строгость широкого и высокого лба портил короткий, тупой, почти нелепо вздернутый нос. У него был большой рот с тяжелыми чувственными губами, похожий на гримасу жестокости, когда уголки его были опущены, и напоминавший комедиантскую маску, когда он смеялся. Тело его казалось почти черным от густой поросли темных волос, что, как она, шутя, говорила, если учесть, что негры вообще гораздо менее волосаты, чем белые, безошибочно указывало, кто на самом деле дальше ушел от обезьяны. Другие не замечали его красоты, которая не переставала удивлять ее, — это, казалось ей, было все равно, что не видеть ничего удивительного в солнце. Он небрежно держался, когда ходил или сидел, это верно, и плечи его уже начали сутулиться. Но он был сыном бедняка, сыном города, и его тело не могло быть похожим на микеланджеловскую статую, как, по его выражению, «фантастически» утверждала она; в нем не было ни того великолепия, ни мощи. Мускулы его тела были экономно сжаты и напряжены и свидетельствовали только о ловкости и проворстве бедняка, который всегда танцует на один шаг впереди дьявола.

С озабоченным видом он отошел от окна. Рут закрыла глаза. Когда она снова открыла их, он уже скрылся в маленьком, темном коридорчике, ведущем в ванную. Ей хотелось спать, когда он вернулся вчера, болит ли у него голова с похмелья. Она услышала шум льющейся воды и подумала, что, должно быть, он вернулся совсем недавно. Она болезненно переживала каждый его уход и приход, и часто, когда, не находя себе места, он куда-то уходил в половине третьего ночи, она тут же просыпалась и садилась на постели с широко открытыми глазами. Весь остаток ночи она уже потом не спала. Постель становилась ложем из раскаленных углей, а воображение рисовало картины всех возможных катастроф — от измены Поля с другой женщиной до ужасающего зрелища, когда его тело вдруг оказывалось в морге. Когда чернота ночи превращалась в серый рассвет, а затем в новый день, телефон становился еще одним живым существом в доме, притаившимся рядом, как огромная хищная черная кошка, которая в любую минуту с пронзительным воплем могла разорвать в клочья ее жизнь, как тряпичную куклу, и разметать оторванные руки и ноги по этой крохотной комнатке. Она знала, куда можно было позвонить в таких случаях, но предпочла бы умереть, чем сделать это. В конце концов они ведь не были женаты, — ему достаточно было только один раз сказать ей об этом, чтобы она никогда больше не давала ему повода снова это повторить. Часто, окоченевшая и дрожащая, она силой заставляла себя встать с постели, одевалась, пила кофе и уходила на работу, так и не дождавшись его. Тогда днем он звонил ей в контору. За ленчем она выпивала несколько крепких коктейлей и поэтому могла разговаривать с ним небрежным веселым тоном, словно в это утро он всего-навсего встал и ушел немного раньше ее. Но как только она клала трубку на рычаг, она уже ненавидела его. Она буквально заболела, придумывая фантастические планы мести. Потом она ненавидела себя, но тут же, вспомнив, на какую нечеловеческую пытку любви и ненависти он ее обрек, ненавидела его еще больше. Она не могла избавиться от мысли, что он поступает с ней так из-за цвета ее кожи, потому что она негрятка. И тогда бремя прошлого и настоящего грозило раздавить ее. Она знала, что несправедлива, но ничего не могла поделать с собой. Она подумывала о психиатре, видела себя преображенной, живу-

щей в согласии со всем миром, с самой собой, с цветом своей кожи и с человеком, который не будет ни белым, ни черным и которого она обязательно встретит. И всегда эти лихорадочные раздумья кончались слезами, принятием категорических решений, молитвами и лицом Поля, которое в ту минуту способно было примирить ее даже с последним кругом ада.

После работы по пути домой она выпивала еще стаканчик, два, три, покупала сен-сен, чтобы заглушить запахи, и когда он небрежно целовал ее, как только она переступала порог, на лице ее играла самая обычная веселая улыбка.

Она знала, что он уйдет. Это было в его походке, в его голосе, его глазах. Он хотел уйти. Он уже сделал шаг назад и приготовился к прыжку. Но у нее не было соперницы. Он уходил от нее не к другой женщине. Он просто хотел уйти. И это могло случиться сегодня, завтра или через три недели; все было копчено, и она ничего уже не могла поделать, ей не помогало бы, даже если бы она первая сделала этот шаг. Ей некуда было уйти, и только он один был ей нужен. Она пыталась заинтересоваться другими мужчипами, ведь она была молода, ей было всего двадцать шесть лет и у нее было немало возможностей. Но о других мужчипах она знала лишь одно — ни один из них не был Полем.

Из полумрака коридорчика он снова вошел в комнату и, подойдя к кровати, закурил сигарету. Она улыбнулась ему.

— Доброе утро, — сказала она. — Не дашь ли ты и мне сигарету?

Он посмотрел на нее с сонной и несколько виноватой улыбкой. Не ответив, он отдал ей свою сигарету, а себе взял новую и лег рядом, чуть поеживаясь.

— Доброе утро, — наконец ответил он. — Хорошо спала?

— Очень, — ответила она весело. — А ты? Я не слышала, когда ты вернулся.

— О, я старался не шуметь, — сказал он лукаво, придвинулся к ней и положил голову ей на грудь. — Не хотел тебя будить. Боялся, ты запустишь в меня чем-нибудь тяжелым.

Она засмеялась.

— Когда же ты пришел?

Он приподнял голову, делая затяжку, и, полухмурясь, полуулыбаясь сказал:

— Что-то около часу назад.

— Где же ты был? Нашел новый ночной кабачок?

— Нет, просто я встретил Космо. Мы зашли к нему посмотреть пару его новых картин. У него нашлась бутылочка, мы ее распили.

Она знала Космо и не доверяла ему. Космо было лет сорок, он был дважды жепат и не считал, что женщины чего-либо стоят. Она была уверена, что он дает советы Полю, как избавиться от нее. Она представила себе, вернее, решила, что в состоянии представить, что Космо говорит о ней, и от этого у нее мурашки пробежали по коже. Но тут же она ощутила рядом тепло тела Поля.

— О чем же вы говорили? — спросила она.

— Так, о картинах. О его, о моих, о картинах всей нашей братии художников.

Днем, когда она была на работе, Поль рисовал в задней комнатке их тесной, но преступно дорогой квартирке в Виллидже, где не хватало света и было так мало места, что он даже не мог отойти в сторону, чтобы издали взглянуть на картину. Большинство его картин хранилось у приятеля. Но и здесь их, повернутых лицом к стене, паваленных грудями на шкафу и на столе, было достаточно для приличной выставки.

— Все это чепуха, — говорил Поль, но он работал очень много, и она знала это, несмотря на то, что он часто любил повторять эти слова. Она знала это по его лицу, по отчужденности и способности вдруг сжиматься, как тружина, одно прикосновение к которой может оказаться роковым. Знала по той усталости, непохожей ни на какую другую, с которой он иногда растягивался на кровати.

Конечно, она считала, что его картины очень хороши, но он не принимал всерьез ее суждений.

— Ты очень мила, глупышка, — изредка говорил он, — но знаешь, ты не очень умна.

Ее едва ли могло утешить, что потом он добавлял:

— И слава богу. Я терпеть не могу умных женщин.

Рут вспомнила ту пору, когда она жила с Артуром, человеком ее цвета-кожи. Он играл на кларнете, и она всегда чувствовала себя такой глупой, когда речь заходила о музыке. Прошли годы после того, как они рас-

стались, но и сейчас еще Рут чувствовала, как много она узнала от Артура и, к сожалению, не только о музыке. Если я буду продолжать вертеться на этой карусели, подумала она, я стану вполне просвещенной особой, как раз такой, на которой обычно не женятся.

Она теснее прижалась к Полю и стала легонько перебирать пальцами его волосы. Он лежал, не двигаясь. В комнате стояла тишина.

— Рут, — вдруг промолвил он. — Я подумал...

Она вся насторожилась. Затянувшись сигаретой, она продолжала пропускать сквозь пальцы его волосы, словно играла с водой.

— Что? — быстро спросила она.

Она часто думала, облегчит ли она ему задачу, когда наступит этот момент, или нет. Но так и не могла решить. Приподнявшись на локте, он посмотрел на нее. Она встретила его взгляд, надеясь, что в ее глазах не отражается ничего, кроме спокойного любопытства. Некоторое время он смотрел на нее, положив руку на ее короткие черные волосы. Затем вдруг сказал:

— Ты хорошая девушка, — наклонился и поцеловал ее. «Он сообщит мне это с поцелуем», — подумала Рут.

— Мой отец не сказал бы этого, если бы видел меня сейчас, — ответила она. — Так о чем же ты подумал?

Он молча смотрел на нее глазами, в которых она ничего не могла прочесть.

— Я подумал, — наконец сказал он, — что мне пора начать твой портрет. Я должен начать его немедленно.

Болезненно остро она осознала, что у него не хватило решимости сказать то, что он хотел. И тут же поняла, что его решение начать писать ее портрет — это способ отдалиться от нее, чтобы потом сказать наконец правду. Он часто говорил ей, что мог бы создать шедевр, если бы нарисовал ее, и что было бы глупо с его стороны упустить такую возможность. Должно быть, Космо сказал ему это. Обычно это льстило ей, но теперь ей вдруг захотелось, чтобы он ослеп.

— Можешь начать в любое время, — сказала она, сдаваясь. — Я тоже буду частью выставки?

— Конечно. И, возможно, мне удастся продать тебя за тысячу долларов, — ответил он и снова поцеловал ее.

— Не очень-то приятный комплимент, — пробормотала она.

— Смешная ты. Разве плохо заработать тысячу долларов? — Он потянулся через нее к пепельнице, чтобы погасить окурок, взял у нее сигарету и тоже погасил. После этого он снова лег и положил ей руку на грудь.

— Если бы тебе это почаще удавалось, я, пожалуй, могла бы бросить работу в конторе, — сказала она не без тайной надежды.

Руки его крепче сжали ее, но она не была уверена, что в нем заговорило желание; просто он хотел отвлечь ее.

— Что почаще удавалось? — улыбнулся он.

— Ну, ну, — ответила она тоже с улыбкой, — ты же сам только что сказал, что я хорошая девушка.

— Ты лучше всех, кого я знал, — ответил Поль серьезно. — Это действительно так. И я часто думаю...

— О чем же?

— Что будет с тобой.

Она была словно река, устремившаяся в два русла: ее и отталкивало от Поля и вместе с тем неудержимо влекло к нему. И он это знал, она чувствовала.

— Но ты же пока со мной, — сказала она и вдруг почувствовала, что сейчас разрыдается. Она взяла его лицо в свои руки и еще теснее прижалась к нему. — Ты же со мной.

Лицо его было бледно, глаза горели: в нем тоже шла борьба. Все, что разделяло их, столкнулось в этот миг на крохотном пространстве между ними. Но тепь привычки и желания уже туманила их глаза.

— Жизнь такая длинная, — наконец сказал Поль и поцеловал ее.

Оба вдохнули. И она медленно раскрылась перед ним, как земля черного континента, ослепленная безумным восторгом оттого, что ясный как утро, белый как снег смертный ступил на нее.

Когда она уходила, он спал. Так как она опаздывала и шел дождь, она взяла такси, мигом доставившее ее с улиц Виллиджа, хранивших хоть какие-то следы индивидуальности, в мрачную безликость центра Манхэттена. Повсюду, сколько видит глаз, теснились прямоугольники, квадраты, восклицательные знаки, камень, сталь, стекло. Все карабкалось, тянулось вверх — к небу, но только не на небо. Окруженные вздыбленными гигантами люди потеряли представление о высоте и сами напоминали эти

застывшие серые громады плы в своем сумасшедшем беге были похожи на жителей, в панике покидающих горящий город. Рут, совсем недавно видевшая землю и деревья, поначалу думала, что никогда не сможет жить на этом странном острове. До приезда сюда она, например, мечтала, что будет бродить по берегу реки. Но кроме того, что для осуществления этой мечты пришлось бы преодолеть немалые трудности, одинокая девушка на берегу Гудзона могла стать в равной степени жертвой как нарушителей общественного порядка, так и блюстителей его. И Рут ограничила свой мир квартиркой, оставив эту мечту, как и многие другие. Для нее, как почти для всех в Манхэттене, деревья и река перестали быть реальностью. Перед ее глазами всегда был пейзаж лихорадочного, агрессивного города. И вскоре ее разум, как вся жизнь на этом острове, казалось, утратил всякую гибкость и способность двигаться вперед: он мог лишь отчаянно карабкаться вверх, в бесмысленные абстракции, или падать вниз, в бездну жестокости и смятения.

Она работала в страховой компании, которая совсем недавно стала настолько прогрессивной, что начала принимать на работу негров. Это означало, что Рут работала в атмосфере, настолько наэлектризованной межрасовым доброжелательством, что никому из служащих и в голову не пришло бы проявлять в чем-либо искренность. Это могло бы показаться вызовом и, пожалуй, было бы таковым. Кроме нее, единственным негром, работавшим в конторе, был некий мистер Дэвис, занимавший весьма ответственный пост. Насколько она понимала, он был экспертом по вопросам страхования негров, из чего она, не задумываясь, заключила, что он давал советы компании, как лучше выудить побольше денег у как можно большего количества негров и проделывать это не только в рамках закона, но так широко, чтобы заслужить право на медаль за отличное урегулирование расовых отношений. Он часто, хотя и не всегда, диктовал ей письма. Другие девушки в конторе с напускным папубратством и откровенностью, заставлявшей усомниться в их искренности, говорили, что он «душка», и гадали, женат ли он. Рут не могла заставить себя принимать участие в этих чересчур горячих, чтобы не казаться искусственным, спорах. Поскольку трудно было себе представить, что хоть одна из этих девушек решится хотя бы потанцевать

с мистером Дэвисом или что они могут разделить с ним ложе в качестве жены или любовницы, их жадное любопытство было просто необъяснимым. И несмотря на все это, они казались Рут ужасно невинными и заставляли ее стыдиться своего тела. Во время мучительно тягостных для нее перерывов, когда они все шли пить кофе, ей приходилось призывать на помощь всю свою выдержку, чтобы не достать из сумочки фотографию Поля и, размахивая ею, не крикнуть им: «Вы-то пальцем не отважитесь прикоснуться к мистеру Дэвису. А вот посмотрите, кого я отняла у вас!» Глядя на ее лицо, девушки в эту минуту, без сомнения, думали, что она строит планы, как самой завладеть мистером Дэвисом. Очевидно, именно поэтому, несмотря на телефонные звонки Поля, они столь откровенно обсуждали в ее присутствии мистера Дэвиса, наверняка считая, что это свидетельствует о их подлинном демократизме. Рут не находила, что мистер Дэвис «душка», хотя была согласна, что он по-своему красив — несколько тяжеловатой, сверкающей белозубой улыбкой красотой негритянского юноши.

Из окна конторы была видна небольшая серая церквушка, которая казалась здесь столь же неуместной, как христианский храм на рыночной площади языческого Рима. Над головами пешеходов сверкал уродливый неоновый крест и слова: «Иисус спасет». Сегодня, по мере того как близился час ленча и она, как всегда, нервничала, удерживая себя от того, чтобы позвонить Полю первой, она вдруг обнаружила, что с неприязнью смотрит на неоновый крест и вспоминает детство. Беспрерывно звонил телефон, но никто не подзывал ее. Она вдруг почувствовала необходимость выпить. Представив себе, как Поля спит, пока она стучит здесь на машинке, она вдруг пришла в ярость, но потом вспомнила его картины и почувствовала прилив материнской нежности. Она вспомнила его руки и, раскуривая сигарету, бросила взгляд, полный жалости, на одну из сослуживиц, которая все еще вздыхала по Франку Снатре *. Продолжая в душе негодовать на Поля, вдыхая щекоочущий носом дым сигареты, привычно прислушиваясь к равномерному позвякиванию контрольного звоночка пишущей машинки, словно семафор, подающего сигналы, она снова погрузилась в горькие

* Популярный американский киноактер.

раздумья, терзаемая смятением и гневом. Она была в западне, и западней этой был Поль. Ей нужен был муж, нужны были дети, но ее уделом было стучать на пишущей машинке, пока Поль спит, и впереди ее ждет все та же пишущая машинка, только уже не будет Поля. Она почувствовала нечто вроде зависти к толстой девушке, влюбленной во Фрэнка Синатру: наступит день, когда она удовлетворится самым малым и будет рожать детей столь же безотказно, как конвейеры Форда выпускают автомобили, и никогда не пожалует о том, что не сбылось, тем более что ничего и не могло сбыться в ее жизни, прожитой в залах кинотеатров.

«Иисус спасет». Ей вспоминалось детство. Оно прошло на Юге, где остались отец, мать и старший брат. У нее еще была старшая сестра замужем в Окленде, мать многочисленного семейства, и младшая сестренка, ставшая неприметной певичкой в одном из клубов Нового Орлеана. В Гарлеме жили родственники отца; они, должно быть, не раз писали ему, что Рут до сих пор не навестила их. Как и ее отец, они были набожны и аккуратно ходили в церковь, хотя их религия была уже изрядно подпорчена оппортунизмом респектабельности и стремлением пробиться в общество и занять там свое место. Ее отец с презрением отверг бы все это. Тщеславие убило в его родственниках все то, что он называл «настоящей» верой, и то, что осталось от нее и что скорее можно было назвать затаенным злопамятством, мешало им по-настоящему понять действительность Севера, которая привлекла их раболепие и вместе с тем ожесточенность.

Ее детство. Это было давно. Она помнила их дом, такой бедный и неказистый, стоявший особняком от других домов, непрочный и шаткий на каменном грунте, как опрокинутая картонная коробка. И темно в нем было, как в коробке, сыро в дождь, холодно в ветер и невыносимо душно в июльскую жару. Вначале они пытались жить с того, что мог дать клочок давно истощенной земли. Но с каждым годом им приходилось все меньше рассчитывать на урожай, и они больше жили ловлей устриц и на заработок матери да еще тем, что ей, а потом и Рут удавалось приносить с собой из города, где она работала кухаркой у белых. Ее мать, маленькая сгорбленная старушка с добрыми глазами, до сих пор еще работала кухаркой

у белых, тихонько распевая у плиты прекрасные гимны своего народа, а отец занимался ловлей устриц. И умри они завтра, прожив жизнь, полную тяжкого труда, в доме не найдется гроша на погребальный саван. Ее брат, все еще не женатый, хотя ему было под тридцать, за которым утвердилась дурная слава, бездельничая, слонялся по городу, пил и жил за счет женщин, которых убивал своей любовью. Отец и мать были в ужасе от всего этого, но в каждом письме к ней неизменно упоминали, что, как и всех своих детей, они отдают его в руки господни. Каждое письмо Рут открывала с чувством вины и страха, с мыслью, что катастрофа уже постигла ее близких. Не без эгоистического раздражения, усугублявшего сознание вины, она представляла свое вынужденное путешествие домой в трауре, хлопоты родни, собравшейся, чтобы коротко помянуть умерших, чья смерть в немалой степени была вызвана равнодушием тех, кто сейчас их оплакивал. Она часто писала брату, предлагая ему приехать на Север, писала в Окленд сестре и просила ее уговорить его. Но она знала, что брат никогда не придет сюда — из-за нее. Она опозорила и озлобила его, и это из-за нее он теперь пил.

Гимн, который ее мать, должно быть, тихонько напевает каждый вечер, возвращаясь по старым улочкам домой, начинался словами: «Скажи, о скажи, что чувствовал ты, выйдя из пустыни?»

Рут помнила, как ее мать, напевая, так ритмично и четко отбивала такт, что ей могла бы позавидовать любая исполнительница блюзов (Рут благоразумно никогда не говорила этого матери).

Выйди из пустыни,

Выйди из пустыни.

Скажи, о скажи, что чувствовал ты, выйдя из пустыни
И уповая на господа бога?

Ответов ее мать знала множество: «Моя душа была так счастлива!», или «Я вскричал: аллилуйя!», или «Я возблагодарил господа».

Глядя на холодные уродливые громады нью-йоркских зданий, Рут докурила сигарету и с какой-то новой щемящей тоской подумала о матери. Ведь когда-то и она была молода и, очевидно, красива. Грубые ласки, ставшие ее уделом и ее жизнью, заставляли и ее плакать, стонать

и трептать от счастья. В ее чреве бился ребенок и, в муках рождаясь, разрывал ее тело. В пустыню попадали ее дети, и она предавала их в руки господни. Она знала лишь тяжкий труд и горе, и каждый новый день не сулил ей ничего, кроме бесконечных придирок, однообразных мелочей: жизнь не удалась, и ничего ее уже не ждало, и Рут не понимала, как она могла еще жить.

«Иисус спасет». Она погасила сигарету, и чувство утраты и отчаяния обволокло ее сердце, как холодный туман. Где-то в глубине души в эту минуту она, горько раскаиваясь, что ушла из дому, жалела, что встретила Поля. Лучше бы ей было никогда не знать белизны его кожи, полюбить большого, неуклюжего и добродушного негра, умеющего смеяться и вздыхать, в сердце которого горел бы тихий и ясный огонь. Она бы принадлежала ему, была бы женой и матерью и, чувствуя себя необходимой ему, обрела бы, несмотря на жизненные невзгоды, покой, который давал бы ей силы все превозмочь.

Простая случайность заставила Рут уйти из дому, и отчасти виноват в этом был ее брат. Он так привык видеть в ней свою любимую младшую сестренку, что не замечал происходивших в ней перемен. Но его собственные терзания созревающего юноши отчасти уже разрушили дружбу между ним и сестрой, хотя он ни за что бы в этом не признался. Когда ей было семнадцать, брат застал ее в сарае с юношей. Они ни в чем дурном не были повинны, хотя кто знает, чем бы все кончилось, если бы ее брат не вошел. Ее можно было обвинить во всем, но только не в том, в чем он тут же несправедливо заподозрил ее, и она до сих пор не могла простить ему того, что произошло. Она закричала еще до того, как он ударил ее, и ее отцу пришлось вмешаться, чтобы оттащить его от злополучного юноши. В страшном отчаянии она твердила, что они оба ни в чем не виноваты, ибо юноша был так избит, что не мог вымолвить ни слова. Однако было ясно, что никто ей не верит. И тогда, не выдержав, она закричала: «Будьте вы прокляты! Зачем я не сделала этого, зачем я не сделала, о, лучше бы я сделала это!..» Тут отец ударил ее, а брат посмотрел на нее и сказал: «Распутная... распутная и черная...» На помощь ей пришла мать. Она убежала и долго сидела в темноте на холме, продрогшая и одинокая. И вдруг она почувствовала

себя грязной, такой грязной, что уже ничто не сможет очистить ее.

После этого они с братом почти не разговаривали. Он обидел ее так сильно, что она не могла даже смотреть в его сторону. Отец потащил ее в церковь, чтобы заставить вслух раскаяться в грехах, но она была его дочерью и так же упряма: она заявила, что ей не в чем раскаиваться. Она избегала теперь родных, и в этом, пожалуй, была для нее наибольшая опасность, ибо, когда она встретила Артура, приезжего музыканта, человека старше ее на двадцать лет, она, не задумываясь, уехала с ним в Нью-Йорк. Она прожила с ним более четырех лет. Она не могла бы сказать, что все эти годы любила его; просто она не знала, как избавиться от его опеки. Артур, не добившись для себя успеха, теперь мечтал сделать из нее певицу. Возможно, ее любовь к нему прошла именно тогда, когда стало ясно, что у нее нет ни малейшего таланта. Для него это было большим разочарованием, и все же он гордился ею, заставил ее изучать стенографию и машинпись, требовал, чтобы она следила за своим произношением и грамматикой, и с удовольствием покупал ей наряды. Благодаря ему она перестала думать о том, что она черная и некрасивая, а затем вскоре ушла от него. Бежав из Гарлема и от гарлемских родственников, она поселилась в Виллидже, где вскоре нашла место официантки в одном из тех ресторанов, где обслуживают клиентов при свечах. Здесь спустя год, после нескольких опасных и губительных для нее связей, она встретила Поля.

Через несколько столов от нее снова зазвонил телефон, и в эту же минуту ее позвали к мистеру Дэвису. Она была уверена, что звонит Поль, но, захватив блокнот, направилась в крохотный застекленный кабинет мистера Дэвиса. Кто-то поднял трубку, и звонок прервался, но она уже закрыла за собой дверь.

— Доброе утро, — сказала она.

— Доброе утро, — ответил мистер Дэвис. Он смотрел в окно. — Хотя, между нами говоря, утра бывают и получше. Сегодняшнее, кажись, не заслуживает доброго слова.

Они оба засмеялись — слово «кажись» позабавило и как-то сблизило их.

Рут села, приготовив карандаш и вопросительно глядя на мистера Дэвиса.

— Как вам нравится ваша работа? — вдруг спросил он.

Она не ожидала такого вопроса и тут же почувствовала недоверие и неприязнь, заподозрив в мистере Дэвисе, без всякого видимого основания, соглядатая компании.

— Работа мне нравится, — сдержанным тоном благовоспитанной леди ответила она, гипнотизируя его взглядом, словно при помощи каких-то чар он собрался прищипить ей зло и она должна была помешать этому.

— У вас есть какие-нибудь планы относительно служебной карьеры?

Он уделял ей в это утро больше внимания, чем обычно, и она почувствовала, как невольно поддается этому. Между ними незаметно и осторожно протягивались нити дружбы. Она улыбнулась:

— Очевидно, в ответ мне следует сказать, что все будет зависеть от того, повезет ли мне в жизни.

Он рассмеялся, пожалуй, чересчур громко и раскатисто, или она просто отвыкла от такого смеха. На минуту ей вдруг вспомнился брат.

— Повезет, очевидно, означает, что в ближайшем будущем вы сможете уйти из нашей конторы, не так ли?

— Нет, — ответила она, — таких возможностей у меня пока нет.

Они снова рассмеялись, но она тут же подумала, что, пожалуй, он не смеялся бы, если бы знал о Поле.

— В таком случае, если можно так сказать, повезло мне, — сказал мистер Дэвис. Быстро перевернув бумаги на столе, он принял деловой вид со столь же подчеркнутой небрежностью, с какой, она видела, он надевал свою шляпу. — В конторе предполагаются некоторые перемены, я думаю, вы слышали об этом. — Он улыбнулся, а затем быстро добавил: — Мне понадобится личный секретарь. Как вы смотрите на то, чтобы занять эту должность? Разумеется, — он откашлялся, — с повышением в окладе.

— О, с удовольствием, — услышала Рут свой голос прежде, чем в голове успела мелькнуть неутешительная мысль, что, пожалуй, это и есть предел того, что она может назвать везением. И ей стало стыдно, ибо она тут же подумала, что Поль еще немного отложит свой уход, потому что теперь она будет зарабатывать больше.

Она решила ничего не говорить ему об этом, но тут же подумала, надолго ли хватит этой ее решимости.

Мистер Дэвис смотрел на нее как-то особенно пристально. Наступила короткая натянутая пауза.

— Ну что ж, — наконец сказал он. — Остается уладить мелочи, например получить несколько более просторный кабинет. — Они оба улыбнулись. — Вы сами скоро узнаете обо всем. Мне просто хотелось предварительно договориться с вами. — Он встал и протянул ей руку. — Надеюсь, вам понравится работать со мной. Мне кажется, я буду с удовольствием работать с вами.

Она встала и пожала протянутую руку, смущенная тем, что простота его обращения так тронула ее.

— Я уверена, что мне понравится, — ответила она серьезно. — Благодарю вас за все.

Рука ее потянулась назад, к дверной ручке.

— Мисс Боумен, — вдруг сказал он быстро и тут же осекся. — Видите ли, на вашем месте я пока никому не говорил бы об этом, — он смущенно махнул рукой в сторону двери, — ну, всем этим девушкам в кофторе. — Теперь он действительно был похож на мальчишку. — Всегда лучше, когда об этом узнают от начальства.

— Я понимаю, — поспешно ответила она.

— Кстати, я предложил это вам не из каких-либо... расовых соображений, — добавил он. — Просто вы мне кажетесь наиболее разумной из всех.

— Понимаю, — еще раз сказала она; они оба старались не улыбаться. — Еще раз благодарю вас. — И она закрыла за собой дверь.

— Тебе звонил мужчина, — тут же сообщила ей толстая девушка. — Обещал снова позвонить.

— Спасибо, — ответила Рут. — Она видела, что девушке не терпится поговорить, и поэтому с озабоченным видом стала перебирать на столе бумаги и, спасаясь от расписок, громко застучала на машинке.

Толстуха ушла завтракать. Рут с неохотой подумала, что ей тоже, пожалуй, придется пойти перекусить, как вдруг снова позвонил Поль.

— Привет. Как идут дела?

— Скучища. Как у тебя? Ты уже встал?

— Что значит «уже»? — В голосе его послышалось раздражение, но он попытался скрыть его — верный при-

зпак приближающейся бурп. — Сейчас час дня, у меня ведь тоже работа, сама знаешь.

— Да, знаю... — Ей не удалось скрыть скептических ноток в голосе.

Наступила пауза.

— Ты сразу же придешь домой?

— Да. Ты будешь дома?

— Угу. Только нам с Космо надо побывать днем в городе, повидаться с одним типом, у которого выставочный зал. Космо считает, что мои работы могут его заинтересовать.

— О Поль! — Она изобразила радость, хотя ей хотелось крикнуть: «Проклятый Космо!» — Это замечательно! Как было бы хорошо, если бы из этого что-нибудь вышло!

Но из этого, как всегда, ничего не выйдет. Владелец выставочного зала, если он действительно существует и у него есть зал, ничего определенного не скажет, и тогда Поль и Космо паплются. Ей придется выслушивать — страстно мечтая в это время о том, чтобы быть наконец свободной, быть где угодно и с кем угодно, только не с Полем, — пьяные рассуждения Поля о том, как невежественны все эти дельцы, как низко пало искусство, как невозможно художнику что-либо создать, и в эти минуты он безуспешно будет стараться сосредоточить свой пьяный взгляд на одной точке и в глазах его будет одновременно обда и вызов.

Большая часть того, что он говорил, была, однако, правдой, и она понимала, что он не виноват.

«Не виноват».

— Да, я уверен, что выйдет. Я, пожалуй, прихвачу с собой кое-что из акварелей и небольших эскизов — ну, понимаешь, все наиболее *беспорное* из моих работ.

Все, казалось, было обдумано и предусмотрено, и тем не менее план был не без изъянов. Но она не знала, как высказать ему свои смутные опасения.

— Что ж, план неплохой. В котором часу вам надо быть у него?

— Около трех. А сейчас мы с Космо позавтракаем вместе...

— Ах вот как! — Ей удалось сказать это весело и со смешком. — Только не лучше ли вам для разнообразия сначала поесть, а потом заказывать коктейли?

Он тоже рассмеялся, и в его смехе было так же мало радости, как и в ее.

— Платить будет Космо, и мне неудобно ставить ему какие-то условия.

«Понятно». Ее рука, державшая трубку, дрожала.

— Надеюсь, когда вы доберетесь до выставочного зала, вы еще будете держаться на ногах.

— Не беспокойся. — И тут, прежде чем полностью понять слова, которые он торопливо произнес, она уловила знакомые потки: вот видишь, я честно говорю тебе все. — Космо сказал, что у этого типа есть дочь.

Господи, хоть бы она женила тебя на себе, подумала она, и увезла куда-нибудь в Стамбул, навсегда, чтобы я больше никогда не слышала о тебе и наконец могла свободно вздохнуть, стать человеком.

Они оба рассмеялись негромким многозначительным смехом, как смеются двое приятелей в баре, склонившись над стаканчиком виски.

— О? — воскликнула она. — И что же, она красива?

— Должно быть, уродина. Имела двух мужей, оба художники.

Рут снова рассмеялась.

— Куда же она их подевала?

— Видишь ли, — на этот раз ее слова как будто по-настоящему позабавили его, но голос его по-прежнему был мрачным, — один предпочел подорваться на mine, а дух другого витает где-то над Майоркой.

Теперь они оба смеялись, и туго натянутые струны почти безоблачной дружбы, которая, они надеялись, когда-нибудь навсегда установится между ними, тихонько звели.

— Вот чудовище! Тогда перед взлетом тебе действительно не мешает пропустить пару стаканчиков для храбрости.

— Наконец-то ты меня понимаешь! Однако Космо утверждает, что она разбирается в искусстве.

— И тем не менее с художниками ей явно не повезло. Может, повезет с тобой.

— Возможно. Пожелай мне успеха. Как было бы здорово, если бы удалось сбыть кому-нибудь мой товар.

Он все рассчитал, подумала она.

— Ты еще позвонишь?

— Да, в половине четвертого или в четыре, как только освобожусь.

— Хорошо. Будь молодцом.

— И ты тоже. Пока.

— Пока.

Она опустила трубку на рычаг, все еще улыбаясь и дрожа. В конце концов он все же позвонил. Он, пожалуй, не сделал бы этого, если бы не тешил себя надеждой, что дочка владельца картинной галереи заинтересуется им. Тогда все равно пришлось бы сказать ей об этом, а так он уже предупредил ее. Поль всегда все предусматривал, собираясь совершить какой-нибудь неблагоприятный поступок или когда готовил отступление или бегство. Вот почему он всегда говорил ей «все». Говорить «все» — это очень удобный способ хранить тайну. Секреты, скрытые покровом глубокой тайны, только и ждут, чтобы их вытащили на свет, и это обычно происходит в самый нежелательный момент. Но секреты, надежно защищенные блеском откровенности, могут ввести в заблуждение даже самого бдительного и непримиримого из людей, ибо яркость блеска обманчива, а человеческий глаз не совершенен. Рут знала о Поле почти все, знала его, как никто другой не знал и не сможет узнать. Но она не знала его настолько, чтобы помочь ему стать другим.

Ожидая лифт, она вдруг с удивлением подумала, что даже хочет, чтобы дочь владельца галереи отняла у нее Поля. Это напоминало отчаяние терзаемого зубной болью человека, который, чтобы избавиться от страданий, готов выброситься из окна. Но она тут же усомнилась, может ли настоящая любовь быть похожей на зубную боль. Любовь — выйдя из лифта, Рут вдруг остановилась, не зная, куда идти, — должна помочь ей избавиться от чувства вины и страха. Но объятия Поля никогда не приносили ей этого избавления. Он имел власть над нею не потому, что она была свободной, а потому, что она носила в себе чувство вины, и чтобы удержать эту власть, ему достаточно было сделать так, чтобы это чувство никогда не покидало ее. Для этого ему совсем не надо было поступать с нею как-то особенно дурно или быть пронзительным — для этого достаточно было никогда не покидавшего его инстинкта личной выгоды. Его прикосновение, которое, казалось, должно было как на крыльях поднимать ее, грубо

отрывало ее от земли с тем, чтобы безжалостно бросить обратно; как только он прикасался к пей, она становилась еще черней и еще порочней. Наибольшее одиночество она испытывала в объятиях Поля.

И все же она так страстно, с такой надеждой ждала их. Когда-то ей даже казалось, что она счастлива. Не потому ли, что у Поля белая кожа? Нет. Это только она постоянно думает об этом. Полю не виноват, что она негрятяпка. И она не виновата. Просто она казнит себя за что-то, за какое-то преступление, которого не совершила. «Черная... черная и распутная...»

Минувя табачный киоск в вестибюле, она кого-то нечаянно задела и, подлив глаза, пробормотала:

— Простите.

Перед ней был мистер Дэвис. Он рассовывал по карманам сигары с видом мальчишки, пабывающего карманы печеньем. Она тут же решила, что он купил самые дорогие сигары, какие только можно достать. Интересно, сколько он тратит на свои костюмы, подумала она. Должно быть, не мало. От тульи небрежно сдвинутой, умопрачательно старомодной шляпы до нарочито тускло блестящих кончиков ботинок мистер Дэвис был почти вызывающе модно одет. На нем не было ни одной поношенной или несвежей вещи. В любом обществе он показался бы одетым пышнее всех.

Меньше всего ей хотелось видеть сейчас мистера Дэвиса. Но может быть, он уже позавтракал и возвращается в контору.

— Мисс Боумел! — воскликнул он с радостной улыбкой. — Вы только сейчас идете завтракать?

Она чуть не рассмеялась. Эта улыбка так не вязалась с его манерами и одеждой.

— Да, — ответила она. — А вы, должно быть, уже позавтракали?

— Нет, — ответил он. — Я так же голодеп, как и вы. — Он немного помолчал. — Я был бы счастлив составить вам компанию, мисс Боумел.

Как церемонно, подумала она, а улыбка коварная. А потом она вдруг почувствовала, что ей приятно, что мужчина так вежлив с пей, пусть всего лишь несколько минут, в этом переполненном вестибюле, и тут же поняла, что улыбка, которую принято называть «коварной», была

всего лишь столь редкой теперь улыбкой мужчины, который не боится женщин.

Однако она решила не торопиться с ответом.

— О, пожалуйста, не считайте себя обязанным быть рабом вежливости.

— Я не бываю вежлив, когда речь идет о еде, — ответил он. — Помню, это всегда приводило в отчаяние мою матушку. — Он взял ее под руку. — Я знаю неподалеку хорошее местечко. — Его походка и акцент напомнили ей родной городок. Она поняла, что он, как и многие негры его беспоконного, с трудом завоевывающего жизнь поколения, старался не терять, если так можно выразиться, самого себя и умышленно, где только можно, вспоминал грубоватое просторечье своей юности. — Вот увидите, мы с вами здорово сработаемся. К тому времени как вам надоест быть моим секретарем, вы станете заправским алкоголиком.

Чтобы добраться до «местечка неподалеку», понадобилось немного проехать на такси, но это действительно оказалось «хорошее местечко». Однако она подумала, что мистер Дэвис едва ли завтракает здесь каждый день, хотя по всему было видно, что он из тех, кто любит сорить деньгами.

Она заказала martini, а он вскип со льдом. Он сделал вид, что удивлен тем, что она пьет martini:

— Я думал, вы нескученная провинциалка.

— Я и есть провинциалка, — ответила она.

— Ну, нет, — возразил он, — только не теперь. Вы провинциалка, перебравшаяся в большой город, и это ужасно опасное явление. Не пожалейте ли я, что беру вас в секретаря?

Несмотря на легкость тона, она чувствовала, что он присматривается, изучает ее.

— Бойтесь жены? — спросила она.

— По моему виду вы уже могли бы догадаться, что у меня нет жены.

Она рассмеялась.

— Значит, вы не женаты. Нужно ли рассказывать об этом нашим девушкам в конторе?

— Мне безразлично, расскажете вы им или нет, — сказал он, а потом добавил: — Кстати, как же у вас с ними отношения?

— Хорошие, — ответила она. — Правда, нам почти не о чем говорить, разве что о том, женаты вы или нет.

но и эта тема будет исчерпана, как только вы женитесь. Хотя потом мы можем говорить о вашей жене.

«Господи, поскорее бы закончить этот разговор». И она торопливо сказала, прежде чем он успел ей ответить:

— Вы назвали меня провинциалкой. А вы сами?

— Я тоже провинциал, — ответил он. — Но я не менял своих привычек, когда переселился на Север. Если дома для меня хорошо было виски, почему бы мне не пить его и здесь?

— Мне не пришлось менять моих привычек, мистер Дэвис, — ответила Рут. — Я была еще слишком молода, чтобы пить, когда ушла из дому.

Он взглянул на нее с легким удивлением, но промолчал, и она пожалела, что не сдержалась. Она сосредоточила все свое внимание на мартини и, потягивая его, вдруг подумала, что перед нею сидит человек, который лучше любого полицейского инспектора знает, почему девушки уходят из дому. Может, у него тоже есть сестра, подумала она, и тут же решила, что несправимо старомодна. Нет, он совсем не похож на ее брата. Она снова встретила его взгляд.

— Там, откуда я родом, — сказал он с улыбкой, — пить слишком молодых для того, чтобы пить. Вино у нас — это первая закалка в жизни. — И он засмеялся.

Когда они закончили завтрак, она уже знала, что он родился в маленьком городке в Алабаме, в семье был младшим из трех сыновей (и одной сестры), учился в колледже в Теннесси, а сейчас офицер запаса военно-воздушных сил. Ему было тридцать два года. Мать его была еще жива, но отец умер. Он жил в Нью-Йорке уже два года, но этот город нравился ему теперь гораздо меньше, чем раньше.

— Поначалу, — сказал он, — мне казалось, что очень здорово жить в большом городе, где никто тебя не знает и ты не знаешь никого и где ты можешь делать все, что под силу такому здоровому черному парню, как я. Но без друзей, знакомых становится скучно, и ты вдруг понимаешь, что не так уж много хочется сделать, когда ты один.

— Но у вас должны же быть друзья, там, в верхней части города, где вы живете? * — воскликнула она.

* В верхней, северной части Нью-Йорка расположены кварталы городской бедноты; здесь же находится Гарлем.

— Я не живу в верхней части. Я живу в Бруклине, а в Бруклине не имеют друзей.

Она смеялась вместе с ним, но ее пугало, что разговор принял такой оборот. В контору они возвращались пешком. Он шел очень медленно, словно бросал вызов торопливо бегущим пешеходам, хотя Рут знала, что они опаздывают, вернее опаздывала она, но поскольку он был одним из ее начальников, это, пожалуй, было не так уж страшно.

— А где вы живете? — спросил он. — В верхней части города?

— Нет, — ответила Рут. — Я живу на Бэнк-стрит. Это в Виллидже, в Гринвич-Виллидже, — добавила она.

Он улыбнулся.

— Неужели вы сейчас скажете, что вы начинающая писательница или художница?

— Нет. Просто так получилось, что я живу там. Когда-то там все стоило дешево.

Он сделал гримасу.

— В этом городе нет ничего, что бы стоило дешево, дорого даже то, без чего человеку уж никак не обойтись.

По его тону было ясно, что он имеет в виду, и ей захотелось подразнить его, чтобы услышать его смех. Но она уже начинала бояться его, и этот страх с каждой минутой усиливался. Он коснулся каких-то давно забытых струн в ее душе, и они отозвались. Утром, когда в кабинете он пожал ей руку, она вдруг почувствовала к нему симпатию, даже благодарность, и еще тоску по дому, а в вестибюле он вернул ей уверенность в себе. Его дружелюбие тревожило и смущало. Она так привыкла к равнодушию и враждебности людей.

И все же она не хотела, чтобы он стал ей другом, и еще меньше она хотела, чтобы эта дружба переросла в нечто большее. Рано или поздно он узнает о Поле. Тогда он по-иному будет относиться к ней. И не потому, что у нее есть любовник, и даже не потому, что Поля белый. Но ему будет неприятно, а ей будет стыдно, когда он узнает, как она губит себя из-за Поля, который не любит ее.

Вот почему ее мучил стыд и почему ей хотелось избежать расспросов. Она обрекала себя — не из чувства ли стыда? — на то, чему, с его точки зрения, не могло быть оправдания. Она наказывала себя. За что же? Она

украдкой бросила взгляд на его черный профиль под шаркающей шляпой, и ей вдруг захотелось все рассказать ему, чтобы он повернул к ней голову, слегка склонив ее набок, и пристально посмотрел на нее глазами, которые так много видели и так много научились скрывать. Эти глаза видели девушек, которым уже нельзя помочь. Может быть, ее любовь к Полю так же бросается в глаза, как шляпа мистера Дэвиса? Она отвернулась, неуверенно улыбаясь, хотя ей хотелось плакать, и стала смотреть на обезумевшую, куда-то спешащую улицу, где, словно кусочки мозаики, были вкраплены черные лица тоже куда-то бегущих негров, и подумала: «Когда-то здесь мы все были рабами».

— Вы любите музыку? — неожиданно спросил мистер Дэвис. — Я не имею в виду обязательно концерты в Карнеги-Холл.

Теперь она должна была остановить его. Ей надо только сказать: «Мистер Дэвис, у меня есть любовник». Достаточно будет только этих нескольких слов.

Она встретила его взгляд.

— Конечно, люблю, — ответила она тихо.

— Есть одно место, куда мне хотелось бы пригласить вас как-нибудь вечером после работы. Не так-то просто, оказывается, быть моим секретарем.

Он улыбался, и она вынуждена была ответить ему улыбкой.

— Мистер Дэвис! — вдруг сказала она и умолкла. Они шли у подъезда конторы.

— Что случилось? — спросил он. — Вы что-нибудь забыли?

— Нет. — Она опустила глаза, чувствуя себя толстой, неуклюжей, черной и глупой. — Мистер Дэвис, — наконец вымолвила она, — ведь вы же ничего не знаете обо мне.

— А вы обо мне? — ответил он.

— Но я совсем не об этом.

В голосе его уже звучали нотки гнева, когда он сказал:

— Я вас ни о чем не спрашиваю, не так ли? Потерпите хотя бы, пока вас спросят.

— Тогда, возможно, будет уже поздно, — запкаясь, пролепетала она.

Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга.

— Ну что ж, — ответил он, — если будет поздно, то выпить в этом я буду только самого себя.

Она посмотрела на него теперь почти с ненавистью. Где-то в глубине души она чувствовала, что он не имеет права так поступать с пей, не имеет права давать ей надежду, чтобы потом снова вернуть ей ее стыд и позор.

Он взял ее за руку.

— Поїїдемте, поїїдемте, сударыня. Нас ждут наши страховки.

В лифте они не произнесли ни слова. Ей хотелось и плакать и смеяться. Он же, стоя рядом, намеренно не смотрел в ее сторону и тихонько напевал.

Весь остаток дня она прождала звонка Поля. Телефон как назло звонил не переставая, но никто не подзывал ее. В четверть шестого, перед тем как уйти из конторы, она позвонила домой. Поля не было. Она спустилась вниз, зашла в соседний бар, заказала коктейль и без четверти шесть снова позвонила Полю. Он все еще не возвращался. Она решила выпить еще один коктейль, а потом уйти. Но пройдя два квартала, она снова очутилась в баре, в который заходили артисты. Сев в уголок, она заказала коктейль, а потом снова позвонила домой. Было уже без четверти семь, но Поль все еще не приходил.

Состояние ее было похожим на панический страх, словно она бежала от чего-то ужасного. Она не представляла, как вернется домой, как будет готовить ужин и ждать в пустой квартире, пока наконец в замке не повернется ключ. Он войдет, запыхавшийся, с виноватым видом, — или нет, не с виноватым, а как ни в чем не бывало, — немного навеселе и, конечно, ужасно голодный. Он расскажет ей, где он был и что делал. И то, что он расскажет, будет, пожалуй, правдой — ведь есть столько способов говорить ее! Но правда это или нет, ей будет уже все равно, ибо она не сможет упрекнуть его в том единственном, что для нее действительно важно, — в том, что он заставил ее сидеть одну в пустой квартире. Она не сможет упрекнуть его потому, что испокон веков мужчины заставляли женщин сидеть одних в пустом доме. И испокон веков женщины ждали мужчин и готовили им ужин, и, кто знает, сколько убийств мысленно совершили они в тот момент, когда хладнокровно разбивали яйца о край сковороды.

Она думала: неужели все прошло — та безмятежность и счастье, которые они испытывали, находясь вместе. Было время, когда они больше всего любили вечерами сидеть дома, пить пиво, читать или просто шутить и беседовать. Польша, шагающий по комнате с кружкой пива в руке, спорящий, жестикулирующий, почесывающий грудь; Польша, растянувшийся на диване и глядящий в потолок; Польша веселый, с немного глуповатой улыбкой и низким рокошущим смешком, который, казалось, исходил у него откуда-то изнутри; Польша мрачный, с резко опущенными уголками рта и горящими глазами; Польша что-то делающий, все равно что; Польша спящий, причмокивающий во сне, храпящий; Польша, подающий ей сигарету, берущий ее за руку и говорящий, говорящий, говорящий ей что-то, как только он один умел, — все это было тем светом, что озарял ее мирок. Теперь все это ушло, этого никогда больше не будет, и лицо, которое было для нее ясным небом, стало зловещей тучей, предвещающей грозу.

В последнее время после ужина, когда в их веселой болтовне, за которой каждый из них хотел теперь спрятаться, все сильнее чувствовалась принужденность, им ничего не оставалось, как только поскорее лечь в постель. Она с большим удовольствием пошла бы на поздний сеанс в кино или в бар, где огонь, шум и много людей, но Польша обычно никуда не хотел идти, устав за день. И потом ей ведь тоже надо завтра в контору. Поэтому — лучше спать. Иногда кто-нибудь из них или они оба еще немного читали перед сном, иногда происходило то, что принято считать актом любви. А потом — сон, тяжелый, словно дурман, от которого ее освобождал резкий звонок будильника или внезапное сознание, что Польша нет рядом.

А-а... Слезы гнева и отчаяния сдавили ей горло. В те дни, когда она не знала Польшу, за ней ухаживали, куда-то приглашали, она умела смеяться и была молода. Нет, она не хочет смехом защищаться от мужчин, которые ей безразличны; но и так, как сейчас, тоже не должно быть, она не хочет пить в случайных барах, потому что ей страшно вернуться домой, потому что она не знает, что будет с ней, когда Польша покшнет ее.

Зачем она встретила его, почему он не умер, или она, или они оба. И в эту минуту она вдруг так страстно захотела, чтобы это случилось, что сама испугалась. Должно

быть, сильная любовь всегда носит в себе мысли об убийстве. Убить любимого, чтобы он принадлежал только тебе, чтобы наконец сплзшел покой и наступило постоянство, вечное, как могла. Не поэтому ли всевозможные несчастья черной тучей нависали над головой Поля, когда он не был с нею рядом? Возможно, именно в те минуты, когда ей хотелось отдать жизнь, спасая его, в ней просто говорила эта тайная жажда покоя и его смерти. Эта смерть была бы хоть каким-то отпущением за его белую кожу, за то, что, не любя ее, он так и не смог освободить ее из тюрьмы, в которую она сама себя заточила.

Мимо ее столика прошла официантка, и Рут заказала еще коктейль. Она выпьет его и уйдет. В баре становилосьлюдно; большинство посетителей, она заметила, были артисты, многие, очевидно, заходили сюда по пути в театр, но большинство влекла сюда привычка и надежда. Некоторое время, сама того не замечая, она наблюдала за худым бледным юношей у стойки. Жесткие, словно наэлектризованные, пряди его курчавых волос в беспорядке торчали над лбом, как живая причудливая корона. Что-то в этом юноше, его поза, его профиль или улыбка, мучительно отозвались в ней. И не потому, что он напомнил ей Поля. Он напомнил ей юношу, которого она знала очень недолго, несколько лет тому назад, бесконечно одинокого юношу, который служил где-то в торговом флоте и, возможно, сейчас на другом конце земного шара бесцельно губил в притонах свою мучительно неудачную, словно отмеченную проклятьем, жизнь. Она искренне привязалась к нему, но одиночество разъедало его, как роковая болезнь, и сделало чуждым общению с людьми. Она была рада, что они расстались. Все эти годы она не думала о нем, и вот теперь незнакомый человек у стойки, в котором она наконец узнала актера, быстро завоевывавшего славу, внезапно вызвал в ее памяти этот потускневший образ, отозвавшийся болью ушедших лет. Она вспомнила то, что, ей казалось, она давно забыла и о чем сожалела; вспомнила и улыбнулась, ибо, так же как она сожалела о том, что делала тогда, она сожалела о том, что делала сейчас.

Однажды, когда он чем-то обидел ее, она, стараясь казаться спокойной, хотя гнев душил ее и дрожью пронизывал тело, сказала ему:

— Послушай, сейчас двадцатый век, здесь не плантации, ты не хозяйский сын, а я не черная рабыня, которую ты можешь ласкать, когда захочешь, и прогнать, когда захочешь.

На его лице отразилось тогда многое — горечь, удивление, бешеный гнев и особенно так поразившая ее боль, та самая боль, которую она увидела сейчас на лице актера. И тогда она сразу же пожалела, что не сдержалась, не прикусила язык.

— Ну что ж, — после минутного молчания сказал он, — я, пожалуй, вернусь в свой большой дом, а ты оставайся здесь со своими негрпятами.

После этого они виделись еще несколько раз, но в сущности все кончилось в тот вечер.

Нашел ли он где-нибудь свой дом?

Актер у стойки взглянул в ее сторону, но она знала, что он не видит ее. Он посмотрел на часы, нахмурился, и она увидела, что он совсем не так молод, как ей показалось. Он заказал еще вина и, положив локти на стойку, уставился в стакан. Тусклый свет ламп упал на корону его волос. Вдруг он капризно вскинул голову, приоткрыл рот, и его профиль словно врезался ей в память. Он вдруг напомнил ей и Поля, и исчезнувшего юношу, и еще многих других, которых она только видела, но никогда не знала, — целую армию юношей, навсегда юношей для нее, которых она боялась, ненавидела и любила. Она увидела резко обозначившиеся черты этого запрокинутого лица, на которое на короткое мгновение упал свет, и следы печали, начавшей разрушать его, и кровь, трепетно пульсировавшую на крепкой шее — словно крылья бабочки, бьющейся о стекло. Но что-то, чему она не могла бы найти названия, что-то слепое, жестокое, похотливое, и вместе с тем потерянное и незащищенное было в его глазах и складках рта. Она знала, что, несмотря на белый цвет кожи, на силу или грядущую славу, он был обречен. Он не знал, что с ним произошло, и не узнает никогда. Эту боль она видела на лице юноши, которого знала много лет назад, эта боль толкнула Поля в ее объятия, чтобы теперь оторвать от нее. Сыновья белых хозяев бесцельно бродят по плантациям, ища рук, которые пригрели бы их. А руки помнят и не прощают.

Из ее груди вырвался стон, и она с удивленным поняла, что плачет. Официантка бросила на нее подозрительный

взгляд, и, положив на стол деньги, она поспешно вышла из бара. Было совсем темно, и от дождя, моросившего весь день, блестели и влажный воздух и мокрые тротуары. Капли дождя упали на лицо Рут и смешались со слезами, когда она торопливо примкнула к толпе, словно боялась дать кому-нибудь, даже самой себе, заметить, что не знает, куда идет.

ЧУДЕСНАЯ КОЛЕСНИЦА

Джорней немного удивился, заметив на дороге большой новый автомобиль. Обычно машины не останавливались здесь так рано. Солнечный луч пробивался сквозь ветви могучих эвкалиптов и скользил по горной тропинке. Солнце пестряло золотистыми пятнами черепичную крышу дома в ложине, но сам дом и двор еще были окутаны спящей дымкой. Услышав визг тормозов, Джорней выпрямился, подавил зевок, и на лице его появилось то выражение, с которым он всегда встречал посетителей, — очень вежливое, но не заискивающее.

В свои 38 лет Джорней выглядел очень молодо, в его глазах, устремленных вдаль, было что-то диковатое. Он был высокого роста, и нужно было видеть его в движении — когда он спускался с горы или, легко вскинув ружье, преследовал белку, — в его теле жила могучая жизнерадостная сила. Те редкие туристы, которые обращали на него внимание, считали его простаком. А иные называли про себя олухом.

Опершись руками на гладкую сосновую стойку, Джорней ждал. Проехав тридцать ярдов вверх по дороге, машина резко затормозила. Теперь она со скрежетом пятилась назад. В луче солнца блеснули стальные ободки вокруг маленьких задних лампочек. Такие же стальные полоски шли вдоль боков машины, окружали ее дверцу и крышу.

За ветровым стеклом глаза мужчины и сидящей рядом с ним женщины казались далекими, как глаза марсиан. Эта иллюзия усиливалась и тем, что на обоих были темные очки. В утренней тишине резко загудел мотор. Звук был монотонный, как жужжание большого шмеля. С сердитым шипеньем стекло поползло вниз, Джорней ждал, слегка приподняв голову,

— Открыто?

— Да. — Джорней кивнул. В его голосе была удивительная бодрость и покой. Казалось, он в согласии со всем миром за пределами этих гор и все же оставляет за собой право быть хозяином своей судьбы и жить вольно, как дерево или скала.

Съехав с дороги, автомобиль остановился в траве. Мужчина вышел, сказав что-то женщине, которая отвечала ему небрежным топом. На нем были темно-серые брюки, пушистый оранжевый свитер, мягкий, как брюшко суслика, и белая кепка, какие послали первые автомобилисты, — Джорней видел такие только в детстве, когда отец возил его с собой в город на ярмарку.

Видно, мужчина привык покупать и носить только самое дорогое. Он снял темные очки и, помахивая ими, направился к Джорнею. На секунду его хмурое туповатое лицо напомнило Джорнею старого харлинского быка. Бык пасся обычно на горном пастбище, которое Джорней проходил каждое утро по дороге в школу. Но это было в далеком прошлом. Бык давно стал жертвой своего норова, а со школой Джорней постарался покончить как можно раньше.

Без очков бледно-голубые глаза мужчины казались подслеповатыми. Он стоял прямо перед Джорнеем. Солнечные блики играли на стенках бапок, расставленных в ряд на стойке справа и слева от Джорнея.

— Сколько?

— Полдоллара каждая. Если вы не желаете сорвуд.

— А что, разве сорвуд лучше? — Мужчина сделал жест рукой, в которой держал очки, и чуть не уронил их. Джорней подумал, что очки, должно быть, стоят кучу денег — изящная оправка, дужки отделаны золотом.

— Вам бы следовало надписать цены.

Сплетя пальцы, Джорней устремил взгляд на темные банки с медом.

— Просто сорвуд труднее собрать, мистер. Поэтому он на пять центов дороже. — Затем он тихо добавил: — Я полагаю, что если кому нужно, тот спросит. А если не спросит, так и наклейки ни к чему.

— Гм... — пробормотал мужчина. Он склонился над стойкой и щелкнул пальцами. — Ну-ка, посмотрим, что это за сорвуд.

Повернувшись к полкам, Джорней снял две банки. Он гордился этим своим товаром. Липовый мед был тоже ценолюб и раскупался очень быстро. Но сорвуд их семья продавала издавна, и, безусловно, это был самый лучший сорвуд во всей округе. Банки в его больших руках искрились янтарем, как марочное вино. Он поставил их на стойку.

— Тридцать пять центов, — сказал он тихо и добавил: — за каждую.

Мужчина кивнул, и его глаза стали стеклянными и пустыми, как у рыбы. Такое выражение Джорней не раз замечал у мужчин и женщин, которые сюда заезжали. Они, очевидно, думали, что надувают его. Было бы нетрудно поднять цены до 1 доллара за каждую банку и, может быть, до 2 долларов за сорвуд. Глаза посетителя говорили Джорнею, что только величайший чудак на свете может продавать так дешево.

— Я возьму четыре банки. Итого два доллара двадцать центов. Какой-нибудь налог?

Джорней повернулся, чтобы достать еще две банки, и рука мужчины с бумажником из свиной кожи застыла в воздухе.

— Нет, — сказал Джорней. — Налог берется внизу, в долине. Я думаю, что меня это не касается.

Он поставил банки и проследил за взглядом незнакомца.

Солнце снова заглянуло в щель. Теперь оно золотило не только крышу. Лучи его коснулись ветхого коровника и играли на соседних кустах.

Линда вышла на крыльцо выплеснуть помоя. На солнце струя воды отливала серебром. Собаки Тайдж и Мэллоу бросились к ней. Сверху Линда и собаки казались грустными. Гордость наполнила Джорнею. Пусть незнакомец посмотрит.

— Высоко, правда?

Глаза, устремленные на него, расширились. Что-то промелькнуло в них. Джорней выжидательно смотрел на незнакомца.

— Что это за машина там, внизу? — Нечто новое появилось и в голосе незнакомца. Он стал хриплым; в нем было уважение, даже благоговение. — Чья она?

Джорней видел, что мужчине с трудом удается говорить небрежным тоном. На шее у него запрыгал кадык.

Он стиснул зубы, и вокруг его рта обозначились две глубокие складки. Они походили на трещины в тяжелой каменной глыбе. Наступило напряженное молчание, во время которого Джорней снова посмотрел вниз. Он увидел картину, которую наблюдал всегда по утрам в это время года. Внизу стоял дом. Только что в него вошла Линда. Позади дома был коровник. «Надо будет его подправить, — подумал Джорней. — А то еще рухнет в одно прекрасное утро и погребет под собой коров».

Он обвел глазами привычный пейзаж. Вот домик Витлов, на склоне горы; вот коттедж Эмбриджей, двери которого оббиты плющом. Нигде не было видно машины, которая могла бы настолько приковать внимание и вызвать такое изумление в голосе.

Джорней посмотрел через дорогу. Его взор упал на автомобиль с блестящими полосками. Затем он снова оглядел освещенную солнцем долину. Теперь он увидел! Старый ясень высотой в 60 футов частично скрывал машину. Видны были только латунный радиатор и часть огромного переднего колеса. И все же мужчина разглядел ее. Джорней прищурился. В его глазах было удивление.

— Вы имеете в виду эту красную штуконну в моем дворе?

На мгновение в приблизившемся к нему лице Джорней уловил внутреннюю борьбу — борьбу осторожности с нетерпением. На секунду осторожность почти одержала верх. Глаза мужчины говорили Джорнею: «Боже мой, наречь, ты даже не знаешь, чем ты владеешь». Затем, после длительной борьбы, нетерпение победило. Хриплым голосом мужчина спросил:

— Она ваша?

Джорней кивнул.

— Так, значит, ваша. Неужели действительно ваша, принадлежит вам?

Джорней снова кивнул.

— Прекрасно. — Он понизил голос до шепота. Казалось, он опасался, что его могут подслушать. Как будто за ним по пятам шли конкуренты. — Я куплю ее. Я... — Снова запрыгал кадык; снова борьба. Добрые силы все-таки победили. — Я заплачу. Хорошо заплачу. Давайте спустимся туда. — Он старался казаться спокойным, и ему это почти удавалось. — Только взглянем на нее, ладно?

Можно было ему уступить или же перевести разговор на его собственную машину. Но Джорней поднял палец.

— Во-первых, мистер, эта машина выпуска 1912 года. Она была куплена еще до моего рождения. Ее привез домой мой отец. Однажды ему повезло. Какой-то человек приехал в наши края в поисках женьшеня и платил за него больше денег. А мой отец, как я слышал, был самым лучшим сборщиком женьшеня в этих местах. И вот появилась эта машина. Она до сих пор в порядке. — Он снова взглянул вниз. — Да, на ней можно ездить, хотя завести ее утром в сильный мороз не легче, чем влезть в замерзшие бриджи. Правда, это все, что о ней можно сказать плохого. Во-вторых, — он поднял второй палец, — я обязан следить за порядком на стоянке. Сейчас еще рано, но скоро здесь будет большой наплыв. Я...

— Послушайте, — прервал его мужчина. Он нахмурился. Тупое лицо, все еще напоминавшее Джорнею старого харлинского быка, казалось, сморщилось и потемнело. Его рука сжала Джорнею плечо. — Я сказал, что заплачу. И хорошо заплачу. Вы не пожалеете. Я все возьму вам. Взгляните, взгляните сюда.

К удовольствию Джорнея, он наконец снял руку с его плеча. Рука эта пошарила в бумажке. Он вынул визитную карточку, окаймленную полоской слюды.

— Вот, посмотрите.

Джорней вежливо взглянул на фамилию, выведенную на блестящей карточке.

— С. Дж. Адамс, — прочел он вслух. Очевидно, фамилия должна была произвести впечатление, и Джорнею даже на мигнуто стало стыдно, что он не понимает, в чем дело. Между тем было видно, что незнакомцу очень хотелось, чтобы он понял.

— Да, вот так, «Адамс моторс». Та самая фирма. — Но вдруг у него мелькнуло легкое подозрение. — Вы ведь слышали об этой фирме... даже здесь, у вас наверху, вы...

У Джорнея не хватило духа сказать, что он не слышал. Но и утвердительно он тоже не мог ответить. Его карие глаза внимательно изучали стоявшего перед ним человека. Он все еще молчал, когда Адамс хлопнул ладонью по стойке.

— Ну, так идемте. Сейчас же. Я жду.

Нет, не этот голос — голос человека, привыкшего повелевать, как будто все остальные люди были только хорошо выдрессированными охотничьими псами — заставил Джорнея уступить. Его поразило страстное желание Адамса владеть машиной. Джорней чувствовал, что в нем разгорается любопытство, жгучее, как солнце, стоявшее над поворотом дороги, окаймленной гранитной стеной гор.

Он поднял голову.

— Что ж, давайте спустимся туда на минутку. А вам, по-моему, лучше поставить свою машину в тень. Когда солнце выйдет из-за эвкалиптов, оно будет палить беспощадно. Вы еще не заплатили мне за четыре банки сорнуда, — добавил он спокойно. Он взял банки и вышел из полосы тени, отбрасываемой крышей дома. Когда он выпрямился, он оказался намного выше Адамса.

— Покажите, куда их вам поставить. Потом мы сможем спуститься, — бросил он через плечо Адамсу, шедшему следом за ним через высокую траву.

Растопленная смола уже капала по стволам. Джорней подумал, что, когда он вернется после этой сумасбродной затеи, он выпьет чего-нибудь прохладительного. Будет пекло.

— Я думаю, что вашей жене лучше не спускаться. Дорога слишком крута для женщины, если они к этому не привыкли.

Адамс кивнул и показал рукой на багажник. Джорней заметил марку на кузове «Адамс». «Наверное, он выпускает такие машины», — мелькнуло у него в голове. Остановившись позади машины, он ждал. Адамс разговаривал со своей спутницей. От звука его голоса дребезжало стекло машины. Женщина сказала что-то, чего Джорней не расслышал, и замолчала. Адамс вошел в машину. Крышка багажника поднялась, чуть не ударив Джорнея по подбородку. Джорней тщательно уложил банки. Тут они будут в безопасности. Он с силой захлопнул крышку.

Защищаясь от солнца, светившего ему прямо в глаза, Адамс снова надел темные очки и подошел к Джорнею. Вдохнув полной грудью, он сказал:

— Так вы говорите, что она исправна?

— Исправна. Я же сказал.

— Пойдемте.

— Вы не поставили машину в тень. Вашей жене будет здесь страшно жарко.

— Там вентиляция. — Адамс прошел уже половину пути. — Стоит лишь нажать кнопку. Только и всего. Правится вам такая машина? Если ваша более или менее в порядке, я дам вам за нее такую машину. Целых две!

Вся его осторожность исчезла. Он быстро подвигался вперед в высокой траве. Джорней догнал его и пошел вперед.

Адамс вынул чек в 5 долларов.

— Вот, держите за мед. Сдачу можете оставить себе.

Джорней небрежно опустил деньги в карман. Подкладка была уже настолько изпощена, что казалась его второй кожей.

— Я отдам вам сдачу, — сказал он. За его спиной Адамс продирался сквозь репейник. Джорней, сощурившись, посмотрел на залитую солнцем тропинку. Далеко вверху на дороге загудела машина, промелькнула мимо и исчезла. «Нет, люди все-таки не такие подлецы, чтобы скрыться, не заплатив, — подумал он. — А может быть, миссис Адамс следит за этим». — Я оставил мелочь дома, внизу, — объяснил Джорней. Горьковато и сладко пахли травы. — Идите по моим следам. Если услышите в траве шум, остановитесь и не двигайтесь. Это не так близко, как кажется, и туда не так легко добраться. В это время года змеи выползают наружу.

Незаметно для Адамса он улыбнулся. Адамс на мгновение замер, но затем снова упрямо пошел вперед. Его бронзового цвета ботинки увязали в глине. «Он хочет иметь то, что досталось мне, — подумал Джорней. — А я бы хотел знать, чем замечательна эта машина».

Он был склонен поговорить. Но он не мог рассказать Адамсу то, о чем думал, — рассказать о том, что в начале медового сезона у него никогда не было мелких денег. Если у покупателей не находилось нужной суммы, он шел на риск и говорил им, что они могут заплатить позже. Одни платили, другие нет. Но во всех случаях он никогда не брал лишнего. Его отец не брал, и он не будет. Он хотел было сказать это Адамсу, но подумал, что тот все равно не поймет.

Они уже были почти у домика Виттлов; там, где начинался окруженный кустарником двор, из-под белых камней в песке пробивался родник. На мгновение Джорней захотелось по-дружески поговорить с Адамсом, и ему было жаль, что это невозможно.

Он показал, куда идти. Адамс тяжело дышал.

— Вон там внизу, за деревьями.

— Почему вы держите ее под открытым небом? — Адамс укоризненно взглянул на Джорнея. Протерев свитером запотевшие стекла очков, он снова посмотрел на видневшуюся сквозь деревья машину.

— Я думаю, что машина не корова и тем более не ребенок и с ней ничего не случится, — сказал Джорней. — Может быть, хотите передохнуть?

Краем глаза он увидел Метана Виттла, четырех его сыновей и старшую дочь, которая спускалась вниз с младенцем на руках. Они заметили незнакомца и приготовились рассмотреть его получше. Мелькнул дубовый посох Метана, помогавший старпку скользить с ловкостью ящерицы. Потом сквозь кусты Джорней увидел своих детей, которые, раздвинув ветки, с любопытством смотрели вверх. Личико Марлы Джин казалось белым лепестком среди зеленой листвы; рядом виднелась веснушчатая худенькая рожица Ферди, в которой было что-то птичье.

Адамс с трудом пробрался сквозь заросли кустарника; Джорней придерживал ветки, чтобы они его не хлестали.

— Вон мои ребятки. Вон там, за лавром. Отсюда их плохо видно.

Адамс неопределенно хмыкнул. Поэтому Джорней даже не упомянул о Виттлах, которые стояли в 20 ярдах от них. И когда к Виттлам присоединилось все семейство Эмбриджей — старый Толл, молодой Толл и бабка в корычневом платье, с белыми, как пней, волосами, — Джорней тоже ни слова не сказал о них Адамсу. Любопытство могло собрать сюда весь поселок. Вокруг было разбросано с десятков домиков, две-три небольшие фермы и несколько навесов, к которым вел скорее инстинкт, чем дорога.

Чужак не мог понять гордого чувства товарищества, связывавшего этих людей. Он не знал, как легенды поднимали человека в глазах друзей. У молодого Толла Эмбриджа, которого все звали молодой Толл, хотя он был на два года старше Джорнея и они вместе сражались за океаном, было ружье его прадеда. Завидная вещь, предмет всеобщего поклонения. Люди приходили посмотреть на него, потрогать его. У Метана Виттла был дубовый посох. Из уст в уста передавалась молва, будто в лунные

ночи этот посох расцветает. На нем вырастают листья, белые, как лунный диск. Все любили толковать о нем и считали честью его коснуться.

Джорней остановился, поджидая Адамса. Он с грустью подумал, что о нем не ходило никаких легенд. Хороший мед был обычным явлением. Правда, его мед был лучше, чем у других, но все же это еще не легенда. А ему так хотелось, чтобы и у него была своя легенда. Это было его заветным желанием.

Они уже почти спустились в лощину. Уголкем глаза Джорней поглядывал на соседей. Подходили все новые и новые. Они с любопытством выглядывали из-за дубов, эвкалиптов, ясеней, лавров и вязов, бесшумно, как летний дождик. Джонеры, Эплвуды, Марлины и Пивейсы. Все они шли туда, где стояли Джорней и Адамс.

Поляна была залита светом, как от большого фонаря. Линда стояла на крыльце, мешая известку в черном горшке. С золотившимся на солнце волосами, высокая и стройная, как Джорней, она была очень хороша. Гордость рыбкой плеснула в груди Джорнея. Так было всякий раз, когда он видел ее вновь даже после короткой разлуки.

Собаки Тайдж и Мэллоу — одна рыжая, другая черная как уголь — почувствовали чужака. Они поднялись и, не обращая никакого внимания на соседей, направились прямо к Адамсу. Тот сообразил, что надо стоять спокойно.

— Пошли прочь, — прикрикнул Джорней на собак. — Он — гость. — Тайдж обнюхал брюки Адамса, и Джорней легонько ударил собаку по носу. Тайдж обиженно пошел прочь. — Вы можете пройти, — сказал Джорней Адамсу.

Адамс направился прямо к машине. Солнце, пробивавшееся сквозь листья, освещало пчелиные улья. Линда спускалась с крыльца. Бабочка-капустница повилась около ее волос и улетела прочь. Старик Метан приветственно поднял посох. Линда кивнула ему. Марла и Ферди побежали к ней через высокую траву. Все молчали, затаив дыхание. Марла Джин скользнула взглядом по Адамсу, неподвижно стоявшему перед красной машиной, и перевела глаза на Джорнея. Линда тоже смотрела на него. Ферди тяжело дышал, приоткрыв рот. Взоры всех были устремлены на Джорнея. Джорней сказал:

— Он высмотрел с дороги эту старую машину. Теперь он не отстанет, пока не увидит ее поближе.

— Зачем? — Пальцы Линды тербли тесемку фартука. Она говорила так же тихо, как Джорней: — Он спрашивает, есть ли у нас права?

Джорней покачал головой. Он подумал, что, когда у него будут деньги, он купит Линде духи в блестящих флаконах, новое платье. Но и в старом платье она была прекрасна, и тело ее благоухало без всяких духов.

— Я только раз сдрил на ней прошлым летом к озеру по шоссе. Никто не видел меня тогда. Дело было ночью, — сказал он.

Он глубоко вздохнул. В этом вздохе выразилось его желание понять мир тех людей, которые проезжали здесь по дороге над лощиной. Покачав головой, он оглянулся на человека в оранжевом свитере и белой кепке. Линда тоже вздохнула. Они с мужем поняли друг друга. Ферди уставился на Адамса, закрыв рот загорелой рукой, похожей на морскую звезду. Он чуть заметно улыбался уголками губ. Джорней предостерегающе посмотрел на него. Мальчик подавил смешок и, подзвав Марлу Джин, бесшумно подошел к незнакомцу. Осмелев, пятеро других детей — Таггарт Лофтлинг, Кед Джонер, Сара и Градон Эплвуд и малыш Марлингов — еще в ползунках — сползли, как храбрые мышата, с края поляны и встали позади Адамса. Тайдж и Мэллоу тоже пошли за ними и легли, пастороженно задрав морды.

От напряжения шея Адамса побагровела. Он все еще стоял неподвижно перед радиатором красной машины. Краска не была уже такой блестящей, какой Джорней помнил ее в дни своей юности. Она сильно поблекла. Над латунным радиатором торчал градусник. Руль был под стать титану. На минуту Джорней взглянул на машину глазами Адамса. Шины были крепкие, мотор не изношен. Все батарейки в порядке. Латунные фары, маленькие лампочки, напоминавшие совиные глаза, просто замечательные. Может быть, следовало бы сказать Адамсу, что в плохую погоду он покрывает машину брезентом. Впрочем, об этом тоже не стоило упоминать. Он делал это потому, что машина была в их семье уже очень давно и его отец немного гордился ею.

Но способность видеть глазами Адамса исчезла. Джорней опять не мог понять, что так привлекло Адамса в этой машине. Сам того не сознавая, Джорней подошел ближе. И, словно приняв это за приглашение, тотчас же возле

него стал молодой Толл Эмбридж. Никто не смотрел друг на друга. Взрослые, дети, собаки — все пзучали огромную машину и стоявшего рядом с ней хорошо одетого человека. Когда наконец Адамс пошевелился, все вздохнули с облегчением. Сделав шаг назад и чуть не наступив на марлиновского малыша, Адамс заметил, что за ним наблюдают. На его лице мелькнула гримаса неудовольствия. Он перехватил взгляд Джорнея и натянуто улыбнулся. Еще один вздох, легкий, как ветерок, пробежал по толпе. Адамс сказал, будто скомаандовал:

— Чудесно. Просто замечательно. Верьте не верьте, я сейчас же покупаю ее. С одного взгляда.

Молодой Толл Эмбридж, подняв черные брови, посмотрел на Джорнея. Джорней слегка подмигнул ему. Толлу не о чем было мечтать — ему было чем гордиться, у него было ружье его прадеда, так возвеличивавшее его в поселке. Всем людям нужно что-нибудь чудесное. Эта машина была чудом для Адамса. Он сделал еще шаг назад. Толпа детей расступилась перед ним, давая ему дорогу. Вода носком по траве, Адамс сказал так глухо, что сидящим на краю поляны пришлось подойти поближе.

— Послушайте, вы не заведёте ее, а?

Толл Эмбридж снова вперил взгляд в Джорнея. Джорней кивнул.

— Вот это удача, — пробормотал Толл. — Дети, отойдите с дороги.

Вместе с Джорнеем он подошел к машине, и они склонились над радиатором. Толл взялся за баранку. Он посмотрел на Джорнея вопросительно и настойчиво, словно давая ему понять, какое это для него счастье. Джорней отвел глаза.

Толл стал заводить мотор. Мускулы на его загорелых руках напряглись, как веревки. Мотор повернулся раз, другой, раздался лязгающий звук, словно большая птица взмахнула железными крыльями. Пот выступил на лбу у Джорнея. Он чувствовал, что творится что-то неладное, что он делает глупость. Ему хотелось что-то удержать, сохранить неизменным. Он наклонился над правым передним колесом. Через толстые деревянные спицы, отполированные много лет назад, ему были видны погр Линды. У него была Линда, и Марла Джин, и Ферди. Жена, дочь, сын, собаки, приличная ферма и хороший мед. Чеповек должен быть доволен тем, что у него есть, пусть

это и скромное, неприметное счастье. Он отстранил Толла и сам положил руку на руль. На этот раз мотор заработал хорошо, и Толл побежал опустить крышку. Обливаясь потом, как после долгого бега по солнцепеку, Джорней склонился над радиатором. Сквозь теплую латунь он ощущал вибрацию. По его пальцам, как сильный ветер, прошел ток.

Двор был полон соседей. Теснясь у автомобиля, они молча наблюдали за происходящим. Старый Метан Виттл стоял, сторбившись, со сверкающими, как у ворона, глазами. Пальцами, твердыми, как слоновая кость, он опирался на посох. Может быть, было неправдой, что этот посох цветет при лунном свете, но Джорней хотел этому верить.

Адамс кричал Джорнею прямо в ухо, помахивая перед его глазами зеленой бумажкой. Потом он написал что-то на бумажке и, размахивая ею, опять что-то закричал. Очки свисали у него с уха. Джорней обошел вокруг машины, поднялся на ступеньку, сел, выключил мотор — все одним движением.

В наступившей тишине вверху закричала какая-то птица. Капля пота скатилась у Джорнея с носа и медленно расплзлась по когда-то огненной краске капота. Слышен был скрип авторучки, которой Адамс дописывал чек. Он писал, положив бумагу на крыло машины. Затем он помахал чеком перед глазами Джорнея.

— Вот. Две тысячи долларов. Я готов дать даже больше.

Но Джорней не протянул руку за чеком. Он услышал свой ответ и удивился. Он мог бы починить коровник, даже построить новый на эти деньги. И у него бы осталось еще на покупку лошади. И на духи и платье для Линды. И даже на игрушки для детей, которые скрасили бы им жизнь. И все же он сказал:

— Нет. Я ее не продам. Ни за что. Не стоит просить. — И затем добавил: — Мне очень жаль.

Он мог прочесть в глазах Адамса, что тот понял — упрашивать бесполезно. Не в силах взглянуть на Линду, детей и даже на Толла, Джорней медленно вылез из машины и пошел к дому. «Не к чему злиться на Адамса. Во всем виноват я сам».

Он вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Пошарив рукой по верхней полке, он нашел банку из-под кофе и

снял ее. В банке были деньги. Он сосчитал их. 2 доллара и 80 центов серебром.

Выйдя на улицу, он в первую минуту ничего не мог разглядеть из-за слепящего солнца. Затем темные пятна исчезли, и он увидел, что все соседи еще во дворе. Они стояли и смотрели на него. На дорожке стояла Линда; дети были с ней. Марла Джин улыбалась, как могут улыбаться только маленьким девочкам. Он ничего не мог прочесть на лице Линды. Она имеет право сказать все что угодно. Он не остановит ее. Ферди сделал шаг вперед.

— Послушай, папа. — Он немного попятился. — Может, мне пойти за ним? Я могу показать ему старую дорогу. Она длиннее, но зато легче. Дорога, по которой он пошел, слишком крута для такого толстяка. — Губы Ферди дрогнули, как будто он собирался засмеяться, но он не засмеялся.

Все были озадачены и взволнованы.

Джорней кивнул.

— Иди. Нет, постой. Возьми с собой это. Отдай ему. — Мальчик зажал монету в кулаке, и его худое личико расплылось в широкой улыбке. Джорней добавил: — Пусть он обязательно возьмет деньги. Я должен ему. Ну, ступай.

Мальчик бросился бежать и исчез в тени эвкалиптов. Джорней вернулся на дорожку. Он положил руку на плечо Линды. Сквозь легкую ткань платья он ощущал прохладу ее тела. Но он не мог посмотреть ей в глаза. Он посмотрит потом. Они пошли рядом. Марла Джин вприпрыжку бежала вперед, затем вдруг остановилась и оглянулась на людей, окруживших машину. Они прямо-таки ослепили ее.

В глазах Джорнея появилось недоумение. Там были и молодой Толл Эмбридж и старый Толл; оба склонились над машиной. Было очень тихо. Лишь время от времени слышалось шуршанье одежды и скрип ножа, режущего табак. Метан Виттл сидел на пне, окруженный четырьмя сыновьями. Его глаза, устремленные на Джорнея, казались двумя огненными точками. Пальцы сжимали дубовый посох.

Джорней не понимал, в чем дело. Но вот старик Виттл встал и, подвиг руку, указал на машину. Его голос шелестел, как ветер в кустах, но в нем звучала сила.

— Вот она стоит. Он предлагал за нее кучу денег и готов был дать еще больше. Вот она стоит, эта чудесная машина.

Молодой Толл на другой стороне поляны подхватил его слова своим рокочущим басом. Его глаза, как и у всех остальных, металы искры. Собаки стояли настороже, только кончики их хвостов дрожали.

— Другой такой машины нет на свете. Она единственная.

— А-а-а, — запела Мег Виттл, старшая дочь старого Метана. Она подняла своего ребенка, чтобы он мог лучше видеть машину. — Смотри на нее, детка, любуйся ею. Смотри на чудесную машину Джорней, которую оставил ему его отец.

— Единственная в мире, — сказал кто-то. — Теперь это ясно.

— И хозяин ее наш Джорней. Честь ему и слава.

Теперь Джорней понял. Эта машина навсегда останется у него. Вслед за восторгом обладания, который он испытал, подойдя и коснувшись рукой латунного радиатора, пришло горячее желание, чтобы у каждого человека было в жизни что-то чудесное. У него теперь это было.

Солнце отражалось от радиатора и погружало свои лучи в волосы Линды. И когда он посмотрел ей в глаза, она улыбнулась с гордостью, так же, как и он сам.

ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО

На город опускались летние сумерки. Из дверей биллардной, где мягко постукивали шары, вышли трое молодых мексиканцев подышать теплым вечерним воздухом, а заодно и поглядеть на мир. Они то лениво переговаривались между собой, то молча смотрели, как по горячему асфальту, словно черные пантеры, скользят лимузины или, разбрасывая громы и молнии, как грозовая туча, пропосаются трамваи, затихая вдали.

— Эх, — вздохнул Мартинес, самый молодой и самый печальный из троих. — Чудесный вечер, а, ребята? Чудесный...

Ему казалось, что в этот вечер мир то приближается к нему, то снова отдаляется. Снующие мимо прохожие вдруг оказывались словно на противоположном тротуаре, а дома, стоящие на расстоянии в пять миль, вдруг низко склонялись над ним. Но чаще люди, машины, дома были где-то по ту сторону невидимого барьера и были недосыгаемы. В этот жаркий летний вечер лицо юного Мартинеса застыло, словно скованное морозом.

— В такие вечера хорошо мечтать... мечтать о многом...

— Мечтать! — воскликнул тот, которого звали Вильянасул. У себя в комнатухе он вслух громко читал книги, но на улице всегда говорил почти шепотом. — Мечтать — это бесполезное занятие безработных.

— Безработных? — воскликнул небритый Ваменос. — Вы только послушайте! А кто же мы, по-твоему? У нас ведь тоже нет ни работы, ни денег.

— А значит, — заключил Мартинес, — нет и друзей.

— Это верно. — Взгляд Вильянасула был устремлен в сторону площади, где тихий летний ветерок шевелил

кропы пальм. — Знаете, чего бы мне хотелось? Мне хотелось бы пойти на площадь, потолкаться среди деловых людей, побеседовать с теми, кто приходит туда по вечерам, чтобы поговорить о делах на бирже. Но пока я так одет, пока я бедняк, они не станут со мной разговаривать. Ничего, Мартинес, зато у нас тропх есть дружба. А дружба бедняков — это что-нибудь да значит. Это настоящая дружба... Мы...

В эту минуту мимо прошел красивый молодой мексиканец с тонкими усиками; на каждой руке у него повисла хохочущая девица.

— *Madre mía!* — хлопнул себя по лбу Мартинес. — А как вот этому удалось подцепить сразу двух подруг?

— Ему помог его красивый белый костюм. — Ваменос грыз свой грязный поготь. — Вдпать, он из ловкачей.

Прислонясь к стене, Мартинес провожал взглядом хохочущую компанию. В доме напротив открылось окно четвертого этажа, и из него выглянула красная девица; ветер ласково заиграл ее черными волосами. Мартинес знал эту девушку вечность, целых шесть недель. Он кивал ей головой, он приветственно поднимал руку, улыбался, подмигивал, даже кланялся ей на улице или когда, навещая друзей, встречал ее в вестибюле дома, или в городском парке, или в центре города. Но девушка подставляла лицо ветру. Юноша не существовал для нее — его словно и не было.

— *Madre mía!* — Мартинес отвел от нее взгляд и снова посмотрел вдоль улицы: мексиканец и девицы уже заворачивали за угол. — Эх, был бы у меня такой костюм. Мне не нужно даже денег, только бы иметь приличный костюм.

— Не знаю, стоит ли советовать, — вдруг сказал Вильянасул, — по что, если бы тебе повидаться с Гомесом! Он уже месяц что-то толкует насчет костюма. Я пообещал ему, что войду в пай, лишь бы отвязаться. Уж этот Гомес!

— Эй, приятель, — раздался чей-то тихий голос.

— Гомес! — Трое друзей обернулись и с любопытством уставились на подошедшего.

С какой-то странной улыбкой Гомес вытащил бесконечно длинную желтую ленту, которая заплескалась и зашелестела на ветру.

— Гомес! — воскликнул Мартинес. — Зачем тебе портновский метр?

Гомес расплылся в улыбке.

— Я снимаю мерку.

— Мерку?

— Стой спокойно. — Гомес окинул Мартинеса оценивающим взглядом. — Саганба! Где же ты был все это время? А пу-ка, давай!

Мартинес почувствовал, как ему измеряют длину рук, ног, затем объем груди.

— Стой спокойно! — покрикивал Гомес. — Руки — точно. Ноги, грудь — великолепно! А теперь быстрее рост! Пять футов пять дюймов! Подходишь! Давай руку! — Тряся Мартинеса за руку, он вдруг воскликнул: — Подожди, а есть у тебя десять долларов?

— У меня есть! — Ваменос помахивал грязными бумажками. — Сними мерку с меня, Гомес.

— Весь мой капитал — это девять долларов девяносто два цента. — Мартинес пошарил в карманах. — Ты считаешь, что этого хватит на новый костюм? Как же это так?

— А так. Потому что у тебя подходящий размер!

— Сеньор Гомес, но я совсем не знаю вас...

— Не знаешь? Ничего, теперь мы будем жить вместе.

Пошли!

Гомес исчез в дверях бильярдной. Мартинес, сопровождаемый деликатным Вплянасулом и подталкиваемый нетерпеливым Ваменосом, тоже очутился в бильярдной.

— Домингес! — позвал Гомес.

Разговаривавший по телефону Домингес подмигнул вошедшим. В трубке пронзительно пищал женский голос.

— Мануло! — крикнул Гомес.

Мануло, опрокидывавший в рот содержимое винной бутылки, обернулся.

Гомес указал на Мартинеса.

— Я нашел нам пятого партнера!

Домингес ответил:

— У меня свидание, не мешай... — и вдруг умолк. Трубка выпала у него из рук. Маленькая черная записная книжка, полная имен и телефонов, быстро исчезла в кармане.

— Гомес, ты?!..

— Да, да! Давай скорее деньги. Выкладывай!
В телефонной трубке продолжал пищать жепский голос.

Домингес в перешпительности поглядывал на трубку. Мануло поглядывал то на пустую бутылку, которую продолжал держать в руках, то на вывеску вишней лавки напротив.

Мануло и Домингес неохотно выложили по десять долларов на зеленое сукно бильярдного стола.

Изумленный Впльянасул последовал их примеру. То же самое сделал и Гомес, толкнув в бок Мартинеса. Мартинес пересчитал смятые бумажки и мелочь. Гомес жестом опытного крупье сгреб деньги.

— Пятьдесят долларов! Костюм стоит шестьдесят! Нам нужны еще десять долларов.

— Погоди, Гомес! — воскликнул Мартинес. — Ты говоришь об одном костюме? Uno?

— Uno! — Гомес поднял кверху палец. — Один великолепный летний костюм цвета сливочного мороженого. Светлый-светлый, как луна в августе.

— Чей же он будет?

— Мой! — крикнул Мануло.

— Мой! — крикнул Домингес.

— Мой! — крикнул Впльянасул.

— Мой! — крикнул Гомес. — И твой, Мартинес. Другая, покажем ему, а? Становитесь-ка все в ряд.

Впльянасул, Мануло, Домингес и Гомес выстроились в ряд у стены бильярдного зала.

— Мартинес, становись-ка и ты тоже! А теперь, Ваменос, положи нам на головы бильярдный кий.

— Сейчас, Гомес, сейчас.

Мартинес почувствовал, как на его макушку лег бильярдный кий, и высунулся вперед, чтобы посмотреть, что происходит.

— О! — воскликнул он.

Кий ровно лежал на головах пятерых парней. Ваменос, широко улыбаясь, легко двигал его взад и вперед.

— Мы все одного роста! — вскричал Мартинес.

— Одного! — засмеялись приятели.

Гомес пробежал вдоль шеренги, шелестя желтым портовским метром, прикладывая его то к одному, то к другому юноше, отчего те смеялись еще громче.

— Точно! — заявил он. — Подумайте только, понадобился месяц, целых четыре недели, чтобы подобрать четырех парней одинакового роста и сложения. Целый месяц я искал и снимал мерки. Мне попадались парни ростом в пять футов пять дюймов, но они были либо слишком толсты, либо слишком тонки. Иногда у них были длинные руки или слишком длинные ноги. Эх, ребята, если бы вы знали, скольких пришлось обмерить! А теперь нас пятеро совсем одинаковых — и в плечах, и в груди, одинаковая длина рук и одинаковый вес! Ох, ребята!

Мануло, Домингес, Вильянасул, Гомес, а за ним и Мартинес встали один за другим на весы; весы-автомат, пощелкивая, выбрасывали билетки с обозначенным на них весом. Вампос, улыбаясь во весь рот, кидал в автомат монетки. С бьющимся сердцем Мартинес прочел свой билетик.

— Сто тридцать пять фунтов... сто тридцать шесть... сто тридцать три... сто тридцать четыре... сто тридцать семь... Это чудо!

— Нет, — просто сказал Вильянасул, — это Гомес.

Они улыбались своему доброму гению, а он стрел в охапку.

— Ну, не молодцы ли мы, ребята? — удивлялся он сам. — Все одного роста, и у всех одна мечта — костюм! Каждый из нас будет красавцем по крайней мере один день в неделю, а?

— Я уже не помню, когда я был красивым, — сказал Мартинес. — Девушки шарахаются от меня.

— Теперь они остолбенеют от восхищения, когда увидят тебя, — сказал Гомес, — увидят в новеньком летнем костюме цвета сливочного мороженого.

— Гомес, — сказал Вильянасул, — можно мне задать тебе вопрос?

— Конечно.

— Когда мы купим этот прекрасный летний костюм цвета сливочного мороженого, не может случиться так, что ты наденешь его, сядешь в автобус и уедешь в Эль-Пасо эдак на годик, а?

— Вильянасул, Вильянасул, как можешь ты такое говорить?

— Что видят глаза, то говорит язык, — сказал Вильянасул. — А помнишь беспроигрышную лотерею, которую ты устроил и в которую так никто и не выиграл?

Или компанию «Перец с мясом и фасолью», которую ты задумал создать, но только задолжал за аренду помещения?

— Ошибки молодости, — сказал Гомес. — Ну, довольно. В такую жару обязательно кто-нибудь купит наш костюм. Он стоит в витрине магазина «Солнечные костюмы фирмы Шамуэй». У нас есть пятьдесят долларов. Нам нужен еще один партнер.

Мартинес видел, как ищущий взгляд друзей пробежал по залу. Он тоже стал разглядывать присутствующих. Глаза его мигали, не останавливаясь, Ваменоса, затем неохотно вернулись к нему; он увидел грязную сорочку Ваменоса, толстые, желтые от никотина пальцы.

— Я! — наконец не выдержал Ваменос. — Снимите мерку с меня! Мои руки слишком велики от рытья канав, это верно, но фигура...

В эту минуту Мартинес снова услышал на тротуаре шаг песного мексиканца и его хохочущих девиц.

Тень беспокойства, словно летняя тучка, пробежала по лицам друзей.

Ваменос медленно ступил на весы и опустил в автомат монету. Зажмурив глаза, он начал шептать слова молитвы:

— *Madre mía*, прошу тебя...

Автомат щелкнул и выбросил билетик. Ваменос открыл глаза.

— Смотрите! Сто тридцать пять фунтов! Еще одно чудо!

Все смотрели на билетик в правой руке Ваменоса и засаленную десятидолларовую бумажку в левой.

Гомес дрогнул. Покрывшись испариной, он облизнул губы. Затем его рука рванулась вперед и схватила деньги.

— В магазин! За костюмом! Пошли!

Они бросились из бильярдной.

В забытой телефонной трубке все еще раздавался женский голос. Мартинес, выбежавший последним, повесил трубку на рычаг. Во внезапно наступившей тишине он покачал головой.

— Santos, это сон! Шесть человек и один костюм. Что-то будет? Безумие? Поножовщина? Убийства? Но я иду. Гомес, подожди меня!

Мартинес был молод. Он бегал быстро.

Мистер Шамуэй, владелец магазина «Солнечные костюмы фирмы Шамуэй», развешивал галстуки и вдруг

замер, словно почувствовал, что перед его лавкой творится что-то необычное.

— Лео, — шепнул он помощнику. — Посмотри...

Мимо, заглянув в лавку, прошел Гомес. Торопливо прошли, бросив взгляд в открытую дверь, Мануло и Домингес. Вплынасул, Мартинес и Ваменос, толкая друг друга, проделали то же самое.

— Лео. — Мистер Шамуэй проглотил слюну. — Звони в полицию.

Вдруг все шестеро выросли в дверях. Зажатый между приятелями Мартинес, с неприятным ощущением в желудке, с возбужденным красным лицом, улыбался так широко, что Лео положил трубку на рычаг.

— Вот это да! — тяжело дыша, с выпученными глазами воскликнул Мартинес. — Вот шикарный костюм!

— Нет, — сказал Мануло, глядя борта другого костюма. — Вот этот.

— Есть только один-единственный костюм на свете, — спокойно заявил Гомес. — Мистер Шамуэй, костюм цвета сливочного мороженого, размер тридцать четыре, он был на витрине час назад. Неужели вы его продали?

— Продал? Нет, нет, — облегченно вздохнув, воскликнул мистер Шамуэй. — Он в примерочной. На манекене.

Мартинес не помнил, он ли первым бросился вперед и увлек остальных или это они побежали и увлекли его за собой, но все вдруг пришло в движение. Мистер Шамуэй поторопился опередить их.

— Сюда, сюда, джентльмены. Ну, а который же из вас...

— Один за всех, все за одного! — услышал свой голос Мартинес и рассмеялся. — Мы все примеряем этот костюм.

— Все? — Мистер Шамуэй ухватился за занавес примерочной, словно его магазин вдруг стал кораблем, попавшим в шторм. Он глядел на них непонимающим взглядом.

«Смотри, смотри, — думал Мартинес, — видишь, мы улыбаемся. А теперь посмотри на наши фигуры. Смеряй отсюда сюда и оттуда туда, сверху вниз и снизу вверх, теперь понимаешь?»

Да, мистер Шамуэй понял. Он кивнул головой. Он пожал плечами.

— Все! — Он широко распахнул занавес примерочной. — Сюда. Покупайте костюм, и я дам вам в придачу манекен.

Мартинес осторожно заглянул в примерочную; за ним то же проделали остальные.

Костюм был там.

И он был белый.

Мартинесу стало трудно дышать. Да он и не хотел дышать.

Ему нельзя было дышать. Он боялся, что от его дыхания костюм вдруг растает. Нет, ему достаточно лишь глядеть на этот костюм.

Наконец, глубоко, прерывисто вздохнув, он прошептал:

— Ау, ау, саганба!

— Глазам даже больно, — прошептал Гомес.

— Мистер Шамуэй, — услышал Мартинес шепот Лео. — Это опасный прецедент. Если все начнут покупать один костюм на шестерых...

— Лео, — сказал мистер Шамуэй, — ты когда-нибудь видел, чтобы один костюм стоимостью в пятьдесят девять долларов мог осчастливить сразу шестерых мужчин?

— Крылья ангела, — шептал Мартинес. — Белые крылья ангела.

Мартинес почувствовал, как через его плечо в примерочную просунулась голова мистера Шамуэя.

Белое сияние разлилось по примерочной.

— Знаешь, Лео, — благоговейно прошептал мистер Шамуэй. — Это действительно замечательный костюм.

Гомес, насвистывая, с громкими радостными возгласами взбежал на площадку третьего этажа, обернулся и помахал рукой друзьям; они, смеясь, взбежали за ним, запыхавшиеся, тоже остановились и присели на ступеньки лестницы.

— Сегодня вечером! — крикнул Гомес. — Вы все сегодня вечером переселитесь ко мне. Мы сэкономим на квартирной плате, на одежде, а? Ну, конечно, Мартинес, костюм у тебя?

— Где же ему быть? — Мартинес высоко поднял красивую подарочную коробку. — Вот он, наш подарок другу другу.

— Ваменос, манекен у тебя?

— Вот он!

Жуя старый сигарный окурочок и разбрасывая вокруг снопы искр, Ваменос вдруг оступился. Манекен упал,

перевернулся раза два и с грохотом полетел вниз по ступеням.

— Ваменос! Болван! Растяпа!

Манекен тут же был отобран у Ваменоса. Подавленный Ваменос оглядывался вокруг так, словно что-то потерял.

Мануло целкнул пальцами.

— Эй, Ваменос, надо отпраздновать. Пойди-ка, возьми вина в долг.

Ваменос ринулся вниз по лестнице, словно комета, оставляя за собой хвост смятых искр.

Друзья внесли корзину в комнату. Мартинес задержался в коридоре. Он услышал шум Гомеса.

— У тебя больно?

— Так оно и есть, — сказал Гомес. — Что я наделал? — Он кинулся в комнату, где двигались около манекена. —

Я выбрал П. Ладно. Я выбрал Ман.

Ты по крайней мере голосом не жалеешь книгу.

дальше? Стал я ждать? Нет. И захотел купить этот костюм немедленно. И для этого я взял в партнеры неотесанного чурбана и дал ему право надевать мой костюм... — Он растерянно умолк. — Он паденет его, упадет в нем в грязь или выйдет под дождь. Зачем, зачем я сделал это?

— Гомес, — слышался шепот Вильяпасула из комнаты. — Костюм уже готов. Иди взгляни, как он выглядит при свете твоей лампочки.

Гомес и Мартинес вопли.

В центре комнаты на манекене висело фосфоресцирующее чудо, белое, сияющее видение с необыкновенно отутюженными лацканами, с потрясающе аккуратными стеклами и безукоризненной петлицей. Белый отблеск костюма упал на лицо Мартинеса, и ему показалось, что он в церкви. Белый! Белый! Слово самое белое из всех белых ванильных мороженных, словно парное молоко, доставляемое молочником на рассвете. Белый, как одинокое зимнее облако в лунную ночь. От одного его вида в этой душной летней комнате дыхание людей застывало в воздухе. Даже закрыв глаза, Мартинес его видел. Он знал, какого цвета слышались ему в эту ночь.

— Белый... — шептал Впльянасул. — Белый, как снег на вершине горы возле нашего городка в Мексике; эту гору называют Спящая.

— Повтори, что ты сказал, — попросил его Гомес.

Гордый и несколько смущенный Впльянасул был рад повторить:

— ...белый, как снег на вершине горы, которую называют...

— А вот и я!

Они испуганно обернулись. В дверях стоял Ваменос с бутылками в руках.

— Празднуем! Глядите, что я принес! А теперь скажите, кто же падает костюм сегодня? Я?

— Сейчас уже поздно, — возразил Гомес.

— Поздно! Всего четверть десятого.

— Поздно? — возмущенно повторили остальные. — Поздно?

Гомес попятился назад от этих людей, которые горящими глазами смотрели то на него, то на костюм, то в открытое окно.

За окном вверху, думал Мартинес, был, в сущности, чудесный субботний вечер, и в теплых спокойных сумерках плыли женщины, словно цветы, брошенные в тихие воды ручья. Печальный стон вырвался из груди мужчин.

— Гомес, у меня предложение. — Впльянасул смочил языком кончик карандаша и на листке блокнота составил расписание: — Ты носишь костюм с девяти тридцати до десяти, Мануло — до десяти тридцати, Домингес — до одиннадцати, я — до половины двенадцатого, Мартинес — до двенадцати, а...

— Почему я должен быть последним? — недовольно воскликнул Ваменос.

Мартинес быстро нашелся и сказал с улыбкой:

— А ведь после двенадцати самое лучшее время, дружище.

— Это верно, — согласился Ваменос. — Я не подумал об этом. Ладно.

Гомес вздохнул.

— Хорошо. Каждый по полчаса. Но с завтрашнего дня, запомните, каждый из нас надевает костюм только раз в неделю. А в воскресенье мы тянем жребий, кому надеть его еще раз.

— Мне! — со смехом воскликнул Ваменос. — Я везучий.

Гомес крепко ухватился за Мартинеса.

— Гомес, ты первый. Надевай же, — подтолкнул его Мартинес.

Гомес не мог оторвать глаз от злополучного Ваменоса. Наконец жестом отчаяния он сорвал с себя сорочку.

— Э-эх!

Тихий шелест полотна — чистая сорочка.

— Ох!..

Как приятно на ощупь чистая одежда, думал Мартинес, держа наготове пиджак. Как она приятно шуршит, как приятно пахнет!

Позвякивание пряжек — брюки; шелест — галстук, подтяжки. Шорох — Мартинес набросил пиджак, и он ловко сел на податливые плечи Гомеса.

— Оле!

Гомес повернулся, как матадор, в чудесном, пзлучающем сиянии костюме.

— Оле, Гомес, оле!

Гомес отвесил поклон и направился к двери.

Мартинес впился глазами в циферблат своих часов. Ровно в десять он услышал чьи-то неуверенные шаги в коридоре, словно человек заблудился. Он открыл дверь и выглянул.

По коридору бесцельно брел Гомес.

У него больной вид, подумал Мартинес. Нет, у него потерянный, потрясенный, удивленный вид.

— Сюда, Гомес, сюда!

Гомес круто повернулся и наконец нашел дверь.

— О, друзья, друзья, — сказал он. — Друзья, вы не представляете!.. Этот костюм, этот костюм!..

— Расскажи нам, Гомес! — попросил Мартинес.

— Не могу, не могу! — Гомес возвел глаза к небу, поднял кверху широко раскрытые руки.

— Расскажи, Гомес!

— Нет слов, нет слов. Вы должны увидеть сами. Да, да, сами... — Он молчал, тряс головой, пока не вспомнил, что все стоят и ждут. — Кто следующий? Мануло!

Мануло в одних трусах выскочил вперед.

— Я готов!

Все засмеялись, закричали, засвистели.

Мауло, надев костюм, ушел. Его не было двадцать девять минут и тридцать секунд. Он вошел в комнату, не отпуская ручку двери, он держался руками за стену, он ощупывал собственные руки, проводил ладонями по лицу.

— Дайте мне рассказать вам, — наконец промолвил оп. — Comrades, я зашел в бар. Нет, я не заходил в бар, слышите? Я не пил. Потому что пока я шел туда, я уже начал смеяться и петь. Почему? Почему? — спрашивал я сам себя. Потому, что от этого костюма мне стало веселее, чем от вина. От этого костюма я стал пьян, пьян, пьян! Поэтому я зашел в закусную «Гвадалахара», играл там на гитаре и спел четыре песни очень высоким голосом. Этот костюм, ах, этот костюм!

Домингес — теперь была его очередь — ушел и вернулся.

Черная записная книжка с телефонными номерами, подумал Мартинес. Она была у него в руках, когда он уходил. А теперь руки его пусты. Что это? Что?

— На улице, — сказал Домингес с широко открытыми глазами, переживая все заново, — когда я шел, одна женщина воскликнула: «Домингес, неужели это ты?» А другая сказала: «Домингес? Нет, это сам Кетсалкоатл, Великий Белый Бог, пришедший с Востока». Слышите? И мне сразу же расхотелось встречаться одновременно с шестью, с восемью женщинами. Должна быть одна, подумал я, одна! И кто знает, что я скажу ей, этой одной. «Будь моей». Или: «Выходи за меня замуж». Sagamba! Этот костюм опасен. Но мне плевать на это. Я живу, я живу! Гомес, с тобой тоже такое творилось?

Гомес, все еще ошеломленный тем, что пережил в этот вечер, покачал головой.

— Не надо, не говори. Слишком много всего. Потом. Вильянасул!

Вильянасул смущенно вышел вперед.

Вильянасул смущенно покинул комнату. Вильянасул смущенно вернулся обратно.

— Представьте, — сказал он, ни на кого не глядя, опустив глаза вниз, словно обращался к половицам. — Зеленая площадь, группа пожилых коммерсантов и дельцов под открытым звездным небом — они говорят, кивают головой, опять говорят. Потом один из них что-то шепчет, все поворачиваются, расступаются, и через образовавшийся проход, словно снап света сквозь льдину, проходит

белос видение, а внутри него — я. Я делаю глубокий вдох, в животе у меня словно желе, голос мой еле слышен, но вот он становится громче. Что же я говорю? Я говорю: «Друзья, вы читали «Sartor Resartus» Карлейля? В этой книге мы находим положение его философии одежды...»

Накопец пришла очередь Мартинеса надеть костюм и отправиться в неизвестность.

Четыре раза он обошел квартал, четыре раза оставался под балконом дома и глядел вверх на освещенное окно: там двигалась тень — за этим окном была прекрасная девушка, она появлялась и исчезала. Лишь на пятый раз он увидел ее на балконе — летняя жара выгнала ее из комнаты подышать ночной прохладой. Она посмотрела вниз. Она сделала знак.

Вначале ему показалось, что она машет ему. Ему показалось, что он привлек ее внимание, словно белый гейзер. Но она никому не махала. Еще жест — и пара очков в темной оправе украсила ее переносицу. Девушка посмотрела на Мартинеса.

«Ага, вот оно что, — подумал он. — Ну что ж, даже слепые видят этот костюм». Он улыбнулся ей. Ему уже не надо было махать ей рукой. Наконец-то и она улыбнулась в ответ. И ей тоже не надо было махать ему рукой. А потом, возможно, потому, что он не знал, как ему быть дальше и как избавиться от улыбки, которая растянула его рот до ушей, он бросился наутек и завернул за угол, чувствуя на себе взгляд девушки. Когда он обернулся, она уже сняла очки и следила близоруким взглядом за тем, что ей, должно быть, казалось движущимся белым пятном в темноте. Затем, чтобы прийти в себя, он снова завернул за угол и зашагал через весь город, ставший внезапно таким прекрасным, что ему захотелось кричать, смеяться и снова кричать.

Возвращаясь, он шел медленно, словно во сне, с полужакрытыми глазами; и когда он появился в дверях, все увидели не Мартинеса, а самих себя, возвращающихся домой. И все вдруг поняли, что с ними что-то происходит...

— Ты опоздал! — воскликнул Ваменос, но тут же умолк. Нельзя было разрушать чары.

— Скажите мне, кто я? — сказал Мартинес.

Медленно он сделал круг по комнате.

Да, думал он, это сделал костюм и все, что связало с ним, то, как они пошли все вместе в магазин, смеющиеся и, как сказал Мануло, без вина пьяные. По мере того как сгущалась темнота и каждый по очереди натягивал брюки, балансируя на одной ноге и держась рукой за плечи других, чувства их росли, становились теплее, лучше; одни за другим они выходили за дверь, одни за другим возвращались, пока не пришел черед Мартинеса стоять во всем величии и близости, так, словно он готовился отдать какое-то приказание и все должны были умолкнуть и расступиться.

— Мартинес, пока тебя не было, мы достали три зеркала. Посмотри.

В зеркалах, поставленных, как в магазине, отражалось три Мартинеса, а за ним тени и эхо тех, кто надевал костюм до него и ходил глядеть на сверкающий мир. В блестящей глади зеркал Мартинес увидел огромность того, что они переживали, и глаза его наполнились слезами. Другие тоже заморгали. Мартинес коснулся зеркал. Они задрожали. Мартинес увидел тысячу, миллион Мартинесов в белоснежных одеяниях, проходящих через вечность, еще и еще раз отраженных в ней, не исчезающих и нескончаемых.

Он поднял белый пиджак в воздух. В оцепенении остальные не сразу сообразили, чья грязная рука протянулась к нему.

А затем:

— Ваменос!

— Свинья!

— Ты даже не умылся! — закричал Гомес. — И не побрился, пока ждал. Comprátes, в ванну его!

— В ванну! — закричали все.

— Нет! — завопил Ваменос. — Ночной воздух, я заболею.

Кричащего Ваменоса поволокли в ванну.

Ваменос был почти неправдоподобен в белом костюме, побритый, причесанный, с чистыми ногтями.

Его друзья мрачно взирали на него.

Ибо разве не верно, думал Мартинес, что, когда идет Ваменос, лавины низвергаются с гор, а когда он проходит по тротуару, обитателям домов хочется плевать из окон

плл выливать помон или еще хуже. Сегодня, в этот вечер, Ваменос пройдет под тысячами раскрытых окон, балконов, по глухим, темным переулкам. Мир жужжит от мух, а Ваменос похож на свежемороженый торт.

— Ты действительно здорово выглядишь в этом костюме, Ваменос, — грустно сказал Мануло.

— Спасибо. — Ваменос передернул плечами, чтобы удобнее чувствовать себя в костюме, в котором только что перебивали все его друзья. Тихим голосом он спросил: — Теперь я могу идти?

— Вильянасул! — сказал Гомес. — Заппи-ка ему правла.

Вильянасул пощипал огрызок карандаша.

— Во-первых, — диктовал Гомес, — ты не имеешь права падать в этом костюме, Ваменос.

— Не буду.

— Прислоняться к стенам домов.

— Никаких стен.

— Ходить под деревьями, где гнездятся птицы. Курить. Пить...

— Пожалуйста, — взмолился Ваменос, — можно мне садиться в этом костюме?

— Если стул сомнительной чистоты, снимай брюки и вешай на спинку стула.

— Пожелайте мне счастья, — сказал Ваменос.

— С богом, Ваменос.

Он вышел и захлопнул за собой дверь. И вдруг все услышали звук рвущейся материи.

— Ваменос! — завопил Мартинес.

Он бросился к двери, распахнул ее.

Ваменос держал в руке разорванный надвое носовой платок и хохотал.

— Тр-р-р! Видели бы вы свои рожи! Тр-р-р! — Он разорвал платок в клочья. — Ну и рожи! Вот умора. Ха-ха-ха!

С громоподобным хохотом Ваменос захлопнул перед обескураженными друзьями дверь и ушел.

Гомес схватился за голову и отвернулся.

— Бейте меня, бросайте в меня камнями. Я продал наши души дьяволу.

Вильянасул сузил руку в карман, вытащил серебряную монетку и долго глядел на нее.

— Вот мои последние пятьдесят центов. Кто еще может дать деньги, чтобы выкупить у Ваменоса его часть костюма?

— Бесполезно. — Мануло показал десять центов. — Этого хватит выкупить лишь борта да петлицы.

Гомес, стоявший у открытого окна, внезапно высунулся из него и закричал:

— Нет, Ваменос, нет!

Внизу на улице испуганный Ваменос погасил спичку и швырнул на землю где-то подобранный сигарный окурок. Он сделал какой-то странный жест приятелям, глядевшим в окно, затем небрежно помахал им рукой и зашагал прочь.

Пятеро друзей не могли отойти от окна, тесня и толкая друг друга.

— Клянусь, он в этом костюме будет есть пшпцель по-гамбургски, — с тоской прошептал Вильянасул. — Я думаю о горчпце.

— Перестань! — воскликнул Гомес. — Не может этого быть! Не может!

Внезапно Мануло очутился у двери.

— Мне необходимо промочить горло.

— Мануло, вино в бутылке на полу...

Но Мануло был уже за дверью. Через минуту Вильянасул с деланно безразличным видом потянулся и прошелся по комнате.

— Пожалуй, пойду прогуляюсь до площади, друзья.

Не прошло и минуты после его ухода, как Домпнгес, помахав друзьям записной книжкой, подмигнул и взялся за дверную ручку.

— Домпнгес! — окликнул его Гомес.

— Что?

— Если случайно увидишь Ваменоса, скажи ему, чтобы не ходил к Мики Мурильо в «Красный петух». Там драки не только на экране телевизора.

— Он не посмеет пойти к Мурильо, — сказал Домпнгес. — Ваменосу слишком дорог этот костюм. Он не сделает ничего такого, что может причинить костюму вред.

— Он скорее убьет родную мать, — добавил Мартинес.

— Уверен, что он способен на это, — сказал Гомес.

Мартинес и Гомес остались одни в комнате, прислушиваясь к торопливым шагам Домпнгеса, сбежавшего по

лестнице. Они обошли вокруг голого манекена. Затем, покусывая губы, Гомес долго стоял у раскрытого окна и глядел вниз. Рука его дважды касалась нагрудного кармана сорочки, и каждый раз он отдергивал ее. Накопец он вынул что-то из кармана и, даже не взглянув, протянул Мартинесу.

— Возьми, Мартинес.

— Что это?

Мартинес глядел на сложенную вдвое розовую бумажку с какими-то цифрами и словами. Глаза его расширились от удивления.

— Билет на автобус, отходящий в Эль-Пасо через три недели?

Гомес кивнул. Он не смотрел на Мартинеса. Он смотрел в окно на летнюю ночь.

— Возьми его в кассу и получи обратно деньги, — сказал он. — Купи к нашему костюму хорошую белую панаму и бледно-голубой галстук. Сделай это, Мартинес.

— Гомес...

— Молчи. Ну и духота же здесь. Мне надо подышать свежим воздухом.

— Гомес! Я тронут, Гомес...

Дверь комнаты зияла пустотой. Гомес ушел.

«Красный петух», кафе и коктейль-бар Мики Мурпльо, был зажат между двумя высокими кирпичными домами и поэтому, будучи узким по фасаду, вынужден был растянуться вглубь. Снаружи шипел, гас и снова загорался неоповый серпаптин вывески. Внутри проплывали мимо окон и снова исчезали в глубине бурлящего ночного бара туманные тени.

Мартинес, приподнявшись на носках, заглянул в светлый глазок размалеванного красной краской окна.

Он почувствовал чье-то присутствие слева от себя и чье-то дыхание справа. Он посмотрел налево и направо.

— Мануло! Вильянасул!

— Я пришел к выводу, что мне совсем не хочется пить, — сказал Мануло. — Я решил просто прогуляться.

— Я шел в сторону площади, — сказал Вильянасул, — по мне захотелось пройти этой дорогой.

Словно сговорившись, все трое тут же умолкли и, встав на цыпочки, стали смотреть в бар через глазки в размалеванном окне.

Спустя несколько мгновений они почувствовали за спиной чье-то частое дыхание.

— Что, паш белый костюм там? — услышали они голос Гомеса.

— Гомес! — воскликнули все трое удивленно. — Хэй!

— Да! — сказал Домингес, который только сейчас пашел удобный глазок в окне. — Вот он! И хвала господу, он все еще на плечах у Ваменоса.

— Я не вижу! — Гомес прищурился и приложил ладонь козырьком к глазам. — Что он там делает?

Мартинес тоже посмотрел. Да, там, в глубине бара, белое снежное пятно, идиотская ухмылка Ваменоса и клубы дыма.

— Он курит! — сказал Мартинес.

— Он пьет! — сказал Домингес.

— Он ест тако, — сообщил Вильянасул.

— Сочное тако, — добавил Мануло.

— Нет! — воскликнул Гомес. — Нет, пет, нет...

— С ним Руби Эскадрильо!

— Дайте-ка мне взглянуть! — Гомес оттолкнул Мартинеса.

Да, это Руби — сто килограммов жира, втиснутые в расшитый блестками тугой черный шелк; пунцовые ногти впились в плечи Ваменоса, обсыпанное пудрой, измазанное губной помадой тупое коровье лицо наклонилось к его лицу.

— Эта гипповотамша!.. — воскликнул Домингес. — Она изуродует плечи костюма. Посмотрите, она собирается сесть к нему на колени!

— Нет, нет, ни за что! Такая намазанная и накрашенная! — застонал Гомес. — Мануло, марш туда! Отними у него стакан. Вильянасул, хватай сигару и тако! Домингес, пазначь свидание Руби Эскадрильо и уведи ее отсюда. Andale, ребята!

Трое исчезли, оставив Гомеса и Мартинеса подглядывать, ахая от ужаса, в окно.

— Мануло отнял стакан, он выпивает вино!

— Ole! А вон Вильянасул, он схватил сигару, он ест тако.

— Хэй, Домингес отводит в сторону Руби! Вот молодец!

Какая-то тень скользнула с улицы в дверь заведения Мурильо.

— Гомес! — Мартинес схватил Гомеса за руку. — Это Бык Ла Джолья, дружок Руби. Если он увидит ее с Ваменосом, белоснежный костюм будет залит кровью, кровью!..

— Не пугай меня, — воскликнул Гомес. — А ну быстрее!

Оба бросились в бар. Они были около Ваменоса, как раз когда Бык Ла Джолья сгреб обеими ручищами лацканы прекрасного костюма цвета сливочного мороженого.

— Отпусти Ваменоса! — закричал Мартинес.

— Отпусти костюм, — уточнил Гомес.

Бык Ла Джолья и приподнятый вверх и приплясывающий на цыпочках Ваменос злобно уставились на непрошенных гостей.

Вильянасул застенчиво вышел вперед. Вплянасул улыбнулся.

— Не бей его. Ударь лучше меня.

Бык Ла Джолья ударил Вплянасула в лицо. Вплянасул, схватившись за разбитый нос и с глазами полными слез отошел в сторону.

Гомес схватил Быка за одну руку, Мартинес за другую.

— Пусти его, пусти, реон, coyote, vasa! — Бык Ла Джолья еще крепче ухватил ручищами лацканы костюма, и все шестеро друзей застонали от отчаяния. Он то отпускал лацканы, то снова мял их в кулаке. Он готовился как следует расчитаться с Ваменосом, но к нему снова приблизился Вплянасул с мокрыми от слез глазами.

— Не бей его, бей меня.

Когда Ла Джолья снова ударил Вплянасула в лицо, па его собственную голову обрушился сокрушительный удар стулом.

— Ole! — воскликнул Гомес.

Бык Ла Джолья пошатнулся, заморгал глазами, словно раздумывая, растянуться ему на полу или не стоит, однако не отпустил Ваменоса.

— Пусти! — закричал Гомес. — Пусти.

Одни за другим толстые, как сосиски, пальцы Быка рожались и отпустили лацканы костюма. Через секунду он уже неподвижно лежал на полу.

— Друзья, сюда!

Они вытолкнули Ваменоса на улицу; там с видом оскорбленного достоинства он высвободился из их рук.

— Ладно, ладно, мое время еще не истекло. У меня еще две минуты и десять секунд.

— Что? — возмущенно воскликнули все.

— Ваменос, — сказал Гомес, — ты позволил, чтобы гвадалахарская королева села тебе на колени, ты затеваешь драки, ты куришь, пьешь, ешь тако, а теперь еще осмеливаешься говорить, что твое время не истекло!

— У меня еще две минуты и одна секунда.

— Эй, Ваменос, ты сегодня шикарный, — донесся с противоположного тротуара женский голос.

Ваменос улыбнулся и застегнул пиджак.

— Это Рамона Альварес. Эй, Рамона, подожди!

Ваменос ступил на мостовую.

— Ваменос! — умоляюще крикнул вдогонку Гомес. — Что можешь ты сделать в одну минуту... — он взглянул на часы, — и сорок секунд?

— Вот увидите. Рамона!

Ваменос устремился к цели.

— Ваменос, берегись!

Удивленный Ваменос круто обернулся, увидел машину, услышал скрежет тормозов.

— Нет! — завопили пятеро друзей на тротуаре.

Услышав глухой удар, Мартинес содрогнулся. Он поднял голову — казалось, кто-то швырнул в воздух охапку белого белья. Он закрыл глаза.

Теперь он слышал каждый звук. Кто-то с шумом втянул в себя воздух; кто-то громко выдохнул. Кто-то задохнулся, кто-то застонал, кто-то громко взывал к милосердию, а кто-то закрыл руками лицо. Мартинес почувствовал, что сам он колотит себя кулаками в грудь. Ноги его словно приросли к земле.

— Я не хочу больше жить, — тихо сказал Гомес. — Убейте меня кто-нибудь.

Тогда, неуклюже покачиваясь, Мартинес взглянул на свои ноги и приказал им двигаться. Он наткнулся на кого-то из друзей — они все теперь двинулись вперед. Они пересекли улицу, тяжело и с трудом, словно перешли вброд глубоководную реку, и обступили лежавшего Ваменоса.

— Ваменос! — воскликнул Мартинес. — Ты жив?

Лежа на спине, с открытым ртом и крепко зажмуренными глазами, Ваменос тряс головой и тихо стонал.

— Скажите мне, о, скажите мне...

— Что тебе сказать, Ваменос?

Ваменос сжал кулаки, заскрежетал зубами.

— Костюм... что я сделал с костюмом... костюм, костюм...

Приятели нагнулись к нему пониже.

— Ваменос!.. Он цел!

— Вы лжете! — крикнул Ваменос. — Он разорван, он не может не быть разорван, он разорван весь... и подкладка тоже!

— Нет, — Мартинес стал на колени и ощупал костюм. — Ваменос, он цел, даже подкладка.

Ваменос открыл глаза и наконец дал волю слезам.

— Чудо, — рыдая, вымолвил он. — Славьте всех святых. — Он с трудом приходил в себя. — А машина?

— Сшибла тебя и скрылась! — Только сейчас Гомес вспомнил о машине и гневно посмотрел вдоль пустой улицы. — Счастье его, что он успел удрать. Мы бы его...

Все прислушались.

Где-то вдалеке завывала сирена.

— Кто-то вызвал скорую помощь.

— Быстро! — яростно выкрикнул Ваменос, ворочая белками. — Посадите меня! Снимайте пиджак!

— Ваменос...

— Замолчите, идиоты! — орал Ваменос. — Пиджак! А теперь брюки, брюки, побыстрее! Вы знаете докторов? Вы видели, какими их показывают в кино? Чтобы спясть брюки с человека, они разрезают их бритвой. Им плевать! Они сущие малявки. О господи, быстрее!

Сирена выла.

Друзья в панике все вместе бросились раздевать Ваменоса.

— Правую ногу, да осторожней. Побыстрее, ослы! Хорошо. Теперь левую, слышите, левую. Поосторожней! О господи! Быстрее! Мартинес, снимай с себя брюки!

— Что? — застыл от неожиданности Мартинес.

Сирена редела.

— Идиот! — стопал Ваменос. — Все пропало. Давай брюки.

Мартинес рванул ремень.

— Станьте кругом.

В воздухе мелькнули темные брюки, светлые брюки.

— Скорее, малявки с бритвами уже здесь. Правую ногу, левую ногу, вот так.

— Молнию, ослы, застегните мне молнию, — бормотал Ваменос.

Сирена умолкла.

— Madre mía, еле успели. Они уже здесь. — Ваменос вытянулся на земле и закрыл глаза. — Спасибо, ребята.

Когда мимо него проходили санитары, Мартинес, отвернувшись, с невозмутимым видом застегивал ремень белых брюк.

— Перелом ноги, — сказал один из санитаров, когда Ваменоса укладывали на носилки.

— Ребята, — сказал Ваменос, — не сердитесь на меня.

— Кто сердится? — хмыкнул Гомес.

Уже из машины, лежа на носилках с запрокинутой головой, так что все ему виделось вверх ногами, Ваменос, запынаясь, сказал:

— Ребята, когда... когда я вернусь из больницы... вы меня не выбросите из компании? Знаете что, я брошу курить, никогда и близко не подойду к бару Мурильо, зарекаюсь глядеть на женщин...

— Ваменос, — мягко сказал Мартинес, — не надо клясть. Запрокинутая голова Ваменоса с глазами, полным слез, глядела на Мартинеса в белоснежном костюме.

— О Мартинес, тебе так идет этот костюм. Compadres, да ведь он у нас просто красавец!

Вплянасул сел в машину возле Ваменоса. Дверца захлопнулась. Четверо друзей смотрели, как отъезжала машина.

А потом под надежной охраной друзей, в белом как снег костюме, Мартинес благополучно перешел мостовую и ступил на тротуар.

Придя домой, Мартинес достал жидкость для удаления пятен. Друзья, окружив его, наперебой советовали, как почистить костюм, а потом как его лучше отгладить не слишком горячим утюгом, особенно лацканы и складку на брюках. Когда костюм был вычищен и отглажен так, что снова стал похож на только что распустившуюся белоспелую гардению, его повесили на манекен.

— Два часа ночи, — пробормотал Вплянасул. — Надеюсь, Ваменос спокойно спит. Когда я уходил из больницы, у него был вполне приличный вид.

Мануло откашлялся.

— Никто не собирается надевать костюм сегодня, а?

Все гневно уставились на него.

Мапуло покраснел.

— Я только хотел сказать, что уже поздно. Все устал. Может, никто не будет трогать костюм сегодня, а? Дадим ему отдохнуть. Ладно? Где мы разместимся на ночь?

Ночь была душной, и спать в комнате было невозможно. Взяв манекен с костюмом, прихватив с собой подушки и одеяла, друзья вышли в коридор, чтобы подняться по лестнице на крышу. Там, подумал Мартинес, ветерок и можно уснуть.

Проходя по коридору, они мпновали десятки открытых дверей, где люди, обливаясь потом от жары, все еще не спали, играли в карты, пили содовую воду и обмахивались вместо вееров старыми книжурналами.

«А что, если?.. А что... — думал Мартинес. — Да так оно и есть!»

Четвертая дверь, ее дверь, была тоже открыта.

Когда они проходили мимо этой двери, красивая девушка подняла голову. Она была в очках, но, увидев Мартинеса, поспешно сняла их и накрыла книгой.

Друзья прошли мимо, даже не заметив, что Мартинес отстал, остановившись как вкопанный в дверях чужой комнаты.

Он долго не мог пропнести ни слова. Потом наконец представился:

— Хосе Мартинес.

— Селия Обрегон, — ответила девушка.

И оба снова умолкли.

Мартинес слышал, как его друзья уже ходят по крыше. Он повернулся, чтобы уйти, и сделал несколько шагов, но девушка вдруг торопливо сказала:

— Я видела вас сегодня.

Мартинес снова вернулся к ее двери.

— Мой костюм, — сказал он.

— Костюм? — Девушка умолкла, раздумывая. — При чем здесь костюм?

— Как при чем? — воскликнул Мартинес.

Девушка подняла книгу и показала лежавшие под ней очки. Она коснулась их рукой.

— Я очень близорука. Мне надо было бы всегда носить очки. Но я много лет отказывалась от них, я прячу их, чтобы никто меня в них не видел, поэтому я ничего

не вижу. Но сегодня даже без очков я увидела. Огромное белое облако, выплывшее из темноты. Такое белое-белое! Я быстро надела очки.

— Я же сказал — костюм! — воскликнул Мартинес.

— Да, сначала белоснежный костюм, а потом что-то совсем другое.

— Другое?

— Ваши зубы. Такие белые-белые.

Мартинес поднес руку ко рту.

— Вы были такой счастливый, мистер Мартинес, — сказала девушка. — Я еще не видела такого счастливого лица и улыбки.

— А-а, — ответил он, залившись краской, не в силах даже посмотреть ей в лицо.

— Так что видите, — продолжала девушка, — ваш костюм привлек мое внимание, это верно, как белое видение в ночи. Но ваши зубы были еще белее. А о костюме я уже забыла.

Мартинес снова покраснел. Девушка тоже была смущена тем, что сказала. Она надела очки, но снова поспешно сняла их и спрятала. Она посмотрела на свои руки, а потом куда-то поверх его головы в открытую дверь.

— Можно мне... — наконец сказал Мартинес.

— Что можно?

— Можно мне зайти к вам, когда снова придет моя очередь надеть костюм? — спросил он.

— Зачем вам костюм? — сказала она.

— Я думал...

— Вам не пужен костюм.

— Но...

— Если бы все дело было в костюме, — сказала девушка, — каждый смог бы стать красивым. Но я наблюдала. Я видела многих в таких костюмах, и все они были другими. Поэтому я и говорю, вам не надо ждать этого костюма.

— Madre mía, madre mía, — воскликнул счастливый Мартинес. А затем, понизив голос, произнес: — Но какое-то время костюм мне все-таки нужен. Месяц, полгода, год. Я еще не уверен в себе. Я много боюсь. Мне не так уж много лет.

— Так и должно быть, — сказала девушка.

— Спокойной ночи, мисс...

— Селня Обрегон.

— Мисс Селня Обрегон, — повторил он и исчез.

Друзья ждали Мартинеса на крыше. Когда он вылез к ним через чердачное окно, первое, что он увидел, был манекен с костюмом, водруженный в самом центре, а вокруг него — одеяла и подушки. Его друзья уже укладывались спать. Приятно дул прохладный ветерок.

Мартинес подошел к костюму, погладил лацканы и сказал почти про себя:

— Эх, саганба, что за вечер! Кажется, прошло десять лет с тех пор, как все это началось. У меня не было ни одного друга, а в два часа ночи у меня их сколько угодно... — он умолк, вспомнив о Селни Обрегон, о Селни... — Сколько угодно, — продолжал он. — У меня есть где спать, есть что надеть. Знаете что? — Он повернулся к друзьям, лежавшим вокруг него и манекена с костюмом. — Смешно, но в этом костюме я знаю, что могу выпргать, как Гомес, я знаю, что женщины будут улыбаться мне, как улыбаются Домингесу, и что я смогу петь, как поет Мануло, и говорить о политике, как Вильянасул. Я чувствую, что я такой же сильный, как Вамепос. Ну и что же, спросите вы? А то, что сегодня я больше чем Мартинес. Я — Гомес, Мануло, Домингес, Вильянасул, Вамепос. Я — это все мы. Эх...

Он постоял еще немного возле костюма, который выбрал в себя все их черты, привычки, характеры. В этом костюме можно было идти быстро и стремительно, как Гомес, или медленно и задумчиво, как Вильянасул, или плыть по воздуху, едва касаясь земли, как Домингес, которого всегда казалось, несет на своих крыльях попутный ветерок. Этот костюм принадлежал им всем, но и они тоже принадлежали этому костюму. Чем же он был для них? Он был их парадным фасадом.

— Ты ляжешь когда-нибудь спать, Мартинес? — спросил Гомес.

— Конечно. Я просто думаю.

— О чем?

— Если мы когда-нибудь разбогатеем, — тихо сказал Мартинес, — я не обрадуюсь этому. Тогда у каждого из нас будет свой собственный костюм и не будет таких вечеров, как этот. Наша дружба кончится. Все тогда станет другим.

Друзья лежали молча и думали о том, что сказал Мартинес.

Гомес легонько кивнул головой.

— Да... тогда все станет другим.

Мартинес лег на свое одеяло. Вместе со всеми он смотрел на манекен.

Неоновые рекламы на соседних домах вспыхивали и гасли, освещая счастливые глаза друзей, вспыхивали и гасли, освещая чудесный костюм цвета сливочного мороженого.

«ЧЕРЕП С СОВОЙ»

Эдвард Лориллард, преуспевающий владелец картинной галереи, откинулся в кресле, вытянув худощавое тело, положил ноги на стол и снял трубку зазвонившего телефона. Он рассеянно разглядывал кисть своей левой руки, пальцы которой гладили изящную безделушку — темно-зеленое полированное яйцо, сделанное из куска настоящего вайомингского нефрита.

— Вы, вероятно, читали газеты? — услышал он голос Одри Макалистер.

— Угу, — отозвался Эдвард Лориллард.

— Что вы думаете об этом?

— О чем?

— О Малербе, — сказала Одри так, будто только о Малербе и писали в тот день газеты.

— Ах, это... — сказал Эдвард, придав голосу пухлый оттенок безразличия.

Однако он сдвинул брови и его пальцы плотно обхватили безделушку.

— Даст это вам какую-нибудь выгоду?

— Нет, — ответил Эдвард. — У меня всего два-три рисунка и несколько ранних офортов.

— А у меня одна картина. И я только что надбавила пятьсот долларов к ее цене, вы представляете...

— Я представляю, — сказал Эдвард, и его пальцы сжались еще плотнее.

— Итак...

— Ну, заходите как-нибудь... — сказала Одри.

Эдвард повесил трубку, опустил ноги на пол и взял газету. Тень набежала на его самодовольное лицо.

Слова Одри о Малербе встревожили и даже испугали его. Он видел сообщение, но лишь вскользь пробежал его.

Но вот оно здесь, телеграмма из Парижа, почти на целую газетную колонку — событие такого значения, что весть о нем, конечно, уже распространилась в Лондоне и Стокгольме, в Цюрихе и Сан-Франциско, так же как и в Нью-Йорке. А вот я, подумал Эдвард, не проявил к нему интереса. Почему?

Суть сообщения состояла в следующем: Морис Малерб подтвердил слух, ходивший по Парижу в течение недели, о том, что он сжег семьдесят восемь своих картин. Накануне своего восьмидесятилетия он, по его словам, пересмотрел свои работы и пришел к выводу, что эти семьдесят восемь полотен были посредственными; он тут же запихал их в кафельную печь в своей мастерской и сжег.

Эдвард помнил эту печь, она давала хороший жар.

«Я полон сил, — приводились слова Малерба, — и могу создавать картины, когда захочу, но не все они удовлетворяют меня».

Перед взором Эдварда возник образ старика, выдающегося представителя парижской школы, одетого в строгий темный костюм с жилетом, в накрахмаленном высоком воротничке, любящего поговорить перед шеренгами полотен о жизни и искусстве... Никто, кроме Малерба, никогда не осмелился бы сказать, что он написал посредственную картину. В телеграмме приводились названия нескольких картин, уничтоженных Малербом. Большинство, конечно, было неизвестно, поскольку Малерб никогда не выпускал их из своей мастерской и лишь некоторые выставлялись. Взгляд Эдварда, скользнувший по списку, остановился на помере девять; там стояло — «Череп с совой».

Он поднял голову. Эту картину он знал, где-то он видел ее репродукцию. Эдвард встал и направился в кабинет, где он держал свои справочники.

В кабинете, расположенном в задней части Лориллард-Гэллера, беспорядка было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы кабинет был удобен. Это была красивая комната, отделанная светлым грушевым деревом, с кожаными диванами матово-желтого цвета и столами, уставленными вазами с взъерошенными белыми тюльпанами; на столах громоздились каталоги, плакаты, буклеты и путеводители по музеям — всевозможный рекламный «хлам», собранный со всего света. Эдвард любил это пагромождение, оно вселяло в него чувство уверенности, а память его

была такова, что он всегда знал, где что искать. Так и сейчас, он быстро нашел репродукцию «Череп с совой»: после двух неудачных попыток он вытащил «Каталог искусства» 1937 года и там, как он и ожидал, была репродукция картины.

Трудно было поверить, что старик съел ее. Она была настолько совершенной, настолько типично малербовской — красный грунт, толстые белые цвета, насыщенные черные, небрежный, пестрый рисунок. Эдвард положил книгу на стол и подошел к окну... Да, но где же ответ на вопрос: почему все-таки сообщение не произвело на него того впечатления, какое оно произвело на Одри Макалистер. Не в том ли дело, что он становится слишком сведущим в искусстве и потерял тот любительский энтузиазм, которым должен обладать каждый истинный маклер?

Это количество, семьдесят восемь, — вот что произвело впечатление на печать. И вполне естественно. Ни в одном музее мира не найдется семидесяти восьми картин Малерба. Вероятно, публика еще никогда не видела столько его картин одновременно. Десять-двадцать полотен, полных своеобразного, присущего только им блеска, выставленных в одном зале, — это зрелище, способное взволновать любого. А тут семьдесят восемь...

Чего публика не в состоянии понять, это плодовитости, творческой способности великих художников. Если он, Лореллард, не испытывает трепета восхищения перед всем, что происходит в мире искусства, значит, он погиб. Во всяком случае, как делец.

Эдвард снова сел за письменный стол и придвинул к себе каталог работ Малерба. Но, быть может, дело в другом, — думал он, — быть может, меня просто задело то, что неразборчивая в средствах хозяйка салона «Макалистер» сообщает быстрее, чем я?

Эдвард прилежало изучил все, что касалось этой картины; в течение получаса он вбирал в себя то, что можно было почерпнуть о ней из каталога; время ее создания, размер, краски, прием, какой был оказан ей в 1937 году. Погруженный в чтение, он внезапно вздрогнул, словно какая-то мысль осенила его или ему открылось что-то дотоле непонятное; он поднял глаза и устремил невидящий взор в пространство. Ха-ха, мысленно засмеялся он, это преподает мисс Одри Макалистер хороший урок.

Приблизительно через месяц в тихий ясный вечер Эдвард пригласил Одри пообедать с ним. Вскоре после семи он зашел за ней в ее салон, в районе восточных шестидесятих улиц, неся завернутый в бумагу предмет, который, учитывая обстоятельства, мог быть только картиной. Он нашел Одри в гостиной, расположенной в глубине салона. Одри сидела на светло-коричневом шелковом диване и читала газету. Это была очаровательная гостиная со стеклянными дверями, выходящими в сад, большим камном и, конечно, множеством картин: картины были развешаны по стенам и сложены в груды.

Если в цвете белокурых волос Одри можно было заподозрить некоторую искусственность, этого никак нельзя было сказать о ее лице. Тонкое и прекрасное, оно было спокойным и уверенным — лицо преуспевающего человека. Она пристально посмотрела на Эдварда поверх своих слишком массивных очков и, указывая на пакет, спросила:

— Это мне?

— Нет, — сказал Эдвард и опустился в свое любимое кресло. — Но здесь у меня нечто, способное позабавить вас, я думаю.

— Хотите чего-нибудь выпить?

Эдвард кивнул.

— Бокал мартини, наилучшего.

Он принялся развязывать пакет.

Одри обладала многими талантами, и приготовление мартини занимало среди них не последнее место. Ей повезло в одном отношении: отец оставил ей несколько боцпок вермута, припасенного им еще до войны — до первой мировой войны. Эдвард сделал глоток и зажмурился.

— Божественно, — сказал он, — когда барменов станут причислять к лику святых, вы будете первой.

Одри слова уселась на диван.

— Готова спорить, вы говорите это всем барменам, — сказала она. — Ну, а теперь позабавьте меня.

Эдвард достал сигарету.

— Я должен сделать небольшое вступление, — сказал он. — Помните, несколько недель назад мы говорили с вами о Малербе?

Одри насторожилась.

— Ну, то аутодафе, помните? — сказал Эдвард.

— Да-да, помню.

— После нашего разговора я перечитал статью более внимательно. И вот что поразило меня... Вы знаете, я бывал в мастерской Малерба, не очень часто, но бывал.

Одри кивнула головой.

— Я была там однажды. Такая уютная...

— Тогда, — сказал Эдвард, — вы должны помнить кафельную печку.

— Помню.

— В газете сообщалось, что именно в этой кафельной печке он и сжег свои картины.

— Да.

— Итак, о печке. Ее дверца не шире восемнадцати дюймов. Это не особенно большая печь.

— Верно.

— Так вот. Я не знаю размеров картин, которые он сжег. Возможно, они были малы, большинство из них. Но одно я знаю, не все они были малы; «Череп и сова» — три на четыре фута.

— Да, но... — начала было Одри.

— Я знаю, конечно, можно было пзрезать картины или отодрать холсты и сжечь их. Но я как-то не могу себе представить старика за этим занятнем. Он, несомненно, мог предать их огню, это так, но он не из тех, кто станет резать и рвать полотна. Вы можете допустить это?

— Нет, вы правы.

— Так или иначе, я решил выяснить. Я позвонил в Париж Жану Ломбарди и попросил его навести справки. И позавчера... — тут Эдвард стал разворачивать бумагу, закрывавшую картину, — меня пригласили в таможню, и вот что ждало меня там.

Патетическим жестом он снял покров с картины — это был «Череп с совой» Мориса Малерба. Одри наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть. Да, это была она, яркая и совершенная, с одним лишь изъяном: в верхнем левом углу виден был след огня, холст был опален и краска потускнела.

— Старик мог не учесть, — сказал Эдвард, — что картина не пройдет в печку, или он изменил свое решение, кто его знает. Быть может, нам так и не удастся узнать истину. Так или иначе, она здесь — и во всей своей красе.

Одри откинулась назад, скрестила руки и задумчиво покачивала головой. Эдвард улынулся.

— Забавно? — спросил он.

— Да, Эдвард, — сказала Одрп и поднялась. — Это гораздо забавнее, чем вы предполагаете.

Она подошла к шкафу, открыла его, достала картину, подошла к Эдварду и поставила ее рядом с его картиной.

Они были тождественны, или, вернее, почти тождественны, так как если у картины Эдварда был опален левый верхний угол, то у этой — нижний правый.

Теперь наклонился Эдвард и в свою очередь долго вглядывался в картину Одрп. Затем он выпрямился и закурил сигарету.

— Как это было зло с вашей стороны, — сказал он, — заставить меня рассказывать всю эту длинную историю про кафельную печку.

— Но как гадко с вашей стороны пытаться надуть меня, — сказала Одрп. — Эдвард, милый Эдвард, я полагала, что мы более надежные друзья. Не говоря уже о нашем соглашении о подделках.

— Не употребляйте этого слова, — сказал Эдвард, опасливо оглядываясь вокруг. — Кстати, а вы свою картину...

— Я собиралась показать ее вам. Но позже. Я не хотела портить вам обед.

Эдвард откинулся в кресле и потянулся.

— Если говорить о том, что я чувствую, то я чувствую себя круглым дураком.

— Ну, будет, — сказала Одрп, — я приготовлю вам еще один martini. После этого я хорошенько посмеюсь. А затем мы поговорим о деле.

Приятельские отношения между Эдвардом Лорпллардом и Одрп Макалистер были основаны на политике взаимного недоверия. Они длились более двух лет, если не считать нескольких незначительных отступлений.

Все началось, конечно, с обмана, но не сразу и не прямо, с обмана, возникшего в результате кратковременного соприкосновения с такой необузданной натурой, как непризнанный художник по имени Бен Говард.

Однажды Эдвард, идя по Третьей авеню, в районе семидесятих улиц, заметил в витрине антикварной лавки несколько картин. Эдвард не был столь наивен, чтобы искать на Третьей авеню выгодную сделку или шедевры искусства; и все же он остановился: взгляд его упал на одну из картин, которая поразила его. Войдя в лавку, он, с присущей ему осторожностью, принял скучающий вид, но через несколько минут, убедившись, что это не произ-

водит впечатления на продавца, согласился уплатить за полотно шестьдесят долларов. Он написал чек и десять минут спустя спдел в своем салоне и разворачивал покупку.

Он быстро убедил себя в том, что приобрел именно то, что предполагал. На картине была изображена охапка цветов, перехваченная шнуром, под цветами было несколько карандашных набросков — листьев и лепестков. Фон отсутствовал — тонкий холст оставался нетронутым и теперь, со временем, обрел насыщенный рыжевато-коричневый оттенок. Но сила рисунка и характерный мазок — излюбленных красных и нежных голубых тонов — не оставляли сомнений в том, что это незаконченный эскиз Огюста Ренуара.

Подобные вещи еще никогда не случались с Эдвардом. Он вставил картину в солидную раму, повесил ее в вестибюле салона, в выгодном освещении, и стал ждать, что произойдет.

Произошло то, что явился Бен Говард. Эдвард застал его однажды погруженным в созерцание Ренуара — хрупкая нервная фигура, в старом плаще, с приятным тонким лицом актера, или, быть может, танцовщика, с черной курчавой певелюрой, не знавшей иной гребенки, кроме пятерни. Заметив присутствие Эдварда, Бен Говард обратился к нему.

— Не можете ли вы сказать, сколько это стоит?

— Восемь тысяч пятьсот, — ответил Эдвард.

И тут с лицом Бена Говарда произошло нечто странное. Оно все озарилось улыбкой, отражавшей крайнее удивление и восхищение.

— Восемь тысяч пятьсот, — повторил он, словно не веря.

— Да, — сказал Эдвард, — хороша, неправда ли?

— Как бы нам... — перешительно начал Бен Говард. — Как бы нам поговорить где-нибудь с глазу на глаз.

Эдварду не оставалось ничего другого, как согласиться.

— Пожалуйста, пройдемте ко мне, — сказал он и провел его в свой кабинет.

Бен Говард начал без околпчностей.

— Когда я видел ее в последний раз, — сказал он, — на ней не было...

Эдвард прервал его:

— О, вы ее знаете?

— Да, это я принес ее в комиссионную лавку на Третьей авеню. Для продажи.

— Вот как, — сказал Эдвард.

— Я сейчас оттуда. Продавец сказал, что вы заплатили ему сорок долларов, и дал мне мою долю. Двадцать четыре доллара.

— Он соврал вам, — сказал Эдвард. — Я заплатил шестьдесят.

— Не удивительно, — сказал Бен Говард, — но все равно, для вас это была выгодная сделка.

— Пожалуй, да.

— Могут вас интересовать подобные сделки впредь?

— Возможно.

Бен Говард улыбнулся застенчиво и, быть может, снисходительно.

— Я хотел было сказать, что, когда я видел ее в последний раз, на ней не было этих инициалов. Я имею в виду эти О. Р. Они означают — Огюст Ренуар, по-видимому?

— По-видимому, — сказал Эдвард. — Великие художники иногда беспечны в отношении подписей на своих картинах. Но покупатель хочет быть уверенным в том, что он приобретает. Быть может, мне следовало сказать она. Женщины питают особенное пристрастие к подписям. Они верят в них.

Бен Говард кивнул головой.

— Так, понятно. — Он резко повернулся и направился к двери. — Я еще вернусь. Какое время предпочтительнее для вас?

— Утро, — сказал Эдвард.

— Утро, — повторил Бен Говард, и затем, обернувшись вновь, он широко раскрыл глаза и тихим шепотом произнес: — *Восемь тысяч пятьсот!*

Это было искушение.

Бен Говард явился через два дня и затем приходил еще и еще. Его работоспособность, как обнаружил Эдвард, была поразительной. В одну неделю из-под его кисти вышла изящная акварель Хуана Гриса и спирали и сплетения Кандинского. Более того, он обладал умом, граничащим с мудростью. Он не рисовал шедевров. «Шедевры, — сказал он однажды, — я оставляю самим мастерам. Мой удел — это эскизы, незаконченные рисунки, небольшие посвящения. При теперешних ценах, учтите, этого

достаточно». Так начался период счастливого сотрудничества между Эдвардом и Беном Говардом.

Подделки этой темной парочки переходили в руки любителей живописи и украсили стены многих богатых домов во Флориде, Арканзасе и Орегоне.

Но этот период оказался недолгим.

Большинство людей типа Бепа Говарда, копирующих и подделывающих картины мастеров, лишены не только их таланта, но и алчности. Но Беп Говард был не таков. Он стал запрашивать у Эдварда цены и требовать авансы таких астрономических размеров, что разрыв стал неизбежен; начались крики, ругань, взаимные обвинения, и они расстались навсегда.

Именно это обстоятельство неожиданно сблизило Одри Макалистер и Эдварда: Эдвард знал ее отдаленно уже несколько лет. Он имел обыкновение раз или два в неделю обходить другие художественные салоны, чтобы быть в курсе происходящих в городе событий. Как-то раз перед вечером, когда он был в ее салоне, дверь кабинета Одри распахнулась и оттуда выбежал возбужденный Бен Говард, направляясь к выходу. Вскоре вышла Одри, нахмуренная, явно расстроенная, и огляделась по сторонам, вероятно чтобы убедиться, что Бен Говард ушел. Эдвард наблюдал эту сцену с удобного места, скрытый от взоров.

Рой мыслей возник в голове Эдварда, но он действовал под влиянием порыва. Он подошел к Одри и сказал:

— Мне кажется, мы достаточно знакомы, чтобы я имел право пригласить вас пообедать со мной. Что вы на это скажете?

Не меня выражения лица, Одри ответила:

— Я была бы в восторге.

Этот обед, что бы ни явилось его причиной — сочувствие или алчность, стал началом военного союза между Одри и Эдвардом.

Именно она, к удивлению Эдварда, задала топ вечеру.

— Я иногда жалею, — сказала Одри за тарелкой супа, — что живу не в средние века.

— Почему же? — спросил Эдвард.

— Потому, что торговцам редкостями жилось тогда куда легче. Чего жаждали в те времена клепенты? Косточки святого и кусочка креста господня; этот спрос было нетрудно удовлетворить. В христианском мире было рас-

сеяно столько кусочков этого креста, что их хватило бы на постройку сарая.

— Моя дорогая. Мы бы жили припеваючи.

Одри кивнула в знак согласия.

— В то время как сейчас одна моя клиентка в Омахе буквально чахнет от неудовлетворенного желанья иметь картину Моне — и за хорошую цену, — чтобы украсить свою столовую.

Эдвард принял озабоченный вид.

— Видели вы новую картину Моне в Музее современного искусства? Ту, что четырнадцать футов на семь — скорее размеры комнаты, чем картины, не правда ли... Пойдите. Не найдется ли у меня Моне для вас...

Одри рассмеялась.

— Не беспокойтесь. Кстати, мне сегодня предлагали одного Моне. Ваш приятель, Бен Говард. Отвратительная личность.

Эдвард в изумлении поднял брови.

— Мой приятель?

Одри дерзко смотрела ему в глаза.

— Не прикидывайтесь, — сказала она. — Я покупала картины у Бена Говарда. Так же, как и вы.

Эдвард медленно перегнулся через стол и положил свою руку на руку Одри.

— Теперь, — сказал он, — мы приступим к делу.

Нечестивый альянс процветал. Они превратили его в своего рода оборонительный союз, целью которого было покупать дешево, сбывать дорого и избегать ненужной конкуренции. Это, конечно, значило, что Бен Говард был вне игры, так как горячность в этом деле была опасной. Многосторонность была единственным достоинством Бена Говарда. Между тем было немало других, столь же искусных людей, каждый в более узкой области, но зато обладавших замечательным свойством — скромностью. Гете был их святым покровителем. Гете, восхищавшийся трудом копировщиков, трогательно называвший его святой подделкой.

— В конце концов, — сказала однажды Одри, — какое имеет значение, кто рисовал картину, если она прекрасна? Главное в этом.

— В этом, — повторил Эдвард, — и быть может, еще в деньгах...

— И ведь глупо, вы понимаете, так презрительно осуждать подделку. Ох, уж этот девятнадцатый век с его

проклятой моралью. Вам, вероятно, известно, что Микеланджело подделал греческую статую. И люди не стали меньше почитать его из-за этого.

— Да, верно, — сказал Эдвард, — однако у Микеланджело даже подделка имеет определенную внутреннюю цепность... Нет, моя дорогая, не будем обманывать себя. Мы идем по теневой стороне улицы. Это постыдно, и с ней надо примириться или по крайней мере воспринимать ее мужественно... Ища одним глазом золотую монету в канаве, другой не надо спускать с представителей закона.

— Знайте одно, Эдвард, — сказала Одри, — я никогда не продаю бедным.

— Судя по ценам, которые вы устанавливаете, — сказал Эдвард, — я полагаю, что нет...

Конечно, за все время их содружества с ними не произошло ничего, подобного случаю с «Черепом с совой» Малерба. С одной стороны, они были в восхищении при мысли, что их разум действовал так четко и так в упор. Но, с другой стороны, они были встревожены — в конце концов они были в деле, а в деле таких вещей не должно быть. Они признали все совпадением и не стали размышлять о мотивах. Никакого подвоха в истории с картинками не было, они были выполнены разными художниками; Эдвард оналл свою, Одри свою.

Вопрос был теперь, что делать дальше. Благоразумнее требовало, чтобы одна из картин была уничтожена. Но которая? Одри была уверена, что лучшей была ее, Эдвард — его. Спор затянулся, как вдруг одна заметка в газете положила конец пререканиям.

Музей Мендэкса объявлял о предстоящем открытии выставки картин Малерба. «Мендэкс» был старинным и солидным музеем искусств, основанным пятьдесят лет назад Германом Мендэксом, и располагал опытными хранителями, приобретавшими хорошие картины, когда цены были низки. Теперь музей обещал показать — возможно, здесь сыграло роль сообщение о сожжении — большую экспозицию картин Малерба, как собственных, так и заимствованных из других музеев и частных коллекций.

— Ну, вот, — сказала Одри, — теперь мы сможем увидеть множество их одновременно — целое собрание картин Малерба — и решить, которая из наших ближе к ним по цвету и манере.

Оба они получили приглашение на открытие и отправились туда вместе. Публика была обычная: скромно одетые богачи и богато одетые бедняки, любящие искусство телевизионные звезды и тот особый тип людей, без которых попросту ничего не обходится. Все подходили друг к другу, и кое-кто подходил к картинам.

Эдварда и Одри ожидал сюрприз. Войдя в третий зал, они увидели прямо перед собой, в центре стены, вписанную отдельно от других картину «Череп с соевой», совершенную, неповрежденную, неопаленную.

Некоторое время они безмолвно смотрели на нее, потрясенные и очарованные. Затем Одри схватила руку Эдварда и судорожно сжала ее.

— Подумайте только... — сказала она, — подумайте, если бы мы...

Они подошли к картине и стали разглядывать табличку под ней. Там стояло «Недавнее приобретение. Куплена на средства музея».

— Я должен знать, — сказал Эдвард, — пойдете.

Они нашли древнюю мисс Нилл, помощницу хранителя, в ее кабинете; две розы и веточка папоротника, приколотые к груди, придавали ей требуемый обстоятельствами торжественный вид.

— Ах, это! — воскликнула она. — Ну, разве она не восхитительна? Мы считаем, что нам просто повезло. Видите ли... — она улыбнулась и кивнула кому-то, — простите... считалось, что Малерб уничтожил ее, но это не так. Это довольно длинная история. Молодой американский художник, живущий по соседству с Малербом, явился к нему на другой день после... — ей не хотелось произносить слово *сожжение*, — и увидел «Череп с соевой». Он тут же купил ее. Кажется, Малерб намеревался сжечь ее, но что-то произошло, либо он изменил свое намерение, к нашему счастью. Нам, возможно, никогда не удастся выяснить, что же произошло. Но это еще далеко не вся история. Как-нибудь, когда я буду не так занята...

— Как зовут этого американского художника? — спросила Одри.

— О, — сказала мисс Нилл, — вряд ли вы когда-либо слышали о нем. Он почти не известен. Его зовут Бен Говард...

На улице Эдвард сказал:

— Хорошо, что же нам теперь делать?

— Пойдемте в Мет*, — сказала Одри. — Я любительница искусства, и мне хочется посмотреть настоящую живопись старых мастеров.

Вечером, после обеда, они сидели на светло-коричневом диване Одри, перед уютно горящим каминном. Кофе был выпит; Эдвард молча вертел в руках бокал арманьяка.

Наконец он спросил:

— Сейчас?

Одри пожала плечами.

— Чего же ждать?

Он встал, подошел к камину. По обе его стороны, прислоненные к стене, стояли их копии «Череп с совой».

— Сначала моя, — сказал Эдвард и бросил свою картину в огонь.

— По крайней мере уместилась, — сказала Одри.

Эдвард бросил в камин картину Одри и вернулся к дивану. Оба сидели молча, наблюдая, как пламя пожирает полотно.

— Столько труда, — сказала Одри, — столько планов! Но ничего. Все, кажется, обернулось к лучшему.

— Пожалуй, — сказал Эдвард.

— Одно ясно. С Беном Говардом покончено. Если он настолько глуп, чтобы продавать музеям, где эксперты исследуют и задают вопросы, то поверьте, рано или поздно...

— Он попадется, — сказал Эдвард, откидываясь на спинку дивана. — Но вот что... — Эдвард задумался. — Меня смущает сама картина. Она настолько превосходит обе наши. И настолько превосходит все когда-либо созданное Беном Говардом... Вы не допускаете возможности, что...

— Что она подлинная? — В голосе Одри послышалось сомнение. — Боюсь, вы его недооцениваете. Но допустим, что это так. Все равно он нам не страшен, даже если он торгует подлинными картинами.

Эдвард рассмеялся. Он поднял свой бокал и передал Одри ее.

* «Метрополитен музей оф арт», крупнейший музей искусств в Нью-Йорке.

— Давайте поднимем тост за Бена Говарда, — сказал он.

— Идет, — сказала Одри. — Да. Мы многим ему обязаны.

— Если бы не Бен Говард, — сказал Эдвард, — мы не сидели бы сейчас здесь, невредимые и грешные, положив ноги на стол..

Одри улыбнулась и подняла бокал.

— Размышляя о будущем...

САНТА-АНА

Всю ночь с моря полз туман, окутывал холмы, наполнял собою сад, а под утро улегся у самой двери, как добродушный загулявший призрак, не успевший исчезнуть вместе с ночью. Когда Кэрри открыла окно, она едва могла разглядеть в саду маленький столик и два старых стула, мапвших к себе так же, как они тщетно машили ее по утрам, когда бывало ясно и солнечно.

— Ну, все равно, — пропзнесла она.

Она разговаривала с собой вслух, и это не смущало ее и не казалось странным; она сознательно наслаждалась этой своей забавной привычкой. Кэрри жила одна шесть лет, с тех пор как умерла ее мать, и тишина порой становилась ей невыносима. «Но я вовсе не чудачка. Просто я довольна жизнью. У меня есть свои развлечения». «Довольна», — думала она, но какое-то суеверное чувство мешало ей произнести это слово вслух.

Кэрри вскипятила воду для чая, согрела фарфоровый чайник и заколебалась, глядя на ярлыки двух жестянок с чаем.

— Сегодня мой выходной день, — сказала она и заварила полную столовую ложку черного дейлонского чая; она любила крепкий и густой чай, смешанный с молоком и медом. Мать считала это излишней роскошью, поэтому такой чай они разрешали себе только по воскресеньям. В будние дни пили душистый пастой из ромашки или из смеси других трав.

На одну из лучших тарелок Кэрри положила сочную грушу, маленький плод папайи, мандарин и поставила чашечку с семенами подсолнуха.

Перед зеркалом, висевшим в кухне, она повязала шарфиком свои густые светлые волосы и стала разглядывать

свое лицо. Некрасивое. Да, некрасивое. Но годы заменили его мало, оно, как и прежде, дышало здоровьем и силой.

«Будь благодарна за это, — говорила ей мать. — Красота — это просто тяжкое бремя искушений».

А Кэрри только вздыхала, думая о том, какое огромное преимущество эти искушения.

— Подумать только, до чего я была наивна, — сказала она вслух, чувствуя себя умудренной опытом других женщин. Весь день женщины, которым она делала массаж, вместо того чтобы отдыхать, рассказывали ей мельчайшие подробности своей жизни. Наслушавшись их, поневоле станешь разносторонне опытной!

Эта мысль заставила ее улыбнуться. Она вынесла в сад тарелку с фруктами и чай. Застегнув шерстяную кофточку на все пуговицы, она села за стол и как бы окунулась в густой, бесформенный туман.

— Я — в облаке, — сказала она тихо.

Пар от чая смешивался с туманом. Она ела фрукты и испытывала чувственное удовольствие, как путешественник в экзотической стране. Она допила чай, ощущая его аромат и согревающее тепло, но не спешила уходить из этого укромного осязаемого мирка. Из ветвей акации донеслась длинная трель пересмешника и внезапно оборвалась. Кэрри посмотрела на чашку и опять подумала, что ей хорошо, но при этой мысли ощущение удовольствия внезапно улетучилось, оставив ничем не прикрытое одиночество. Это было всегдашнее недвижимое одиночество, но сейчас оно представилось ей какой-то новой стороной жизни, которую ей словно предназначено было узнать именно сегодня. «Вот уж неуместно это в моем возрасте», — сказала она себе, потому что то была тоска юности, боль, пустота, в которой ее беспорядочные мысли отдавались эхом, как автомобильные гудки в туннеле, пронзительные и в то же время печальные. Она встала, ощущая и грусть, и какую-то неловкость, и холодную сырость, пробирающую ее до костей.

Шальной порыв ветра грубо встряхнул листья на кустах жасмина и устремился дальше, бесцеремонно оттепняя морской воздух обратно к морю. Казалось, ветер пришел из той же неизвестной дали, что и ее одиночество. Она ждала. Стало совсем тихо. Поредевший, кое-где повисший клочьями туман неуверенно колыхался в воздухе. Теплый легкий ветерок пролетел по саду, неся с собой

дикие ароматы. Туман рассеялся совсем. Мимо пролетело небольшое облачко пыли. День быстро преобразался. Его яркий свет уже слепил глаза. Это утро, как никакое другое, было проникнуто первозданной таинственностью самого первого утра на земле. Кэрри вдруг почувствовала, что больше не вынесет, — это утро было исполнено какого-то огромного смысла, которого она не могла понять.

Когда санта-ана дует из Могаэвской пустыни, лежащей на расстоянии двести миль, люди, шагающие по улицам города, чувствуют, как их, словно лассо, охватывает теплый и мягкий ветер. Воздух кажется лучезарным. Атмосфера в городе становится необычной, неуловимо волнующей. Людей покидает напряженность, они смягчаются. чувствуют себя помолодевшими, им дышится легко, им радостно сознавать, что они живут, и чуть грустно от того, что уж который раз они тупо принимают все это на веру. Ласки и поцелуи ветра похожи на прикосновение цветочных лепестков, и люди начинают ощущать влюбленность — влюбленность в жизнь; это первобытное чувство, поднявшееся из глубин всех веков, так необычно, что даже немножко пугает людей, но ветер опять успокаивает их, и остается только легкое, неясное беспокойство. Они перестают быть такими, какими привыкли себя считать, пока не стихает ветер, — тогда они снова надевают свои привычные защитные маски. Иногда ветер дует и днем, и ночью. Эта пора проникнута странным очарованием, как будто любовь пришла без любимого.

Кэрри неохотно взяла корзинку, где лежали аккуратные тряпки и щетки, и пошла в маленькую чистую комнату, отведенную для работы. Протирая стекло, покрывавшее ее диплом, она прочтала свое имя, как будто увидела его впервые. «Кэрри Хаген». Слово какая-то посторонняя, а может, и вовсе незнакомая жепщина. «Массажистка». Как странно! Она стала рассматривать свои руки, такие тонкие и хрупкие, что по их виду и не догадаешься о той силе, которой они обладают. Не станут ли они завтра неловкими после сегодняшних раздумий?

Окно вдруг распахнулось, и, когда она хотела закрыть его, озорной порыв ветра вырвал створки из рук и хлопнул ими, потом тихонько приткрыл окно снова. Комнату наполнили какие-то незнакомые вкрадчивые запахи. Кэрри стояла как зачарованная, и, неизвестно почему, горло ее сжалось, а на глазах выступили слезы.

Ей вспомнилось, как мать внушала ей в юности: «Быть занятой, Кэрри, это лучшее лекарство от безответственных эмоций». Кэрри посмотрела на часы и снова принялась за работу, подавляя чувство одиночества. Впереди маячил целый день, лишенный привычного распорядка; он казался ей чем-то вроде бега с препятствиями. Ей не хватало разумного материнского руководства, как, впрочем, и ее клиентам тоже. Мать приветливо встречала и провожала женщин, выслушивала их жалобы на мигрени и прочие недуги и хвасталась в ответ своим здоровьем, а порою, чтобы хоть как-то их утешить, с очаровательной живостью сетовала на свою старость. Женщин, приходивших впервые, поначалу привлекала Кэрри, но уходили они, очарованные ее матерью. То же самое было и с единственным молодым человеком, который посещал их. После смерти матери некоторые клиентки перестали приходить совсем. Когда Кэрри, наконец, совладала со своим горем, она дала объявление в газету, и ее книжка для записи клиентов стала заполняться снова, а потом появились и скромные доходы.

Однажды мать посоветовала ей: «Когда я умру, Кэрри, а ведь когда-нибудь я должна же умереть, пиши перед своим именем «миссис», как будто ты вдова. Женщине так безопаснее. Помни, дорогая, что умерший муж более надежная защита, чем никакой».

В свой последний день рождения Кэрри, так и не поставив «миссис» перед своим именем, поняла, что нашла свою тихую пристань. Ей было так уютно и безопасно в этом одиночестве, что она и не мечтала ни о какой другой жизни.

Сегодня все было иначе, но это ведь только потому, что подул ветер санта-ана.

Кэрри отвернулась от окна и принялась вытирать пыль, стелить чистые простыни, вешать полотенца, доставать бумажные туфли. И туфли, и бумажные полочки, и таблицы по анатомии на стене скрутились от сухости.

Кэрри оторвалась от работы, чтобы поторопиться перекусить, и, жуя на ходу, остановилась у кухонной двери и стала смотреть в сад.

На дерево шумно опустилась стая перелетных птиц. Птицы, щебеча, что-то быстро клевали, словно им было так же некогда, как и ей. Одна из них улетела в кусты лаптаны. Кэрри взяла свой дешевенький японский би-

нокль и долго следила за птицей, проголодавшейся странницей, твердо знающей, что ей нужно и куда ей лететь. Совершенство этого пернатого существа внушало благоговейный страх. И слова ее охватило то же острое, невыносимое ощущение, что и утром. Она едва удержалась от искушения броситься в сияющее марево, дрожавшее над землей.

Рассеянная, словно околдованная, Кэрри взяла корзину и потащила за собой пылесос в гостиную. Электрический ветерок высушил ее волосы, пряди выбились из-под парфика и упали на лицо. Ей казалось, будто у нее стяжута вся кожа на теле. И все-таки ей стало весело при мысли, что, поторопившись с уборкой, она еще успеет до захода солнца прокатиться вдоль берега моря.

Раскладывая в строгом порядке журналы, Кэрри услышала звонок, и в глазах ее появилась досада, хотя с губ еще не исчезла нежная улыбка от мысли о том, как она вырвется из дома.

Незнакомый мужчина, слегка озадаченный странным выражением ее лица, нерешительно опустил на пол чемоданчик с товаром, потом снял шляпу.

— Добрый день, мам, — сказал он с легким акцентом, который она не могла определить.

Его церемонный жест напомнил ей давние рыцарские времена — такой редкостью были шляпы в этом южном климате, где не признавали никаких церемоний. Из-под шляпы, словно вырвавшись из тесной клетки, появилась жесткая копна рыжих волос. Глаза у мужчины были рыжевато-коричневые, и такие же рыже-коричневые веснушки покрывали его загорелое лицо.

У Кэрри мелькнула мысль, что он похож на мохнатого безвредного зверька, каких встречаешь в лесу, и она стояла неподвижно, глядя на него, даже не ответив на его вежливое приветствие.

— Не интересуют ли вас шарики от моли или жидкость для опрыскивания? Есть порошки от тараканов, муравьев, древесных червей.

Мягко выпевая эти слова, он открыл чемоданчик.

— Входите, — сказала Кэрри; ей не хотелось, чтобы соседи видели, как она что-то покупает, поддавшись на уговоры разносчика.

Удивившись, он вошел.

— Мне нужны шарики от моли, если они хорошие и не очень неприятно пахнут. Не люблю, когда от вещей пахнет нафталином.

— А это не обязательно, — просто сказал он. — Приятный запах убивает их не хуже, чем плохой.

— Все в мире обманчиво, — заметила Кэрри.

— Наука, — объяснил он. — Теперь наука всюду.

Он подал ей свою карточку; Кэрри положила ее на пианино и предложила ему сесть, чтобы было удобнее доставать из чемодана жестянки и пузырьки. Он опустился на табурет у пианино. Выходя за деньгами, она услышала, как он взял тихий аккорд. Пианино было расстроенное; она не играла на нем много лет, да и тогда играла неважно, но голос у нее был приятный, и она любила петь для подруг, пока все они не вышли замуж; и постепенно не отошли от нее совсем — их не устраивало ее одиночество.

Когда она вернулась в комнату, он быстро снял руки с клавиатуры и снова повернулся спиной к пианино.

— Вы играете? — спросила она.

— О, чуть-чуть, и уже давно не садился за пианино.

Внезапно налетевший теплый ветер распахнул где-то наверху окно, наполнил собою комнату и умчался дальше, сильно встряхнув весь дом.

— Ох! — воскликнула Кэрри, потом добавила: — Может, вы что-нибудь сыграете?

— О нет, мэм. Мне бы не хотелось отнимать у вас время.

— А я и не позволю, — засмеялась она. — Я буду заниматься своим делом.

— Вы уверены, что это вам не помешает?

— Господи, конечно нет.

Этот человек был явно безопасен, и если он поиграет, это доставит удовольствие им обоим.

— Ну, хорошо, я попробую изобразить вам нечто вроде песенки.

— Вы выступали на сцене?

Он засмеялся.

— Мне это и во сне не снилось. Но когда я был мальчишкой у себя на родине, мы часто пели.

Она не решилась спросить, где это было, испугавшись, что и без того уже держится с ним слишком по-дружески.

Чтобы скрыть свое смущение, она поспешила в кухню и принялась тереть тряпкой чистый линолеум. Еще больше смутившись от своего притворства, она вернулась в гостиную и занялась уборкой, не обращая на него внимания.

Он играл по слуху, подбирая аккорды, потом спел две веселые песенки. Голос у него оказался хороший. Когда он запел третью песню, она присела на стул и стала смотреть ему в лицо, сиявшее таким оживлением, что она невольно улыбнулась ему, а он, не переставая петь, улыбнулся в ответ, как будто они были старыми друзьями. Кэрри встала и начала вытирать пыль с жалюзи.

Он спел две печальные старинные песни, — одна из них была ей знакома. Мать часто пела эту песню, качивая ее в детстве. В этой песне говорилось о юноше, который заколол свою возлюбленную, потому что считал ее неверной. Припев был медленный и заунывный:

«О Эдвин, я тебя прощаю,
Тебе верна я, видит бог!
Любя тебя, я умираю».
То был ее последний вздох.

Как она любила в детстве эту песню, какие яркие и страшные образы вставали в ее полусонном воображении!

— Подумать только! — воскликнула она, бросившись к пианино.

Они вдвоем пропели все многочисленные куплеты и часто повторяющийся припев этого грустного и сентиментального романса о разбитой любви, и, когда дошли до конца, он повернулся на табурете, посмотрел на нее, и оба засмеялись. Он снова повернулся к пианино и заиграл все тот же припев. Она пела, стоя сзади и глядя на его густые рыжие волосы, на эту мужскую голову, удивлялась и чувствовала себя еще более одинокой.

Следовало бы отойти, но она не могла, и, как будто почувствовав это, он перестал петь, заиграл какую-то веселую мелодию, по тут же встал и взглянул ей в лицо. Это было неожиданно, и Кэрри поняла, что он успел увидеть на ее лице то же нежное выражение, которое она подсмотрела у него, когда он пел, и которое он постарался согнать с лица так же быстро, как и она сейчас.

Она отвернулась и схватила металлический кувшин с ветками лимонного дерева. Внезапный электрический

разряд щелкнул в тихой комнате, и Керри испуганно отдернула руку.

— Меня ударило током! — воскликнула она. — Я только хотела налить сюда свежей воды!

— Вот, скажем, эта искра, — произнес он тоном лектора, безразлично глядя на нее. — Такие же искры возникают между двумя людьми, без всякого предупреждения. Ученые никогда не смогут это объяснить.

— Нет, пожалуй, смогли бы. Ведь это не что иное, как электричество.

— Да, но не у всех одинаковая частота. Вероятно, каждый из нас имеет свой собственный тонкий вибрационный уровень, свой собственный ритм, который просто не гармонирует с каждым Томом, Диком и Мэри.

— Молодые люди думают, что это любовь, — сказала она быстро и испуганно, — но мы знаем, что на такие вещи нельзя полагаться.

— Прошу прощения, мэм, но мы ничего не знаем об этом. Хотя, — добавил он вежливо, — в каком-то смысле вы, конечно, правы. — Он увидел, что она покраснела. — Но есть разные степени восприятия этих токов, и иногда на это вполне можно положиться.

Ветер дул во всю силу. Деревья за окном гнулись и шумели, как бурная река.

— Я уверен, что есть ученые, которые сейчас работают над этим. — Он ударил по черной клавише в высоком регистре, как бы выражая насмешливый протест. — Если бы они сумели уничтожить всякие лишние побуждения, что порождаются этими токами, тогда появились бы прочные союзы, рождались бы хорошие дети, одним словом, от этого практически была бы польза.

— О боже, — засмеялась она, благодарная ему за то, что он понял, как ей неловко, и постарался переменить тему разговора.

Он посмотрел на нее серьезным, долгим взглядом и продолжал, как будто она освободила мысли, которые он держал про себя.

— В каждом почтовом отделении висели бы таблицы различных человеческих типов. И плакаты: «Вступайте в брак с типом, соответствующим вашему, и уничтожайте никчемные примитивные чувства», или «Икчемные душевные качества». Когда-нибудь будут специальные

лаборатории, где человек, мучимый любовными токами, сможет избавляться от избытка электричества.

— Значит, вы все-таки верите, что электричество — это часть любви? — спросила она холодно.

— Конечно, мэм, это ее часть. Но я плохо представляю себе, что такое любовь в целом. А вы?

Отвернувшись, Кэрри уверенно сказала:

— Теперь ведь боишься слово сказать — как бы это не разошлось с наукой. Но наука и сама все время меняется!

— Это единственная наша надежда! Наука — прекрасная вещь, когда она на своем месте. Но те же соображения и доводы, что когда-то освободили разум, могут в конечном счете ограничить его. Впрочем, это неважно; в подобном случае кто-то или что-то ломает старое. Чтобы построить новое, нам понадобятся новые концепции.

— О, я с вами согласна! Но откуда вы взяли все эти мысли?

Он постучал себя по лбу.

— Отсюда. Кроме того, я большой любитель чтения. Сидеть в тихом зале библиотеки, где слышен только шелест переворачиваемых страниц... вы когда-нибудь бывали там, мэм?

— Только один раз, — сказала она, тут же решив пойти туда снова.

Она должна была закончить уборку уже часа два назад, но это ее не беспокоило. Она думала только о том, как бы снова вызвать его на этот ужасный разговор, который в некотором смысле был даже приятным. А может, он просто любит поболтать? Эта мысль вызвала у нее недоверие к нему, и она почти рассердилась. Почему он не уходит?

Но вместо этого он снова начал играть.

Сама того не сознавая, она стала тихонько папевать эту мелодию.

Он вдруг повернулся к ней лицом и посмотрел на нее с веселым одобрением — так еще никто на нее никогда не смотрел.

— Вы папеваеете этот мотив!

— Разве?

— Я сочинил его прямо сейчас, когда играл! Я думал совсем о другом.

— Я тоже, — сказала она тихо.

— Это замечательно! — Он глядел мимо нее и говорил куда-то в пространство. — Значит, так оно и есть. Все ясно.

— Что вам ясно?

Острое восхищение на его лице уступило место нежности.

— Ну что за женщина! Просто прелесть! — Эти слова он произнес с сильным иностранным акцентом. — Что мне ясно? Очень разоблачающий вопрос. Он дает мне смелость спросить... — Он остановился.

Она ждала. Тишина как бы свернулась кольцом вокруг них, не выпуская из своих объятий.

Кэрри чувствовала себя отверженной, несчастной, ей хотелось сказать: «Да, да, приходите еще!» А что тут плохого? Она украдкой взглянула на него и увидела, что он взволнован и смущен. Как славно! Ей хотелось торжествующе засмеяться, но она боялась. Нахмурившись, она рассеянно коснулась металлической вазы. Щелкнул электрический разряд, и ее охватило чувство виноватости.

— ...смелость спросить... — Следующие слова он произнес скороговоркой: — Вы замужем, мэм?

Этот неожиданный вопрос еще больше смутил ее, но она понимала, что ее ответ ровно ничего не значит. Она должна молчать — ведь в эти минуты полного внутреннего слияния он непременно поймет, что у нее на душе.

Она смутно сознавала, что уже наступили сумерки и что он с беспокойным нетерпением ждет ее ответа. Даже воздух, окружавший их, казалось, был полон значения. Ей хотелось вместо ответа протянуть руку и притронуться к нему, но она не могла шевельнуться. Неужели он не угадал ответа, когда они пели вместе? Разве ее молчание не красноречиво? Но он все еще ждал, и в напряженном взгляде была неуверенность. А она не могла заговорить.

Без всякого умысла Кэрри посмотрела на открытый чемоданчик с ядовитыми и ароматическими снадобьями и, словно он мешал ей ответить, отступила назад, быть может делая усилие, чтобы преодолеть чувства, сковавшие ей язык.

— О, прошу прощенья, мэм, — сказал он вежливо и гордо. Вскочив с места, он захлопнул чемоданчик и взял шляпу. Он — иностранец, отверженный...

— Мы, валлийцы, мастера петь, — небрежно и как бы чуть пзвываясь, засмеялся он.

Он стремительно вышел на улицу, и когда она, поняв, что случилось, бросилась к двери, его машина уже удалялась.

Если бы она знала его имя, она бы побежала вслед, позвала его и сломила бы гордое достоинство этого незнакомца. «Герет Дэвис! Гвилим Морган!» — или еще какое-то валлийское имя.

Она подбежала к пианино, чтобы взглянуть на его карточку, но ее там не оказалось. Он забрал ее в тот момент, когда она, как ему показалось, многозначительно взглянула на чемодан. Как больно, что она обидела его! Она стояла в сумеречной комнате, думая о том, был ли он здесь и вообще было ли все это на самом деле. Она провела рукой по клавишам — они были еще теплые.

К ночи переменчивый, насыщенный электричеством ветер санта-ана дул из Могэвской пустыни во всю силу. Резкие порывы перемежались с таинственной тишиной. Перед сном Кэрри вышла на балкон и долго вглядывалась в прозрачную, полную жизни ночь. Мимо, по пути в никуда, беспокойно протрусила собака. С холма по мощеной дороге катилась пустая жестянка. Уличные фонари казались прекрасными, как звезды, что сияли в чисто выметенном ветром небе. Потрескивание пересохшего дерева в комнате за ее спиной напоминало осторожные, крадущиеся шаги.

Блеклый свет луны пронизывал темноту и освещал ее пальцы без колед, крепко сжавшие перила.

Внизу большие зеленые листья бананов, вчера еще целые, были рассечены и стали похожи на бахрому; они бились о стены дома с глухим дробным стуком и отбрасывали пляшущие тени. Ветер раскачивал их взад и вперед, и они то скрывали, то обнажали жалкие, несъедобные плоды.

Кэрри легла в постель, но не могла уснуть, томясь от ощущения пустоты и отчаяния. Ветер пес с собой сухой, таинственный аромат незнакомой земли. Он проникал в ее мозг, не давал закрыться векам, расшатывал замки и сотрясал двери ее мудрости.

Она встала и, вернувшись на балкон, стала смотреть вниз, на пустынную улицу, залитую лунным светом и испещренную теньями деревьев. Мрачные темные дома вы-

сились по обе ее стороны, как древние скалы вдоль псевдомой реки. Кэрри чувствовала себя частью этой ночи, чуждой и все же чем-то знакомой, мозг ее жалгли странные мысли; дикое неистовство, такое же, как неистовство этого коварного древнего ветра, поднималось в ее душе.

Она сбежала вниз и нашла банку с шариками от моли; на банке стояло его имя. Кэрри потушила лампу и тихо спдела в темноте, непривыкая чувствовать себя красивой, быть может, влюбленной и даже — любимой.

УЕХАЛ В ГОРОД

Я добрался до города около трех часов. Мне пришлось выехать рано. Стоял конец сентября; сквозь густую пелену тумана, стлавшегося по земле, у реки, пониже моста, куда мы с братом так часто хаживали на рыбалку, маячили верхушки ив; на руле велосипеда тускло поблескивали капли росы. Я осторожно спустил велосипед с крыльца, стараясь не разбудить отца и Дженни, которые должны были хватиться меня не раньше, чем найдут на кухонном столе записку, из которой узнают, что я уехал в город навестить брата.

Я прекрасно понимал, что отец будет сердиться, так как он до сих пор и слышать не хотел о Клиффорде, хотя прошло уже более двух месяцев со дня, когда между ним и Клиффордом произошла размолвка. Отец потребовал, чтобы Клиффорд начал работать в лавке, поскольку он окончил школу и ему исполнилось семнадцать, но Клиффорд отказался. Вместо этого он откликнулся на объявление в газете, в котором химическая фирма подыскивала учеников, забрал из банка свой капитал (семь долларов девятнадцать центов), сел на автобус и укатил — без проложатых и пожеланий счастливого пути. С тех пор я Клиффорда не видел.

Я начал уставать. С момента, когда на окраине Абботсфорда у сыроварни Галлоуэя я свернул на шоссе, я проехал уже более пятидесяти трех миль. Позади остались залитые солнцем поля с пятнами облаков на них и воздух, напоенный пряным утренним ароматом деревьев и начавшей желтеть листвы. Подъехав к тротуару, я выпнул полученное от Клиффорда письмо и еще раз проверил номер дома. Теперь было уже недалеко, и я поехал вдоль

тротуара, прислушиваясь к шуршанию листьев под колесами велосипеда.

Дом, у которого я остановился, был одним из солидных старых домов, ряды которых украшают улицы западной части Ванкувера; окрашенный в радующие глаз чистые кремово-коричневые тона, он был даже красивее, чем большинство из них. Я соскочил с велосипеда и прошел в ворота. Отстегнув от багажника сверток, я поднялся на крыльцо и позвонил.

Дверь приоткрыла женщина, не очень старая, но седая и в очках.

— Скажите, мэм, здесь живет Клиффорд Бартон?

— Да. Только его сейчас нет.

— Я его брат.

— Вижу, вижу.

Казалось, она не знает, что бы она могла сказать мне еще.

— Я только что из Абботсфорда, где мы живем. — С этими словами я показал ей на синюю машину у крыльца. — Я приехал на велосипеде.

— Это ведь очень далеко.

— Да, это не близко.

Женщина продолжала стоять в дверях, не трогаясь с места, и я понял, что это неспроста.

— Вот уж два месяца, как я его не видел.

— Какое интересное совпадение, — заметила она. — Только вчера он рассказывал мне о всех своих братьях, и вот сегодня...

— Этого не может быть, мэм. Кроме меня, у него нет братьев... только сестра.

И тут только я сообразил, что женщина хотела проверить, действительно ли я брат Клиффорда. Она поняла, что я разгадал ее уловку.

— Простите, пожалуйста, — сказала она и улыбнулась. — Нужно быть очень осторожной. — С этими словами она чуть-чуть приоткрыла дверь. — Может быть, вы зайдете к нему? Он будет дома около шести.

Я вошел в переднюю. Она закрыла дверь и повела меня вверх, в комнату брата. Мы поднялись по двум пролетам винтовой лестницы, устланной ковровой дорожкой. Открыв двери, она впустила меня в комнату, сама же остановилась на пороге.

— Наверное, вы проголодались?

— Благодарю. У меня была курица и молоко, и я перекусил по дороге.

Некоторое время женщина с любопытством смотрела на меня, дружелюбно улыбаясь.

— Вы не очень-то похожи на брата.

— Возможно. По крайней мере почти все утверждают это.

— По-моему, вы младший, правда?

— Мне уже пятнадцать. Недавно исполнилось.

— Ну что ж. Если вам что-нибудь будет нужно — я внизу.

Она уже начала закрывать дверь, но вдруг вернулась.

— Ванная напротив, в коридоре.

С этим она наконец закрыла дверь, и я услышал, как она сошла вниз. Я присел на край постели и огляделся. Небольшая комната была чистенькой и светлой. На полу — линолеум, на обоях — белые цветы. В углу — небольшой буфет, рядом — столик с клеенкой, на столике маленькая электроплитка, на ней чайник. Там же — два белых деревянных стула. В углу напротив, в стене, — шкаф с дверцей; подо мной на кровати — яркое стеганое одеяло.

Два окна над парадным крыльцом выходили во двор. Там, на крыше, чирикали и щебетали птички. Листья на кленах вдоль тротуара, на противоположной стороне улицы, желтые, светло-коричневые и ярко-зеленые, шурша, падали один за другим на землю с негромким, но отчетливым стуком, будто были вырезаны из бальзы.

Ноги и спина мои ныли от усталости, и я растянулся на кровати и бездумно уставился в потолок, так, как дома в то утро, когда ко мне вошел брат. Он уже успел одеться: на нем была светло-голубая рубашка и каштановый галстук, который я подарил ему в день рождения. Я никогда бы не подумал, что он собрался уезжать, но он сказал: «Я ухожу, Пат. Будь осторожен. Напишу». И исчез.

Даже не попрощавшись с отцом (вряд ли, конечно, можно было рассчитывать на его сердечное напутственное слово), он выбежал из дому и на остановке сел в подошедший автобус со своим потрепанным саквояжком, вместившим весь его немудреный гардероб и небольшую веджвудскую вазу — память о маме. С семью долларами и девятнадцатью центами в кармане отправиться в город, не зная там ни души! Когда я наконец пришел в себя,

оделся, вскочил на велосипед и сломя голову понесся к остановке, автобус уже удалялся. Я бросился вдогонку, чтобы хоть еще раз взглянуть на брата, чтобы он увидел меня и понял, что я по крайней мере хотел проводить его и пожелать счастливого пути. Но я так и не смог догнать автобус. И прошло почти два месяца, прежде чем я получил от него письмо и узнал адрес.

В открытое окно дул прохладный ветерок; я прикрылся краешком одеяла и, должно быть, очень крепко уснул, потому что совершенно неожиданно я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо и пропозносит мое имя: «Пат, проснись!» Пауза, новая встряска, и снова: «Пат!»

Я с усилием поднял веки и увидел брата. Он стоял у кровати и улыбался; в комнате заметно потемнело, и я сразу понял, что проспал довольно долго.

— Никкак не ожидал, что ты приедешь! — сказал он. — Меня едва не хватил удар, когда хозяйка заявила, что ты здесь!

Я с усилием окончательно прогнал сон.

— А правда, здорово получилось, Клифффорд!

— Когда ты приехал?

— Около трех.

— Я ждал письма, но никак не думал, что ты сумеешь явиться сюда собственной персоной. Как ты вообще-то нашел дорогу? Ты ехал на автобусе?

— На велосипеде. А ты не видел его во дворе?

— Впдеть-то видел. Только никогда бы не подумал, что это твой. И весь этот путь ты проделал на нем?

— Конечно.

Я встал и почувствовал, что у меня все болит.

— Только немного устал. Мне никогда еще не приходилось делать такие концы.

— Ты, верно, здорово проголодался. Подожди, я умоюсь, и мы сходим, купим чего-нибудь поесть.

Он снял куртку и повесил ее в шкаф.

— Расскажи пока мне, как там у вас дела.

— Да ничего. Привез вот рыбки, лосося. Поймал вчера у моста. Задал он мне жару.

Я поспешил к столу — достать рыбу из бумажного пакета.

— И, кроме того, из запасов Дженин банку малинового варенья. Правда, оно никогда не отличалось у нее особым вкусом.

Мы рассмеялись.

Клиффорд схватил полотенце и мыло и вышел из комнаты в ванную напротив. Мне было слышно, как он плескался. Через несколько минут он вернулся, вытирая на ходу шею. Очки он спял. Без очков глаза его начинали щуриться и он выглядел совсем иным.

— Боже, — вырвалось у него. — Никогда бы не подумал, что найду тебя здесь!

Клиффорд надел очки, натянул через голову галстук, поправил его, напялил куртку. Потом подошел к буфету, вынул вазу, вытащил из нее деньги и снова поставил в буфет.

— Пошли, малыш! Тебе нужно срочно перекусить, пока ты еще совсем не падаешь с ног от голода.

Мы сошли вниз. Клиффорд постучал к хозяйке и попросил у нее разрешения поставить в подвал мою машину. Получив согласие, мы спустились во двор черным ходом, убрали велосипед и по главной дорожке пошли к воротам.

Низко над городом плыл багряно-оранжевый диск солнца, под ногами шуршали листья, впереди по тротуару тихой тепистой улицы скользили длинные четкие тени.

— Ну, как тебе тут нравится, Клиффорд?

— Ты имеешь в виду Ванкувер или работу?

— Все. И Ванкувер... и работу... и жизнь здесь... Ты сам понимаешь, о чем я спрашиваю.

— Нравится, — задумчиво отозвался Клиффорд. — Можно сказать, что мне повезло.

С минуту он шел молча, рассеянно глядя под ноги.

— Тебе бы надо взглянуть на здание, где я работаю, Пат. Оно одно занимает целый квартал.

— Должно быть, это очень крупная фирма.

— Да. Это ты точно, Пат. Она торгует и с границей.

— Вот у кого, небось, денег...

Мы подошли к перекрестку и свернули к порту. Поблескивающий ослепительно-белой краской грузовой пароходик выходил в пролив, и огненно-оранжевые лучи заходящего солнца вспыхивали на стеклах рубки расплавленным металлом.

— Тебе, наверно, неплохо платят?

Клиффорд промолчал. Мы свернули за угол, прошли еще немного и вошли в кафе. Здесь так же пахло табачным дымом и жарким, как по субботним вечерам в Гам-

бургском ресторане дядюшки Джерри, когда завсегда там собирались у него послушать пианолу-автомат. Свободных кабин не оказалось, и мы уселись на плетеных деревянных стульях прямо у стойки. Подошла официантка. Я заказал телячью отбивную с пюре и стакан молока с вишневым пирогом; Клиффорд — пончики и кофе. Официантка принесла нам по стакану воды, повертелась у стойки и куда-то скрылась.

— А ты разве не будешь есть? — удивился я.

— Да что-то неохота. У себя на работе мы вечно что-нибудь жуем: попчики, печенью, конфеты или еще что-нибудь в этом роде... Это здорово отбивает аппетит.

— Надо думать.

Официантка подала отбивную, и я взял вилку. Только теперь я почувствовал, как проголодался, и с жадностью набросился на еду. Случайно в большом зеркале за стойкой я увидел Клиффорда, наблюдавшего за мной.

— Ты и в самом деле не хочешь чего-нибудь съесть, Клиффорд?

— Я же сказал тебе. Но почему ты вдруг вздумал спросить меня об этом?

— Да так...

Я покончил с обедом, мы встали, и Клиффорд взял счет. Он подошел с ним к кассирше и кинул ей двухдолларовую кредитку с таким видом, будто никак не может понять, откуда у него в кармане могла взяться такая мелкая купюра. Кассирша выбила чек на доллар десять центов, а девяносто центов вернула Клиффорду обратно. Мы вышли и зашагали вверх по Гренвилль-стрит.

— Ну как? — спросил Клиффорд.

— Дай боже, чтобы всегда так. Наелся до отвала.

Начало темнеть; повсюду на улицах зажегся свет, вспыхнули, засияли красные, синие, желтые, зеленые огни реклам. Бесконечный поток прохожих двинулся по тротуару, и нам без конца приходилось лавировать между ними.

Казалось невероятным, что на весь Абботсфорд сейчас горит всего лишь несколько неоновых реклам, а единственными заведениями, куда сейчас там можно было зайти, были Гамбургский ресторан дядюшки Джерри да аптека Уотсона. Я пзловчился, обогнал двух пожилых леди и снова пошел рядом с братом.

— А что ты делаешь по вечерам, Клифффорд? То есть как ты проводишь время, когда свободен?

— Чего-чего, а дел у меня хватает. Ты же знаешь, что я учусь. Ну, а по вторникам, например, я хожу в театр.

— А почему ты выбрал для этого именно этот день?

— Да так. Пожалуй, потому, что первый раз в этом городе я пошел в театр во вторник. Это у нас день полочки.

— А разве ты никогда не бываешь в гостях? Или где-нибудь еще?

— Я мог бы ходить во многие места, если бы захотел. Только я почти всегда занят. Почти всегда.

— Мне кажется, с годами, во всяком случае, компании перестают нас так интересоваться.

— Да, — согласился он. — Надоедает.

Мы шли по улице все дальше и дальше. Толпа постепенно редела, и теперь нам уже не нужно было то и дело лавировать в потоке людей. У светофора на перекрестке нам пришлось остановиться подождать, пока зажжется зеленый свет.

— Чего бы тебе сейчас хотелось, Пат? Просто побродить по городу или еще что?

Глазок светофора мигнул, зажегся снова, и мы начали переходить улицу. Когда мы ступили на тротуар, Клифффорд сказал:

— Захвати я с собой побольше денег, мы бы могли сходить на какой-нибудь спектакль. Ведь вот привычка — никогда не носить с собой денег больше, чем это действительно необходимо! всю мою наличность я предпочитаю держать в вазочке в буфете.

— А почему бы тебе не положить свои деньги в банк?

— О, это такая канитель, я просто не могу сейчас связываться с банком. Может быть, потом, когда буду более свободен.

— Во всяком случае, — сказал я, — нам абсолютно не к чему нарушать твой режим. Сегодня ведь пятница, не вторник.

— Вообще-то да.

Некоторое время мы шли молча, потом он спросил:

— А у вас там по-прежнему дают только два спектакля в неделю?

— Да, но я слышал, будто теперь спектакли будут идти каждый день. Это хотят сделать из-за строителей, которые ездят к нам из лагеря на южной магистрали. Это бы здорово оживило городок.

— Кажется, прошел целый год, как я уехал.

Клиффорд остановился у витрины посмотреть зажигалки, я остановился рядом.

— Клиффорд, — сказал я. — Неужто здесь, в Ванкувере, у тебя нет никого, с кем бы ты дружил, или кого-нибудь, с кем ты мог бы по крайней мере сходить в театр?

Клиффорд не ответил. Вместо этого он только ближе наклонился к зажигалкам и еще пристальнее стал рассматривать их. Я понял, что сказал глупость, тут же, как только она слетела у меня с языка. Ибо у Клиффорда никогда не было чересчур много друзей. Он трудно сходился с людьми, но зато уж если находил друга, весь отдавался этой дружбе, словно она должна была сохраниться до могилы.

Вероятно, именно поэтому Клиффорд так, казалось бы, странно вел себя, когда узнал, что Тинк Мартин прострелил себе живот, занимаясь чисткой ружья. Он примчался в Сардис, до которого было ни много, ни мало тринадцать миль, разыскал больниццу, куда положили его друга, и сидел там в приемной до тех пор, пока к нему не вышел врач и не сообщил, что Тинк скончался, так и не придя в сознание. Тогда он ушел, приехал домой, забился в угол гостиной и устался в стенку; он даже не плакал, что было ужаснее всего; просто сидел в углу и смотрел в одну точку. Наконец он уступил уговорам отца и Дженни, умолявших, чтобы он что-нибудь съел. Он с трудом проглотил что-то, но его тут же вырвало (может быть, потому, что у Тинка было ранение в живот), после чего он снова вернулся в гостиную и долго-долго сидел там в углу. Никогда не забуду его отсутствующего взгляда.

Мы снова зашагали по тротуару.

— Я думаю, в жизни есть кое-что поважнее, — попробовал я исправить свою ошибку, — чем умение везде обзаводиться кучей друзей.

Мы дошли до угла и свернули на другую улицу. Со всем недалеко впереди показалось здание суда. Освещенное рядами маленьких белых лампочек, оно напоминало сказочный дворец.

— Когда ты собираешься усажать, Пат?

— Завтра. Я думаю, рано утром.

— Плохо, что ты не можешь побыть подольше. Если бы ты мог остаться до воскресенья, я показал бы тебе весь город. В воскресенье я выходной.

— Видно, все-таки мне надо поехать.

Клиффорд вздохнул. Достав из кармана пакетик с жевательной резинкой, он вытащил из него палочку, дал мне, взял сам и спрятал остальное обратно.

— А он знает, что ты здесь?

— Знает. Я услышал, пока они еще спали, но оставил записку.

— Он будет страшно злиться, когда узнает, где ты.

— А, все равно... Пусть бесится.

Мы дошли до другого перекрестка. Направо был виден порт, за ним, на северном берегу, — горы. Солнце село, и багряные, золотистые, розовые и пурпурные краски полыхали в небе; горы казались темно-пурпурными, почти черными. К вершине одной из них тянулась цепочка огоньков, и я понял, что это канатная дорога.

— Знаешь, чего мне хотелось бы сейчас?

— Чего, Пат?

— Вернуться к тебе. Мы посмотрели бы у тебя журналы или еще что-нибудь...

— О'кей!

Мы прибавили шагу. По дороге нам попалась небольшая булочная. Клиффорд вошел в нее, и я увидел в окно, как женщина сняла с витрины четыре не то слойки, не то пирожных с шоколадным кремом. Она упаковала их в картонную коробку, Клиффорд расплатился и вышел.

— Я думаю, тебе это понравится, — сказал он, показывая коробку. — Это по-настоящему вкусно... Я пробовал их раньше.

— В витрине по крайней мере они выглядели замечательно.

Мы подошли к дому, поднялись к себе и зажгли небольшую подвесную лампу. Клиффорд взял чайник, сходил в ванную, налил воды и, вернувшись обратно, захлопнул дверь.

— Поставлю чаю, — сказал он. — Хочешь?

— Конечно!

Я присел на кровать. У меня действительно сильно болели ноги, и я стал растирать их руками, наблюдая в

то же время за Клиффордом. Он включил плитку, достал чайник для заварки и начал засыпать чай.

— Ну, как отец? — вдруг спросил оп. — А Дженип?

— Да ничего. Вроде как ничего.

Клиффорд больше не стал задавать вопросов, однако так долго возился с чайником, что мне стадо невмоготу.

— Отец не хочет говорить о тебе. Кажется, до сих пор злятся.

— Я так и знал.

Он подошел к небольшой полочке в углу, достал две тетради.

— Хочешь взглянуть, чем я занимаюсь?

— Конечно.

Он раскрыл одну из тетрадей, и я увидел в ней какие-то чертёжики цветным карандашом, заметки чернилами и много отдельных, вкладных, страниц, отпечатанных на машинке.

— Это вот и есть блохирия, — сказал он. — И всю эту штуку мне нужно постичь к экзаменам.

— А когда у тебя экзамены?

— Да еще не скоро. Сначала я еще должен окончить курсы учеников. Но никогда не мешает знать вперед.

Клиффорд положил тетради на кровать и пошел к столу, чтобы заварить чай. Я перелистал несколько страниц.

— Наверное, тебе неплохо платят?

— Пока еще не очень много. Ты же знаешь, я только ученик, то есть, иначе говоря, еще учусь. Это почти то же, что школа, только мне за это еще платят деньги.

— И сколько же ты получаешь?

— Одиннадцать долларов в неделю. Это сейчас. Но через год я уже буду иметь четырнадцать и, кроме того, летом — недельный отпуск с оплатой.

Он налил в чайник кипятку, прикрыл его и выключил плитку. Я еще раз оглядел комнату. Светло, чисто, все на месте, но уюта нет. В углу на стуле — стопка журналов, у кровати на полке — несколько романов карманного формата, на дверце шкафа — фирменный календарь, на самом верху буфета — мамкина ваза. Но не было в комнате ни радио, ни удобных ламп, ни вышитых подушек. В распахнутое окно ворвался ветерок. Я выглянул наружу: в домах через улицу светились оранжевые квадраты окон.

— Год — долгий срок, — сказал я.

Клиффорд поставил на стол две чашки, достал из буфета сахарницу, жестяную банку с молоком, чайные ложки и все это аккуратно расставил на столе.

— Как жаль, что у тебя нет радио, Клиффорд.

— Я никогда не принадлежал к тем парням, которые часами готовы сидеть у радио. Ты знаешь это.

Он налил чай, поставил на место чайник и распаковал коробку с пряниками.

— Давай, Пат, — командовал он. — Будешь доволен.

Я откусил кусок: пряжное действительно было превосходное. В Абботсфорде у нас таких не было. Клиффорд тоже взял пряжное, съел его и принялся за чай.

— Нажми, нажимь, Пат.

— И ты, одно твоё.

— Ну, уж меня уволь. Не могу есть много таких вещей: честно говоря, меня тошнит. И, кроме того, я в любое время могу купить их, если захочу.

Он смотрел, как я справляюсь с пряниками, и на его добром бледном лице играла легкая улыбка.

— Ну как?

— Потрясающе! Как они называются?

— Не помню. Кажется, как-то по-французски.

Взяв чашку, он отпил из нее глоток; я заметил, что каждый раз, когда он подносил чашку к губам, стекла его очков запотевали и ему приходилось ждать, пока они не прояснятся.

— Чем же ты думаешь теперь заняться, Пат, раз уж ты бросил школу?

— Не знаю. Может быть, останусь работать в Абботсфорде. Может быть, даже буду помогать отцу.

— А какая работа тебя интересует? Может, тебе хотелось бы выбрать что-нибудь по душе?

— Да нет, пока еще я ничего такого не придумал.

Мы кончили пить чай; Клиффорд встал, вымыл и вытер чашки, поставил их в буфет. Мы посидели еще некоторое время, потом оба решили, что устали, легли и погасили свет. Я лег с краю, и мне было хорошо видно, что происходит за окном. Ярко освещенные дома напротив, уличные фонари, свет мчавшихся по улицам машин — все это не имело никакого отношения ко мне и к Клиффорду, к комнате, где мы лежали в темноте. Далеко-далеко на черном ночном бархате небосвода мерцала дуга янтарных огоньков Льюисовых ворот — моста через пролив.

Наверное, я уже спал, но сквозь сон все же слышал шепот брата.

— Пат, — спросил он, — ты уже спишь?

— Нет...

— Как ты думаешь, почему отец так злится на меня? Ведь единственное, чего мне хотелось, это самому устроить свою судьбу.

Я ответил не сразу. Мне хотелось сказать, что все это получилось исключительно из-за упрямства отца, но я отлично знал, что такое объяснение не удовлетворило бы Клиффорда, тем более что дело касалось нашего отца. Он просто сказал бы, что за всем этим что-то кроется.

— Не знаю, Клиффорд. Может быть, ему просто захотелось показать характер.

Некоторое время он лежал молча, и я было подумал, что он заснул.

— Ты думаешь, он действительно ненавидит меня, Пат? — неожиданно снова спросил он.

— Я вовсе не думаю этого, Клиффорд. Может быть, у вас просто разный взгляд на вещи, только и всего. Все обойдется.

Прошло, как мне показалось, довольно много времени, но Клиффорд не отвечал. Тогда я вытянул руку и положил ее в темпоте на его плечо; он не пошевелился.

Утром Клиффорд разбудил меня.

— Пат, — сказал он, — уже полвосьмого. Мне скоро пужно уходить. А, Пат?

Я поднял голову и открыл глаза. Комната была полна света: в ярком луче солнца расплавленным янтарем светился налитый в чашку чай. За столом сидел уже успевший одеться Клиффорд.

— Мне хотелось, чтобы ты поспал подольше. Ты ведь очень устал, Пат.

— Это уже прошло, Клиффорд.

Я встал, оделся, умылся в ванной, вернулся в комнату и сел за стол.

— До чего же вкусно пахнут эти гренки!

— Ты уж прости, что у меня нет на завтрак ничего, кроме гренок. Я совершенно забыл купить вчера бекон.

— Неважно...

Он встал и начал жарить мне хлеб, но я не позволил ему это.

— Я сам, — сказал я. — Иди пей чай.

Он снова уселся и отхлебнул глоток. Потом подошел к окну и выглянул наружу.

— Как здорово, что сегодня такая чудная погода!

— Да. Все должно быть о'кей.

Я перевернул хлеб на проволочной сетке под плиткой.

— Когда тебе нужно уходить?

— Обычно я выхожу без четверти восемь. К восьми я уже там.

Он допил чай, сходил вымыл чашку, вытер ее полотенцем, поставил в буфет.

— Не вздумай задерживаться из-за посуды, Пат. Я вымою ее сам, когда приду.

— Не беспокойся, — возразил я, выложил хлеб на стол, намазал его маслом и налил чай. — Не рассыплюсь, если вымою несколько тарелок.

— Ну что ж, мне, кажется, уже пора.

Он встал, подошел к двери, приоткрыл ее и, держась за дверную ручку, остановился на пороге.

— Я думаю, ты еще сумеешь вырваться сюда, Пат. Не сразу, конечно, но...

— О чем разговор, Клиффорд, конечно, я еще приеду.

Клиффорд все стоял в дверях, не двигаясь с места, держась за ручку, будто хотел что-то сказать мне, но не знал, как это сделать.

— Ну ладно, — заключил он. — Главное — будь осторожен на шоссе. И кланяйся Абботсфорду, когда вернешься. Пока!

— Пока, Клиффорд. Спасибо тебе за все.

Клиффорд закрыл дверь, и я услышал, как он сбежал вниз. Я подошел к окну взглянуть, как он выходит из ворот на улицу. Он шел быстро, опустив голову, и ни разу не посмотрел назад.

Я вернулся к столу, доел хлеб, выпил чай и снова подошел к окну. Ослепительные блики утреннего солнца вспыхивали в порту, отражались в стеклах домов на северной стороне залива. Из головы у меня не выходил брат. Я вдруг представил себе, как он вернется вечером домой с работы в свою пустую, неуютную комнату, как — один-одинешенек — усядется за ужин, вымоет посуду и уберет ее в буфет, выйдет на улицу пройтись или сядет за уроки, а потом ляжет спать, и так — каждый день!

Я подошел к буфету и снял вазу, из которой Клиффорд брал деньги. Кроме еженедельных счетов за квар-

тпру с расписками хозяйки, каждая из которых свидетельствовала о том, что ею получено пять долларов, в вазе лежали одна четвертьдолларовая монета, пятицентовик и две монетки по одному центу. Я поставил вазу на место, сел на кровать. Вспомнил, как брат смотрел на меня, когда я ел в кафе, как небрежно бросил кассирше двудолларовую кредитку; вспомнил пирожные, что он купил, когда мы шли домой, и мне с трудом удалось подавить рвущийся из горла крик.

Спустя некоторое время я встал, спустился вниз и попросил у хозяйки разрешения воспользоваться ее телефоном, чтобы позвонить домой. Я заверил ее, что с ней рассчитаются в течение ближайших же дней, вызвал междугороднюю и попросил соединить меня с Абботсфордом, 723. Дождавшись, когда гудение и щелканье в трубке аппарата прекратилось, я услышал, как на другом конце линии, более чем за пятьдесят миль от меня, сняли трубку.

— Алло?

— Алло! Дженни? Это Пат.

— Патрик Бартоп? Откуда?

— Из Ванкувера. А ты думала, из Спбпри?

— Не воображай, что это очень остроумно. Уверю, тебе будет не до смеха, когда ты встретишься с отцом! Самое лучшее для тебя — это сию же минуту очутиться здесь!

— Для этого мне стоит только сесть в свой реактивный самолет. Не успеешь ты выскочить во двор, как я буду уже там. — Только так мог я надеяться сохранить уважение своей сестры.

— Напрасно ты думаешь, что я шучу.

— Я тоже не шучу, Джеппи. Отец дома?

— Нет. Пошел открывать лавку. Твоя выходка дорого обошлась ему: он очень переволновался.

— Так вот, Дженни. Скажи ему, что я остаюсь здесь. Понимаешь? С Клифффордом в Ванкувере.

— Что в Ванкувере?

— Я говорю, остаюсь с Клифффордом в Ванкувере и начинаю искать работу. Ты что, перестала понимать по-английски?

— Ну, вот что, мистер мужчина. Если Клифффорд не желает считаться с нами, из этого не следует, что и ты

волен поступить, как тебе заблагорассудится. Никто из вас никогда не желает думать об отце...

— Перестань, Дженни! Разговор стоит денег. Передашь ты ему это или нет?

— Можешь не сомневаться — передам. Только знай, что он разозлится так, что...

— Ничего не попишешь. Придется ему позлиться!

Я положил трубку.

Поднявшись наверх, я перемыл посуду и поставил ее в буфет; потом, взяв газету, стал просматривать объявления о работе. Наткнувшись на объявление о месте мальчика-курьера, я спустился вниз и набрал номер. Мужской голос спросил мою фамилию и сказал, что, если я явлюсь в понедельник утром, место останется за мной. После этого я вытащил из подвала велосипед и поехал поглядеть доки.

Около четырех я вернулся, поставил машину и пошел купить что-нибудь к ужину. У меня еще были целы 65 центов, оставленные на еду на обратном пути. Я купил немного масла, помидоров, торталеток с джемом и принес все это домой. Дома я разделал привезенного лосося, поджарил несколько кусков и, переложив их в тарелку, поставил под плитку, чтобы рыба не остыла, потом я поставил на плитку чайник, нарезал помидоры и накрыл на стол.

То и дело я подбегал к окну, чтобы не прозевать Клиффорда. Наконец я увидел, что он идет. С газетой в руках, ссутулившись, он устало брел по улице, так же как и утром, опустив голову. Убедившись, что Клиффорд свернул в ворота, я вытащил из-под плитки рыбу, поставил ее на стол, заварил чай, накрыл его колпаком и сел, чтобы не кинуться навстречу поднимающимся по лестнице шагам.

ДОМ ОХОТНИКА

Когда Эдди Ливоде пришел домой, его жена чистила кровати на заднем крыльце. Он видел, как скорлупа летела во двор, где за нее дрались пыльята и кошки.

Он знал, что это его жена: кто же еще на острове мог так быстро работать.

Эдди почувствовал, что ноги его словно налились свинцом, он еле волочил их по земле. Придется сказать ей, придется обойти дом, пройти мимо бака с водой, подняться на крыльцо и сказать ей все. Сказать, что он пигде не нашел и следа Генри. (Сегодня уже четыре дня, как его нет. Тина Ришо видела его, когда ставили сети на крабов в топн, по другую сторону залива. Он плыл, легко и неторопливо склоняясь над веслом, — Генри ведь всегда был первоклассным гребцом. Она окликнула его, он помахал ей рукой. И больше его никто не видел.)

Такое случалось и раньше. Люди заплывали в топн и не возвращались. Иногда их находили, иногда нет.

— Может, Пит уже сказал ей, — пробормотал про себя Эдди. Он положил дробовик и патронташ на парадное крыльцо. Немного постоял, пожевал пижнюю губу, поскреб подбородок — отросшая за два дня щетина вызвала зуд. Потом направился к заднему крыльцу.

Пит действительно был там, он сидел в углу крыльца, спиной к перилам, и курил сигарету.

— Я тебе говорил, — сказал Эдди, — мал ты еще курить.

— Не так уж он мал, — сказала жена. Это была полная, невысокого роста женщина с оливковой кожей и прямыми черными волосами, седеющими на самой макушке, словно серая шапка.

— Дай ты мне воспитывать парней по-своему. — Его злило ее спокойное лицо.

— Ты всегда их воспитывал по-своему, я тебе не мешала. — Она продолжала отрывать криветкам головки, вытаскивала мякоть из скорлупы и выбрасывала остальное за перила во двор.

Эдди снял кепку и повесил ее на спинку стула.

— Только теперь, — сказала она медленно, — у тебя остался один сын.

Его словно резнуло где-то внутри.

— Пит уже сказал тебе.

— Ему незачем было мне говорить, — сказала она так же медленно. — Я это сердцем чувствовала.

Эдди поднялся на крыльцо, быстрым движением выдернул сигарету у Пита изо рта и швырнул ее за перила, куда летели головки криветок.

Мальчик привстал и остался стоять с согнутыми коленями. Отец протянул руку и, схватив его за плечо, толкнул назад.

Головка криветки мелькнула меньше чем в двух дюймах от носа Эдди. Он быстро обернулся, но жена его продолжала спокойно работать. Только теперь она бросала скорлупу в другую сторону.

— Ты что же, детей уже бьешь? — сказала она, не отрывая глаз от работы.

— Раз курит — так он уже взрослый, может и получить за дело.

— Полегче, — сказал Пит.

Отец посмотрел на него и отвел руку.

— Пикни только, я тебе живо шею сверну, вот как старуха криветкам. Уж будь спокоен.

— Посмотри на него, — сказала мать, — мало ему, что одного сына потерял, так он второго избить собирается.

— Может, не одного его придется проучить, чтобы знал свое место.

— Ты только послушай его, Пит, — сказала мать, — только послушай. Говорит такое, а сам явился домой ни с чем.

— Довольно об этом, — сказал Эдди.

— Он же пришел без Генри. Он даже тела его не нашел.

Эдди сел на верхнюю ступеньку и стал разуваться.

— За три дня это я первый раз снимаю башмаки.

— Мы тебе сочувствуем.

Пит посмотрел на него исподлобья. В этот момент он был так похож на брата, что Эдди вздрогнул.

— Почему ты бросил искать его? — тихо спросила жена.

— Я не бросил.

— Но ты же вернулся.

Он покачал головой.

— Значит, все же бросил?

Эдди уперся локтями в колени и опустил голову на руки.

— Устаете ведь, если двое суток не выпускать весла из рук.

Она презрительно фыркнула.

— Я почти не спал.

— Генри тоже не спит.

Он опустил голову. По голой, потрескавшейся от солнца земле полз жук. Эдди пристально смотрел на забавно изогнувшийся панцирь насекомого, на его маленькие рожки. Кроме как в детстве, он никогда и не замечал-то этих жуков.

— Остаюсь я там еще пару часов, мне бы вообще не выбраться. Так устал, что и соображать не мог.

Его жена ничего не ответила, только тихонько прищипнула сквозь зубы.

Он поставил башмаки рядышком на краю крыльца. Потом стал медленно стягивать носки. Волнами набегала боль в спине. Это все от гребли.

— Да, я уже не молодой, — сказал он.

Слова, казалось, убегали от него и эхом отдавались в жарком полуденном воздухе.

— Старее уже, — сказал он и вздрогнул. Значит, кто-то ходит по его будущей могиле. — Старее.

Цыпленок заметил жука и проглотил его.

— Кыш, — зашипел Эдди. Цыпленок испуганно бросился прочь. Эдди потрогал спину рукой и выпрямился. — Надо было взять тебя с собой, — сказал он Питу.

— Я же проспал, — сказал Пит.

— Он просил, это точно, — вставила Белл.

— Заткнись.

Мальчик не мигая смотрел на него.

Эдди перевел взгляд с жены на сына.

— Что вы ко мне привязались? — сказал он. — Я же его не посылал. Я ему говорил, что надо хорошо знать эти места, чтобы не заблудиться.

Загорелые, короткие пальцы все чистили серые полупрозрачные креветки.

— Не надо было пускать его.

Эдди потер спину. Странно, что он только сейчас почувствовал боль в спине. Только сейчас.

— Не надо было пускать. Как бы это я мог не пустить его? Он же не маленький, его не запрещь в комнату, пока не успокоится.

Кошки дрались за головки креветок. Среди них был маленький, черный с белым кот, которого Эдди раньше не видел.

— А этот откуда? — Он показал на кота.

Некоторое время никто не отвечал, потом Пит сказал:

— Да видно, оттуда, откуда все.

— Что-то я его раньше не видел.

— Слышали уже, — сказала Белл.

Эдди положил голову на руки и слегка наклонился вперед, пытаясь хоть немного унять боль в спине.

— Пит, — сказал он, — сходи посмотри, нет ли у нас мази. — Он начал обеими руками растирать поясницу. Потом, ничего не слыша за спиной, остановился. — *Enfant gâché!* — сказал он тихо. Он опустил руки на колени, но не повернулся. — Иди, принеси мазь.

Эдди подвигал голову, прислушиваясь, пока не раздался мягкий звук шагов Пита по деревянному полу и скрип пружины на летней, затянутой сеткой двери.

— Почему я должен обо всем столько просить? — сказал он.

Жена не ответила. Он слышал, как она перемешивает очищенных креветок в большой железной кастрюле. Он снова опустил голову на руки. В лучах послеполуденного солнца дом отбрасывал длинную черную тень. Не было ни малейшего ветерка, длинные нити паутины неподвижно свисали с перил.

Вернулся Пит со склянкой мази. Он поставил ее возле отца на пол и снова сел в углу крыльца.

Эдди поднял склянку и, держа ее в вытянутой руке, стал внимательно читать этикетку.

— Она? — спросил Пит.

Эдди поставил скляпку на пол, слегка потянулся, выгнув шею, и снова наклонился вперед, упираясь локтем в колени. Он закрыл глаза, но ему все мерещилось болото: берега, поросшие корнями и травами, местами выступавшими, местами совершенно покрытыми водой. Он плыл мило за мплей, не отрывая глаз от болота, медленно, по мере продвижения лодки переводя взгляд едва ли не с каждой травинки на травинку, вскакивая, чуть только рыба выпрыгнет на поверхность, или бултыхнется в воду лягушка, или вытянет голову черепаха, или закричит птица, и все время высматривая что-нибудь похожее на след...

Эдди потер шею. Да, он стареет. Раньше он бы так не устал.

За его опущенными веками проплывала трава, тростник. Он тряхнул головой и открыл глаза — спать нельзя.

— Дай попить, — сказал он.

Никто не ответил, только кот мяукнул. Накопец Белл спросила:

— Тебе пива или виски?

Эдди хлопнул ладонями по коленям.

— Какое виски! Я воды просил. Обыкновенной воды из бака.

Он услышал, как встает Пит.

— Что ты все его посылаешь? Сама не можешь сходить?

Белл сплюнула во двор.

— С моими-то руками? Да они же все пропахли креветками. Ты еще больше будешь ворчать.

— Ладно уж, — сказал Эдди, — ладно, иди, Пит.

Заскрипела пружина летней двери.

— Не раскрывай так широко дверь, — сказала Белл, — мухи набьются в дом.

Через несколько минут, когда Пит вернулся, она сказала:

— Я думаю, ты переловишь всех жуков, что напустил.

— Обязательно, — сказал Пит, — обязательно... Возьми, отец.

Он протянул Эдди стакан через плечо. Эдди взял стакан и стал пить, но потом остановился и стал разглядывать его содержимое.

— Теперь чего не хватает?

— Льда нету в воде.

— А на что тебе лед? — сказала жена. — Ты и так вон вспотел весь, простудишься.

— С каких это пор ты стала обо мне заботиться?

Белл бросила во двор целую криветку и перегнулась через перила, чтобы посмотреть, как дерутся за нее кошки.

— Этот маленький, черный с белым, так и лезет в драку.

— Откуда он взялся? — спросил Эдди. — Что-то я его раньше не видел.

Белл опять швырнула целую криветку, па этот раз высоко в воздух. Котенок, изогнувшись всем своим маленьким телом, прыгнул за ней, но не поймал. Белл засмеялась коротким смехом, похожим на фырканье.

— Это же хорошая криветка, — сказал Эдди.

— Знаю.

— Совсем уже голову потеряла, выбрасываешь целые криветки.

— Это не все, что я потеряла.

Эдди раскрыл было рот, чтобы ответить, но, услышав, что к ним кто-то идет, подпер подбородок руками и стал глядеть прямо перед собой.

Подшел Стори Леклерк и поставил ногу на пиквию ступеньку. В каждой руке у него было по розовой опипанной утке.

— Вот, подстрелил утром.

Эдди, прищурясь, посмотрел на уток.

— Выглядят неплохо.

— Послушай, Эдди, у нас на острове никто не любит уток больше тебя.

— Ну, этого уж я не знаю, — сказал Эдди.

— Это точно — никто.

— На них теперь охота запрещена, — сказал Ппт, прикорнувший в углу крыльца.

Стори ухмыльнулся; передних зубов у него не было, и в отверстии то появлялся, то исчезал язык.

— А кто донесет властям?

— Я же этого не говорил. Просто сказал, что на них запрещена охота. Вот и все.

— Мне такие красивые серые утки еще не попадались.

Стори положил тушки птиц на перила. Утки свесились через край, с них капала кровь. У перил закружили кошки с широко раскрытыми, алчными глазами.

— Как бы они до них не добрались, — сказал Пит и захихикал, как девчонка; у него ломался голос.

— А я здесь на что? — сказал Эдди.

— Знаешь, — сказал Стори, — я еще не видел, чтоб человек так любил уток, как ты.

Эдди вытянул руки.

— Что ж, может быть... они вкусные.

— Ну так возьми их. Обещ. Тебе они доставят больше удовольствия, чем кому-либо.

Белл бросила во двор последнюю скорлупу и встала, держа кастрюлю, до половинны наполненную креветками. Она громко фыркнула.

— Потерял сына, а ему уток приносят.

Она захлопнула за собой летнюю дверь, и они услышали, как она загремела кастрюлями в кухне.

Эдди не шевельнулся. Он сидел, глядя прямо перед собой. Стори хотел что-то сказать, но раздумал и стоял с открытым ртом, высунув кончик языка в дырку между зубами. Пит встал и почти бесшумно перескочил через перила. Одна кошка прыгнула на крыльцо и замерла, пожирая уток глазами.

— Они как будто жирные, — сказал Эдди.

— Первые серые утки в этом году.

— Ничего не скажешь, хорошие утки.

Они услышали, как в кухне запела Белл: «Матерь божья, молись за меня...»

— Ты же знаешь, — сказал Эдди, подперев подбородок руками, — ты знаешь, я сделал все что мог.

Стори кивнул.

— Конечно, — сказал он.

— Искал, пока сил хватало.

— Конечно, — сказал Стори.

— Если бы я заплыл дальше, я бы сам не выбрался.

— Уж я-то знаю.

— И она это знает. Не хуже нас с тобой.

— Пока, — сказал Стори, повернулся и пошел за угол дома.

— Она знает, — сказал Эдди кошкам. Они сидели вокруг, глядя на него, и кончики хвостов у них подрагивали. — Должна знать.

Прилетел дрозд-пересмешник, сел на краю крыши и пронзительно закричал. Эдди скосил на него глаза. «Что

случилось?» Птица запрыгала, скользя по водосточному желобу.

Эдди медленно поднялся, постоял с минуту, подтянул брюки, стянул потуже пояс. Он опрокинул склянку с мазью, но не обратил на это внимания, даже не взглянул под ноги. Повернувшись, он открыл было дверь, но затем снова шагнул на крыльцо и снял уток с перил.

— Это пока не вам, — сказал он кошкам. Потом вошел, не придерживая дверь, и она с шумом захлопнулась.

Жена была там, в глубине маленькой кухни. Эдди зажмурился на минуту, пока глаза не привыкли после селюпа. Белл крошила лук, держа за концы большое тяжелое лезвие кухонного ножа.

Эдди обогнул ее и положил уток в раковину. Она не сказала ни слова.

— Я больше ничего не мог сделать, — сказал он.

Она не поднимала головы.

— Ты же знаешь.

— Не мог даже тела мальчика найти.

— Ты ведь знаешь почему.

— И еще приходит сюда с этими дохлыми утками.

— Ты знаешь почему.

— Иди, ищи своего сына.

— Я искал, пока сил хватало.

— Нечего приходить ко мне плакаться.

Эдди похлопал рукой тушки уток в раковине.

— Не мне же искать его.

— Я сделал все что мог.

— Я бы лучше умерла, чем так вот вернуться ни с чем.

— Да брось ты этих креветок, — сказал Эдди, вытирая испачканные кровью пальцы сзади о брюки. — Лучше приготовь уток на ужин.

— И гостей пригласить?

Эдди пристально посмотрел на нее, слегка наклонив дрожавшую голову.

— Скажи спасибо, что я выдохся...

Белл продолжала крошить лук, быстро и размеренно.

— А то бы я тебе шею свернул.

Она отложила нож и ладонью смахнула лук с доски в кастрюлю.

— Только и умеешь, что языком трепать, — сказала она.

— Нет, — сказал он.

— Думаешь о еде, как будто ничего не случилось.

— Ну, если случилось, так не помпрать же теперь с голоду.

Она прошипела что-то сквозь зубы.

— Чтоб к ужину были утки.

Эдди вышел из дому, и жена что-то крикнула ему в окно, но он не разобрал ее слов.

Он зашел в «Рандеву» и выпил две кружки пива. Лейси Ливоде, его двоюродный брат и хозяин заведения, покачал головой.

— Ты плохо выглядишь, — сказал он, — проходи-ка в комнату.

Эдди встал, слегка покачиваясь.

— Да, вид у тебя неважный, — сказал Лейси. — Ложись-ка на кровать.

У Эдди так болела спина от непрерывной гребли, что он даже не знал, что лучше — лечь или сидеть согнувшись.

Лейси позвал свою жену, Андре.

— Матерь божья! — воскликнула она. — Привеси-ка бутылку виски.

На столике под картиной, изображавшей младенца Иисуса Пражского, стояла пинтовая бутылка виски. Лейси поднес ее к губам Эдди. Тот глотнул, поперхнулся и начал плакать.

— Сними с него рубашку, — сказала Андре, — и возьми втирание. — Она налила немного жидкой мази себе на ладонь.

Пока она возилась с Эдди, в бар вошли Перрик Ломба и Анни Ландри и принялись, насвистывая, стучать кулаками по стойке.

Лейси поднял голову и, не переставая растирать брата, крикнул:

— Возьмите сами что вам надо и оставьте деньги на стойке. Я очень занят.

Жена его взяла несколько полотенец, намочила их в горячей воде, отжала и, не дав им остыть, обложила грудь и спину Эдди.

Когда Лейси наконец вернулся в бар, лицо у него было пунцовое, все мокрое от пота. Перрик и Анни все еще были там, перед ними стояли три пустые бутылки.

— Ох ты господи, — сказал Лейси, пытаясь вытереть лицо рукавом рубашки.

— Приятель, — сказал Перик, — похоже, тебя варпли вместе с крабами.

Лейси взял полотенце в белую и зеленую полоску и насухо вытер лицо. Достал бутылку пива и одним глотком выпил половину. Потом глубоко вздохнул. Лицо у него было все еще красное, а маленькне глазки налиты кровью.

— Что это с тобой? — спросила Анни.

— Пришлось поработать.

— Что же ты делал?

— Ладно. — Лейси протянул руку. — Плати за пиво.

Анни откинула назад голову и засмеялась:

— Он своего не упустит.

— Я открыл этот бар не для своего удовольствия.

Перик выудил несколько монет из плотно прилегающего кармана брюк.

— Не хотят вылезать.

— Есть люди, у которых они никогда не хотят вылезать.

— Послушай, кто у тебя там, в комнате?

— Мой двоюродный брат, Эдди.

Перик тихо свистнул.

— Я видел его у пристани, когда он возвращался. Со всем недавно.

— Переживает? — спросил Лейси.

— Ну, ясно, — сказал Перик, — а ты бы не переживал?

— Я только не пойму, почему он пришел сюда.

— Может, захотел выпить? — сказала Анни.

— Не с такой спиной, как у него.

Перик пожал плечам.

— Сейчас ему нужно только лежать и чтобы кто-нибудь его растирал.

— Я видел его лицо, когда он возвращался, — сказал Перик, — вы бы на него посмотрели.

— Я хочу еще кружку пива, — сказала Анни.

— Возьми сама. — Лейси положил руки на стойку и оперся на них.

— Ты посмотри, как он разговаривает, — сказал Перик.

— Посмотри, как он приказывает.

— Эй, Лейси, иди сюда. — Андре просунула голову в летнюю дверь.

Лейси выпрямился, сняв со стойки сначала одну руку, потом другую.

— *Sal au pri!* — сказал он тихо.

— Иди скорее, поговори со своим братом.

Эдди сидел на краю постели, слегка раскачиваясь взад и вперед. Они сняли с него башмаки, когда укладывали, и теперь он пытался найти их; вытянув носки, он шарил ногами по полу, описывая большие неопределенные круги.

— Я должен найти ботинки, — бормотал он невнятно.

Перик и Анни вошли вслед за Лейси. Они остались у двери, которая вела на бара в жилое помещение — спальню и кухню.

Эдди увидел их и быстро замгнул.

— Перик, друг, — сказал он и поднял руку, указывая на Перика. — Я должен опять ехать искать... Ты не поедешь со мной?

— Конечно, поеду, — сказал Перик.

Голова у Эдди была такая тяжелая, что ему никак не удавалось держать ее прямо. Она все падала то на одно плечо, то на другое.

— Лейси я не прошу, он слишком стар. Зачем мне старик?

— Ну да, — сказал Перик. — Они слишком быстро устают.

— Вы только послушайте его, — сказал Лейси, — он еще говорит о *dos gris*.

— Замолчи. — Жена что-то зашипела ему на ухо.

— Тут нужно быть молодым, крепким. Будь я помоложе, я бы его нашел.

Эдди перестал шарить ногами в поисках башмаков. Он смотрел на Перика широко открытыми, почти круглыми глазами. В уголках глаз краснели длинные, глубокие, как порезы, прожилки.

— Так поедешь, Перик, да?

— Я же сказал, что поеду, — ответил Перик, раскачивая летнюю дверь. — Ты когда думаешь отправляться?

— Это просто глупо, — прошептала Анни.

Эдди перестал раскачиваться и сидел совершенно неподвижно.

— Сам не знаю.

— Не знаешь, когда ты думаешь ехать?

— Мне, пожалуй, надо поспать сначала.

— Обязательно, — сказал Лейси. — Когда не поспишь, не соображаешь, что делаешь.

— Вот что, Эдди. — Перик закрыл дверь и шагнул в комнату. — Ты иди поспи, а я пока все приготавлию.

— Нам нужен еще кто-нибудь, — сказал Эдди. — Двоих мало.

— Ладно, — сказал Перик. Я пойду поищу людей. Ты кого думаешь?

Эдди уснул, сидя на краю кровати, уронив голову на плечо. Они осторожно уложили его головой на подушку, затем подняли его ноги и вытянули их на постели. Рот у него приоткрылся, и он захрапел.

Они вышли на цыпочках, прикрыв за собой деревянную дверь.

— Эх, дела, дела, — сказал Лейси со вздохом.

Андре позвала:

— Идите сюда. Я вас угощаю пивом.

Она зашла за стойку и стала вынимать мокрые бутылки по две сразу.

Лейси уставился на нее.

— Ты что же это транжирить мои деньги...

Она поставила бутылки в ряд и нагнулась за стаканами.

— Вот это я понимаю, — сказал Перик.

— Надо будет почаще заглядывать сюда, — сказала Анни.

— По-моему, старуха сходит с ума, — сказал Лейси.

Андре налила себе пива и искоса взглянула на мужа.

— Я им твоего не даю: в нашем штате у мужа и жены общее имущество, и здесь половина всего — моя.

Лейси сплюнул за дверь.

— Посмотрите на нее. Прочитала статью в «Пикаюне» и уже рассуждает, как адвокат.

— Во всяком случае, — сказала Анни, — это настоящее холодное пиво. Уж тут без ошибки.

— А он лежит там, как мертвец. Точно как его сын.

— Да. — Лейси зажег спичку о подошву ботинка. — Только он-то еще встанет, а уж мальчишка — никогда.

— Тяжелее всего ему будет, когда он проснется, — сказала Андре.

— Это всегда тяжело, — сказал Перик.

— Мальчишка должен был думать, что делает, — сказала Анни.

— Оно-то так, — сказал Лейси, — да теперь уже поздно.

— Вот так оно и получается, — сказала Андре и постучала стаканом о деревянную стойку.

— Ты что, в самом деле поедешь с ним? — спросил Лейси Перпка.

— Если он попросит.

— Когда он проснется утром, он поймет, что это ни к чему. Ничего это не даст.

— Может, он все же захочет поехать, — сказал Перпка.

— Нет, не захочет.

— Я и сам думаю, что нет, — сказал Перпка.

— Не хотел бы я быть на его месте, когда он проснется, — сказал Лейси.

— Почему он все-таки пришел сюда? — спросила Анни. — Почему не пошел домой?

— Да, я бы не хотел быть в его шкуре, когда он проснется, — повторил Лейси.

Эдди спал недолго, примерно до пяти. Они толком не знали, что его разбудило. Может быть, кто-то хлопнул входной дверью или мальчишка закричал под окном. А может быть, его разбудил какой-нибудь сон. Андре взглянула к нему через час после того, как он заснул. Ей взбрело в голову, что он, может быть, лежит там и не дышит. Но он спал тяжелым сном, бормотал что-то, и плечо его судорожно подергивалось. Выйдя из комнаты на цыпочках, она сказала:

— Он все еще гребет.

Часа через два Эдди поднялся. Глаза у него припухли и были почти закрыты, так что он еле видел. Он встал на четвереньки и отыскал свои башмаки. Шнурки были завязаны узлом. Пальцы у него так онемели, что он не мог развязать их и сунул ноги в башмаки, как в шлепанцы. Парусиновые задники сразу же осели под тяжестью его тела.

Он не пошел через бар. С минуту он постоял в нерешительности посреди комнаты, а потом тихонько вышел через боковую дверь.

Но пружина на летней двери была очень сильной. Он не смог удержать дверь своими непослушными пальцами,

и она с шумом захлопнулась. Эдди заморгал от внезапного, резкого стука, но не остановился и не повернул головы. Он продолжал идти по небольшой дорожке, ведущей к дому, шлепая башмаками по земле.

Сзади он услышал резкий голос Андре:

— Его здесь нет. Он вышел через боковую дверь.

И вот она уже шла рядом с ним, немного запыхавшись от быстрого бега, — ведь она была уже немолода, хотя и сохранила стройную, как у девушки, фигуру.

— Что тебе не спится? — Она схватила его за руку. — Почему ты убежал?

Он только медленно покачал головой, не переставая шагать.

Она шла рядом с ним.

— Идем обратно, поужинаешь. У нас сегодня замечательные креветки.

Он медленно перевел на нее взгляд из-под припухших век. Кожа на щеках и подбородке у него покраснела от солнца и шелушилась.

— У Белл сегодня тоже креветки.

— У нас есть настоящее холодное пиво, — сказала она. — А уж пиво как хорошо с креветками.

— Мне нужно домой, — сказал он.

— Пстой, надень как следует башмаки.

Дрозд-пересмешник с криком вился над ними, пролетая над самой головой. Андре отмахнулась от него.

— Подожди минутку.

Он не ответил.

Она продолжала идти рядом с ним, быстрыми нервными шагами.

— Пошли, выпьешь с нами чашку кофе. А?

Он наклонил голову и продолжал идти. Легкие, быстрые шаги Андре замерли, она остановилась и глядела ему вслед.

— Egaré, — прошептала она.

Эдди продолжал идти, прислушиваясь, как хрустят под ногами белые обломки ракушек. Стало немного прохладнее, повеял ветер. Было, должно быть, около пяти часов. Тепл ложился поперек посыпанной ракушками тропинки, и Эдди шагал через них.

Он очень долго добирался до дому. Его удивляло, что он так медленно идет.

На краю тропинки сидела кошка, завернув хвост кольцом вокруг лап. Одной лапой она спинала с усов обрывки паутины. Желтая кошка с желтыми глазами и белыми усами. Эдди подумал, не добрались ли кошки до уток, иногда они прокрадывались в дом. Он ударил кошку ногой, и она с мяуканьем отлетела прочь. Башмак свалился у него с ноги. Он хотел подобрать его, но спина словно одеревенела и болела, даже если чуть-чуть наклониться. Он не глядя сунул ногу в башмак. Кусочки ракушек попали внутрь, но он не замечал этого.

Он открыл калитку перед домом: она распахнулась и повисла на одной петле. Генри еще с зимы обещал прибить петлю. Но ему уже не придется сделать это.

Эдди раскачивал калитку, прислушиваясь к скрипу. Он должен будет сам прибить петлю или заставить Питу. Питу придется теперь делать многое, чего он раньше не делал.

Эдди осторожно прикрыл калитку. Маленькая белая собачонка подошла и обнюхала его шлепающие башмаки.
— Пошла.

У дорожки, ведущей к дому, лежала серая скорлупа от креветки; наверное, ее притащила какая-нибудь кошка. Эдди с трудом нагнулся и подобрал скорлупу. Он вертел и вертел ее в руках — обыкновенный кусочек скорлупы, слегка изогнутый. Потом бросил ее через плечо.

Его жена сказала с крыльца:

— Ужин готов, можешь есть, если хочешь.

Эдди поднял глаза: он не заметил ее. Она ничего не делала. Она просто сидела в плетеном кресле, слегка покачиваясь.

— Я ничего не хочу, — сказал Эдди.

Он стал медленно подниматься, ставя обе ноги на каждую ступеньку. Прошел крыльцо и распахнул летнюю дверь, не придерживая ее. Дверь с шумом захлопнулась за ним. Дом был наполнен запахом стирки — так могли пахнуть только утки. Эдди сел в кресло, уперся локтями в колени и положил голову на руки. Было очень тихо, слышался только скрип качалки на парадном крыльце.

ЕЩЕ УВИДИМСЯ, КРОКОДИЛ

Принц пришел в страну индейцев году в тридцать четвертом или тридцать пятом. Его титул не был наследственным, и он достался ему не по чьей-то прихоти и не потому, что какой-нибудь тамошний торговец с чересчур богатым воображением назвал его так. Этот титул ему пожаловали люди, он заработал его, потому что одно дело он делал лучше всех в мире. Он играл на трубе. Он играл на трубе лучше всех в мире. Его королевство на юге подверглось опустошению. Но побежденные не были побеждены. Они покинули юг, они оставили Нью-Орлеан, когда их мир рухнул, когда продажность забралась в их жизнь, размеренно и без помех отравляя все вокруг. Они покинули юг, но они помнили, они терпели, до тех пор пока не умирали в какой-нибудь лачуге. Они терпели, их золотой горы по-прежнему был с ними, они по-прежнему несли свой запыленный скрипач, и иногда они пели.

Как Принц, который добрал до страны индейцев, чтобы умереть в заброшенной хижине. Незадолго до его смерти Ткач, живший совсем рядом с ним, слышал быстрые всплески нежной музыки: она лилась по затихшей земле, мерная, веселая, а иногда печальная.

Он подумал, что Принц идет по дороге из Альбукерка в Денвер, но Принц шел по дороге в никуда. Он был один из обездоленных, отверженных, один из странников в этом мире, не умеющем петь.

— Один из тех, кто мечтает втайне. Его невозможно было купить. Один из тех, кто знал, кто он и зачем он, — сказал лавочник.

— Да, конечно, — сказал человек из города, приехавший в такую даль. — Мне ни к чему всякая там философия. Мне платят за факты. Он умер от голода?

— А что?

— Мы делаем по телевидению спектакль о его жизни.

— Тогда может быть.

— Может быть, — повторил одетый по-городскому человек, приехавший в такую даль. — Может быть. Редактора не устроит это «может быть». Я должен добыть факты. Я хорошо плачу.

— Это вполне может быть, — сказал лавочник.

— Ладно, — сказал человек из города. — Я заплатил бы, сколько это стоит.

— Может быть, и так, — сказал лавочник. — Может быть, он умер от голода. Сколько бы это стоило?

— Внакладе не останетесь, — сказал человек из города. На нем была шляпа с круглой плоской тульей и узкими загнутыми полями, падающая на изможденное, почти детское личико. — Внакладе не останетесь.

Городской человек с детским личиком оглядел лавку, товары, пидейцев, прислонившихся к стене.

— Если бы он, например, умер от голода и вы бы так и сказали, мы бы не поскупились и заплатили пастоящую цену.

— Это не имеет цены, — сказал лавочник.

— Ладно, — сказал человек из города. — Внакладе не останетесь. Я хочу пробиться.

Лавочник был, как и пидейцы, в коротких штанах из дешевой материи. Его огромная шляпа-стетсон сдвинулась на затылок, открывая длинное лицо с распливчатыми чертами. Склонившись над длинной стойкой, он рассеянно ждал, что еще скажет человек из города.

— Я хочу пробиться, — повторил тот. — Вот и все... Мне нужно пробиться. Я вижу, что предлагать вам деньги бесполезно, поэтому я говорю вам прямо: мне нужно пробиться.

— Поздравляю, — сказал лавочник и вновь принялся соображать, что делать с кассой, если в ней что-то заело.

— Но ведь у меня ничего не вышло, — возразил человек из города.

— Все равно поздравляю, — ответил лавочник.

— Послушайте, — сказал человек из города. — Я хотел взять вас на пушку. Это мой первый опыт, но я хотел изобразить из себя старого, опытного волка — швырять деньги направо и налево и тому подобное. Я вас не обидел?

Лавочник отрицательно покачал головой.

— Я мечтал вернуться в Альбукерк и сказать жене: «Вот, смотри на меня, я пробился!»

Лавочник возился с кассой.

— Компания доставила меня сюда в роскошном самолете, поселила в роскошном отеле в Альбукерке, предоставила мне отличную машину — они падеялись на меня. А сегодня я погиб. Я в самом деле вас не обидел?

Лавочник отрицательно покачал головой.

— Ничего, если я поговорю с индейцами?

— Закон не запрещает говорить с индейцами.

— А они говорят по-английски?

— Они знают по несколько слов на всех языках. Да, говорят и по-английски. Только не сообщайте им, что вам нужно пробиться.

— Спасибо.

— Поговорите с тем, что сидит на скамье с краю, с бирюзовым кольцом. Он был другом Принца.

Человек из города прямо приступил к делу.

— Вы знали Принца? — спросил он индейца.

— Да, — ответил тот.

— Он умер от голода?

— Может быть.

— Меня зовут Рассел, — представился человек из города.

— Поздравляю.

— Я приехал издалека, — продолжал городской человек в плоской шляпе, — чтобы раньше всех узнать историю смерти Принца. А меня угощают одним «может быть». Редакторов это никак не устроит.

— Как это неприятно, — сказал индеец.

— Принц теперь знаменитость, — продолжал человек из города. — Его музыку опять играют. Все хотят знать о нем. Я приехал издалека, чтобы узнать. Я, можно сказать, представляю сто миллионов людей, — человек из города умолк, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на индейца его слова. — Да, я бы мог так сказать...

— Ну и скажите, — согласился индеец.

Человек из города встал и пошел обратно к лавочнику.

— Ничего не выходит, я погиб, — сказал он. — Скажите мне только, действительно ли Принц приехал сюда и умер от голода? Для начала хватит и этого.

— Вы слишком скоро отступились от этого индейца.

Побейтесь-ка еще, — посоветовал лавочник. — Его прозвали Ткач. Он художник. Они дружили — Принц и Ткач. Они оба были художники.

— Это очень интересно, но недостаточно даже для начала. Принц, должно быть, приходил сюда к вам?

— Да.

— Он что-нибудь продавал?

— Нет, ничего.

— А что продают индейцы?

— Когда сезон — шерсть. А обычно поделки из бирюзы. Они хранятся у меня, пока индейцы их не выкупят.

— У Принца был горн. Почему он не закладывал его?

— Потому что я его не брал.

— Почему же?

— Потому что для индейцев эти поделки — их богатство, их красота. А его горн...

— Это была вся его жизнь, — сказал Рассел.

— Может быть.

— Но вы ссужали ему деньги без залога?

— Иногда.

— Смотрите-ка, что-то получается.

— У вас всегда получится.

— Я хочу сказать — дело движется, — пояснил Рассел. — Но в конце концов он умер от голода?

— Может быть.

— Это не ответ.

— Он появился здесь году в тридцать четвертом или тридцать пятом.

— Это я знаю.

— Была дождливая ночь. Непопятно, как он добрался. Наверное, помог какой-нибудь торговец, возвращавшийся в Альбукерк. Он оставался здесь до самого закрытия. Не мог же я выставить его на эту грязную, пустынную дорогу. Он бы увяз по колено.

— Увязнуть можно и сейчас.

— Нет, теперь там гравий.

— Разве?

— Я привел его в хижину. Это был высокий сутулый человек, глаза внимательные, маленькие. Из-под широкополой пасторской шляпы торчали седеющие волосы. В руках у него был портфель с носками, новой рубашкой и прочим. Он был чистоплотный старик. В другой руке он нес инструмент в черном футляре. Я узнал, что это

такое, потому что не успел я отойти на несколько шагов, как он заиграл.

— На чем же?

— На той пгтуке, что была в футляре. Я так и замер на дожде и стоял минут пятнадцать, не замечая, что насквозь промок. Потом очнулся и увидел, что вокруг меня стоят индейцы и тоже слушают.

— И это тогда он умер от голода?

— Нет, это потом. Он покориł индейцев — во всяком случае, его музыка. Они кормили его месяцами, почти годами. Потом у него появился дом-хижина, первый раз лет за десять. А потом однажды ночью индейцы сожгли ее.

— Так он умер не от голода? Его...

— Нет.

— Но зачем сожгли его дом? А-а, понимаю.

— Что вы понимаете?

— Он был негр.

— Нет, — возразил лавочник. — Я хочу сказать, индейцы этого не знали. Да их это и не занимало. Он был для них таким же белым. Они прежде в глаза не видели черных и думали, что это просто такой белый.

— А вы им ничего не сказали?

— А что нужно было говорить?

— Понимаю, — сказал человек из города. — Ну ладно. Так от чего же он умер? Вы говорите, он не сгорел?

— Нет. Во время пожара он играл на своей дудке. Он помог им развести огонь. А потом играл, пока дом не сгорел дотла. А потом они построили ему другой.

— А чем же был плох прежний?

— В нем умер Навахо. Плохая примета. Вот почему в нем никто не хотел жить. Вот почему он достался ему и вот почему его сожгли.

— Понятно. Значит, Принц не там умер?

— Нет. Он покориł индейцев, он играл на их праздниках. Он был для них особенным белым. Они впервые в жизни увидели черного белого человека. Для них он был белым, потому что он вел себя, как белый, одевался, как белый, говорил на языке белых, но они понимали, что он особенный белый, потому что он черный.

— И к тому же он прекрасно играл...

— Да.

— Он был гений. Мы теперь это знаем. Немного поздно, правда.

— Да, поздно.

— Но индейцы знали это, потому что они тоже просты, как сама природа, и они поняли простоту, чистоту и благородство его музыки.

— До вас начинает доходить, — сказал лавочник.

— Видимо, пока не очень. Так или иначе, шеф в этом разберется. Но что же было потом? Когда он умер от голода?

— Кто сказал, что он умер от голода?

Торговец прошелся вдоль прилавка.

— Вы этого не отрицали, — возразил человек из города, идя за ним.

— Но я этого и поговорил.

— Вы не возражаете, если я еще попытаю счастья с индейцем?

— Валяйте.

Когда человек из города подсел к Ткачу, тот встал и отошел к окну. Его круглое темное лицо ничего не выражало.

«Я погиб, — думал Рассел. — К индейцу не подступиться. Не подступиться к индейцу, к гению, к королю. От таких людей ничего не добьешься. Они живут в своем собственном, замкнутом мире. Какого черта мне дали такое задание, с этими проклятыми индейцами? Я пропал. Мне не пробиться. Но как же этому Принцу удалось спеться с ними? Чем-то он их купил. Но деньгами их не купишь, это мне уже ясно. Что же тогда у него было, что могло их соблазнить? Искусство. Но это слишком широкое понятие, оно ничего не означает. Это чертовски неопределенно. Вероятно, это его музыка, она оказалась выше всех языков, обычаев, всех культур и различий. А что есть у меня? Ничего. Я погиб. Мне их не одолеть. Мне не пробиться теперь».

Рассел подумал, сколько денег потратила компания для того, чтобы послать его сюда, на край света.

«Надо что-то придумать. Жена говорит, да и компания считает, что во мне что-то есть. Это, конечно, не талант и не красота... Так что же это? Сила воли. Вот что у меня есть. Сила воли. Если бог не дал тебе ничего другого, то уж всегда можно обрести хоть силу воли. Упорства у меня хватит, этого мне не занимать. И совесть

моя чиста, и стараюсь я изо всех сил. Это-то у меня есть... Ничего у меня нет!»

Он повернулся к сидящему рядом индейцу.

— Нет, есть. У меня есть терпение, вот что у меня есть. Терпение.

— Поздравляю, — сказал индеец.

Ткач, который отошел к окну, чтобы избавиться от журналиста, глядел вдаль и думал: «Ну как такому рассказать! Как ему рассказать о человеке, который знал о себе, кто он? Как ему рассказать о Принце? Кто, кроме художника, поймет пустоту и одиночество от страстного стремления отдаться людям и невозможности поступиться при этом своим душевным миром? Кто поймет? Кто поймет, что ему приходилось жить на краю света, потому что только на краю света люди его понимали? Теперь другое дело. Человек из города говорит, что теперь в мире начинают понимать его и хотят даже сделать картину. Но кто понимал тогда? Никто тогда не понимал. Такие, как он, выпущены уходить на край света, потому что в мире их не понимают. Но почему не изменить этого? Почему не спуститься на землю? Наверное, потому, что земля не та, что нужно. Когда земля станет такой, как нужно, такие люди, как Принц, будут на нее приходить. Как он говорил? «Я добыю это своим потом». Вот что он говорил. Наверное, принцам не пристало так говорить, но он так говорил. Он и другое говорил, например: «Все должно быть чисто, Джексон. Все должно быть честно, Джексон. Ты должеп почувствовать это, Джексон. Все должно быть правильно, или не надо совсем. Дай мне руку, индеец». Городской человек этого не поймет. Но он хочет знать, не умер ли Принц от голода. Да, Принц умер от голода, но не от того голода. Ему нужны факты. Но что стоят факты без чувства?!»

— Послушайте, — сказал Рассел, — у меня есть предложение. — Он подошел к Ткачу и надвинул на глаза свою плоскую шляпу. Индеец увидел на шляпе зеленые и красные перья и подумал, что ни одна птица не признает их за свои.

— Вот что я предлагаю.

Он порылся в зеленом кожаном портфеле и достал несколько пипок ярких бус. Он разложил их на стойке так, что некоторые свесились через край, роскошно пере-

ливаясь дешевым блеском. Рассел отступил на шаг, чтобы полюбоваться бусами и позавидовать тому, кому они достанутся; весь его вид показывал, что ему страшно трудно с ними расставаться; его брови хмурились — видно, ему жалко было этих сокровищ. Продемонстрировав все свои чувства и даже больше, он сказал:

— Я отдам это в обмен на факты о Принце.

Но все индейцы поняли, и лавочник перевел им его слова. После этого они долгую минуту что-то бормотали.

— Я жду, — сказал он, — по рукам?

Никто не обратил на него внимания. Бормотанье продолжалось.

— Я жду решения.

Индейцы умолкли.

— Ну что?

— Они хотят знать, где вы это взяли?

— Эта коллекция принадлежала раньше человеку, по имени Вулворт. Она мне досталась от него.

Индейцы снова побормотали, и наконец лавочник объявил их решение.

— Они говорят, чтобы вы плюнули в глаза этому Вулворту. Он вам продал стекляшки.

— Да, но я про это читал. Индейцы что угодно отдадут за бусы.

— Отдадут Манхэттен. Может быть, даже весь Нью-Йорк, — сказал лавочник. — Но не отдадут ничего стоящего, во всяком случае, за стекло.

— Хорошо. Сдаюсь. Вы победили. Но у меня есть другое предложение. И вот что я предлагаю. Терпения у меня хватит. Я останусь здесь, и, если понадобится, — на годы, и буду вас добивать. Это единственное, что мне остается. Надеюсь, вы меня не заставите это сделать?

Индейцы молчали.

Рассел снял шляпу, оглядел ее, стряхнул пылинку с пера и снова надел. Затем он долго разглядывал индейцев и наконец пошел к прилавку и принес оттуда свой зеленый портфель, из которого достал французскую книжку под названием «Люди и проблемы джаза».

— У меня есть другое предложение, — сказал он и поднял книгу. — Вы понимаете, что тут написано?

Ткач взгляделся и кивнул:

— Да.

— Ах, вот как, я не подозревал. Я собирался перевести вам, что этот человек сказал о музыке Принца, в обмен на ваши факты.

— Я выучил несколько слов в школе для индейцев. Не очень много, — сказал Ткач.

— Вероятно, достаточно, чтобы не дать мне соврать. Нет, у меня есть другое предложение. — Человек из города снял шляпу, побарабанил по ней пальцами, по-кошачьи погладил перо никакой птицы. — Предположим, что я смогу вернуть вам Принца, живого. Тогда вы дадите мне факты?

— Да. — Ткач знал, что ничем не рискует. — Я сам хоронил его.

— А я воскрешу.

Молчаливые, невозмутимые индейцы, которые раньше смотрели поверх его головы, ничего не видя и не слыша, теперь заулыбались. Они переминались с ноги на ногу, а женщины, сидевшие под прилавком, качали головой, растерянно хлопали глазами, подталкивали друг друга и поглядывали на городского человека, тотчас в смущении отводя глаза.

— Я воскрешу его, — повторил человек из города.

— Когда? — спросил Ткач.

— Сейчас. Идите за мной.

Все индейцы толпой двинулись за человеком с пером. Они проводили его до машины, откуда он достал еще портфель, на этот раз красный. Теперь у него был красный портфель в одной руке и зеленый в другой, и тех же цветов перья торчали из шляпы.

— Где он жил?

Ткач указал на хижину под лиловым выступом плоской горы. Рассел направился туда. Индейцы последовали за его ярко оперенной шляпой через заросли серой полыни, впакорослых кустарников и кактусов. Тяжело ступая и толкаясь, они вереницей пробрались между карликовых сосен, шагая в ногу за городским человеком. Теперь они шли по долине. Это была земля пастбищ и песка, земля вечности — сюда только изредка приходили люди.

— Что это? — спросил человек из города.

— Здесь когда-то текла река, — сказал Ткач. Теперь только это ущелье отделяло их от хижины.

— Здесь пройти невозможно, проход в пяти милях отсюда, — сказал Ткач.

— Так можно и опоздать, — сказал человек из города. — Мы можем все упустить.

— Что упустить?

— Публику. Пошли. — Он прижал к животу оба портфеля, сел на край обрыва и заскользил вниз. На дие он вскочил на ноги и побежал. Ему удалось избежать на противоположный склон, он уже почти достиг края, по в последний момент упал. Цепляясь за глину, он закинул наверх свои портфели и выбрался сам, с трудом подтянувшись за корни дерева.

— Ну вот, — закричал он через пропасть. — Что же вы стоите? Идите сюда.

Индейцы расположились, чтобы все видеть, там же, на краю пропасти. Если Принц воскреснет, они это увидят и отсюда.

— Ладно, — сказал человек из города, повернулся и пошел к хижине. Вскоре он вышел оттуда без портфеля и без Принца.

— Ну вот, — сказал он, стукнул каблуком в стену, и тут появился Принц, то есть не сам Принц, а то, что о нем помнили индейцы и весь мир.

Индейцы дружно съехали вниз и побежали по другой стороне обрыва, не карабкались по нему, а просто бежали, хотя склон был невероятно крут.

Через минуту они уже стояли перед человеком из города, задыхаясь и жадно ловя знакомые звуки. Человек из города снял шляпу, побарабанил по пей пальцами и поправил перо.

— Это фонограф, — сказал Ткач.

— Но ведь это он, Принц. — Человек из города надел шляпу. — Он вернулся.

Ткач слушал величавые, полные правды звуки, ясно и могуче разносившиеся по огромной стране индейцев.

— Да, — сказал Ткач, — это он.

Горн издал слабый, неуверенный звук, потом его голос окреп и полился вдаль.

— Да, да, — сказал Ткач.

— Вот и все, что есть в человеке. Его дела. Все, что он сделал. Это Принц. Принц был терпелив.

— Да, — сказал Ткач.

Теперь музыка казалась маршем, она пела из большой трубы, затем стихла, притаплась, чтобы рассыпаться, как осколки блестящего стекла на солнце.

— В наше время человек не умирает. По крайней мере некоторые люди. Они могут всегда вернуться, когда мир уже подготовлен, когда мир становится таким, как нужно. Терпеливо.

Музыка приобрела четкий, ровный ритм; звуки трубы то нежно замирали, то вдруг становились смелыми и твердыми.

— Некоторые люди больше уже не умирают. — Человек из города выпул пачку сигарет и предложил индейцам, но они слушали. — Если человек честен и терпелив, он может вернуться. Он может жить вечно.

— Да, да, — сказал Ткач. — Слушайте.

— Ну что, я выиграл?

— Человек сильнее смерти. Да. Все что хотите, но сейчас слушайте.

— Спасибо.

В этот же день, поздно вечером, вернувшись в лавку, человек из города отдал Ткачу большой альбом с пластинками, где было написано: «Принц».

— Это тебе, — сказал он. — И машинка тоже. Ты можешь возвращать его к жизни, когда захочешь.

— Я и не знал, что после него остались какие-то записи.

— Их долго не было. Нужно было найти несколько старых, заграничных пластинок в Новом Орлеане, собрать их и сделать миллион копий.

— Ах вот как это сделано!

— Два миллиона, — сказал человек из города.

— Это хорошо, это очень хорошо. Спасибо.

— Ну, а теперь: он умер от голода?

— Да, — сказал Ткач. — Та зима была долгая и суровая. Немногие из индейцев могли выдержать такую долгую, суровую, холодную зиму. Но он играл и побеждал ее, по крайней мере в наших глазах. Однако сам он не выдержал. Со своим народом он видел много голода, но не представить себе не мог, что происходит с индейцами долгой, суровой, холодной зимой. Он продал свой горн торговцу из Ацтека, купил у него еды и кормил всех нас. Не у нашего торговца — у нашего не было еды, — он купил еду в Ацтеке и кормил всех нас. А потом он умер

от голода. Вы можете понять, как человек, у которого есть еда, умирает от голода?

— Я думаю.

— И горпа у него уже не было, а это была его жизнь.

— Да.

— Вам этого хватит?

— Для начала хватит.

— Вы расскажете все честно?

— Мы постараемся рассказать все честно.

Человек из города надел шляпу и протянул руку Ткачу. Ткач посмотрел на него и устремил взгляд в потолок. Человек из города наклонился и протянул руку на глаза и вновь протянул руку.

— Дай мне руку, пидеец.

Теперь Ткач нехотя и медленно, но все же подал руку. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, рукопожатие их крепло.

— Терпение. Теперь я пойду, — сказал человек из города. У двери он обернулся и добавил: — Пока, до встречи, аллигатор.

Ткач вошел в комнату, где висели овечьи шкуры и где пидейцы вместе с хозяином лавки слушали музыку Принца. Ткач прижимал к груди целый альбом пластинок. Потом он снова вышел, думая о своем богатстве. Он подошел к окну, поднес альбом к губам и поцеловал Принца. Из окна он следил, как машина человека из города удалялась под плоским выступом горы и скоро превратилась в точку, готовую вот-вот исчезнуть. И он с улыбкой сказал этой точке:

— Еще увидимся, крокодил.

ДИЧОК

Доносившиеся снаружи злобный лай и угрожающее рычание собаки сменились радостным повизгиванием. Трое, усевшиеся за стол к ужину, знали, что это домой вернулся мальчик. Радость смягчила черты красивого лица Сары Макафи. Она украдкой взглянула на своего брата, Гревена Макафи, как раз в ту минуту склонившего свою массивную голову для молитвы. Он уловил этот взгляд, и его лицо замкнулось, как сжимается кулак.

Еле заметная улыбка Адама Триунта, занявшего свое место для батраков в конце стола, оживилась, когда со стороны полешницы дров раздался матовый стук колуна. То был не косой взмах, каким откалывают лучину, а решительный удар по середине полена. Выходит, Гревен не выбил окончательно пруть из своего паренька, подумал батрак. Но тут колун зачастил, удары сделались слабее, как бывает, когда лесоруб делает затеску, и Адам потер свои покрытые мозолями большие пальцы, словно отстраняясь от того, что его не касалось.

Гревен стал читать молитву низким голосом, говорившим, как и все в нем, о его сокрушительной силе. Адам дождался заключительного «аминь» и только тогда отодвинул свой стул и пошел к двери. Гревен, дав ему взяться за ручку, отрывисто сказал властным тоном хозяина:

— Оставь его, погонщик.

— Если нужны дрова, — осторожно начал Адам, — я нарублю. Он, кажется, дошел до ручки, после того как долбил их целую неделю. Ему всего тринадцать лет, а в этом возрасте неделя может показаться годом.

— У меня на кухне хватит дров, — поторопилась вставить Сара, но Гревен даже взглядом не удостоил свою незамужнюю сестру.

— Я повторять не стану, не трогайте его, — отрезал он.

Адам вернулся к своему стулу и оперся на его спинку. В его непринужденной позе не было и тени вызова. Жилый худой человек с добрым лицом и складочками морщин вокруг глаз как бы отгородился от всех, замкнувшись в своем футляре.

— Я не очень-то смыслю в мальчиках, — медленно произнес он, — мое дело — мулы. Чтобы от мула был толк, его надо сломать, но весь дух выплывать из него нельзя, хоть капельку нужно оставить. Выбей из него все, и он не будет стоять своей шкуры.

Гревен потянулся за картофелем и смерил глазами Адама.

— Что такое ты оставляешь своему мулу? — спросил он.

Смуглые руки Адама заерзали по спинке стула, и в голосе, каким он ответил, сквозило удивление.

— Как это сказать... надо, чтобы у него осталось что-то свое. Чутьку самолюбия, что ли. Вымотаешь его, так потом приходится и побаловать. Мул в это время здорово скучает.

Гревен накладывал себе картофель ложкой.

— Занимайся-ка своими мулами, — сказал он. — А у меня всего один мальчик, и родился он у меня поздно, но я хорошо помню, как растил меня. Человека можно превратить в тряпку, выбить из него самолюбие — ничего с ним не сделается. Я знаю своего мальчонка. Он нарубит кучу дров, чтобы спрятать за ней свой стыд. Сейчас он войдет и с грохотом швырнет дрова в ящик. Так он и отыграется за свою гордость. Он поступил скверно и должен быть за это наказан. Убежал от порки и сам к ней вернулся. Присматривай-ка получше за своими мулами, — закончил Гревен неожиданно смягчившимся голосом.

Адам сел и стал ужиматься, и Сара, видя, как он ушел в себя, внезапно возненавидела весь род погонщиков мулов. Ни устоев, ни характера. Каждый пробавляется своей глупенькой недостижимой мечтой. Этот, со своими планами соорудить себе кочевой фургончик, еще наименее остальных. И все-таки ей нравилось по вечерам, упрямившись с посудой, сидеть на кухонном крыльце и слушать, как Адам своим мягким голосом неторопливо расписывает мальчику прелесть и уют хорошо оборудованного фургончика, и, протянув руку, незаметно обнимать племянника за плечи.

Молчаливый ужин близился к концу, когда мальчик проскользнул в дверь, пересек комнату и присел у дровяного ящика. Потрескавшаяся, синяя от холода ручонка бесшумно опустила в него полено, лежавшее в охапке сверху: Затем рука повторила движение, положила второе полено, и все это тихо, по-мышинному.

— Встань-ка, мальй. — Остановленная грубым окриком Гревена рука повисла в воздухе. — Встань-ка и швырни дрова в ящик со всего маху.

Согнутые коленки мальчика задрожали под натянутыми штапами, однако он не поднялся, пока умоляющий голос Сары не нарушил тишины.

— Сделай же, сделай, Джон Томас, как он говорит.

Тогда мальчик бросил дрова в ящик, но не поднял глаз. Он попытился к двери, прикрывая рот рукавом. У заднего крыльца он нащупал на гвозде ременный бич, вернулся с ним и стал на колени, плотно сжимая лодыжки, возле толстого коленца Гревена. Бич он поднял над головой, протягивая отцу.

Гревен сгреб мальчика за куртку и поставил на ноги.

— Ты заслуживаешь порки, верно?

— Я к ней приготовился, — вяло ответил Джон Томас.

— Пусть она останется за тобой, — сказал Гревен. — Корми его, Сара.

Сара бросилась к плите, но мальчик вырвался от отца и стал перед ним со слезами на глазах.

— Я не хочу быть что-нибудь должен. Если меня надо пороть, делай это сейчас.

Гревен поглядел на сына с высоты своего роста и сказал с уязвленным удивлением:

— Ты что же, думаешь, что мне очень хочется тебя сечь?

— Нет, отец, я так не думаю.

И голос мальчика и его обреченно согнутая фигурка говорили обратное: все поняли, что он солгал.

У Гревена вздулись па шее жилы — эта несправедливость его обидела и рассердила. Одним рывком он ухватил мальчика и бич.

— Я не потерплю, чтобы мне лгали, — проговорил он сквозь стиснутые зубы и нанес первый удар бичом.

Замершая возле плиты Сара непроизвольно перевела дыхание, и ее еле слышный судорожный вздох остановил Адама, пробравшегося к двери. Он заговорил громко,

чтобы заглушить удары ремня и звуки, прорывавшиеся сквозь стиснутые зубы мальчика.

— Чего вы волнуетесь: ведь Гревен сказал, что у людей не выбьешь гордость. Человек крепко хранит ее, прячет в потайное место. Ремень туда не достанет. Все обойдется.

Взгляд Сары проводил его до двери, она как бы молча благодарила его за эти слова, а ему было немного не по себе за сказанную ложь: ведь мальчик был задержан и измучен.

Адам пошел к загону и облокотился на изгородь. Его мул Шеба снова подманула жеребенка, тот ушел от матери и теперь, качаясь на своих тонких дрожащих ногах, безуспешно теребил ее пустые сосцы и сердито дергал головой, недовольный тем, что из них все не течет сладкое молоко. Шеба, изогнув шею, облизывала жеребенка. Он был счастлив и огорчен одновременно, и Адама, пока он стоял и наблюдал за животными, внезапно поразило, как много у Шебы сходного с Сарой. Шеба вечно отбивала жеребят у маток, умеряя этим жажду материнства, томившую ее бесплодное тело, а Сара, старая дева без всяких надежд на будущее, довела себя до того, что сынчик Гревена сделался ей дорожке жизни. Адаму стало жаль обеих. Он потянулся и вздохнул, чувствуя потребность двигаться, пойти куда-то, чтобы избавиться от ощущения, будто он стал как мягкий воск в странной обстановке на этой ферме Макафф. Здесь он был словно между молотом и наковальней, и это было неприятное чувство.

Во дворе послышались поспешные, спотыкающиеся шаги, и дверь в сарайчик для сбруи скрипнула на петлях. Адам снова сказал себе, что это его не касается, что Гревен может делать со своим сыном что ему вздумается, но эти рассуждения не могли его успокоить. Он подождал полчаса, чтобы дать Джону Томасу отойти, и тогда открыл дверь и постоял несколько секунд в проеме, чтобы не испугать мальчика в темноте. Затем он присел на корточки у набитого мякиной дерюжного тюфяка и на ощупь свернул сигарету. Чиркнув спичкой, Адам на мгновение задержал ее в поднятой руке, чтобы взглянуть на бледное заплаканное лицо, прежде чем мальчик успеет вернуться к стене.

— Чего ты вздумал заварить такую кашу? — спросил Адам.

Джон Томас долго молчал, потом наконец заговорил таким голосом, словно устал до смерти.

— Я никак не могу ему угодить — кошу ли, пашу или бороню. Ну никак не могу ему угодить. Я вечером выносил помой свиньям, хряк сунул морду в кадку и опрокинул ее. Я знал, что он все равно дознается. Я, кажется, не могу больше терпеть.

— Надумал куда-нибудь уйти?

Мальчик сразу не ответил, а когда заговорил, в его голосе была такая же тоска, как у Адама, когда он рассуждал о своем фургончике.

— Я давно думал пойти куда-нибудь, когда на фермах напимают рабочих, и попросить взять меня за харчи. Я бы старался как мог, и меня хозяин оставил бы потом у себя. Я бы ему угодил.

— И ничего не вышло, — сказал Адам, покачав головой.

— Никому не нужны рабочие.

— Я вот приглядываюсь к тебе, малый, и вижу, что ты работяга, — сказал Адам, чтобы утешить мальчика.

— Пожалуйста, Адам Трипнт, — мягко попросил мальчик, — сядь рядом и расскажи мне про фургончик. Мне давно хочется послушать твой рассказ про кочевой фургончик, и сейчас как раз подходящее время.

— Ладно, Джон Томас, я расскажу тебе про фургончик. Но ты не из-за фургончика вернулся. Никому не понадобился работник, ты озяб, проголодался, и, главное, ты был одинок. Ты когда-нибудь видел бездомную собаку? Она бежит по дорогам, поджав хвост, и прячется от людей в кусты. Эта собака одинока, и она ищет место, где бы она могла быть не одна. Очень возможно, что, когда она прибьется к какому-нибудь дому, ее будут бить и морить голодом. И все-таки, мальчик, она уже не будет одинокой. А потом придет день, и, смотришь, тот самый человек, который пинал ее и не давал есть, поманит ее к себе и приласкает.

— Ты расскажешь мне про фургончик? — В голосе мальчика сквозило отчаянье.

— Хорошо, но скажи, почему ты спишь здесь, с мышами?

— Мне здесь нравится, — ответил Джон Томас. — Когда я сплю дома, тетя Сара всегда приходит укрыть меня одеялом и целует на ночь.

— Она хорошая женщина и любит тебя.

— Она не может быть мне как мать. Она старается, но у нее не выходит.

— Не надо над пей смеяться, — сказал Адам, вспомнив о Шебе и жеребенке, уткнувшем морду ей в пах.

— Когда мать умерла, — задумчиво произнес Джон Томас, — я как-то сидел здесь вечером и он пришел и говорил со мной. Он хорошо говорил тогда, Адам. Рассказывал про маму, про нашу ферму и про нас обоих. Про себя и меня. Очень ему было скучно одному.

— Ты тогда и перенес сюда свою постель?

— Около того, — неохотно ответил мальчик.

— Но он больше не приходил, — сказал Адам.

— Вовсе нет, опять приходил, — живо возразил Джон Томас. — Как-то ночью он помогал кобыле жеребиться. Мы с ним провозились до утра. И спасли кобылу. Если бы не мы, она наверняка пала бы, так он сказал. Он и я, мы все сделали вдвоем.

Адам невольно представил себе, как мальчик вместе с отцом присутствует при жутком и таинственном акте рождения. Он стал рассказывать про свой фургоничек. Говорил он с чувством, слова подбирал легко, как человек, повторяющий для своего удовольствия любимую сказку. Каждое слово так знакомо, что утратило прелесть новизны, и вся радость заключается в ритме и ходе рассказа да в заложенном в нем смысле. С языка слетают слова без участия мысли, но они уже обрели сладкое звучание, и сладость эта никогда не прискучит.

— Так вот, у меня Шем и Шеба, спальные молодые мулы испанской породы, а фургон рессорный, да еще рессоры такие мягкие, что сидишь в нем, как на пуховой перине. Слажу я кабину на раме без единого гвоздя. Все скреплю на шипах или в замок. Ход будет такой упругий, что, если, скажем, на стоянке ночью подует посплее ветер, человека, уютно полеживающего внутри на своей койке, будет покачивать, как в люльке. У меня там будет печка и дверца с застекленным глазком, так что можно будет глядеть на огонь. И столик откидной сделаю из чистеньких сосновых досок. Лампу медную я привешу на цепочке к потолку. Вечером, когда скот будет

обряжен, я поужинаю при свете этой лампы и потом разверну «Журнал скотовода». А за стеной, если прислушаться, будет фыркать и топтаться засыпающий скот, и я буду думать: «Это все мое», — и никто не будет мною командовать. Сам себе хозяин, свободен, как ветер в поле.

Под Джоном Томасом зашелестела мякна в матрасе, горло его словно сдавило страстное желание.

— Что я попрошу тебя, Адам, только сделай, пожалуйста, мне так хочется! Рассказывай знаешь как? Чтобы было две койки, две скамейки, две тарелки.

Адам так поразился, что ему не хватило воздуха.

— Никкак не могу, — сказал он, — это мой собственный фургончик, и он всегда был моим. Я никого не пущу в него.

— Прошу тебя, Адам, пожалуйста, мне хочется лежать на этой койке и смотреть, как ты читаешь под лампой, и помогать тебе ходить за скотом, и чтобы никто не распоряжался мной.

Адам зажег спичку и подержал ее высоко, так, что мальчик увидел его насупившееся лицо.

— Я и кропки своей мечты не могу уступить тебе, мальчик, — жестко сказал он, — никогда больше не проси меня об этом.

Джон Томас стал на колени и потянул Адама за рукав.

— Мечта? — спросил он тоном глубокого недоверия. — Какая мечта? Разве ты рассказываешь о чем-нибудь, что тебе снится? Как и я? Все это насчет фургона понарошку?

Адам резко отпрянул и встал. Мальчик повернулся лицом к стене, и мякна снова зашуршала, словно и она робко протестовала. Адам вышел наружу в темноту, прилонился плечом к стенке сарая и никак не мог свернуть сигарету. Он был так заволпован, что не слышал, как подошла Сара, и заметил ее, когда она была уже рядом с ним, с накрытой тарелкой в руках и повешенным на сгибе локтя фонарем.

— Я несу ему поужинать. Мальчик растет, и не годится оставлять его без еды, — сказала она, и Адам рассеянно кивнул. Сара продолжала стоять, неловко поправляя салфетку, которой была накрыта тарелка.

— Адам, — сказала она, — почему так получается, что у нас тут все споры и раздоры? Неужели и у других лю-

дей не любят друг друга? Ты бывал в разных местах — где-нибудь ведь смеются и радуются?

Адам огорчился, что не может сказать ничего утешительного бедной женщине. Всю свою жизнь он провел, ухаживая за мулами, живя с такими же одинокими и угрюмыми бродягами, как он, плешиками в клетке своей скудной жизни.

— Не могу тебе ничего сказать, Сара, я не знаю. Ты сама-то любила кого-нибудь в жизни?

— Я как будто любила своего отца. Но он считал любовь проявлением слабости. Когда он умер и Гревен овдовел, я переехала сюда, чтобы ухаживать за братом и за мальчиком. Я это сделала так охотно, потому что надеялась, что замещу Джону Томасу мать. Этот мальчик — все, что у меня было когда-нибудь в жизни. Он и его игрушки.

— Снеси ему ужин, — мягко сказал Адам. — Приласкай его.

Сара продолжала стоять.

— Странно все-таки. Я его люблю больше жизни, но просто боюсь его ласкать — это все равно, что попытаться тронуть дикую зверюшку. Он выгибается весь, стараясь отстраниться от моей руки. Такого, как он, не приручишь.

— Приручить — значит добиться доверия, в этом вся штука. Это приходит не сразу. Неси ему ужин, — повторил Адам, и Сара повернулась и ушла.

Адам продолжал стоять, уныло размышляя о Шебе и Саре, которые обе томятся по любви и ласке, потом внезапно ощутил, как пуста его собственная жизнь. Ему сделалось не по себе от сознания своего одиночества. Обернувшись на скрип двери сарая для сбруи. Адам увидел Сару, торопливо направлявшуюся к нему. В ее руке раскачивался фонарь, чертивший дуги в сгустившихся потемках. Она остановилась и посмотрела на него.

— Ты его чем-то обидел больше, чем Гревен ремнем. Что ты сделал? — набросилась она на него.

Адам молча покачал головой.

— Он вдруг понял, что я никогда не построю кочевого фургоначка. Ничего, он утешится, а я вот не знаю, как переживу. До сих пор я сам этого не понимал. Все эти годы я себя обманывал и даже не подозревал этого. У меня никогда не будет никакого фургоначка.

Он взглянул на Сару, и свет фонаря отразился крохотными далекими огоньками в глубине его зрачков.

— Ни лампы на цепочке не будет, ни откидного столика.

— Боже мой, неужели так и должно быть? — Сара тронула его за рукав. — Я наблюдала за тобой и видела, что в твоих глазах блуждают грезы. О Адам, я уверена, что твои мечты можно осуществить. Ты вправе занестись в мечтах хоть до неба и не обязан отчетом никому. Ты свободен и можешь это делать. Можешь.

Адам продолжал недоверчиво качать головой.

— Ни печки со стеклянным глазком. Он открыл мне, что ничего этого у меня никогда не будет.

— Глупец ты, — с раздраженным восклицанием Сара. — Укради материал, если понадобится, и собери свой фургон, хотя бы голыми руками. Сколоти его на живую нитку, свяжи веревочками, пусть он рассыплется на части, не проехав мили. Но сделай это и докажи Джону Томасу, что мужчина не обязан подыхать в борозде, которую он сам себе прорыл. Мужчина должен мечтать, и его мечты должны осуществляться.

— Нет, — упрямо ответил Адам. — Я погонщик мулов и буду объезжать их, пока не помру. И буду знать, что это требует, кроме умения, еще кое-чего. За это я и стану держаться.

Фонарь освещал сплзду лицо Сары, оставляя в тени глаза и показывая презрительно опущенные губы.

— Ты жалкий трус. Ах, ты только погонщик мулов! Ты хуже всех нас. Ты — ничтожество.

Его корил человек еще более обездоленный, чем он сам, и сознание этого вместе с болью от утраты своей мечты вызвало у Адама не свойственный ему приступ гнева.

— Где, скажи на милость, — спросил он резко, нащупывая жалом своего раздражения ее самые сокровенные, самые глубокие раны, — где дети, которых ты выходила, и мужчины, которых ты утешала и ободряла? Что ты сама, как не бесплодный мул, жалкое существо, ухаживающее за скрягой и сующее сухие сосцы детенышу настоящей самки? Что ты сама?

Легкость, с которой он это выпалил, ужаснула его самого. Лицо Сары обвисло, одной рукой она ухватилась за горло, а в сухих глазах, отразивших немой укор, он увидел боль, которую бессильны облегчить слезы.

— Никто никогда не пожелал меня, — сказала она с чрезвычайным и жутким достоинством и тут же горько заплакала, как любая женщина на свете, которую никто никогда не пожелал. Она обхватила руками голову, и этот полный отчаяния жест укорил Адама больше, чем могли бы сделать любые ее слова.

Он шагнул к Саре, чтобы утешить ее, повипиться и взять свои слова обратно, но она отвернулась и побежала к темной тяжелой громаде дома, неуклюже споткнулась о загородившую дорогу тачку, потом налетела на затворенную калитку...

Адам устало забрался на свою койку в сеном сарае и стал смотреть на звезды, снявшие, как ледяные яглы, сквозь соломенную крышу, чувствуя себя опустошенным и пичтожным. Он повернулся на бок и закрыл глаза, чтобы уснуть поскорее, до того как им овладеет росшая в нем острая тоска, которая его пугала; но это ему не удалось, тусклое и неясное стремление принимало четкие очертания. Он неотступно видел перед собой Адама Триунта, уютно проводящего вечер в фургончике, при свете медной лампы, которая освещает чистенькую столешницу и страницы «Журнала скотовода», развернутые перед ним. Но теперь возле стола был поставлен второй стул, и Адам отодвинул свой журнал, чтобы освободить место для букварей и задачника. На втором стуле сидел Джон Томас и, подняв белокурую голову, с улыбкой смотрел на него. Всем существом Адам ощутил тоску по сыну.

Адам отшвырнул одеяла и, спотыкаясь, пробрался в сарай для сруи. Джон Томас сразу проснулся и, весь настороженный, отстранился от него, заслонившись рукой. Адам чиркнул спичкой.

— Джон Томас Макафи, — сказал он внушительно, — мне понадобится помощник, чтобы построить кочевой фургончик. Я хочу сделать его именно таким удобным, как я рассказывал, и придется все распланировать до последнего гвоздя, чтобы мы могли разместиться в нем вдвоем.

Он потушил спичку, однако не прежде, чем увидел радостную улыбку мальчика и не почувствовал, что безоговорочно связал себя.

Только на рассвете, когда Гревен разбудил его и он сидел еще заспанный, дрожа от холода, на краю своей

койки, Адам обозвал себя пидиотом и почувствовал тот малодушный страх, который испытывает каждый мужчпна, когда надо свернуть с торной дороги и ступить на неизвестный путь.

Отправляясь на свою работу, Адам снова увидел жеребенка возле Шебы и задержался на минуту, пораженный ее удовлетворенным видом. Когда он пришел к завтраку, стоявшая у плиты Сара даже не обернулась, и он молча сел на свое место. Слышно было, как Гревен шумно умывается на заднем крыльце.

— Ты была права, — сказал Адам, глядя на узкую спину Сары. — Теперь я должен построить фургон. — Сара не обернулась. — Я попросил мальчика составить мне компанию. Мне он теперь нужен.

Тут Сара повернулась к нему, в ее глазах сверкали слезы.

— Я надеялась, что так будет, — просто сказала она.

— Гревен подаст на меня в суд за похищение ребенка, — с горечью сказал Адам.

— Никогда! — ответила Сара. — Самолюбие не позволит. Мальчик как-то педелю пропадал, и Гревен уже думал, что его нет в живых. И все-таки он никому ни слова не сказал.

— Ты будешь скучать без него.

— Да еще как. Но мальчик устроит свою жизнь, и я буду довольна.

Адам целый день обдумывал свою затею и постепенно начал понимать, как правильно все рассудила Сара. Ее мудрые слова были подсказаны глубиной одиночества и отверженности. Затем Адам представил себе, как он живет вместе с Джоном Томасом, как тот приглядывается и примеряется к нему, и ему стало страшно, он понял, что берет на себя ответственность за этого мальчика и должен будет сделать из него мужчпну. Разумеется, ответственность была велика, но, если бы ему это удалось, его бесплодная, безрадостная жизнь стала бы чем-то, что цветет и плодоносит.

На следующее утро он впрягал своих мулов в салазки для возки камня, когда, осторожно ступая по навозу, к нему подошла Сара.

— Эвансы собрались ломать свою старую молочную, — сказала она, — ты мог бы достать у них материал: он сухой, выдержанный, и отдадут они тебе его за спасибо.

— Что ж, я завтра или через денек загляну к яму. — ответил Адам, нагбываясь, чтобы продеть подиругу.

— Лучше бы не откладывать, — заметила Сара.

— Фургон я буду строить, как найду нужным и когда захочу. — отрезал Адам. — Да и инструментов у меня нет.

— Я попрошу Гревена одолжить тебе инструменты, — мягко сказала Сара.

— Если мне понадобятся инструменты, я сам попрошу, — ответил Адам, не скрывая раздражения.

Сара молча смотрела себе под ноги.

— Я его построю! — запальчиво воскликнул Адам. — Но я не желаю, чтобы меня подгоняли.

Вечером, заезжая за сарай распрягать мулов, Адам увидел наваленную там грудку досок и брусьев.

— Это мы с Сарой папосили от Эвансов. — пояснил ему Джон Томас. — Она сказала, что отец велел тебе возвратить ему инструмент таким же острым, каким ты его берешь. Теперь мы можем приступить к работе, когда только ты захочешь.

Так Адам пехотя и со страхом приступил к постройке фургона, вынужденный к этому данным словом и мягкой и осторожной настойчивостью Сары. Вначале он все браковал материал — этот брусочек ему не понравился, та доска была нехороша, — всеми способами оттягивая момент, когда надо будет вплотную приступить к делу. Однако, как он ни медлил, остов фургона был в конце концов все же сделан, и теперь он придиричиво отбирал всякую доску уже потому, что не хотел, чтобы малейшая деталь в его детнице была с изъяном. Постепенно его захватила горятка, знакомая всякому мужчине, который обрабатывает дерево, обтесывает его и пригоняет, сооружая дом, потому что никаким своим делом человек так не гордится, как воздвигаемым им жилищем.

По вечерам иногда приходила Сара с кофе и куском пирога. Она садилась в сторонке и со смешанным чувством гордости и огорчения наблюдала, как она трудилась при свете фонаря. Адам, глядя, как она сидит, сидит прислонив голову к столбу, жалел ее, думая о том, что отнимает у нее единственное, что она любит.

К исходу зимы фургон был почти готов. Как-то утром вода в колоде для лошадей не замерзла, и Гревен успокоился о сбруе. Он стал мазать копыта лошадей мазью, находил тысячи других дел, и казалось, что он

из них он не может выполнить, не позвав на помощь Джона Томаса. Адам заметил, что он если и не хвалит сына, то перестал к нему придирааться.

Гревен был человек, который хотел заставить землю давать урожай, не желая сообразовываться с великим круговоротом сезонов и погодой. Он стремился пересилить погоду и торопить землю, заставить ее плодоносить под давлением его упрямой силы. Каждую весну повторялось одно и то же: поля еще не успевали подсохнуть и напитанная водой пашня представляла жидкую грязь, а Гревен уже нетерпеливо смотрел с пригорка у конюшен на праздную землю и в первый же день, когда неверное солнце, чуть обогрев ее, заставляло куриться жидкими струйками пара, впрягал мулов в заранее смазанный плуг и выезжал на поле. Однако, не проехав и несколько десятков футов, он застревал в грязи с плугом и всей запряжкой. Эти вылазки были выражением его протеста земле и вызовом соседям, которые терпеливо ожидали наступления настоящей весны. Со своей бычьей силой Гревен выручал потонувший плуг из грязи и стегал мулов до тех пор, пока они не переставали влегать в хомуты и стояли, топчась на месте, дрожа всем телом и понурив голову. Тогда Гревен наконец решался отказаться от своей затеи и позже говорил дома, что он бы ни за что не вернулся, если бы не выдохлись мулы.

В одно холодное утро Адам вдвоем с Джоном Томасом чистили конюшню.

— Чем мы будем заниматься, Адам, когда поедем по дорогам? — спросил мальчик, прекратив работу и облокотившись на вилы. — Кроме как ходить за скотом, ты что будешь делать?

— Как можно меньше, дружок, ровно столько, сколько надо, чтобы прокормиться. — весело ответил Адам. — В жизни есть много кое-чего помимо работы.

Джон Томас обернулся к площадке перед конюшней, куда отец привез песок, и стал следить за могучими, размеренными движениями его рослого тела, — Гревен поддевал песок на лопату и разбрасывал его кругом.

— Этого я что-то не понимаю, — сказал мальчик с удивлением. — Как это не работать, не выращивать хлеб? Тут что-то не так. Но все-таки хорошо будет не вставать рано, когда холодно: я к этому привыкну.

Он вонзил вилы в навоз, поддел его и сбросил в сторуону, работая в том же размеренном ритме, что и Урсели.

Чем ближе к концу подстройка фургона, тем чаще приходила, перемиывая посуду, Сара и сидела, жадно следя за тем, как Томас и Адам пригоняли последние мелочи, шлифовали и отделывали, склонив головы друг к другу, словно отгородившись от нее. Она подолгу не отрывала глаз от мальчика, а он не обращал на нее никакого внимания, будто тетки вовсе не было рядом.

— Подошла весна, а мне грустно, — задумчиво сказала Сара однажды вечером. — Вы оба будете где-то волно разъезжать, а у нас тут все останется по-прежнему, он и я, и работа с утра до ночи. Ты не забывай нас, Джон Томас.

— Нет, я не забуду, — ответил мальчик, прямо глядя ей в глаза.

— Что у тебя за мул, Адам, — продолжала Сара, — я никогда раньше не видела, чтобы бесплодное животное так привязалось к жеребенку. Обычно они их непавают.

— Я уж послежу, чтобы ей было не повадно водиться с чужими жеребятами, — ответил рассеянно Адам.

— Не нужно этого делать. Зачем ее обижать? — сказала Сара с нежностью.

Адам разогнулся и взглянул ей прямо в глаза.

— Ей надо с этим мириться, — с намеренным ударением сказал он. — Она бесплодная. У нее никогда не будет жеребенка, и пусть смотрит правде в глаза.

Сара испуганно взглянула на него, и у нее снова вырвался беспомощный жест укора, который она спрятала, поправляя платок на плечах. Потом она порывисто встала и пошла в дом. Адам посмотрел ей вслед и подивился, почему он опять обидел это беззащитное существо.

Дожди стали перемежаться, а потом и совсем прекратились. Пропитанная водой земля ждала солнца, чтобы оно высушило ее для пахоты. Гривен лихорадочно готовил хомуты и плуги и то и дело требовал Джона Томаса к себе. Как-то он работал в сарае для сбруи, где они с Адамом мастерили что-то для своего фургопчика. Джон Томас отложил свое дело и, подойдя к отцу, стал держать натянутые ремни, к которым Гривен прикреплял медные бляшки. Тот словно не замечал помощи и только отрывисто давал указания.

Однажды утром проглянуло бледное солнце, осветило влажные поля, и они закурились теплыми испарениями. На следующий день солнце пригрело сильнее, и Гревен не мог больше ждать. Он впряг четырех рослых мулов в начищенный, смазанный плуг, — который, как и запряжка, казался игрушечным в его огромной силы руках; ему не терпелось померяться с землей и заставить ее в этот год уступить его напору и упрямству.

— Пойдем со мной, — бросил он Джону Томасу. — Мне впору только с плугом управиться. Ты как, сумеешь водить мулов?

— Я поведу их, — поспешно предложил Адам, но побледневший Джон Томас выступил вперед.

— Я попробую.

На поле мулы тянули изо всех сил, скользили, Гревен наваливался на плуг всей тяжестью, потом выдергивал его из земли и снова заправлял в борозду. Упряжка подвигалась шаг за шагом. Адам, стоявший на лугу, видел, что плуг не оставляет за собой борозды: жидкая пашня сплывалась за ним, покрывая его след.

— К чему он старается? — обратился он к Саре, которая как раз подошла к нему.

— Он боец. Он одинок, и он боец, — сказала она.

Адам вернулся в копышню, пожимая плечами. Ближе к полудню вернулся с поля Джон Томас, ведя за собой приставших мулов. Он был покрыт грязью и дрожал от утомления.

— Запряги другую четверку, — сказал он.

— Ты снова поедешь пахать? — с удивлением спросил Адам.

— Измотались мулы, — коротко бросил мальчик, — а не мы.

К обеду отец с сыном вспахали полный гон — туда и обратно — и вернулись домой. Адам взглянул на поле — на нем не видно было и следа их работы. Оба были забрызганы грязью до глаз, бычьи плечи Гревена обмякли, по его суровое лицо выглядело довольным. Он положил свою измазанную ручищу на голову Джону Томасу.

— Из тебя выйдет погонщик что надо, — медленно сказал он. Томас молча снимал хомуты с дымящихся мулов. Ему приходилось вставать на носки, чтобы дотянуться до клещей, но он все-таки справлялся.

— Стой, — крикнул он на мула, хотя тот стоял не шелохнувшись.

Через два дня вечером Адам залез в фургон, сверху донизу осмотрел его и убедился, что все сделано. Он сидел у соснового откидного столика под зажженной медной лампой, и Джон Томас застал его как раз в этот момент.

— Садись сюда, — кивнул Адам на свободный стул. — Назначай день, когда мы увидим свет. Назначай день, когда мы не будем больше знать никакой указки над собой.

Джон Томас оглядывал внимательно каждую мелочь и во всем узнавал долю своих трудов и воплощение своих заветных желаний.

— Тут все как раз так, как ты всегда говорил, Адам, — сказал мальчик. — Уютно, как в люльке. Но я, наверное, не поеду.

Адам стал шарить в своем кيسете и свертывать сигарету, чтобы собраться с мыслями. Ему пужно было что-то сказать, но он не находил слов.

— Я ему нужен, — осторожно продолжал мальчик. — Нехорошо его оставлять как раз во время пахоты. Он, кроме того, сказал, что только я умею заставить этих упрямых мулов хорошо тянуть. Ему понравилось, как я управляюсь с ними.

Адам рассеянно кивнул, и Джон Томас встал и быстро вышел. Адам снова оглядел уютный фургон, и ему показалось, что он похож на гроб. Он выпрямился, задул лампу и глядел, как тлеет в темноте фитиль.

В загоне жеребенок снова терся возле Шебы, и Адам, внезапно всплыв, шлепнул его и отогнал к матери. Он лег на свою койку поверх одеяла и стал глядеть сквозь щели в крыше на глухую пустоту неба. И сам не заметил, как быстро уснул. А во сне он увидел себя старым и одиноким, сидящим на лавке своего фургона, а впереди стелилась длинная пустынная дорога.

Очнувшись, он вспомнил о фитиле, тлевшем в лампе. Он долго лежал, потом спустился по лестнице и пошел зачерпнуть в банку керосина из бочки.

Адам тихо вышел из-за угла конюшни, направляясь к фургончику, и вдруг остановился как вкопанный. Окошко фургончика светилось, да так тепло и приветливо, что

сердце его сжалось от томления и тоски. Он стал беспумно подходить, сдерживая дыхание.

Сара где-то откопала качалку с глухой оборкой по краю. Руки она держала так, словно в них была поща, и склонила голову, как паклоняется над ребенком жеиципа, и в этой позе медленно раскачивалась.

Вся кровь у Адама прилипла к сердцу. В эту мпнуту ему подумалось, что бог сотворил мула несчастным и бесплодным созданием неспроста, что в этом была страшная кара. Но так обстоит с животным, у человека же, — у человека есть выбор.

Когда Адам отворил дверь, Сара в смятении посмотрела на него, потом опустила голову.

— Мне хотелось хоть раз посидеть тут, — проговорила она таким дрожащим и слабым голосом, что он едва разобрал ее слова.

Он протянул руку и, ласково взяв ее за подбородок, заставил поднять голову.

— Теперь я знаю: именно для этого я и строил свой фургон, — сказал он смиренно.

Сара заплакала. Она была некрасива, как трогательно некрасива любая плачущая женщина, но Адам любовался ею. Женщина плакала из-за него от счастья, и для одинокого мужчины это было значительнее самой жизни. Это, пожалуй, можно было сравнить только с впервые услышанным криком собственного сына.

КОНДОР И ГОСТИ

Однажды в Перу самку кондора заточили в деревянную клетку, как приманку для самцов. И в ловушку часто попадались кондоры. Потом их продавали в зоопарк или в музей. Одного из пловников случайно купил американец, м-р Дж. Д. Боткин из Канзаса.

Птица влетела Боткину в кофеечку — не так легко было доставить ее в Штаты, — но он немало попутешествовал на своем веку и очень гордился тем, что всегда умел добиться поставленной цели.

Дома Боткин посадил птицу на цепь. Конец цепи он прикрепил к магнолии (это дерево он привез из поездки в Новый Орлеан и посадил за домом).

До конца дня кондор застыл на дереве, мрачно глядя в огромные пшеничные поля, но перед самым закатом он взмахнул крыльями и распростер их во всю ширь, как бы испытывая силу ветра. Затем еще одним плавным движением он величественно взмыл в воздух. Он успел взмахнуть крыльями еще раз и еще. Но тут цепь кончилась. Кондор словно вздохнул и рухнул на землю с такой силой, что дерево пошатнулось, как от удара. До самой темноты огромная птица не шевельнулась, а когда совсем стемнело, она стряхнула с себя оцепенение и с трудом вскарабкалась на дерево. На следующее утро солнце застало ее на той же ветке. Мрачная, застывшая, она напоминала химеру.

День за днем кондор неподвижно сидел на магнолии, но как только наступали сумерки, он неизменно пытался взлететь. За все это время он и не притронулся к пище, миска с мясом, приготовленная для него, была облеплена мухами.

Прошло около недели. Однажды м-р Боткин завтракал в клубе «Юпитер». Увидев приятеля Гарри Эппла, он тут же спросил:

— Вы еще не видели мою птицу?

Гарри Эппл, хилый и лысый человечек, не любил много говорить. И поэтому в ответ он только покачал головой.

М-р Боткин воскликнул, что Гарри, значит, вообще ничего не видел, и, похлопав приятеля по плечу, пригласил его на обед — в среду исполнялась неделя со дня прибытия кондора в Канзас.

Получив приглашение, Гарри Эппл целую минуту молча глядел в пространство. Он понимал, что пригласили его из-за жены: бывшая балерина, высокая, с пепельными волосами, она была ошеломляюще красива. Его всюду приглашали из-за нее.

Наконец он кивнул. Разумеется. Милдред тоже придет. Голос его звучал как всегда вяло. М-р Боткин хлопнул его по плечу и предложил выпить за кондора.

Гарри пригубил бокал и пробормотал:

— Разумеется.

М-р Боткин пригласил также Ньютонов и Хаддлстонов. Правда, приглашать Хаддлстонов ему не очень хотелось — Сюзан его раздражала, а Крошка всегда нагонял на него тоску. Он позвал чету Багли, но Чак Багли уезжал на конференцию страховых обществ в Канзас-Сити, Герлахт, Риджи и Циммерманы не приняли его приглашения, и вот пришлось позвать Сюзан и Крошку. Эти-то не отказались.

В семь часов Ньютонов все еще не было. И мистер Боткин сказал остальным гостям:

— Ну, раз так, черт побери, надо выпить!

Взяв коктейли, гости побрели к магнolini и расположились полукрутом, взбалтывая лед и скептически поглядывая вверх. Мужчины подошли чуть ближе, чтобы продемонстрировать свою отвагу. Дамы были уверены, что мрачная птица их не развлечет, и предпочли бы поболтать на веранде.

Крошка Хаддлстон, огромный грузный мужчина, в молодости был борцом. Как-то на матче в Японии его противник, албоний турок, повредил ему голосовые связки, и с тех пор Крошка Хаддлстон стал говорить скрипучим фальцетом. Толстым, как сосиска, указательным пальцем Крошка помешал лед в стакане и проквакал:

— Что это там за индюшка, Боткин?

Сюзь засмеялась и сжала его руку. Даже на высоких каблуках она не доставала ему до подбородка, и эта разница в росте заставляла людей задумываться. Она никогда не слушала, что он говорит, по всякий раз при звуке его голоса смеялась и прижималась к нему.

Мишдред Эппл сказала капризно:

— Дж. Д., я хочу, чтобы ваша птица сделала что-нибудь необыкновенное. — Немного выпив, она чувствовала себя роковой жепщиной.

М-р Боткин щелкнул пальцами. «Черт побери!» Он допил коктейль, взял пустой стакан Гарри и пошел к дому. Через несколько минут он вернулся с полными стаканами. На плече у него сидел зелено-желтый попугай. М-р Боткин торжественно провозгласил:

— Позвольте вам представить Колдуэлла.

— Колдуэлла? — взвизгнула Сюзь Хаддлстон и так просто захихикала, что ухватилась за Крошкин пиджак, чтобы не упасть.

М-р Боткин тоже закатился, хотя ему вовсе не хотелось смеяться — он не любил Сюзь. У него колыхался живот и ремень на брюках поскрипывал (брюки Боткина имели обыкновение сползать, и ремень выглядел на нем, как подруга). Только через несколько минут он наконец вытер пот с багрового лица и выдохнул: «Черт побери!» Затем он повернулся к Эпплам — те стояли рядом, вежливо улыбаясь, — и пояснил: «В честь старого Нолина Колдуэлла из Пайонир-Траст».

«Колдуэлл», — пробормотал попугай, прогуливаясь по плечу хозяина. Все это время Крошка тискал жену. Теперь он выпустил ее и прочистил горло.

— Ты что, припас свою индюшку ко Дню благодарения?

Но м-р Боткин пропустил его слова мимо ушей и сказал попугаю:

— Видишь, Колдуэлл, этот кондор тебя до смерти боится. Даже шелохнуться не смеет. Пойди-ка расправься с ним, разорви его в клочья.

Попугай прыгнул на землю и направился к магнолии. Это было чахлое деревце с потрескавшейся корой и слабыми, поникшими ветвями — оно плохо прижилось в Канзасе. Попугай вскарабкался по стволу без особого

труда, но на первой же ветке остановился понаблюдать за кондором.

М-р Боткин ободряюще махнул ему большой, как лопата, рукой. Попугай двинулся дальше, но без прежнего энтузиазма, то и дело останавливаясь, чтобы подумать. Наконец он добрался до кондора и в порыве самонадеянности вонзил в дерево свои блестящие коготки совсем рядом с его огромными когтями. Затем он застыл точно в той же позе, что и кондор, и заморгал глазами на гостей. Все, кроме Гарри Эппла, расхохотался. Звякнула цепь. Это встревожило попугая. Он резко повернулся и в ужасе замер — он смотрел прямо в огромный тусклый глаз кондора.

— Куси его! — завопил Крошка.

Но попугай уже свалился с дерева и с отчаянным криком несся к дому, хлопая яркими крыльями по траве.

Гости все еще смеялись. М-р Боткин показал рукой далеко на юг, где собирались грозовые облака, и сказал:

— Так выглядят Анды.

Гости прилежно разглядывали облака, когда машина Ньютонов задребезжала на дороге. М-р Боткин помахал прибывшим рукой и пошел в кухню за коктейлями для них. Там он сказал негрityнке, которую нанял на этот день:

— Видела когда-нибудь такую птицу?

Девушка немедленно выглянула в окно и восхищенно ответила:

— Нет, сэр, мистер Боткин. — Потом, испугавшись, что этого мало, она поспешно добавила: — Нет, сэр, я таких в жизни не видела!

— Да, уж конечно, не видела — бьюсь об заклад. — М-р Боткин колот лед для коктейлей. — Потому что это кондор.

— А что он ест? — спросила негрityнка. Ответа не последовало, и она смущенно отвернулась, решив, что сказала глупость.

М-р Боткин заболтал коктейли, толкнул животом дверь и вышел с подносом во двор. Поздоровавшись с Ньютонами, он заметил:

— Эта черномазая девчонка на кухне до смерти перепугалась кондора. Ни за какие блага она не подойдет к нему близко.

— Цветные в общем все трусы, — ответил Ньютон. Всякий раз, когда он умолкал, его пос нервно подергивался, и за это ученики называли его Кролик Ньютон.

— Сделайте, чтобы он полетел, Дж. Д., — попросила Лора Ньютон. — Приятно будет полюбоваться его силой.

Она была одета цыганкой, на ее бедрах была повязана пурпурная шаль, а па висок она посадила мушку.

Она проплась по двору, подергиваясь, как в цыганской пляске; ее длинные золотые серьги качались и звенели.

— Ну, пусть он полетит! — и она высоко подняла свой коктейль.

— Да, пожалуйста, — подхватила Милдред Эпл. При виде костюма Лоры она быстро допила свой коктейль и теперь, изогнув талию, старалась привлечь внимание к своей изящной фигуре.

Миссис Боткин, маленькая расплывшаяся женщина с редкими седыми волосами, которые спускались на лоб, как кружево, собралась что-то сказать, но передумала и только поджала губы.

Ньютон терпеливо ждал подходящей минуты. Наконец он назидательно парек:

— Негры всегда боятся того, что не понимают.

Все вежливо молчали, пока нос его не дернулся.

М-р Боткин багровел с каждым глотком. Он спросил:

— А знаете ли вы, как его зовут?

— Как? — взвизгнула Сюзи.

— Самбо, — сказал Ньютон протяжно и уже готов был рассмеяться, но никто не улыбнулся, и он глотнул коктейль.

— Шерлок Холмс? — предположила Лора. Только Сюзи хихикнула в ответ, и Лора взглянула на нее уничтожающе.

Наконец м-р Боткин сказал:

— Ну ладно, я уж сам скажу: его зовут Самсон.

Он подождал, пока смех затихнет, и сообщил гостям, что самку, на которую кондор попался в Перу, звали Далила. Ремень под его животом закрипел, па лице выступил пот, — м-р Боткин тоже смеялся. Когда гости стали понемногу успокаиваться, но все еще посмеивались, восхищенно покачивая головами, он сказал:

— Ну, черт побери, дай-ка я его поворошу немного.

Он подобрал с земли несколько палок и стал швырять

их в магполию. Наконец одна попала кондору в грудь, по огромная птица не шевельнулась. Казалось, она спит.

— Эта чертова тварь еще и не жрет ничего к тому же! — заорал м-р Боткин в порыве гнева.

— Совсем ничего? — взвизгнула Сюзи откуда-то из-под рук Крошки. — Вот так-так! Как же она не подохнет!

М-р Боткин промолчал.

Ньютоп откашлялся.

— Если вы посмотрите на ту ветку, где он сидит, вы увидите, ее форма напоминает теперь лук для стрельбы, — изрек он значительно.

Миссис Боткин вдруг повернулась к мужу.

— Голубчик... — сказала она негромко, коснувшись его рукава.

Все взглянули на нее с некоторым удивлением, как всегда, когда она решалась что-нибудь сказать.

Она пригладила волосы и робко спросила:

— Может быть, ты выпустишь его на волю?

Наступило неловкое молчание, которое нарушила Лора Ньютоп.

— Кто за то, чтобы кондор полетел? — выкрикнула она, кружась по двору; яркая полосатая юбка бплась вокруг ее тощих ног. — Голосую! — И она высоко подняла в воздух стакан.

Крошка Хаддлстон все тискал жену, по тут он вытянул вверх руку со стаканом, ни капли при этом не пролив, и торжественно огляделся, — в этом-то его никто не переплюнет.

Стакан Сюзи, зажатый в ее детской ручонке, дрожал где-то около его уха.

Милдред Эппл надула губки и тоже подняла свой стакан. Ньютоп последовал их примеру.

М-р Боткин с любопытством наблюдал за происходящим. Он поднял свой стакан сразу вслед за Лорой. Повинуясь его взгляду, миссис Боткин подняла и свой.

— Гарри, а вы? — удивилась Лора.

Гарри Эппл продолжал пить.

— Обед, наверное, уже готов, — пробормотала миссис Боткин. Она попыталась жестом пригласить гостей в дом, но никто не обратил на нее внимания, не двинулся с места.

— Гарри! — повторила Лора настойчиво. Она все еще держала стакан над головой.

Гарри Эппл стоял, расставив ноги и уставившись в землю. Нетвердой рукой он помешивал лед в стакане.

Все молчали. Миссис Боткин кашлянула и пошла к веранде. Остальные потянулись за ней. ..

Милдред Эппл обогнала Лору. Белое трикотажное платье обтягивало ее фигуру, и она шла так, будто вот-вот закрутит хула-хуп. Сюзси и Крошка держались за руки. Хмурый м-р Боткин завершал шествие.

В начале обеда Лора Ньютон обращалась преимущественно к соседям Гарри Эппла. К мясу подали бургундское из Франции, и когда гости отведали его, солнце село. Тогда гости один за другим положили вилки и стали смотреть сквозь стеклянную дверь во двор.

Ньютон крутил на пальце ключ от машины и наблюдал за кондором. Тот шевельнулся и разжал когти. Крошка оперся о стол локтями, похожими на свиные окорока, и приподнялся, чтоб заглянуть через пушистую белую голову миссис Боткин. Из всех гостей один Гарри Эппл оставался безучастным, он не поднимал глаз от своего бокала и медленно вертел его за ножку. М-р Боткин от напряжения прищурил глаза. Он ожидал этого полета, как большого чуда.

Крылья кондора распростерлись, задевая соседние ветки. Увидев, какой он огромный, Лора выронила вилку. Никто ее не поднял, и она так и осталась лежать на кафеле.

Черный кондор снова разжал когти. Цепь на его шее качнулась и звякнула.

За столом было тихо. Только майские жуки бились о стекло и сердито жужжали.

Милдред Эппл сказала коротко:

— Я озябла. — Никто не обратил на нее внимания, и она раздраженно продолжала: — Неужели никто не может выключить этот вентилятор? Я же говорю, что я озябла. Я не стану сидеть тут целый вечер на сквозняке. Не стану.

— Заткнись, — буркнул м-р Боткин, не поворачивая головы.

Милдред не сразу нашлась, что ответить, но потом взорвалась:

— Как вы смеете говорить со мной так? Я этого не потерплю. Слышите?

М-р Боткин не ответил, и она раздраженно повернулась к Гарри, по тот тупо смотрел в бокал.

— Да выключи его сама, — пробормотала Лора.

Глаза Милдред засверкали.

— Не желаю.

— Да, но ведь никто другой этого не сделает, — ядовито заметила Лора.

Ньютон уже было собрался что-то сказать, когда Сюзи вдруг ахнула.

Кондор поднялся так плавно, что вначале никто ничего не понял: казалось, что он только расправляет крылья, а он уже парил в воздухе. Когда он взмахнул крыльями еще раз, его когти мелькнули над верхушкой магнолии и сжалась в железные узлы. На мгновение кондор застыл в лиловом небе, как эмблема огромного военного самолета. Потом голова его дернулась книзу. Он коротко вскрикнул, упал на теплую землю и замер.

Лора Ньютон заметила кисло:

— До чего глупая птица.

Она искоса взглянула на Гарри.

Крошка ухмыльнулся:

— Ну, теперь можешь жарить свою пидюшку ко Дню благодарения, Боткин. — Он обвел победным взглядом стол, но никто не улыбнулся, и он взглянул на Сюзи. Она смеялась.

Ньютон отпил воды и откашлялся.

— Птицы, — сказал он сосредоточенно, — вообще не отличаются умом.

Сумерки сгущались. Теперь уже гости не могли разглядеть кондора, они видели лишь какую-то темную массу под умирающей магнолией. Поздно вечером, когда они яростно спорили за картами, во дворе звякнула цепь и вскоре скрипнула ветка магнолии.

СИНИЙ ГАБАРДИНОВЫЙ КОСТЮМ

В субботу, за несколько дней до школьного выпускного вечера, отец все продолжал пить. Прошло уже больше месяца, как он потерял работу, и почти две недели подряд он пил.

Выглядел он ужасно. Лицо его, обычно худое, очень загорелое, теперь распухло и покраснело. Глаза налились кровью, один глаз, который всегда был немного навывкате, теперь выдавался еще больше. Ему давно было пора побриться, но руки у него так сильно дрожали, что он не мог пользоваться опасной бритвой, а безопасную он употреблял лишь в редких случаях.

Отец являлся домой, как правило, не раньше полуночи, и шум, который он поднимал в соседней комнате, всегда меня будил. Он садился на край кровати и принимался скручивать сигареты из оберточной бумаги; табак он брал из жестяной фунтовой коробки, которую дедушка дарил ему каждый месяц. Готовые сигареты он клал на стул возле кровати. Затем он принимался курить, пить и разговаривать сам с собой и все грозил кому-то. Кулаками он умел работать здорово, но хватало его ненадолго, потому что он начинал задыхаться от астмы. Спустя немного он успокаивался и ложился спать. Храпел он очень громко, а от его кашля сотрясался весь дом. Сильный, раздражающий кашель мучил его по ночам. Он хрипел, задыхался, давился, словно пытался избавиться от чего-то внутри, что никак не хотело его отпускать, и сплевывал мокроту в картонную коробку, доверху наполненную обрывками газет. А по утрам, когда я, уходя в школу, заглядывал к нему в комнату, он обычно спал; голову и плечи его подпирали две подушки, так что казалось, будто он сидит. Пепельница всегда была полна

окурков, две-три нетронутые сигареты лежали на стуле, а на полу возле кровати валялась пустая бутылка из-под виски.

Всю эту неделю мне не удавалось с ним поговорить. Утром мне не хотелось его будить только затем, чтобы сказать, что я иду в школу, а когда я возвращался из школы, его не было дома. Но больше откладывать я не мог. В среду у нас должен был состояться выпускной вечер с вручением дипломов в большой аудитории, которая служила также гимнастическим залом; в одном конце зала находилась сцена, и днем во вторник там должна была происходить репетиция.

Я вошел в комнату и несколько раз потряс отца за плечо. Он проснулся, спустил ноги с постели и, усевшись на краю, закурил сигарету, а затем стал обеими руками растирать себе лицо. Я сказал ему, что мне нужен костюм.

— Но почему именно синий габардиновый? — спросил он. — Почему не подойдет серый или, например, коричневый? — Это были единственные два костюма, которые он имел.

Я сообщил ему, что сказала по этому поводу мисс Хармен, наша учительница естествознания и классная руководительница. «Выпускной вечер, — сказала она, — это важное событие в нашей жизни, в этот вечер все мальчики должны явиться в синих габардиновых или темных костюмах, а девочки — в белых флорелевых юбках и темных жакетах».

— Неповятная причуда, — сказал отец. — И ты думаешь, что все ребята придут, вырядившись таким образом?

— Я не слышал, — сказал я, — чтобы кто-нибудь из ребят был протпв.

— А они об этом и не скажут, — заявил отец. — Если у кого не найдется такого костюма, он просто-напросто не явится. Тебе ведь все равно диплом выдадут, явись ты хоть в комбинезоне, и учиться ты дальше будешь? Разве не верно я говорю?

— Думаю, из-за этого меня бы из школы не выставили, — сказал я.

Отец говорил обо всем этом как-то шутливо, и я не знал, смогу ли объяснить ему все как следует: ведь я

был старше всех в классе, потому что много пропускал школу, и поэтому держался особняком, и, явись я в другом костюме, я бы привлек к себе ненужное внимание.

Когда мне было девять лет, отец с матерью разошлись, и я жил то с матерью, то с отцом. Мать часто переезжала с места на место, и каждый раз мы жили с ней в новом городе, так что мне вечно приходилось менять школу. В некоторых школах требования были очень высокие, и когда я приезжал в середине или конце семестра, меня заставляли начинать все заново. И к тому же не прошло еще и двух месяцев, как я поступил в эту школу, и у меня еще не было здесь настоящих друзей. Мне казалось, что их у меня никогда и не будет, если я не стану таким же, как все. Ни в одной школе, где я учился, не было так много детей из богатых или состоятельных семей, как в этой; они жили в красивых особняках, расположенных на Brentwoodских высотах и в Вествуде, родители у многих работали на киностудиях, а у двоих были даже кинозвезды.

Отец спросил:

— Отметки у тебя хорошие, Нил?

— Хорошие, — ответил я.

— Ну, а что важнее, отметки или одежда?

— Отметки, — сказал я. Ведь именно такой ответ он ожидал от меня услышать. Сам он окончил только пять классов, и ему очень хотелось, чтобы я получил образование. Он всегда говорил мне, что образование — это самая ценная вещь на свете и единственное, что у меня никто никогда не сможет отнять.

— Хорошо, Нил, — сказал он. — Попробую что-нибудь придумать.

Теперь он перестанет пить, я был в этом уверен. Но работать он еще не мог, даже если бы нашел работу, — слишком уж он ослабел.

Отец был хорошим кровельщиком. Заработок его зависел от того, сколько «квадратов» — квадратных метров крыши ему удавалось покрыть. Случалось, он зарабатывал по тридцать долларов в день. Но на последней работе он ввязался в драку. И в этой драке избили управляющего строительной компании, которая строила много больших домов в Вествуде, на Беверли-Хиллс и на Brentwoodских высотах. Управляющий обвинил во всем отца и,

верно, оповестил об этом случае другие компании, потому что с тех пор отец пигде не мог получить работу.

Все это произошло больше месяца назад; походив недели две в поисках работы иезде получив отказ, отец запыл.

Не знаю, как он умудрялся напиваться, не имея гроша в кармане. Занять он мог только у дедушки. Но у дедушки у самого ничего не было, кроме маленького домика за три квартала от нас, как раз по пути в школу, да пепсики, которую ему выплачивали в Доме ветеранов два раза в месяц. Пенсия была совсем небольшая, но он уже несколько раз нас с отцом выручал. Он был очень хороший старик и время от времени давал мне доллар на карманные расходы, покупал отцу рубашку или галстук, дарил ему ежемесячно фунтовую банку табаку. Отец был у него единственным сыном, а я — единственным внуком.

Отец патянул штаны, сунул ноги в домашние туфли и прошел на кухню варить кофе. Он с трудом налил кофе в чашки и с трудом поднес чашку ко рту; при этом ему приходилось действовать двумя руками. Выпив две чашки кофе, отец задумчиво потрогал отросшую на лице щетину.

— Похоже, пора мне мои бакенбарды подровнять, — пошутил он.

Я сказал, что не вредно бы, вид у него от этого станет намного лучше. Он вытянул вперед правую руку и стал внимательно на нее смотреть.

— Пожалуй, мне не справиться с моей старой бритвой, — сказал он, — что, если я возьму твою безопасную?

Я сказал, пожалуйста, пусть берет, по там осталось только одно лезвие, и я им бреюсь уже целый месяц. Отец только ухмыльнулся.

— Значит, оно еще достаточно острое, — сказал он.

Мы вышли с ним на веранду, и он намазали щеки и пачал бриться. В воздухе стоял приятный запах мыльного крема, смешанный с ароматом перечных деревьев, ветви которых свисали над самым тротуаром. На противоположной стороне улицы за оградой Дома ветеранов рядами выстроились высокие гладкоствольные эвкалипты; местами тонкая кора на них облезла. Листья эвкалиптов были серебристого цвета, молодые побеги — зеленые, а опавшие листья и похожие на желудки плоды вы-

сохли, потрескались и стали буро-желтыми. От них пахло каким-то лекарством. На стволах и ветвях перелесных деревьев выступали капли клейкого сока, по ним ползали пчелочки мелких черных муравьев.

Отец кончил бриться и надел рубашку, галстук и серый пиджак. Теперь он выглядел гораздо лучше. Порезался он всего в двух местах.

— Ну, теперь, я думаю, прежде всего мы пойдем навестим деда, — сказал он.

Верно, согласился я. Но где мог дедушка достать для меня синий габардиновый костюм, я себе не представлял. Единственное, в чем я его видел, был военный мундир цвета хаки. Такие мундиры выдавали солдатам в Доме ветеранов.

День был чудесный, солнце не слишком пекло, и дул приятный ветерок. Он качал верхушки эвкалиптов, и я шел и вспоминал, как сверкает медь водосточных желобов: по субботам, а иногда и по воскресеньям я помогал отцу, когда ему нужно было подработать. Будь у него сейчас работа, я пошел бы с ним и заработал бы достаточно, чтобы купить себе костюм в рассрочку. Отец платил мне по пять центов за связку кровельной драги, которую нужно было поднимать на крышу и раскладывать вокруг, чтобы она была у него под рукой, когда понадобится, и несколько раз мне удавалось заработать по пять долларов в день.

Сидя на небольшой скамеечке, утыканной снизу гвоздями, чтобы она не соскользнула с крутой крыши, отец работал очень проворно. Рот его был набит гвоздями. Он клал драгу на нужное место и забивал гвозди двумя ударами молотка, да так ловко, что слышался только один сплошной звук: тат-тат, тат-тат, и стальной топорик двигался вверх-вниз, вверх-вниз, блестя на солнце и отливая синевой.

Иногда я приносил отцу воды напиться, и он усаживался прямо на крыше, свертывал сигарету и принимался курить — чтобы перешибить вкус гвоздей во рту, говорил он. Два своих топорика он всегда держал в порядке, оттачивал их и выравнивал тем же точилом, которым подправлял свою бритву. Он проделывал это каждый вечер после ужина, в те дни, когда имел работу, и, вспоминая об этом, я еще сильнее пожалел о том, что он

ввязался в эту драку. Но когда мы шли к дедушке, мне не хотелось ему об этом напоминать.

Мы миновали два квартала, когда отец вдруг закашлялся и остановился. Он ухватился за ствол молодого перечного дерева, а сам весь так и сотрясаясь от приступа раздражающего кашля. По лицу его текли слезы.

— Проклятая астма, — произнес он, когда кашель немного отпустил его.

Я не стал ему говорить, что раньше, когда он не пил, астма его не беспокоила.

— Мы что-нибудь должны дедушке? — спросил он.

Я сказал, что, насколько мне известно, долг наш равняется всего шести долларам, если, конечно, отец у него больше ничего не брал. Отец кивнул в ответ, и мы двинулись дальше, но уже медленнее.

Последние три дня, когда я по утрам шел в школу, дедушка поджидал меня, сидя в своей качалке на крыльце, и каждый раз у него были припасены для меня две одностолларовых бумажки. Он не любил, когда я начинал его благодарить и когда я говорил, что мы ему непременно вернем долг. В таких случаях он обычно хмурился, сдвигал мохнатые брови так, что они почти совсем скрывали его маленькие синие глаза, откашливался и отвечал, что его сын Джефф хороший парень и скоро наверняка станет па ногой. И говорил он так долго, что потом мне, чтобы не опоздать на урок, всю дорогу до школы приходилось бежать. Он вспоминал те дни, когда служил солдатом на Филиппинских островах и в Никарагуа. И пока я стоял рядом с ним, он тыкал в меня своей сигарой и говорил:

— Не пей, Нил. Из-за этой самой выпивки ни у отца твоего, ни у меня ничего нет. Запомни это.

Я обещал ему, что буду помнить, но я знал, что дедушка и сейчас еще прикладывает к бутылке. Он позволял себе каждую неделю выпивать четвертинку ирландского виски.

Когда мы пришли, дедушка был дома. Он сидел в старом кожаном кресле в крошечной гостиной, где стоял запах сигар и еще какой-то особый запах, присущий жилью одиноких стариков. В комнате была полутьма, но мои глаза скоро привыкли. На стене позади кресла висела фотография дедушки и бабушки, — бабушка умерла, когда мне было пять лет. Над этажеркой, на которой стоял ста-

ромодный граммофон с огромным медным блестящим рупором, висела на стене еще одна фотография. На ней была изображена группа солдат; среди них был и дедушка. Над фотографией к стене были прибиты две скрещенные пальмовые ветки. Ветки давно засохли и пожелтели под слоем лака, и мне всегда казалось, что они вот-вот рассыплются.

Дедушка качался в кресле и внимательно смотрел на отца.

— Вид у тебя неважный, — сказал он. — Как твоё самочувствие?

Бывали времена, когда он себя чувствовал лучше, чем теперь, отвечал отец, и дедушка сказал:

— Если ты пришел из-за денег, Джефф, то много дать я не смогу, всего доллара два-три до получки.

— За деньги спасибо, старик, — сказал отец. — Но дело тут больше в Ниле. Ему нужен костюм для выпускного вечера.

Дедушка посмотрел на меня из-под насупленных бровей.

— Синий габардиновый костюм, — сказал я. — Или какой-нибудь темный. — И я передал дедушке слова мисс Хармен и рассказал, в каких костюмах придут другие ребята. Видимо, не желая выглядеть хуже других в классе, я в своем рассказе немного стусил краски. Дедушка устремил взгляд в окно, на желтые деревянные строения Дома ветеранов, видневшиеся позади эвкалиптов. Ряды пальм окаймляли главную аллею сада; какие-то огромные черные птицы, то ли вороны, то ли ястребы, кружили в небе над домами и садом.

Дедушкины жесткие седые усы, кончики которых побурели от сигарного дыма, несколько раз сердито вздрогнули, он что-то проворчал насчет стада баранов — куда, мол, один, туда и все — или еще что-то, чего я точно не расслышал, и хмуро на меня посмотрел.

— Тебе, видно, очень хочется быть таким, как все, да, Нил? — спросил он.

Я сказал, что именно в этот раз мне хочется не выделяться среди других. Дедушка кивнул. Костлявыми пальцами он сжал полированную головку трости — так, что суставы побелели от напряжения, — а в его маленьких светло-голубых глазках заиграл веселый огонек. Он встал

с качалки и пошел в спальню. Я слышал, как он там передвигает вещи, а когда он снова появился в дверях, в руках у него был костюм. От костюма сильно пахло нафталином.

Это был синий габардиновый костюм, неуклюжий и старомодный. Дедушка зацепил крючок вешалки за дверь гостиной и остановился, любуясь костюмом.

— Я его спил себе много лет назад, — сказал он.

Отец подошел поближе и пощупал материю на рукаве.

— Прекрасный товар, — сказал он.

— Ноский, словно из железа сделан, — заметил дедушка. — Теперь такой материи ни за какие деньги не купишь. А о работе и говорить нечего.

— Верно, — сказал отец. — Ни за что не купишь.

Дедушка отвел назад плечи, выпятил грудь и стоял так, лишь слегка опираясь на трость.

— Давай посмотрим, как он на тебе сидит, Нил, — сказал он.

Я взял костюм и в спальне переделался. Когда я надел его, я понял, что он мне не годится.

Не то чтобы он был мне очень велик: мы с дедушкой были почти одного роста. Но двубортный пиджак с неподложенными плечами как-то слишком сужался в талии и нелепо расширялся книзу. Пиджак был длиннее тех, что носили последние тридцать лет, а брюки заканчивались небольшими узкими манжетами, из-за чего ступни моих ног казались непомерно большими.

Я думал, что отец, увидев меня в этом костюме, расхохочется. Лицо его как-то перекослось и покраснело, а большой глаз начал слезиться. Он поперхнулся, и у него начался приступ кашля и удушья.

— Проклятая астма совсем меня замучила, — сказал он дедушке, когда кашель отпустил его. Он внимательно осмотрел меня. — Не так уж плохо, Нил. Сойдет.

Говорил он так, словно во рту у него было полно гвоздей. Я смотрел на его руки, на вывихнутый мизинец, на старые зажившие порезы и изуродованный большой палец левой руки, распухший, с неровным выпуклым ногтем, похожим на ракушку.

— У Нила есть одно качество, — сказал он дедушке, оглядев меня со всех сторон. — Никто не станет отрицать, что он парень с головой.

Я никогда не обольщался насчет своих пог, не считал, что они у меня маленькие, но что они таких огромных размеров, этого я никогда не предполагал. Казалось, они были длиной в милю. Я почувствовал, как на лбу у меня выступил пот, и мне почудилось, что я не могу повернуться в этой маленькой гостиной, не наткнувшись на что-нибудь.

Отец, видимо, понял, что перегнул палку, потому что он вдруг сказал:

— Не знаю, по мне кажется, для мальчика такой костюм немного старомоден.

Дедушка еще больше выпрямился.

— В этом костюме, Джефф, я венчался.

— Знаю, — сказал отец. — Это было сорок шесть лет назад в день святого Патрика, верно?

— Сорок семь, — поправил дедушка.

— Вот именно, отец. С тех пор моды немного изменились, а ты ведь знаешь, как ребята смотрят на эти вещи...

— Черт возьми, не пойму, куда ты гнешь, Джефф! — Дедушка ударил об пол своей тростью, и усы его при этом вздрогнули. — Может, ты хочешь сказать, что фасон костюма важнее, чем качество материала и хороший покрой?

Отец только плечами пожал, а дедушка добавил:

— Кроме того, Нил уже не мальчик. Он почти взрослый мужчина. Правда, Нил?

Дедушка сердито посмотрел на меня, сдвинув свои мохнатые брови, и я не мог понять, смеется он надо мной или нет. Я его недостаточно хорошо знал. Но мне казалось, во взгляде его было что-то, какая-то искорка, огонек, говоривший, несмотря на его свирепый взгляд, что он меня поддразнивает.

Я не знал, что ответить. Я не мог надеть этот костюм. Уж лучше было совсем бросить школу, чем показаться на выпускном вечере в таком наряде. Но как мне сказать об этом дедушке? Пока я пытался что-нибудь придумать, я заметил, что дедушкин взгляд смягчился, сердитое выражение исчезло. Он моргнул и попытался снова папустичь на себя строгий вид, но глаза его подернулись влагой. Он опустил голову и устался в пол.

— Я не надевал этот костюм с похорон Элин, — сказал он не очень громко.

Я знал, что отец наблюдает за мной, но я не мог заставить себя взглянуть на него.

— Я хотел надеть его в последний раз, — сказал дедушка, — когда меня положат рядом с Элин. — Адамово яблоко на его морщинистой шее задвигалось.

Приходит момент, когда ты вдруг перестаешь быть ребенком и становишься взрослым. Во всяком случае, делаешь значительный шаг в этом направлении. Это случается не тогда, когда ты впервые начинаешь бриться или носить длинные брюки или идешь вместе с отцом на работу. Это что-то иное, в этот момент с тобой что-то происходит. И когда это происходит, ты это чувствуешь. Мне кажется, что многие вещи ты еще продолжаешь воспринимать, как ребенок. И это продолжается еще долгое время. Но с этого момента ты поступаешь так, как подсказывает тебе чувство долга. Дедушка сделал все что мог, дав мне свой костюм, и единственное, что мне оставалось, — это надеть этот костюм на выпускной вечер и плевать на то, что подумают об этом ребята или кто бы то ни было.

И тем не менее, когда я понял все это, настроение мое не улучшилось.

— Замечательный костюм, — сказал я. — Просто замечательный.

Дедушка поднял голову и посмотрел на меня. На какую-то долю секунды взгляд его сделался ясным и молодым, но тут же затуманился, плечи опустились, он оперся на трость и снова стал стариком.

— Теперь он твой, Нил, — сказал он. — Когда прозвучит мой час, найдется для меня какой-нибудь другой.

И, прежде чем я успел еще что-нибудь сказать, он открыл дверь и вышел на крыльцо. Он уселся в свое плетеное кресло-качалку и вынул сигару из жилетного кармана. Руки у него так дрожали, что он едва мог открыть перочинный ножик, который висел на цепочке от часов, и ему стоило большого труда отрезать кончик сигары. Раскурив сигару, дедушка стал качаться в кресле и наблюдать за Домом ветеранов, ожидая, когда кто-нибудь выйдет оттуда, — чтобы поболтать с этим человеком.

Я все еще думал о том, как буду выглядеть в этом костюме: мне было как-то жалько и не по себе. И все же я твердо решил его надеть. Но только на выпускной ве-

чер, а не на генеральную репетицию, которая должна была состояться во вторник днем.

Я сказал об этом отцу, и он одобрительно кивнул. Я знал, что он все понимает, и мне казалось, что он гордится мною.

Весь вторник я ловил на себе насмешливые взгляды ребят: они пришли в своих выходных костюмах, а на мне были мои старые вельветовые штаны и синяя рубашка, и я не сомневался, что они шушукуются обо мне. Однако я заметил, что только на самых богатых мальчиках были изящные, модные костюмы из синего габардина. Несколько мальчиков победнее были в темных костюмах совсем не идеального покроя, только два из них были синие габардиновые. Но ни один из этих костюмов не выглядел таким старомодным и смешным, как тот, в котором собрался появиться я.

Днем, увидев мисс Хармен на репетиции, я сказал ей, что у меня будет костюм завтра вечером, но она в ответ на это только кивнула. Ей было не до меня, она очень волновалась, как пройдет репетиция.

Выстроившись, мы прошли на сцену и уселись на стулья — в первом ряду девочки, во втором мальчики, — пока все места не оказались заполнены. Анна Хендриксон, лучшая ученица, произнесла прощальную речь, а Колби Энос прочел стихи о нашем классе собственного сочинения. Мисс Хармен и старый мистер Эсбау, директор школы, не читали свои речи целиком, чтобы не затягивать репетицию. Пока выступала Анна и Колби читал стихи, я смотрел на пустой зал, гимнастические кольца и параллельные брусья, площадку для баскетбола и баскетбольные сетки, на высокие запыленные сводчатые окна и думал о девочках. Все они без исключения выглядели такими аккуратненькими и хорошенькими в белых фланелевых юбках и темных жакетах.

Речи закончились, мы все встали — сначала девочки, потом мальчики, — перенгой сошли со сцены, сделали поворот и прошли обратно; по мере того как называли наши фамилии, мы продвигались вперед, так что человек пять все время стояли возле сцены на виду у всего зала. Тот ученик, фамилию которого называли, проходил вдоль сцены, делал вид, что получает диплом, и снова садился на свое место. Все шло отлично.

Мисс Хармен, которая вызывала нас и разыгрывала церемонию вручения дипломов, после того как репетиция закончилась, окликнула меня.

— Ну как, Нил, ты сможешь достать темный костюм? — спросила она.

— Да, мэм, — ответил я, — завтра вечером я приду в нем.

— Вот и прекрасно, — сказала она и улыбнулась мне. — Пока что все идет хорошо, и так хочется, чтобы все было в порядке, правда? — Она перестала улыбаться и вдруг нахмурилась. — Но если тебе не удастся, ну... я хочу сказать, если ты боишься, что не сумеешь раздобыть костюм... я хочу сказать, в таком случае я смогу тебе его достать.

Я видел, что она говорит серьезно. Она постарается как-нибудь достать мне костюм, в этом я не сомневался. Мне нужно было только сказать ей, что у меня нет костюма. И мне хотелось это сделать. Мне так сильно хотелось сказать ей это, что я даже покраснел, а губы от волнения пересохли и вспухли. Но я не мог сказать ей этого.

— Нет, мэм, — сказал я. — У меня есть костюм. Его... его просто чистят и утюжат.

— Очень хорошо, Нил.

Мисс Хармен отошла к директору, который разговаривал с Анной Хендриксон, и все втроем они вышли из зала.

На следующий день после ужина я падел костюм, напечатил ботинки, а отец дал мне одну из своих белых рубашек и самый лучший галстук. Когда настало время идти, он спросил меня, не пойти ли ему со мной. Он сказал, что собирался присутствовать на выпускном вечере. Я ответил, не надо, лучше мне быть там одному, и, кроме того, я решил пройтись пешком все пятнадцать кварталов до школы, чтобы немного собраться с мыслями и успокоиться. Тогда отец сказал, чтобы я зашел к дедушке, пусть тот посмотрит, как я выгляжу в костюме.

— Я как раз и думал это сделать, — сказал я.

Отец положил мне руку на плечо.

— Хорошо, Нил, — сказал он. — Желаю тебе удачи. Не так уж все плохо, как подчас кажется.

Я хотел сказать, что ему не понять, как я себя сейчас чувствую, но промолчал.

Когда я пришел к дедушке, он готовил себе ужин. Он осмотрел меня с головы до ног и одобрительно кивнул; глаза его радостно заблестели.

— Подожди минутку, Нил, — сказал он, пошел в спальню и принес оттуда золотые часы с цепочкой.

Я знал эти часы. Такие часы носят железнодорожники, они на двадцати камнях, а чтобы перевести стрелки, надо открыть крышку и вытащить сбоку маленький рычажок. Часы были очень хорошие, у дедушки они хранились с давних пор, но носил он их редко. Я почувствовал, как слезы подступают у меня к горлу, мне не хотелось брать у него эти часы.

— Я думал оставить их тебе в наследство, Нил, — сказал дедушка. — Но ты стал взрослым мужчиной и, я думаю, уже можешь их носить.

Я завел часы, поставил стрелки и положил часы в жилетный карман. Совсем как дедушка, только у него были другие часы. Дедушка пожал мне руку и пожелал удачи.

На улице меня начал трясти озноб, хотя вечер был теплый. Впереди было много времени, и я шел медленно. На каждом углу горели голубовато-белые дуговые лампы, и свет их, пронизывая листву эвкалиптов, росших на другой стороне улицы, и перечных деревьев, вершины которых терялись во тьме, бросал на мостовую и тротуар густые спящие тени. Старые деревянные домики с освещенными окнами казались в этом полумраке невзрачными и заброшенными.

Я поравнялся со школьной оградой, вошел во двор и ступил на площадку для игр. Меня трясло сильнее прежнего; свет, лившийся из окон школы, будто жег меня.

Дойдя до середины площадки, я долго стоял, весь дрожа. Я сжал зубы так крепко, что у меня свело челюсти, и я чуть было не повернул и не пошел обратно к воротам. Но, когда я вспомнил, как дедушка дарил мне свой костюм и свои замечательные часы, я понял, что обратного пути для меня теперь нет. Я пересек площадку, обошел здание сзади и по дорожке, посыпанной гравием, подошел к запасному выходу. Двойные железные двери, от которых шел бетонированный скат, были открыты. Со сцены слышались голоса, и я видел, как там бегали ребята, но не мог их как следует разглядеть. Занавес был опущен и сцена ярко освещена, по перед глазами у меня

как-то все расплывалось. Незаметно я пробрался в темный угол между занавесом и грудой декораций из холстины, так что меня никто не заметил.

Мисс Хармен выглядела в этот день совсем по-иному, как-то моложе. На ней было длинное белое платье и нечто вроде темной накидки или жакета, а на плече приколоты цветы. Мисс Хармен была маленькой полной женщиной, но сегодня она стала словно выше ростом и худее, ее можно было даже принять за одну из учениц. Она что-то сделала со своими волосами, видно, изменила прическу, потому что седые пряди куда-то исчезли. И очков, из-под которых нос ее всегда торчал, словно пуговица, на ней тоже не было.

Учительница прохаживалась по сцене, где все еще резвились ребята. Видимо, она проверяла, все ли пришли, и время от времени переговаривалась с некоторыми из них. Она подошла ко мне почти вплотную и только тогда меня заметила.

— Это ты, Нил? — спросила она.

— Да, мэм, — сказал я. Мне пришлось выйти из своего убежища. Я заметил, как она несколько раз моргнула, делая над собой усилие, и мне казалось, что она вот-вот рассмеется. Но она не засмеялась. Она словно чего-то даже испугалась. Рот ее слегка приоткрылся, а глаза, маленькие, голубовато-серые, увлажнились, как глаза отца в то утро, когда я впервые у дедушки в доме примерил костюм. Затем она закрыла рот, нагнула голову, и я понял, что она смотрит на мои ноги. Когда она подняла голову, лицо у нее было красное, а глаза блестели. Губы ее сжались в тонкую линию. В этот момент я проклинал себя за то, что согласился надеть этот костюм, проклинал и этот выпускной вечер и все на свете.

Однако на этом дело не кончилось. Я заметил, как все вдруг притихли и уставились на меня — даже старый мистер Эсбау, директор.

И вдруг Физел Ньюбар — отец его был владелец знаменитой компании «Кофе Ньюбар», а сам он был из тех парней, которые воображают, что они умнее всех, — спросил:

— Ты зачем так вырядился, Нил? Для маскарада, что ли?

Раздался смех, и Физел продолжал:

— Ты кого, собственно, изображаешь, старика Эйба Линкольна? А где тогда твой цилиндр?

На этот раз никто не засмеялся, и чей-то голос сказал:

— Брось, Физ.

И тут впервые за все время в глазах у меня прояснилось — я увидел мисс Хармен, мистера Эсбау, девочек и мальчиков и Физела, с которым я одной рукой мог бы справиться. Все они улыбались. Даже старый Эсбау, про которого говорил, что он за всю свою жизнь ни разу не засмеялся, весело улыбался всем своим длинным лошадиным лицом. Мисс Хармен тоже улыбалась и кусала нижнюю губу так, словно стеснялась своей улыбки и пыталась ее спрятать. Я видел, как она переглянулась с мистером Эсбау. Директор слегка поклонил голову, а мисс Хармен едва заметно кивнула в ответ и сжала губы.

Я понял, что сейчас она спросит меня, не хочу ли я получить свой диплом попозже, или еще что-нибудь в этом роде.

Но, прежде чем она успела что-нибудь сказать, Раймонд Данбар, любимец всего класса и самый лучший подающий в бейсболе, который всегда начинал подачу в игре на первенство с командой старших классов, подошел ко мне, положил мне руку на плечо и сказал:

— Ну, как дела, Нил? — или что-то в этом роде.

Я не помню, что я ему ответил, но помню только, что он спросил меня, какие у меня планы на сегодня, и когда я ответил ему, что никаких, он сказал:

— Ну, а может, ты зайдешь ко мне, когда все кончится? Мы собираемся целой компанией на пляж — поплаваем и костер разложим.

Я сказал, что у меня нет купальных трусов, а он на это ответил, что у него есть лишние и он может мне одолжить — мы с ним почти одного роста. А потом, перед тем как подняли занавес, ко мне подходили и другие ребята, с которыми мне никогда раньше не приходилось разговаривать. Каждый из них что-нибудь говорил мне, или хлопал меня по спине, или толкал в бок, а другие мальчики приветственно махали мне рукой и ухмылялись. Все это делалось по-дружески, и я почувствовал себя лучше. Девочки тоже смотрели на меня. Но когда я ловил их взгляды, они отворачивались, и я заметил, как Анна Хендриксон улыбнулась. Она не смеялась надо мной, вовсе нет, просто приветливо улыбнулась.

Старый мистер Эсбау и мисс Хармен, пока все это происходило, как-то странно переглядывались, и мисс Хармен вдруг стала рассаживать нас по местам. И когда поднялся занавес, я сидел на сцене среди ребят и у меня было легко и приятно на душе, и так продолжалось, пока мы не встали и не промаршировали со сцены. Я почти забыл про свой костюм, пока не подошел к самому краю сцены, где мне пришлось стоять на виду у публики. Тут сердце мое стало биться так сильно, что я едва улавливал фамилии, которые называли, а в глазах у меня рябило.

То, что произошло потом, я, видно, никогда не смогу как следует понять.

Как только я вышел из-за занавеса и очутился перед публикой, наступила какая-то странная тишина. Я хорошо слышал то, что говорила мисс Хармен, я слышал даже, как дышат люди, сидящие в первых рядах на складных стульях.

Парень, что стоял впереди меня, пошел получать диплом, и я оказался первым в шеренге. И только я оказался на виду у всех, какой-то мужской голос грубо захохотал. Но едва раздался этот хохот, как кто-то зашипел: «Ш-шш!» — и тут же стали шипеть и другие: «Ш-шш!»

Я услышал, как мисс Хармен произнесла мое имя, и, когда я пошел вдоль сцены, раздались хлопки. Сначала захлопал один, потом другой, и пока я шел вдоль сцены и потом получал диплом, казалось, все собравшиеся в зале аплодировали мне.

Никогда в жизни я так не удивлялся. Хлопали только ораторам и автору стихов, больше никому, а тут даже после того, как я сел на свое место, они все продолжали аплодировать.

Никогда в жизни мне еще никто не аплодировал. Это было впервые.

Я СУМЕЮ СЕБЯ ОГРАДИТЬ

Когда Берт в половине десятого вошел в бар, Джорджии там не было. Он ничего не сказал, только подошел к стойке и заказал чашку черного кофе и бренди.

Без четверти 10 он уселся за пианино, чтобы отсидеть положенные 15 минут — как если бы Джорджии должна была, как всегда, появиться ровно в 10, с последним ударом часов.

Джо Палермо, владелец бара, озабоченно посмотрел на Берта, потом на часы, висевшие над стойкой, потом снова на Берта. Но Берт даже не взглянул на него.

Было еще рано, но Берт уже и сейчас мог сказать, что за посетители собрались сегодня. Это была вполне сносная публика, которая обычно не докучает идиотскими просьбами, вроде «позвольте кузену Чарли поиграть на вашем фортепьяно». Они приходили не затем, чтобы посидеть или выпить, — они приходили из-за Джорджии и Берта. Для Джо, конечно, все это будет чертовски неприятно. Бар был при последнем издыхании, когда они с Джорджией пришли к нему и попросили разрешить им выступить, а теперь, через 3 месяца, их уже приглашали в Винчелл, Лайонс, Нью-Йоркер.

Оставалось 8 минут. Берт играл второй рефрен из «Я вспоминаю», когда к нему подошел Джо. Берт заиграл тише и нажал мягкую педаль, чтобы слышно было, что говорит Джо.

— Что случилось? — спросил Джо.

— Откуда я знаю, что случилось, — сказал Берт. Это было не совсем так — он отлично представлял себе, что случилось.

— Ну так явится она сегодня или нет? — спросил Джо.

— Не волнуйся, старина, — сказал Берт.

— Постараюсь не волноваться, — сказал Джо и отошел. Оставалось четыре минуты.

Берт заиграл блюз из трех куплетов, специальный блюз, который он играл перед выходом Джорджии. Он играл блюз, и Джорджия с песней входила в зал, проходила между столиками и наконец заняла свое обычное место у фортепьяно.

Она должна была начинать с си-бемоль. Берт взял ноту, и ничего не случилось. Электротехник подключил реостаты. Это было так незаметно, что никто, кроме Джорджии, и не обратил бы внимания. И снова ничего не случилось. Берт быстро перешел на «Веселую работу», и лампочки в зале снова загорелись полным светом.

Он чувствовал, как публика заволновалась. Он оглядел зал. Около дверей дюжий парень, должно быть полицейский агент, разговаривал с Джо. Джо проводил его к столику и подошел к Берту. Берт поспешил окончить номер и встал. Публика великодушно поблагодарила его аплодисментами, сквозь которые тем не менее чуть-чуть проглядывало раздражение.

— Берт, — упавшим голосом сказал Джо, — иди поговори с этим парнем.

— Что ему надо? — спросил Берт.

— Не знаю, — отозвался Джо. — Он мне не сказал. Но я знаю, случилось что-то скверное, очень скверное. Знаешь, Берт, я всегда чувствую такие вещи.

— Послушай, Джо, — сказал Берт. — Слушай внимательно. Мне наплевать на то, что ты там чувствуешь. Но постарайся не показывать виду, Джо, если не хочешь повредить себе, мне и Джорджии. Это самое лучшее, что ты можешь сделать. Ты же знаешь, что это за публика.

Джо поблел.

— Какая публика? О ком ты говоришь? — пролепетал он.

— Что мне, картинку тебе нарисовать? — сказал Берт. — И потом, слушай, тебе же нужно пас кем-то заменить. Я знаю одну пару — Энди и Элис. Они как раз ищут работу. Я уверен, что они согласятся.

— Сейчас? Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. — Берт вытащил из бумажника записную книжку. — Держи, вот тебе адрес. Можешь позвонить. Они наверняка дома.

— Но видишь ли, все это так неожиданно... — Протянул Джо.

— Да ты не беспокойся. Они справятся, — сказал Берт. — Они смогут приехать через пятнадцать минут. Это самое разумное, что ты можешь сейчас сделать.

— Боже мой, я чувствую, что это меня убьет, — захныкал Джо.

— Позвони им, — снова сказал Берт. — И не беспокойся. Они справятся.

Высокий парень, сидевший за столиком, не поднялся, чтобы поздороваться с Бертом, когда тот подошел к нему.

— Вы Берт Хейбер?

— Все может быть. А вы кто?

— Джек Бертон, агент сыскной полиции, Манхэттен-Ист. Вы знакомы с...

— Покажите мне сначала ваш значок, пачальник. Да не так! Дайте мне его поближе рассмотреть.

Но Берт мог уже не смотреть на значок. Ему достаточно было коснуться выпуклого рисунка — характерной эмблемы сыскной полиции. Он вернул значок владельцу.

— Ладно, — сказал он. — Я Берт Хейбер.

— Вы знакомы с... — Полицейский достал из нагрудного кармана фотографию, завернутую в бумагу. — С этой женщиной?

Берт взглянул на фотографию, зажмурился и отшвырнул ее, будто увидел что-то омерзительное.

— Да, — сказал он наконец. — Но зачем нужно показывать именно эту фотографию?

— Другой у нас нет, — объяснил агент. — Необходимо точное опознание личности, а пока все что мы могли — это сфотографировать лицо убитой на месте преступления.

— Где? — спросил Берт. — Где?

Бертон заглянул в записную книжечку.

— В проходе между двумя корпусами жилых домов, улца 55, между 9-й и 10-й авеню. Она жила где-нибудь рядом?

— Нет, — сказал Берт. — Когда ее нашли?

— Вот это уже интересный вопрос, — заметил агент.

— Что значит «интересный»? Что вы имеете в виду?

— Да так, — ничего не выражающим голосом отозвался агент. — Может вам виднее, что я имею в виду, мистер Хейбер?

— А, вон оно что, — сказал Берт. — Я понимаю. Вам кажется странным, что я говорю так, как будто я уже раньше знал, что так случится. Ну что ж, может, это и в самом деле так. Я не знал только, когда это случится, где и как.

— Вы можете рассказать, где вы были, начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего дня?

— Конечно, могу. Когда все окончилось, я проводил Джорджию домой...

— Вы каждый вечер ее провожали? Где она жила? В какое точно время вы с ней расстались?

— Я вынужден был провожать ее последние две недели. Кто-нибудь должен был ее провожать. Она жила на 61-й улице, это в двух кварталах отсюда, если идти в северном направлении. Когда я расстался с ней, была одна минута пятого. Я помню, потому что как раз посмотрел на часы в вестибюле.

— Рановато, пожалуй, вы не находите? Я просто хочу сказать, что ваше заведение закрывается в четыре, а дойти туда все-таки не одна минута, так что...

— Да, было еще рано, — сказал Берт. — Дело в том, что я чувствовал себя в какой-то мере ответственным за нее. Последние две недели я всегда уводил ее задолго до того, как Джо закрывал бар, чтобы нас не заметили. Перед закрытием обычно бывает такая суматоха, что легко можно уйти незамеченным.

Агент сидел, сложив руки, слушал и кивал. К столику подошел Джо.

— Все в порядке, — сказал он. — Они были дома. Сказали, что сию минуту приедут. Просили поблагодарить тебя.

— Не стоит, — сказал Берт. Он с раздражением отметил, что теперь, когда замена нашлась, Джо уже не выглядел таким несчастным, ему как будто было наплевать, что случилось с Джорджией. Хотя он ведь еще ничего не знал. Ну что ж, пусть прочтет в газетах.

— Может быть, джентльмены хотят выпить? — спросил Джо.

Агент отказался.

— Попроси Билла дать мне двойной коктейль, — сказал Берт. Любимый коктейль Джорджии. Он вспомнил песенку, которую всегда играл для нее. Как это делают такой коктейль? Выжимают апельсины, добавляют вшине-

вого соку... — Нет, — сказал он, — пусть даст виски со льдом.

— Ну, конечно, Берт, конечно, — сказал Джо и зашел к стойке.

— Так вот, значит, — сказал Берт. — После того как я ее проводил, я пошел домой. Дома я улегся спать и проспал до шести вечера. Когда я проснулся, я позвонил Джорджии. Никто не подошел к телефону.

— Так это было в шесть часов? — спросил агент, делая пометку в записной книжке.

— Не надо, — попросил Берт.

— Что не надо?

Берт наклонился к дожему агенту и дотронулся до его руки.

— Они-то знают, что случилось, потому что это дело их рук. Ведь за нами могут следить сейчас, следить за мной, чтобы узнать, что мне известно об этом.

Агент внимательно посмотрел на него и отложил блокнот.

— Ладно, вижу, вы тут ни при чем, — сказал он. — Расскажите-ка мне об этом, как его, чувстве ответственности, что ли. Когда это у вас началось?

— Ну, видите ли, я вообще чувствую себя ответственным за партнера по работе, если этот партнер девушка, — сказал Берт. — Вы понятия не имеете, что это такое, когда играешь и видишь, как эти парни наглеют, выпив три стопки виски. Они, видите ли, думают, что им все позволено, что они за все платят, и за девушку в том числе, разумеется.

— Вы мне что-то хотели рассказать, — напомнил Бертон. — В каких отношениях вы были с этой женщиной?

Берт улыбнулся.

— В весьма своеобразных, — сказал он. — Когда она пела, а я играл для нее, а вся эта публика замолкала, чтобы послушать нас, тогда достаточно нам было взглянуть друг на друга, и мы чувствовали, что между нами существует какая-то незримая связь. Вот, собственно, и все. Только когда она пела. Я, наверно, не совсем ясно выражаю свои мысли?

— Я хотел спросить: вы с ней спали?

— Нет.

— А вам когда-нибудь хотелось?

— Глупо спрашивать. Кому бы не захотелось?

— Но вы делали какие-нибудь попытки?

— Нет.

— Почему — нет?

— Видите ли, у меня свой взгляд на такие вещи. Я знаю одну-единственную басню Эзопа, и это басня о гусыне, которая снесла золотое яичко. Или она его не снесла?

— Мистер Хейбер, — сказал Бертон, — у нас есть основание считать, что это дело рук Малыша Сэмми.

— Почему вы так думаете?

— Я сужу по тому, в каком виде ее нашли. Это его работа.

— Да. Я видел фотографию. Ужасно!

— Она знала Малыша Сэмми?

— Кто же его не знает?

— Да нет, я имел в виду, она с ним...

— А, вот вы о чем! Нет.

Официант принес виски, и Берт отпил половину, чтобы проглотить комок, подступивший к горлу. Он вертел в руках соломинку и думал: «Бедный старина Билл. Ему бы служить буфетчиком. Положить соломинку в виски со льдом! Бедняга Билл».

— Она когда-нибудь видела Малыша Сэмми?

— Да.

— Вы не хотели бы рассказать мне об этом?

— Нет. Но ведь я, наверно, должен рассказать?

— Да.

— Ну ладно. Как я вам уже говорил, это случилось две недели назад. Мы только что буквально вдохнули жизнь в это заведение. Вы когда-нибудь слышали, как она пела?

— Нет. Когда именно она впервые увидела Малыша Сэмми?

— Одиннадцатого числа. Я помню еще, как я купил газету по дороге домой, и потом, это был первый раз, когда мы были в Впичелле. Никогда в жизни не забуду этот ужасный день.

— Что же в нем было ужасного?

— Сэмми был там весь вечер. Я увидел его самого и его молодчиков сразу же, как только сел за пюаншо. Я заиграл блюз из трех куплетов — это ее выходной блюз, то есть это был ее выходной блюз. Она вошла в зал, и у него прямо слюнки потекли.

— Он к ней пристаивал?

— Да нет. Не сразу, во всяком случае, — сказал Берт. — Он был пайнкой. Он весь вечер посылал нам випо, а на другой день она получила большую корзину цветов. Понятия не имею, как он узнал ее адрес.

— У них свои способы узнавать все что им надо, — сказал агент.

— Вечером он опять был там, только теперь он уже действовал более нагло.

— А вы чувствовали себя ответственным за нее?

— Ну да, — сказал Берт. — Видите ли, если бы этот парень ей нравился, я бы, конечно, все равно за нее беспокоился, но дело в том, что она его просто терпеть не могла. В таком ремесле, как паше, поневоле научишься всяким штукам, чтобы отваживать назойливых ухажеров. Но с этим ничего нельзя было поделывать. В конце концов она его несколько раз осадила при всех. А потом вот этот последний вечер.

— Что именно?

— Да вот когда как раз все и случилось, — сказал Берт. — Она шла к себе, чтобы переодеться. Когда она проходила мимо его столика, он схватил ее за руку, как будто он имел право ее лапать. Тогда она взяла стакан у него со стола и выплеснула ему на рубашку.

— А, вот оно что, — сказал агент, — тогда понятно, что он взбеленился. Ведь он щеголь каких мало.

— Да и я еще тоже постарался, — добавил Берт. — Знаете, что я сделал? Я заиграл «У водопада». Боже, какой хохот был в зале! Ведь все же видели, что произошло. Наверно, Берт Лар при всем своем искусстве никогда не заставлял зрителей так смеяться. Тогда Сэмми встал и ушел вместе со своей бандой, а публика все еще смеялась.

— Ну, тогда понятно, — заметил агент. — Чего Сэмми никогда не простит — это чтобы над ним смеялись. Так вы ее потом сразу же отвели домой?

— Не совсем сразу, — сказал Берт. — Видите ли, я был страшно доволен собой. И еще — горд за нас обоих. Я подошел к стойке и выпил. Там еще был этот парень, который сидел рядом со мной с таким видом, будто ему ни до кого дела не было. Симпатичный такой парень, похож на страхового агента или что-нибудь в этом роде. Он заговорил со мной.

«Тебе, кажется, чертовски весело», — сказал он.

«Да, чертовски весело», — ответил я.

«Ну что ж, рад видеть тебя таким веселым, — сказал страховой агент. — Мне очень приятно, что у тебя такое хорошее настроение».

«Счастлив за тебя, — сказал я. — О чем же мы с тобой будем беседовать?»

«Нам с тобой незачем долго разговаривать, — сказал страховой агент. — Ведь слова становятся излишни, когда хорошо знаешь друг друга».

«Вот чудной, — сказал я. — Я тебя не знаю, и, признаюсь, у меня сейчас нет ни малейшего желания с тобой знакомиться».

«Зато я тебя знаю, — заявил он. — Ты Берт Хейбер».

«Ну и что из этого?» — спросил я.

«Ты живешь на 54-й улице на четвертом этаже, в твоём доме нет лифта, и ты бываешь дома только днем», — сказал этот чудак.

«К чему ты мне все это говоришь? Я не собираюсь в этом году страховать свою жизнь, приятель», — сказал я.

«Не собираешься? — спросил он. — А я бы на твоём месте застраховался. — Потом он наклонился ко мне и пожал мою руку так быстро, что я не успел её отдернуть. — Я думаю, мы с вами отлично поняли друг друга, не правда ли, мистер Хейбер?» — сказал он и тут же ушел. Вполне в их духе, а?

— Да, — согласился агент.

— Они не посылают тебе предупреждений, не угрожают и вообще ведут себя так, что комар носу не подточит.

— Они могут обойтись и без этого, — сказал агент.

Берт сделал знак Биллу, чтобы тот принес еще виски.

— Я пошел провожать её домой, — продолжал Берт. — Я ей говорил, что ей нельзя оставаться одной, что или я у неё останусь, или она пусть у меня переночует, или, наконец, полицию можно позвать — в общем что-то нужно сделать. Но она пожелала мне спокойной ночи, поцеловала меня — боже, что это был за свежий, невинный поцелуй! — и сказала: «Не волнуйся, малыш. Мама уже большая».

Агент застегнул пиджак, собираясь уходить.

— Ну что ж, вы нам дали очень ценные сведения, мистер Хейбер, — сказал он. — Я думаю, что мы теперь бы-

стро покончим с этим делом. Да, вот еще что. Можем мы быть вам чем-нибудь полезны?

— Чем же вы мне можете быть полезны?

— Может, вам нужна защита?

— Да нет, не думаю.

— Вы нам нужны будете как свидетель, когда мы его арестуем.

— Ну, меня всегда можно найти.

— Видите ли, нам нужно иметь гарантию. Ведь ваше отсутствие может нам все дело испортить.

— Не беспокойтесь, я буду на месте, — сказал Берт. Офицант принес еще виски, и Берт сразу же выпил все до дна.

— Мистер Хейбер, — сказал агент. — Вам, пожалуй, лучше поехать со мной. Сами понимаете, мало ли что может случиться, а нам так важна ваша помощь.

— А надолго это? — спросил Берт.

— Я думаю, что мы справимся до утра.

— Так быстро? — спросил Берт. — Ну что ж, ладно.

Выходя из зала, они встретились с Энди и Элис. Бертоном вежливо ждал, пока они благодарили Берта за работу. Берт не сказал им, что случилось. Они тоже прочтут в газетах.

Они подошли к серому закрытому автомобилю.

— Садитесь сзади с моим помощником, — сказал Бертоном.

Берт опустился на сиденье, даже не взглянув на своего соседа. Бертоном сел за руль, и они помчались по направлению к Ист-Ривер. Только теперь Берт повернулся, чтобы посмотреть на того, кто сидел рядом с ним.

— Добрый вечер, приятель, — сказал страховой агент.

КАРТИНЫ

Жаке ждал, пока ему откроют, и думал о том, что француз при подобных обстоятельствах никогда не пригласил бы его к обеду. Он впервые встретился с Беском всего пять дней назад, и разговор их, если не считать нескольких ничего не значащих фраз о Париже, носил исключительно деловой характер. Нормы отношений с людьми, которые он установил для себя, никак не предусматривали в подобных случаях приглашения к семейному обеду. Но, может быть, в среде немецких коммерсантов так принято, надо будет спросить у жены.

Дверь открыли, и Жаке испытал приятное удивление: фрау Бек, женщина лет тридцати пяти, была высока ростом, хороша собой. Ее очень красили золотисто-каштановые волосы и стройная фигура. Она протянула руку и мило поздоровалась с Жаке, сразу очаровав его, хотя он и заметил, что она чуточку поморщилась, увидев шрам у него на шее. Жаке был тяжело ранен в сорок третьем, и хотя хирурги немало потрудились над ним, шрам все же несколько портил его внешность. И он все еще страдал от этого, особенно в присутствии хорошенькой женщины, как сейчас.

Фрау Бек повесила пальто Жаке и, пройдя вместе с ним в гостиную, сказала ему, что мужа еще нет дома: на эту субботу и воскресенье приезжает сын — студент Геттингенского университета, и Альфред поехал на аэродром встречать его.

«Значит, ей не меньше сорока», — подумал Жаке, но сказал то, что полагалось:

— Трудно поверить, у вас сын — студент.

Фрау Бек негромко ответила «благодарю» и заговорила о другом. По-видимому, она не отличалась тщеславием.

— Альфред только сегодня сказал мне, что у вас жена немка.

— Да. Это верно.

— Знай я об этом хоть на день раньше, я бы приготовила что-нибудь из шведских блюд. А теперь все мои «сюрпризы» будут вам не в новинку.

— Ну что вы! Моя жена — врач, она человек занятой и не любит стряпать. Когда мы не обедаем в ресторане, вожусь на кухне я, а она сидит и читает медицинские журналы. Другим все это кажется немножко странным, но нам нравится.

Фрау Бек рассмеялась.

— Если так, у меня гора с плеч. А жена ваша родом не из Баварии?

Жак кивнул и улыбнулся.

— Я уже не раз слышал, что говорю по-немецки с французско-баварским акцентом. Наверно, получается смешно.

— Вовсе нет, очень мило. Ну, извините, я загляну на кухню. Не хотите ли чего-нибудь выпить?

— Благодарю, сейчас не хочется.

— Там на столике журналы... — Она еще раз улыбнулась и вышла.

Жак снова отметил про себя: «Какая привлекательная женщина». Теперь он был рад приглашению — вечер в обществе фрау Бек не мог оказаться скучным.

Он оглядел комнату. Книжные полки, гравюры и картины на стенах говорили о том, что хозяйка не чужда культурных запросов, новая, ультрасовременная мебель свидетельствовала о достатке. Рассматривая одну из картин, он подумал: «Что ж, побежденные поднялись из пепла...» То, что зарабатывали он, художник-декоратор, и его жена — врач в детской клинике, не позволяло им так обставить квартиру. Конечно, Париж — самый прелестный из городов, созданных человеческим гением, но он стар, этот город, перенаселен, и в нем мало домов, где, как здесь, есть лифт и центральное отопление...

«Модильяни», — отметил Жак почти бессознательно, не переставая думать о чем-то другом. И вдруг он словно окаменел и впился глазами в картину — один из многочисленных портретов жены художника. На этот раз Модильяни изобразил ее с черными волосами, полными тайны большими глазами, печальным, чуть отрешенным

лицом и лебединой шеей. После минутного смятения Жаке подумал: «Что ж, многие художники повторялись в этюдах». Он быстро нагнулся, ища дату... 1919. Картина, принадлежавшая его матери, была написана в том же году. Жаке помнил это совершенно точно — с картиной Модильяни была связана целая семейная история. А рама? Он закрыл глаза, стараясь вспомнить, какая она была, и не смог.

Обычно щеки Жаке покрывал румянец, но сейчас, когда он пытался сообразить, возможно ли появление двух столь похожих... нет, совершенно одинаковых полотен, лицо его залпла синеватая бледность. Размер картины... удивительные глаза (мать всегда говорила: эта женщина словно всматривается в лицо жизни)... и какое-то необыкновенное, с подлокотниками и высокой спинкой кресло, похожее на трон епископа или другого князя церкви. Жаке снял картину со стены и подошел к роялю, где стояла яркая лампа. Держа одной рукой картину, он другой взял лампу. И в ту же минуту увидел на противоположной стене Ренуара. У него перехватило дыхание. Он обогнул рояль и подошел к картине вплотную. Сердце учащенно билось, в висках стучало. Он взгляделся в картину, потом закрыл глаза, снова открыл их и опять посмотрел на Ренуара. Прелестный небольшой этюд — букет полевых цветов. Маки, ромашки, васильки передаваемо нежных тонов прочно запечатлелись в его памяти. Если на полотне и стояла какая-нибудь дата, то ее скрывала рама.

Почти не веря, что все это происходит с ним наяву, Жаке поставил Модильяни рядом с Ренуаром. В ту же секунду пришла уверенность, что ошибки быть не может. Он, правда, не видел этих картин с тридцать девятого года, но зато смотрел на них каждый день в годы детства и юности. Возможно, Модильяни написал копию картины, подаренной им однажды вечером в «Ротонде» матери Жаке. Могло случиться, что и Ренуар повторил полотно, купленное отцом Жаке на каком-то благотворительном базаре. Но было бы просто невероятно, чтобы оба художника сделали копии именно с этих двух картин. Значит, остается выяснить, как они попали к Альфреду Беку. Немецкий офицер, который жил в квартире семьи Жаке во время войны и вывез оттуда все ценные вещи, мог продать картины какой-нибудь немецкой галерее, где

Бек их потом и купил. Да, конечно, так вполне могло случиться. Если только сам Бек не был тем офицером, если только он сам не вор!

Жаке услышал, как в холле открыли дверь. Он повел картины на место и замер, сцепив пальцы за спиной. Вся его худощавая подвижная фигура застыла в напряженном ожидании.

Бек вошел в сопровождении сына, и Жаке с улыбкой сделал несколько шагов им навстречу. Беку было около пятидесяти. Высокий, с подтянутой фигурой и черными, лишь слегка тронутыми сединой волосами, он крепко, по-дружески пожал руку гостю и произнес улыбаясь:

— Господин Жаке, я привез с собой окончательный текст соглашения, как мы с вами договорились, и, кроме того, своего сына Рейнгардта.

Бек, видимо, не только любил сына, но и гордился им. Рейнгардт был выше ростом, но не такой широкоплечий, как отец; за толстыми стеклами очков скрывались близорукие глаза.

— Садитесь, пожалуйста, — любезно предложил Бек. — Что будете пить, портвейн или, может быть, виски?

— Виски и немного содовой, если позволите.

— С удовольствием. — Бек открыл дверцы шкафчика, стоявшего прямо под картиной Модильяни. Смешивая виски, он высказал удивление, что француз предпочитает такой аперитив. Жаке объяснил: за последние годы в среде французской интеллигенции очень многие перешли на виски и привыкли к нему.

— Мы постепенно избавляемся от нашей провинциальности, — добавил Жаке, улыбаясь. — Американский джаз и стриптиз на рю Пигаль, итальянские хлебцы и польская водка в лучших магазинах и немецкие станки на наших заводах, когда хватает денег.

Жаке внешне вел себя, как и подобает воспитанному человеку в гостях, но внутри у него все кипело. «Если Бек и есть тот самый офицер, — яростно стучало у него в висках, — то куда же девалась мебель, которую тоже украли? Прошло уже шестнадцать лет с тех пор, как немцы ушли из Парижа, а мебель не служит вечно, по одной или две вещи могли все-таки уцелеть. Теперь они, видимо, стоят в других комнатах». Удастся ли ему осмотреть всю квартиру? «А зачем, — тут же подумал он, — в этом нет нужды». Картины будто глядели на него со стены.

Разве этого мало?! Надо только узнать, как они попали к Беку.

— Благодарю, именно такой крепости я обычно и пью, — сказал он, потягивая виски. На самом деле хайболл получился слишком крепкий, но сейчас Жаке был этому даже рад: ему нужно было успокоить нервы.

Присаживаясь рядом со стаканом в руке, Бек сказал:

— Я очень счастлив, что мы втроем — вы, я и Рейнгардт — можем немного поболтать до обеда. Позвольте объяснить почему.

И он принялся патетически разглагольствовать о том, что давно считает себя поклонником французской культуры, французского интеллекта, всего того, что можно назвать душой Франции. Он читает по-французски гораздо свободнее, чем говорит, и знаком с книгами многих французских мыслителей, поэтов и романистов. Он поспешил добавить, что вовсе не отвергает при этом немецкую культуру. Напротив, ему кажется, что обе культуры дополняют одна другую и в будущем они несомненно станут основой мировой цивилизации.

Бек говорил. Жаке вежливо улыбался в ответ, а в душе у него все нарастало раздражение. Хозяин, стараясь сделать ему приятное, кажется, не отдавал себе отчета в том, что просто повторяет набившие оскомину штампы нацистской пропаганды. То же самое твердили гитлеровцы в сорок первом; одной рукой выжимая все соки из оккупированной, разоренной страны, они лицемерно протягивали другую для пожатия. Он, Жаке, чертовски хорошо помнил все это и вовсе не чувствовал себя польщенным.

Подобную же оскорбительную чепуху о «слиянии культур» без конца повторяли французские коллаборационисты, не смущаясь тем, что эта их болтовня сопровождается грохотом сапог гитлеровских солдат, печатающих шаг на Елисейских полях.

— Все это только своего рода присказка, а теперь я хочу задать вам важный вопрос, — сказал Бек. — У нас с сыном спор, и вы, как француз, можете его разрешить.

— Охотно, — пробормотал Жаке и подумал: «Так вот зачем, оказывается, меня пригласили к обеду».

— Отец предложил мне поехать на год учиться за границу, — сказал Рейнгардт. — Он хочет, чтобы я поступил в Сорбонну. Но я слышал, что в Сорбонне слишком

много студентов и некоторым из них не удастся даже записаться на лекции.

— Боюсь, что в Сорбонне есть факультеты, где студентов действительно слишком много, — ответил Жаке. — А вы какой для себя выбрали?

— Филологический.

— Как у филологов, не знаю, но могу выяснить и написать через несколько дней.

— Буду очень признателен.

— Оставь, пожалуйста, Рейнгардт, — вмешался Бек. — Поедешь ты во Флоренцию, или в Упсалу, или в какой-нибудь другой университет, ведь главное для тебя вовсе не лекции. Главное — узнать парод, почувствовать, чем он дышит. Ты узнаешь...

Тут он умолк, так как в комнату вошла девочка лет тринадцати, с красивым и умным личиком.

— Ах, это ты, Урсуда, милая, — сказал Бек ласково и, представив дочь гостю, шутливо назвал ее своим «первым послевоенным достижением». Он поцеловал девочку в щеку и продолжал говорить, обнимая ее за талию: — Ты больше узнаешь от своих товарищей, чем от профессоров. Так почему же ты не хочешь сказать нашему гостю, в чем истинная причина твоего нежелания ехать во Францию?

Рейнгардт чуть заколебался, но потом начал говорить с искренностью, которая даже вызвала у Жаке чувство симпатии.

— Мосье, я принадлежу к послевоенному поколению, но много читал о войне. Во Францию мне будет неприятно, если на меня станут смотреть как на вчерашнего завоевателя, я не хочу чувствовать себя незванным гостем лишь из-за того, что я немец.

— Ничего этого не будет, я-то знаю, — вмешался Бек. — Французы очень гостеприимный народ. О войне все давно забыли, кроме каких-нибудь маляков. Мы ведь теперь союзники.

«Да, — подумал Жаке, — для этого меня и пригласили. И Рейнгардт поэтому приехал, его специально вызвали на субботу». Ему стало очень смешно, смех будто рвался из всех пор наружу. Отцовская любовь привела его, Жаке, в эту квартиру в Дортмунде, где по невероятному стечению обстоятельств он нашел то, что искал целых шестнадцать лет!

— Я в этом вовсе не уверен, — упрямо продолжал Рейнгардт. — Только на прошлой неделе мне рассказали об одном случае... Двое моих приятелей в августе ездили во Францию. В Лпоне они спросили дорогу у какой-то женщины. Ей было лет сорок пять, и она ответила им по-немецки. Говорила она не очень хорошо, но уж, во всяком случае, лучше, чем они по-французски. Когда женщина показала им дорогу, мой приятель из вежливости спросил, где она так хорошо изучила немецкий язык. Она вдруг переменялась в лице и сказала со злобностью: «В концлагере Бельзен». — Помолчав, Рейнгардт добавил: — Мне бы не хотелось услышать подобный ответ, ведь я-то ни в чем не виноват.

— Конечно, — негромко подтвердил Жаке, — вы здесь ни при чем.

Тринадцатилетняя Урсула шепотом, но все же настолько громко, что Жаке отлично слышал, спросила у отца, что такое концлагерь.

— Потом объясню, — отмахнулся Бек и продолжал, обращаясь к сыну: — Я дважды побывал в Бордо за последние четыре года. Ни разу не ощутил никакой враждебности. Что думаете об этом вы, мосье, и прошу вас, будьте откровенны.

Жаке заговорил, отвечая Рейнгардту:

— Не сомневаюсь, что то, о чем вы рассказали, действительно произошло. Пережитое горе всегда отзывается болью, стоит только о нем напомнить. Но не думаю все же, что вам придется столкнуться с чем-либо подобным. Вы будете вращаться в университетских кругах, среди людей мыслящих. О вас станут судить по вашим собственным поступкам. Только безмозглый пидиот может видеть в студенте ваших лет вчерашнего оккупанта.

— А я что говорил! — с явным удовольствием воскликнул Бек.

— Кроме того, — продолжал Жаке, обращаясь уже к Беку, — даже старые солдаты научились смотреть на вещи сквозь призму времени. Вражда постепенно стихает, не так ли? Или вы не были в армии в годы войны?

— Разумеется, был и считаю, что вы совершенно правы... Ну, Рейнгардт, что ты скажешь теперь?

— Меня очень обрадовало мнение мосье Жаке.

— Если приедете в Париж, с удовольствием помогу вам найти квартиру.

— Весьма признателен.

— В каких частях вы служили? — спросил Жаке, обращаясь к Беку. Вопрос прозвучал очень непринужденно, хотя сердце у Жаке билось неровно.

Бек рассмеялся.

— О, это была синекура... служил военным юристом. Я адвокат, хотя уже лет десять не занимаюсь юридической практикой. Для меня это была война без выстрелов, счастливая возможность завести роман с Парижем.

— Значит, ваша часть размещалась в Париже! — выкрикнул Жаке чуть охрипшим голосом. И залпом допил виски.

— Но угодно ли еще?

— Да, пожалуйста, только не такое крепкое.

Бек взял у Жаке стакан и подошел к шкафчику. Сминая хайболл, он вспоминал о своем первом впечатлении от Парижа, о первой прогулке к площади Согласия, а оттуда к Елисейским полям... Ну, конечно же, Париж — один из самых чудесных городов мира.

В гостиную вошла фрау Бек. Она улыбнулась Жаке, села рядом с сыном, попросила мужа налить ей вермута — «только чуточку, я должна следить за фигурой» — и сказала, что обед будет подан через несколько минут.

— В какой части Парижа вы жили? — спросил Жаке.

— Забыл название района. Всего в нескольких минутах ходьбы от Триумфальной арки.

— А, знаю, — сказал Жаке, — Этуаль. — В горле у него пересохло, и он отхлебнул глоток виски.

— Я жил в чудесной квартирке на улице, сплошь усаженной деревьями. Знаешь, Рейнгардт, в Париже везде и всюду деревья и много маленьких скверов. Прелестный садик был и у самого моего дома. Он, кажется, назывался Руссо...

— Сад Монсо, — сказал Жаке громче, чем хотел.

— Монсо? Да, совершенно верно.

— Рядом бульвар де Курсель.

— Ну конечно, там я и жил, — воскликнул Бек, — и каждое утро...

— Долго вы пробыли в Париже? — перебил его Жаке.

— Почти два года, с зимы сорок второго до лета сорок четвертого.

Теперь Жаке получил ответ, которого ждал, четкий, не оставлявший места сомнениям, исключавший возмож-

ность ошибки. И хотя с языка у него уже готов был сорваться вопль: «Третий этаж, квартира шестьдесят шесть, подлая свинья!», — слова будто застряли у него в горле, и он молчал. Он вдруг представил себе, как вернется в Париж. «Дело прежде всего, — почти слышал он голос директора компании. — Чувства падо держать при себе. Все пострадали от войны. А вы расхныкались, как капризный ребенок, из-за каких-то картин, которых не видели двадцать лет!» Жак прижал пальцы к правому виску, где вдруг забилась беспокойная жплка. Так ему скажет директор, а что он ответит? Найти оправдание будет невозможно, ведь переговоры вела дирекция компании. Жак послали сюда потому, что Бек хотел оговорить в соглашении некоторые небольшие изменения в орнаменте. Они уже договорились об этом и поставили в известность Париж. Если он даст выход своей ярости и соглашение пойдет насмарку, ему не оправдаться. Речь идет о весьма солидном заказе... У него обязательства перед компанией и перед самим собой. Дались же ему эти картины, ведь он и не вспоминал о них последние десять лет.

Жак услышал, как ффрау Бек пригласила всех к столу: «Не пройдем ли мы в столовую?» — и встал с дивана. Рот его искривила гримаса, которую он старался выдать за улыбку, но замечая, что ффрау Бек смотрит на него с недоумением. Едва только они вошли в столовую, Жак окинул ее молниеносным взглядом, но не обнаружил ни одной из своих вещей. Он сел там, где указала хозяйка, кивнул в ответ на какую-то реплику Рейнгардта и с горечью подумал: дело ведь не столько в самих картинах, сколько в том, что нельзя оставлять мерзавца безнаказанным; и все же он, видно, так ничего и не решится сказать Беку, а будет лишь молча поглощать одно блюдо за другим, приправляя их собственной желчью.

Пожилая горничная внесла супницу и поставила ее перед ффрау Бек. Рейнгардт обходил стол с бутылкой. Бек назвал вино — из рейнвейпов — и спросил, знает ли гость эту марку. Жак ответил «нет», затем, почувствовав, что дальше молчать неудобно, заговорил о своем пристрастии к некоторым немецким винам, которые он предпочитает французским. Так оно и было, по, едва только слова сорвались с его уст, он тут же пожалел об этом: могло показаться, что он просто хотел сделать хозяевам приятное. На лице Бека появилась самодовольная улыбка.

ка, и это вызвало у него приступ ярости. И все же, будто против воли, он продолжал говорить в том же тоне.

— Иаумпительно, — сказал он, отведав суп.

— Не всем нравится черепаховый суп, — ответила хозяйка с явным удовольствием. — Я даже немного волновалась.

— Обращаюсь к вам, как хозяйка к хозяйке, — шуточно сказал Жаке, — сообщите мне, пожалуйста, рецепт.

— С удовольствием.

— Мосье, — заговорил Рейнгардт, — вы не сочтете бестактным, если я попрошу вас рассказать, что вы пережили во время войны? Меня очень волнует эта тема, и я задаю такой вопрос всем людям вашего возраста. Но, конечно, если это вам неприятно...

— Нисколько. — Жаке начал рассказывать, но казалось, что слова он паходит с трудом. — Когда началась война, я служил на юге, в зенитных частях... В нашем районе боевых действий не было, после перемирия нас всех демобилизовали. Но я и кое-кто из моих товарищей... — он помолчал, потому что жипка у него па виске снова судорожно затрепетала, — добрались до испанской границы... Мы хотели перейти через Пиренеи.

Внезапно Жаке почувствовал, что продолжать он не в силах. На лбу выступил холодный пот. Руки и ноги словно налились свинцом. Он сидел неподвижно, уставившись взглядом в скатерть, п несколько секунд даже не замечал, что хозяйка смотрит на него с недоумением. Он прислушивался к своим словам... Кто произносит их? Его душа, его уста, или это говорят его товарищи, погибшие в те дни па перевалах через Пиренеи? Ему только слышалось: «А теперь кем ты стал?! Тебя не отличить от тех, кого ты сам когда-то презирал. Нет, это не ты ускользал от патрулей, ногтями цепляясь за выступы скал, не ты одолел Пиренеи, пять месяцев томился во франкистской тюрьме п наконец добрался до Англии, чтобы отпартовать: «Явился француз, готовый сражаться...» Будь ты тогда таким, как сейчас, ты был бы коллаборационистом.

Да, так оно и есть, нккуда не денешься. Эта правда горька, как горько у него сейчас во рту. Он ощущал себя забрызганным с головы до ног грязью, липким навозом практических «соображений», тех разумных «доводов», какне он презирал в сороковом, когда был молод, смел

и думал только о Франции, о свободе и о том, что руки у человека должны быть чистыми.

«Я подлец», — с горечью подумал он. И вдруг почувствовал руку Бека у себя на плече.

— Что случилось, мосье? — забеспокоился немец. — Вам нехорошо? Чем я могу помочь?

Вся семья в недоумении смотрела на него, и он пробормотал:

— Извините... Пустяки...

Бек все еще не снял руки с его плеча, и Жаке она казалась куском раскаленного металла. Рывком он выпрямился, выдавил из себя улыбку и вдруг заговорил быстро, с каким-то лихорадочным оживлением. Иногда у него случаются такие припадки. Это наследственное, от отца... Не эпилепсия, ничего серьезного, просто мгновенное нарушение обмена... Теперь он уже чувствует себя прекрасно и просит не беспокоиться, приступ может не повториться целый год, а уж о сегодняшнем вечере и говорить нечего.

Когда Бек снова уселся, Жаке залпом выпил стакан вина и опять обратился к Рейнгардту:

— Я не окончил своего рассказа. Мы с товарищами стремились добраться до Англии. Три дня мы скрывались в Пиренеях, потом нас задержали испанские пограничники. Мы долго просидели в тюрьме... Право же, фрау Бек, я непременно должен взять у вас рецепт. Жена будет в восторге.

— Весьма польщена. Ведь я добавляю кое-что свое к обычному набору. Я вам напишу...

Наливая Жаке вино, Рейнгардт заметил, что испанская тюрьма, вероятно, не очень-то приятное место.

— Не скажу даже, чтобы с нами дурно обращались. Но кормили очень плохо, и от насекомых спасенья не было. Когда нас выпустили, мы добрались до Гибралтара, потом до Северной Африки. Я воевал против вашего Роммеля, — сказал он, обращаясь к Беку, — а потом, в сорок четвертом, в Нормандии.

— Вы ранены в шею? — спросила маленькая Урсула.

Мать укоризненно посмотрела на нее, но Жаке улыбнулся и ответил:

— В шею и в большой палец ноги.

— Ах, война — это так ужасно, — вздохнула фрау Бек.

— Да, ужасно! — воскликнул Рейнгардт с каким-то

особым волнением. — Но для тех, кто уцелел, связанные с войной переживания могут послужить величайшим стимулом духовного развития.

Жако внимательно посмотрел на юпошу.

— Уверяю вас, на войне люди нередко теряют человеческий облик. — Он подался вперед, глаза его горели. — Если хотите, я расскажу вам одну историю тех лет, которая особенно сильно на меня подействовала.

— О, разумеется.

Обращаясь к Рейнгардту, Жако теперь все время смотрел на Бека.

— Я находился в частях союзных армий, которые первыми вошли в Париж в сорок четвертом. В тот же день я раздобыл джип и помчался на квартиру, где жила моя семья. Снайперы еще постреливали, но я не обращал на это внимания. Отец умер до войны, но я надеялся найти дома мать. Однако мне рассказали, что после оккупации Парижа она уехала к родным в деревню. В квартире было совершенно пусто, я хочу этим сказать, что занимавший ее немецкий офицер вывез все вещи.

Лицо Бека как-то сразу окаменело, и он впился глазами в гостя.

— Все вещи были упакованы и вывезены, — спокойно продолжал Жако. — Кровати, столы, диваны, белье, книги, картины. К сожалению, новая консержка не апала имени этого офицера: она служила в доме недавно, а прежняя умерла вскоре после моего отъезда.

— Вы хотите сказать, что это сделал немецкий офицер? — спросил Рейнгардт.

— Да, конечно.

— Война ужасна во всем, — снова проговорила фрау Бек. — Страшные бомбежки наших городов! Мы жили в деревне, Рейнгардт, и ты всего этого не видел.

Пристально поглядев на хозяйку, Жако решил: она ни о чем не знает. Похоже, что Бек продал все, кроме картин. Ну, что ж, он человек со вкусом. Даже не глядя на Бека, Жако все время чувствовал на себе его взгляд, почти физически ощущал охватившее немца волнение.

— Бомбежки неизбежны во время войны, — пояснил Рейнгардт, обращаясь к матери. — Но я все же не могу понять, как немецкий офицер оказался способным украсть вещи, принадлежавшие французской семье. Ну

если бы хоть солдат, это еще куда ни шло, но офицер... Дегенерат какой-то!

— Ошибаетесь, — сказал Жаке. — Война превращает человека в зверя; история знает немало примеров того, как правители поощряли звериные инстинкты своих подданных. Францию грабили официально и неофициально, так почему бы отдельным гражданам было не делать того же, что позволяли себе власти.

Горничная поставила перед Жаке тарелку с форелью и молодым картофелем.

— Вы ели когда-нибудь отварную форель, мосье? — спросила фрау Бек.

— Вынужден сознаться, что ел. Это ведь и французское блюдо.

— Ужасно обидно. Я так хотела, чтобы весь обед был для вас сюрпризом...

— А я как раз очень люблю отварную форель.

Бек стоял теперь рядом с Жаке и снова наливал ему вино.

— Многие жители нашего района покинули Париж в сороковом году, — продолжал Жаке. — В таких квартирах, как моя, разместились немецкие офицеры. И представьте, везде вещи оказались вывезенными.

— Где находилась ваша квартира? — спросил Бек внезапно изменившимся голосом.

— На Плас-де-Вогез, там, где музей Виктора Гюго. Вам знакомо это место? — в свою очередь спросил Жаке и отпил глоток вина.

— Конечно, я бывал в музее! — почти радостно воскликнул Бек, и с лица его исчезло напряженное выражение.

— Ваша форель, мосье. Она вкусна, пока горяча.

Принимаясь за еду, Жаке снова заговорил с Рейнгардом:

— Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Жена у меня немка, а брат ее мой близкий друг. Но ни жена, ни ее брат не поддались гитлеровской заразе и уехали из Германии. Если бы в моей квартире жили такие немцы, как Гете или Брамс, они бы, конечно, не похитили картины. Но когда речь идет о воспитаннике «гитлерюгенда», то... — Он передернул плечами и поднял заблестевшие глаза на Бека. — Людям свойственно поддаваться влияниям, подлецом человека делает история, воспитание, та моральная атмосфера, которая царит в стране,

где он живет. О! — воскликнул он, пробуя форель. — До чего же вкусно!

Бек заговорил, многозначительно подчеркивая каждое слово:

— Для тех из нас, кто отвергал нацизм, годы его господства были поистине ужасны.

— Не сомневаюсь, — кивнул Жак. И стал рассказывать смешную историю военных лет, потом заговорил о шумном скандале в среде французских кинозвезд. Он умел быть интересным собеседником, когда хотел, к тому же возбужденное состояние придавало его словам особую остроту. Через несколько минут в комнате воцарилась атмосфера непринужденности и веселья, даже Бек заговорил в том же тоне. После форели подали олеппу с брусникой, и Жак, множество раз восклицая «Formidable!», выпил слишком много вина, пытаясь во что бы то ни стало обрести спокойствие. Ему очень хотелось, чтобы обед как можно быстрее окончился. Наконец после вишневого торта и кофе как будто уже разрешалось встать из-за стола. Когда Бек предложил выпить коньяку, Жак извинился перед хозяйкой и попросил у нее разрешения скрасить коньяком деловые разговоры. Он объяснил, что самолет вылетает в Париж рано утром и, быть может, потребуются еще кое-что переделать в тексте соглашения. «Ну, разумеется», — сказала фрау Бек, и хозяин дома повел его через холл в свой кабинет.

Это была небольшая комната, уставленная старинной удобной мебелью. Жак сразу увидел свой письменный стол, а на нем — фарфоровую раковину, принадлежавшую его матери. Он чуть улыбнулся и подумал, что, вероятно, ошибся в хозяйке дома. Она оставалась совершенно невозмутимой в течение всего обеда, но, как видно, и у нее совесть нечиста. Кто знает, может быть, она зачала своего ребенка, хорошенькую «послевоенную» Урсулу, в той самой кровати, где спали его родители.

Но правды здесь никто ему не скажет, да и зачем она?

Он отказался от предложенной Беким сигары, сел за стол в стиле ампира, который помнил еще со студенческих лет, и начал читать текст соглашения. Документ был написан просто и четко, и вскоре Жак, улыбаясь, сказал:

— Вы, вероятно, были на прекрасном счету в армии. Все совершенно ясно и на своем месте. Не могу добавить даже запятой...

— Благодарю, — с видимым удовольствием сказал Бек и протянул свою ручку. — Я сам уже подписал от имени фирмы.

Жаке отпил немного коньяку и сделал вид, что неожиданно заметил фарфоровую раковину.

— Что это? — воскликнул он и перегнулся через стол, чтобы взять безделушку. — Поразительно! Вы ведь привезли эту вещь из Франции?

— Да, купил где-то в старой лавчонке у антиквара.

— Знаете, как она называется? У нее есть свое название. «Парижский фарфор». Такие раковины делают в Севре.

— Мне показалось, что это просто керамика. Она, видимо, дорого стоит.

— О нет, что вы! Это недорогая. Бывают старинные раковины семнадцатого века, те действительно стоят дорого, но их сейчас встретишь разве только в музее. Что касается этой, то меня заинтересовала одна деталь. — Он показал на портрет молодой девушки. — Взгляните на эти русые волосы, белую блузку и розочку вместо брошки. Я видел раковину с таким портретом только однажды, она принадлежала моей матери и стояла на туалетном столике. Мать всегда клала в нее перед сном обручальное кольцо.

Покосившись на Бека, Жаке с удовольствием отметил смятение в его взгляде.

— Какое интересное совпадение, — сказал Бек. Голос его звучал глухо.

— Не правда ли! — с улыбкой воскликнул Жаке. — Я с детства очень хорошо помню лицо этой самой девушки. Она, можно сказать, моя первая любовь. Как я тогда мечтал о ней! Мы жили в те годы на том самом бульваре, где во время войны жили и вы. — Все еще улыбаясь и не сводя глаз с Бека, он притворился, будто с большим трудом вспоминает адрес. — Бульвар де Курсель, 66, третий этаж.

Жаке заметил, как Бек силится что-то вспомнить. Номер дома, видимо, напомнил ему все — краска сбежала с его лица, и оно сразу стало мучнисто-серым. А Жаке как ни в чем не бывало продолжал:

— Когда я вернулся на Плас-де-Вогез, мне из всех пропавших вещей больше всего не хватало этой безделушки. Да что поделаешь...

Он подписал первый экземпляр соглашения, взял второй и вдруг остановился.

— Могу я просить вас о величайшем одолжении, если хотите, об уступке моей сентиментальности? Отдайте мне эту раковину, и я пришлю вам точно такую же из Парржа.

Жаке отметил со злорадством, что Бек все еще бледен и глаза у него бегают.

— Охотно. И ничего взамен не нужно.

— Нет-нет, я обязательно пришлю. И поверьте, я очень ценю вашу любезность.

Он подписал второй экземпляр, сложил его, сунул в бумажник и встал.

— Ну вот, с нашим маленьким делом покончено. Я слышу звуки рояля.

— Это дочь играет.

— До чего же хорошо!

Он взял раковину и осторожно положил ее в карман пиджака.

— Тысяча благодарностей!

— Не за что, — ответил Бек с вымученной улыбкой.

Перед тем как войти в гостиную, Жаке на секунду задержался и негромко сказал:

— Не могу не отметить: хорошие у вас дети и вы для них — авторитет.

— Благодарю.

— Представляю, как больно было бы вам потерять их уважение. Мне не хотелось их огорчать, потому-то я и сказал, что жил на Плас-де-Вогез. Но жил я на самом деле не там, а на бульваре де Курсель, 66.

Бек словно окаменел. Он сжал кулаки и посмотрел на Жаке с откровенной ненавистью.

— Теперь слушайте внимательно и хорошенько подумайте, как поступить, чтобы не сделать ошибки. Когда мать покидала Париж, она взяла с собой ценности и документы. У меня до сих пор хранится, как семейная реликвия, счет, выданный отцу при покупке Репуара... дата, цена, подробное описание. Если я передам дело в суд, вы не сможете предъявить такого документа.

Бек тяжело дышал. Лицо его и шея палились кровью и будто распухли. Жаке подумал: «Сейчас бросится на меня с кулаками». Он приготовился дать отпор, но страха не испытывал и продолжал говорить:

— Ни один из нас не имеет счета на покупку Модильяни, но художник сделал дарственную надпись моей матери на обратной стороне холста. Я знаю, какую именно, а вы нет. Рама скрывает надпись. Сейчас я уйду и заберу картины с собой. Вы можете сказать своим, что продали их мне или даже подарили, стремясь хоть отчасти расплатиться за тех, кто не отвергал нацизм... так решительно, как, скажем, вы.

Жак вошел в гостиную, поблагодарил гостеприимную фразу Бек, извинился за то, что должен сразу же уйти, и поцеловал протянутую ему на прощанье руку. Он простился с Рейнгардтом и обещал вскоре написать ему. Урсула прервала игру, он тронул ее за плечо и сказал, что играет она с большим чувством. Потом на глазах у онемевшей от изумления семьи он снял со стены картины и направился с ними к двери. В разыгранном им гамбите один ход придавал одержанной победе особую инкантивость: никакого счета на покупку Ренуара у него не было, а Модильяни в тот вечер был настолько пьян, что никакой надписи сделать вообще не мог.

Бек стоял в дверях, загораживая путь. Жак подошел к нему и на секунду остановился. Все молчали. Наконец фрау Бек спросила:

— Альфред, а картины... Что все это значит?

— После объясню, — ответил мертвенно-бледный Бек, пропуская Жака вперед.

Только в такси по дороге в гостиницу Жак почувствовал, что охватившее его возбуждение немного улеглось. Он ехал по улицам мимо новых нарядных зданий — они были свидетельством того, что город этот, как и многие другие, еще недавно лежал в развалинах, — и думал о том, почему люди, будучи невзвешенными от рождения, потом так часто становятся подлецами, почему их так легко толкнуть на путь, недостойный порядочного человека. Не это ли заставило беднягу Модильяни бесконечно часто изображать одни и те же задумчивые и печальные лица?!

Некоторое время Жак смотрел на картины, и его охватывало какое-то теплое грустное чувство. Потом он тряхнул головой и сказал себе почти с гордостью: «Если попадется, я снова сумею одолеть Препен».

ЛЕГЕНДА О ДВУХ ПЛОВЦАХ

У каждого человека должен быть дядюшка-неудачник: так устроена жизнь. Уже в десять лет я знал во всех подробностях, как это получается, что непутевых младших сыновей и других родственников отсылают в Австралию и они живут там на деньги, которые получают из дому. В моей семье никто никогда не говорил о таких вещах, и мне казалось, что это не случайно. Я был уверен, что стою мне лишь понаблюдать повнимательнее, и как-нибудь утром я найду на выцветшем голубом ковре передней письмо с заграничной маркой и неразборчивым почерком на конверте, брошенное туда почтальоном через прорез в двери.

А вслед за этим я, конечно, замечу напряженное выражение или следы слез на лице бабушки, а отец от волнения опрокинет свою чашку кофе и без всякой видимой причины повысит голос. Я уже начинал привыкать к этому языку такого рода признаков, я уже утрачивал свою детскую невинность и наивность.

Затем последуют напряженные совещания за плотно закрытыми дверями. А я вдруг случайно обнаружу в семейном альбоме фотографию с чьим-то вырезанным лицом, или же на чердаке мне повалится цилиндр, принадлежащий неизвестно кому.

Однако шли месяцы, а письма с заграничных зонтичных камп... — о! такие письма получались, но все они были от приятеля моего отца, проводившего свое свободное время в Англии. И не нашел я ни заграничной фотографии в альбоме, ни цилиндра с таинственным содержанием на чердаке. И, открывая нашу парадную дверь, мы ни разу не были поражены видом высокого азиатского мужчины в пальто мрачного цвета и с подурванным

чертами лица. А к концу того года я увлекся чтением целой кучи старых дешевых романов, обнаруженных мною в нашей кладовой, и уже начал совсем забывать о своем воображаемом дядюшке-неудачнике.

Вообще-то говоря, дядюшка у меня был, но дядюшка самый прозаический. Он жил всего лишь в четырех кварталах от нас, в бедном районе, где у него был захудалый галантерейный магазинчик. Под свисавшими с потолка голыми электрическими лампочками он суетился там около прилавков, заваленных разными дешевыми изделиями, вроде коротких мальчиковых штанов из вельвета, кепок, набитых папиросной бумагой, ценою в 1 доллар 98 центов и ниже, парусиновых перчаток и тому подобным хламом. Воздух в магазине был тяжелый, насыщенный запахами дешевой поной одожды. Задняя, полуосвещенная часть магазина зияла пустотой, там ничего не было, кроме конторки с подвижной крышкой: весь свой запас товаров мой дядюшка и его компаньон мистер Руд держали на прилавках впереди.

«Не мокии под дождем, заходи», — бывало говорил мне дядюшка, когда по пятницам по пути из школы домой я нерешительно останавливался у дверей его магазина.

Матери в то время у меня уже не было: она умерла тремя годами раньше; отец почти всегда бывал в отъезде по делам, а суровая компаньонка моей бабушки, миссис Фахей, по пятницам обычно еще с утра не меньше трех раз повторяла, что уж она «никак не потерпит, чтобы эти ребятишки путались у нее под ногами во время уборки». Правила в нашем доме бабушка, не миссис Фахей олицетворяла собою то, что можно назвать обычным правом.

Однако перед дворью дядюшкина магазина я колебался, хотя и не столько из-за того, что мне там будет тоскливо и одиноко. Нет! Но я знал, что, как только я отворю эту дверь и услышу звяканье латунного колокольчика падению, я окажусь в мире потертого линолеума на кухонных полах, закопченных парадных крылец, запаха вареной капусты, задних дворов, загроможденных развешанным для сушки бельем, заштопанных носков, эколоми на каждом пенни, просроченной квартирной платы, гневных протестов и гневного молчания — в мире мучительного скольжения к нищете.

В доме своей бабушки я чувствовал себя богатым и достойным. В обществе же тетушки и дядюшки меня охватывала гнетущая атмосфера их дома, мне становилось грустно, я чувствовал себя обнищавшим. К тому времени я уже явно начинал делить все в мире не столько на добро и зло, сколько на достойное и недостойное.

Одним или двумя годами раньше я ничего не имел против того, чтобы побывать в доме дядюшки, повздорить там с двумя мальчишками — сыновьями его соседа-полка, а затем, усевшись в столовой, мечтательно созерцать картинки в кляжке, в то время как стрелки настенных часов будут совершать свое движение, напоминая о приближении субботнего вечера. Теперь же мне казалось, что, посещая дядюшку, я как бы делаюсь его сыном. А я знал, что значит быть унылым, инкчемным, лысеть и постоянно нуждаться в деньгах. Я уже чувствовал все это в самом себе.

Более двух лет моя мать лежала, прикованная к постели, жалуясь на свои недуги, в нашем маленьком домике на улице Джефферсона. Когда она умерла, мы с сестрой плакали на похоронах, но не столько от горя, сколько поддаваясь общему настроению. Мы переехали к бабушке, женщине с характером и деньгами. С тех пор отец, казалось, стал уделять работе больше времени и чаще уезжал из дому. Мы видели его редко, а когда он бывал с нами, мы чувствовали себя так, как бывает, когда за один раз съешь слишком много сладкого.

«Он ведет свои дела успешно, — говорила нам бабушка, — так же, как их вел ваш дед. Вы должны гордиться своим отцом». В этих словах нам слышался упрек нашей покойной матери, и в нас на короткое время оживала гложущая верность ее памяти. Но мысли о матери всегда соединялись у нас с чувством нашей вины: она столько страдала, а мы были так эгоистичны. Мы нередко сознавали всю глубину своего эгоизма. Нам казалось, что страдальческая улыбка матери долго еще жила в ее комнате и после того, как она умерла.

Семейством нашим моя бабушка руководила с твердостью восначальника. Но хныкать бесконечно о прошлом, а неуклонно выполнять свой долг по отношению к семье — вот в чем она видела нашу первейшую обязанность, и она безжалостно вбивала нам в голову свои

понятия о семье и долге, нимало не считаясь с нашими «вздорными» переживаниями и чувствами.

Как-то раз в воскресенье — к этому времени мы уже успели прожить в ее доме несколько месяцев — она заставила моего отца отвести меня в «верхнюю гостиную» и там на месте разъяснить, что именно она считала нашим семейным долгом.

Эта «верхняя гостиная» производила несравненно более приятное впечатление, чем любая другая комната в доме, но ею почти никогда не пользовались, хотя убрали ее каждый день. Во всю длину одной из ее стен тянулся сплошной ряд окон, и поэтому вся она обычно бывала залита солнцем. Под окнами стояли продолговатые плетеные корзины с папоротником — настоящие домашние джунгли более чем в полметра высотой. Налево от каминя стояла стеклянная витрина, заполненная многочисленными спортивными трофеями.

Там были серебряные фигурки согнувшихся пловцов, приготовившихся выполнить сложный прыжок в воду и навсегда застывших в своей грациозной позе. На полпрованских дисках покопились скрещенные весла, которым не суждено коснуться воды. В обитых шелком футлярах лежали блестящие медали различной формы и величины. Нижняя полка витрины была занята не столь бросающимися в глаза реликвиями. Там лежали медные карманные часы, курительная трубка с кисетом, морские раковины, альбом в кожаном переплете, небольшой рисунок в рамке, на котором были изображены летящие чайки, и, наконец, коробка с серебряным дельфином на крышке. Для меня значительнее всей этой разнородной коллекции было совершенно непонятно. А на средней полке была еще какая-то маленькая бесформенная кучка, что-то сделанное из выцветшего черного шелка.

Вдруг отец сказал:

— Видишь вон там! Посмотри на них.

Я поднял голову и увидел на стене у каминя большой портрет, на котором застыли те двое, дух которых витал в этой комнате. Это были два спортсмена-чемпиона с решительным выражением лица, изображенные во весь рост.

Их голые руки были сложены на груди, подобно огромным веслам, на мгновение скрестившимся над лодкой. Их мускулы внушительно выделялись под шерстяными

купальным костюмам. Их головы были откинuty назад, что придавало их лицам одинаковое выражение легкого презрения. А в их глазах, даже теперь, через столько лет, все еще можно было разглядеть безграничную самоуверенность и чувство своего полного превосходства. Но такое впечатление от их внешнего вида сохранялось недолго. Бывают такие картины с геометрическим фокусом, на которых сперва видишь одно, а через некоторое время — другое. Подобным же образом изменялся и этот портрет: в следующую минуту вместо внушительных чемпионов перед вашим взором оказывались просто два молодых человека в полосатых купальных костюмах и со строгим выражением лица.

У них были одинаковые ушки, похожие на втренившиеся крылышки, густые брови, выступающие скулы моей бабушки и тот же валлийский тип головы. Как я слышал, это были ее покойные братья Оуэн и Ллойд.

Из выдвижного ящика стола отец достал пачку почтовых открыток с видами и благоговейно перебирал их. Вот пляж Тэбб в штате Флорида. 1962 год. С тех пор на оборудование этого места, пояснил он, было израсходовано целый миллион долларов и изменился не только вид, но и само название пляжа. На открытке же был изображен стоящий на чудесном пляже ветхий пансионат с густыми зарослями позади. «Великолепное место, — начал читать отец, — хотя чуть-чуть упылое. Одни только рыбки да несколько человек в пансионате. Чудесное солнце. Вчера мы встретили девятиностовосьмилетнего индейца. Он все еще выкуривает по семь сигар в день. Участвовал в Семинольской войне. Однажды его посчитали убитым и оставили лежать в болоте. Здесь есть большие розовые раковины, каких ты никогда не видел. Необычайной красоты. Мы набрали их много и посылаем тебе целую корзину. Идет ли в Мичигане снег? Мы слышали, что у вас там все покрыто льдом и снегом. Иногда мы выходим в море с рыбаками. Оуэн делает поразительные успехи в плавании. Вчера мы пробыли в воде три часа. Мы заказали наш портрет. Он уже готов, и мы пошлем его тебе. Передай привет Петти и маме».

Что там было еще? Почти ничего. Письмо о двух загорелых молодых людях, которые в одно прекрасное утро снимали на пляже свои туфли и халаты, собирались войти в воду. Дальше в письме говорилось, что, должно быть,

через некоторое время Оуэн, младший из двух, устал плавать и вышел на пляж отдохнуть. Кто-то видел его там выжимаящим свою маленькую купальную шапочку из черного шелка, в которой он всегда плавал. Ллойд в это время, очевидно, еще оставался в воде. А затем, когда немного погодя Оуэн взглянул на море, он, должно быть, увидел, как на поверхности воды около Ллойда быстро промелькнул плавник акулы, после чего Ллойд исчез.

Отец сказал, что, по-видимому, Оуэн во медлил при ппнуды. Когда примерно через полчаса на пляж случайно зашел служащий пансионата, там никого не было. Никого не было и в море. Очевидно, Оуэн действовал без малейшего колебания.

— Но, — добавил отец, — это еще не все, потому что во второй половине дня на пляже нашли купальную шапочку. Она лежала на песке и к этому времени была уже совсем сухой.

— Запомни навсегда, — сказал отец в заключение, — что Оуэн не ждал и не раздумывал ни минуты. Ты еще мал, и в твоём возрасте тебе может показаться, что в поведении Оуэна не было ничего особенного, что все это очень просто. Но на самом деле все это совсем не просто. Хорошенько продумай, что я говорю тебе. Придет время, и от тебя самого потребуется, чтобы ты действовал, как дядя Оуэн. И тогда ты должен вспомнить о нем. Когда ты станешь старше, ты это поймешь.

Голос отца звучал торжественно и гордо, что одновременно пугало и угнетало меня. Я пытался представить себе, что же все-таки произошло, и я думал о том, как двадцать пять лет назад два молодых человека отправились поплавать в океане и бесследно исчезли. А вот теперь мой отец стоял передо мною в своем сером костюме в залитой солнцем комнате и рассказывал мне об акулах и океанах, которых он сам никогда не видел. Но в голосе его мне слышался настоятельный призыв, и я чувствовал, что то, о чем он говорит, налагает на нас странное обязательство, какой-то моральный долг, который будет тяготеть над нами всю жизнь.

— Ты понял? — спросил меня отец.

Я чувствовал себя глупым ребенком, и мне было стыдно, потому что, как я ни старался, я не мог придумать достойного ответа на этот вопрос. В голове у меня

вертелась лишь мысль о том, что, очевидно, не нужно попадаться акулам, но в конце концов, низко опустив голову, я солгал, прошептал:

— Да, я понял.

Однако с течением времени я начал понимать, что именно старался внушить мне отец, или по крайней мере мне так казалось. И чтобы загладить мое первоначальное безразличие к судьбе двух пловцов, я старался воссоздать их в своем воображении окруженными ореолом славы. Я, бывало, проводил целые часы в комнате, посвященной их памяти, лежа на залитом солнцем широком подоконнике с книгой в руках или неторопливо разглядывая сувениры в стеклянной витрине.

— Не мокни под дождем, заходи! — по обыкновению сказал мне мой живой дядюшка, когда я однажды снова остановился у двери его лавки, хотя дождя не было и в помине. Как раз наоборот, в этот момент лучи уже kloпящегося к закату солнца прорвались сквозь гряды длинных облаков и ненадолго озарили улицу ярким светом. Отпустивший эту жалкую шутку дядюшка стоял посреди магазина, утомленный своими бесконечными житейскими невзгодами.

Однажды он объяснил свою привычку отпускать подобные шутки. «Попал я на военную службу, — сказал он, — и обнаружил: чтобы сражаться, у меня не хватает сил, а бегать мешает полнота. Вот я и взялся откалывать шутки». И это была правда. Мне пикогда не случалось слышать, чтобы взрослый мужчина изрекал столь бессмысленные остроты. По его словам, дядюшка убежал из дому и поступил в армию, когда ему было девятнадцать лет. Там из него сперва сделали конюха, а затем — повара. Вся мировая война представлялась ему одним непрерывным процессом приготовления еды для солдат. Потом он вернулся домой, занял денег у моей бабушки, вложил эти деньги в какое-то дело и потерял их, снова занял денег и открыл на паях свой теперешний галантерейный магазин, и опять занятые деньги уходили от него на покрытие убытков.

Деспотическая любовь моей своенравной бабушки проявлялась в находивших на нее иногда припадках раздражения. Ее раздражение вспыхивало, как уголь в камине, а затем долго тлело, отравляя своим чадом нашу жизнь. Бывали времена, когда она не могла выносить

даже мысли о том, что в ее доме находятся чьи-то дети, быть может потому, что ее собственные чада не оправдали надежд. Ее дочь Аннет, считавшаяся в семье красавицей, оказалась предательницей: она умерла, когда ей исполнилось девять лет. Старший брат моего отца, Уилл, ничем не примечательная личность и о котором сохранились в семье лишь смутные воспоминания, умудрился оказаться убитым в Беллоском лесу. А мой дядя Клинтон сперва превратил деньги в галантерейные товары, а затем эти галантерейные товары превратил в долги. Вот и все. Что же касается моего отца, который все-таки где-то что-то получал, то о нем моя бабушка совершенно забывала. И вот в те дни, когда бабушку охватывало чувство детоненавистничества, моей сестре приходилось безвыходно оставаться в своей комнате, а меня отправляли к дядюшке и платили ему доллар семьдесят пять центов в день за мое пропитание.

Находясь у дядюшки, я, бывало, играл на улице с соседскими мальчишками до тех пор, пока наша игра не завершалась неустойчивой дракой. После этого я хмуро слонялся по дому. Тетушка пыталась заставить меня читать Библию, а дядюшка ходил со мною гулять в лес. Мы с ним бродили вдоль реки по дороге, которая начиналась недалеко от дома за железнодорожным полотном, и дядюшка учил меня делать свистки из ивы. Но я обычно замечал: «Какой толк в ивовых свистках? Ведь они годятся только для маленьких ребят». Тогда он рассказывал мне эпизоды из своей военной службы. Вначале это заинтересовывало меня, но вскоре надоедало. Эти эпизоды были какие-то бессмысленные: все в них сводилось к тому, что именно старший сержант сказал старшему повару по поводу тушеного мяса. Дядюшка любил бродить по лесу, с интересом городского жителя глазел на птичьи яйца, выпавшие из гнезд, или на промышляющего кролика. У него была маленькая веселая собачка Батт, и иногда мы брали ее с собой.

Мне нравилось только одно: ловить с дядюшкой рыбу, и в то лето, когда меня отдавали тетушке и дядюшке на целые недели подряд, мы, бывало, часто ходили с ним под вечер на реку. Удочки у нас были бамбуковые, а на крючки мы насаживали дождевых червей. Дядюшка обыкновенно забрасывал удочку, раскачивая при этом

лодку, а затем дремал, в то время как леса мало-помалу обертывалась вокруг весла. И все же ему удивительно незло, он ловил много рыбы, но по большей части она была песчедобна, и нам приходилось выбрасывать ее обратно в воду.

Я любил эти дремотные часы, когда мое сознание не отягощали помыслы ни о каком долге. Растянувшись в лодке, я мог видеть громады утесов на другом берегу реки. Мне казалось, что напу лодку песет мимо берегов Португалии, а далеко на горизонте вырисовываются очертания Африки. Я дремал, и вдруг мне чудилось синее море и черный плавник, молнией рассекающий воду, и я мгновенно приходил в себя и снова задавал себе все тот же вопрос: «Упустил бы я решительный момент или нет? Оказался бы я в состоянии действовать без малейших колебаний и без малейшего промедления?»

Дело в том, что решимость обычно нарастала во мне лишь постепенно, подобно тому как поднимается пузырек воздуха в трубочке, наполненной жидкостью, и я никак не мог предугадать, в какой именно момент она полностью овладеет мною. Когда отец поведал мне о моем долге, я в первый раз в жизни усомнился в нем, а стало быть, и в самом себе. Я раздумывал о том, слышал ли дядя Оуэн, еще будучи мальчишкой, от своего отца — моего прадедушки, — что в его жизни наступит момент, когда он увидит в воде плавник акулы, и что тогда он должен будет действовать без малейших колебаний, не теряя ни секунды. Я старался представить себе в своем воображении, как мой прадедушка говорит все это Оуэну.

Я бросал взгляд на дядюшку. Он мирно спал на корме. Его вялое лицо было полуприкрыто свисавшими полями шляпы. «Интересно, — думал я, — слышал ли он когда-нибудь о поступке Оуэна, а если слышал, то что он о нем думает».

Однажды я заговорил с ним об этом. Выслушав меня, он тщательно пасадил на крючок червяка и позевывая ответил:

— Мать до сих пор болезненно переживает смерть этих двух проклятых дураков.

— Дураков? — переспросил я, ошеломленный. — Ведь они же храбрейшие из храбрых, а Оуэн ринулся спасать...

— Знаю, все знаю, — возразил дядюшка. — Это люди так говорят. А на мой взгляд тут одна сплошная глупость. У них не хватило соображения остаться на твердой земле или хотя по крайней мере в лодке. Нет, им понадобилось купаться там, где водятся акулы. А когда один из них добился того, что акула его съела, то и другой последовал его примеру. Проклятые дураки, больше ничего не скажешь.

При этих словах я так было вознегодовал, что не мог даже ничего сказать, но, когда затем я снова взглянул на своего апатичного дядюшку, склонившегося над вердерком с червяками, я понял, что толковать серьезно с таким человеком просто невозможно.

Когда уровень холодной воды на дне нашей лодки поднимался до ног дядюшки, он обыкновенно просыпался и начинал кричать: «Судно идет ко дну! Аврал! Всей команде выкачивать воду!» Лодка наша была старая, некрашенная, готовая вот-вот распозтись по швам. Как-то раз дядюшка нашег ее наполовину затонувшей на каменистой отмели. Он выволок ее на берег, на самые заметные дыры набил гвоздями жестяные заплаты, проконопатил ее и просмолил дыщце. Он любил эту лодку примерно так же, как свою жену, которая изо дня в день помогала ему держаться на поверхности мутных вод житейского моря, по то же могла когда-нибудь исчезнуть, оставив его на верную гибель.

Дядюшка ужасно боялся глубокой воды. Именно это обстоятельство, наверное, и послужило первой причиной отчуждения между дядюшкой и нашей семьей, породившей Оуэна и Ллойда. Почти все мужчнны в нашем роду были искусными пловцами. Мой отец никогда не соглашался на то, чтобы я обзавелся столь опасной машиной, как велоспед, но в то же время, бывало, сам указывал мне самую глубокую часть озера и подстрекал меня плыть туда. А вот когда я рассказывал дядюшке об уроках плавания, которые я брал у преподавателя-специалиста, дядюшка только пощипывал от волнения свой нос да возводил глаза к небу с таким выражением, как будто безвозвратно погружался в пучину вод среди шныряющих вокруг рыб.

Сравнительно небольшую течь в нашей лодке он воспринимал как проявление чудовщных сил неведомых глубин. Иногда он отказывался от удовольствия еще ча-

сок поудить, сидя в медленно плывущей по течению лодке, из-за лишнего дюйма воды на ее дне.

«Ведь спасти тебя я не сумею», — говорил он в таких случаях, гребя по направлению к берегу. «Уж я-то умею плавать, и не плохо», — обычно отвечал я довольно дерзко. Наша старая сонная река казалась мне такой же безопасной, как тротуар нашей улицы, даже еще безопаснее.

У дядюшки не было хорошего места, где он мог бы оставлять лодку, и поэтому мы вытаскивали ее нос на песчаную косу и прикрепляли цепью к столбу, который дядюшка врыл там специально для этого. Потом мы брали свои удочки и корзину и отправлялись по дороге вдоль реки домой.

Место это представлялось мне чудеснейшим в мире. По одну сторону дороги простирался лес, а с другой стороны, ближе к реке, как авангард выстроился ряд огромных деревьев, образовывавших летом сплошные зеленые своды. Когда-то раньше под этими сводами сооружали свои лачуги самовольные поселенцы. Затем вдруг вошло в моду заводить здесь небольшие летние дачи с лодками. Теперь же любители отдыха устремлялись к северу или к западу на озеро, и здесь у дверей этих поддельных шале с проваливающимися крышами и разрушающимися безвкусными украшениями прохожего встречали лишь мохнатые дворняги, а взглянув в окно, можно было увидеть целую пирамиду из четырех, пяти-шести детских головок. За забором мужчина в потрепанной кожаной куртке вместо ответа на обращенное к нему приветствие лишь делал лишний взмах топором. Однако кое-где попадались и недавно выстроенные хижины. Они по большей части нависали прямо над склоном, обращенным к реке, и поддерживались с этой стороны необычайно замысловатыми сооружениями из длинных столбов. Земля под повymi хижинами была загромождена жестяными банками, старыми газетами, кучами золы, изношенными пижами и разбитыми бутылками. Как если бы в этом месте содержалось на привязи какое-то чудовище, а это все были его экскременты.

Постепенно в воздухе сгущались сумерки, а к тому времени, как мы добрались до нашей улицы, город уже окутывался темнотой. Дядюшка мурлыкал какую-то песенку. А я, неестественно выворачивая ноги, с величайшей

пеохотой тащился позади. Вот от угла улицы осталось всего лишь сто семьдесят шагов, потом десять шагов в сторону, еще четыре шага до крыльца, и вот — увы! — дядюшка уже берется за ручки двери.

Я мешкаю позади, путаясь ногами в ступеньках крыльца. Мысль о тоскливых, ничем не заполненных часах, которые так долго тянутся в этом доме с утра и до вечера, угнетает меня. А дядюшка, входя в переднюю, испускает свист с тремя переливами, и навстречу нам со всех пог устремляется соскучившаяся Батч.

— Ну, жепя, вот наконец мы и дома! — кричит дядюшка.

За обедом мы едим давно надоевшую поджаренную кашу и вареную капусту, а дядюшка рассказывает о наших с ним приключениях с таким видом, будто речь идет о выдающихся исторических событиях. «И вот тут-то всего в двух саженьях от нас из воды выпрыгивает вверх огромная форель. О, это было потрясающе!» Потом он переходит к обсуждению правов и обычаев живущих вдоль реки людей: «Вообразите себе, шестеро ребятшек, охотничья собака и старый автомобиль. Окна без занавесок, водопровода нет, воду берут из реки, а всё-таки находят деньги на бензин для своей ветхой колмаги...»

Тетушка слушает все это равнодушно и ничего не говорит. Покончив с кашей и капустой, она наливает нам кофе. Выпив свою чашку, дядюшка начинает вставать из-за стола, но это лишь привычно-бесплодная попытка. Тетушка делает большие глаза и пристально смотрит на него: сегодня суббота, день, когда всем добрым христианам положено читать молитвы и мыться. Мы покорно склоняем головы.

«Боже милостивый, отпусти нам прегрешепя наши... направь нас на путь истинный... дай нам силу побороть искушения, стерегущие нас, очисти сердца наши...» По мере того как тетушка проникается духом своей мольбы, ее речь становится более страстной и язвительной и вместе с тем менее понятной. В ее словах слышатся намеки на тех, кто отказывает в помощи своему ближнему, кто отвергает кровные узы родства, хотя господь бог наделил их изобилием благ на земле, а в жизни будущей они уповают на царство небесное. Но не известно, как понадут они туда, когда верблюду легче пройти через игольное ушко, чем богатому удостоиться на том свете

блаженства вечного. Доходит она и до тех, кто не по злобе, а лишь по неведению не выполняет чего-то должного (тетушка не уточняет, чего именно) и тем самым приносит своим ближним и любимым страдания.

А дядюшка тем временем дремлет.

Обычно тетушка по бранилась и пи на что не жаловалась, а молчаливо делала свою работу. На ее устах, казалось, лежала печать безмолвия. Но во время молитвы это бывала совершенно другая женщина. Ее голос пугал меня. Мне чудилось, что речь ее доносится до меня откуда-то из далекого пустого пространства. Сарказм, горечь и печаль причудливо переплетались в ее молитве, и я ничего не мог уразуметь, я узнавал только ее голос, низкий, заглушенный. И мне казалось, что он доходит до меня через толщу многих стен и, несомненно, зарождается где-то там, в далекой камере, где пытаются людей.

Когда тетушка снова умолкает, дядюшка поднимает голову, зевает и, заметив: «Чудесная была молитва, Энджел», — отправляется в гостиную, а тетушка принимается убирать посуду.

Приближалось лето, то самое лето, о котором я веду речь. Моя сестра в белом платье выступила на заключительном школьном вечере. Сестра играла на рояле, и все отметили, что она не сделала ни одной ошибки. Я отработывал на спортивной площадке приемы игры в бейсбол и приколот над своим туалетным столиком портрет знаменитого бейсболиста. Отец уехал по делам в Канзас-Сити. На бабушке начало сказываться приближение жары, и она предвещала, что лето будет необычайно знойным. Школьников распустили на каникулы. Меня изгнали в дом дядюшки. Дядюшка в тот день вернулся домой вечером и тяжело опустился на стул. Тетушка поставила около него таз с прохладной водой, чтобы он мог подержать в нем ноги для освежения. Но он уставился на воду и сказал:

— Нельзя делать это сейчас, Энджел, да и не поможет.

Вскоре к дядюшке пришел какой-то мужчина, и они долго сидели на крыльце. Когда я был уже в постели, их голоса время от времени доносились до меня сквозь громкое кваканье лягушек, а один раз я услышал, как дядюшка спросил:

— Что же, значит, имущество пойдет за долги?

Высоко в небе громоздились летние облака, причудливые очертания которых напоминали мраморные памятники. Я тренировался в плавании кролем на реке (что было мне запрещено), и мне нравилось ощущать, как тяжелые струи воды перекатываются через мои плечи. А с берега на меня безмолвно взирала какая-то девчурка в пестром платье, очевидно обитательница одной из хижин у реки.

Рыбную ловлю мы почти забросили: дядюшке было не до нее. Субботние молитвы тетюшки стали еще более неистовыми, а их смысл еще более таинственным. За июнем последовал июль. Земля на иссохших лужайках растрескалась, а побуревшая трава на них хрустела, как утренние грепки. Мои товарищи разъехались кто в детский лагерь, кто на дачу, а ходить на реку одному мне уже наскучило. Я валялся в гамаке на крыльце дядюшкина дома и лениво наблюдал, как постепенно меняют свои очертания и уносятся прочь облака. Я страстно желал любых изменений — наступления осени, начала занятий в школе, даже несчастья — чего угодно, лишь бы избавиться от удручающей монотонности нашей жизни.

Время шло. Наступило утро первого воскресенья августа. Отец возвратился из своей поездки, бабушка была в хорошем настроении, срок моего изгнания пришел к концу. В этот самый день мне предстояло снова переселиться домой. Я лежал лицом вниз, удобно растянувшись на убогом старом коврикe с забавным узором. Занятий в воскресной школе летом, слава богу, не было. Дядюшка удобно устроился в своем кресле и, устремив свой взор в листы газеты, погрузился в научение событий внешнего мира; это изучение сопровождалось невнятным бормотанием, выражавшим его собственный взгляд на происходящее. Пробыло девять, а затем вскоре и десять часов.

Из церкви возвратилась тетюшка. У нее было какое-то странное выражение лица. Мы услышали ее шаги на крыльце, а затем она вошла в комнату и остановилась, глядя на нас.

— Я собираюсь зайти к миссис Баннинг, — сказала она, но было ясно, что ее мысли заняты не этим.

Она начала медленно стягивать перчатку, пристально глядя на свою руку. При этом в глазах у нее было такое

страдание, как если бы она снимала с руки не перчатку, а собственную кожу.

— Тебе следует обратиться за помощью сегодня, — сказала она тем самым голосом, которым произносила молитвы.

Дядюшка встрепнулся. Он тревожно, с виноватым видом взглянул на тетушку, по сразу же перевел взгляд на окно. Он хотел было снова укрыть свое лицо за газетой, но неумолимый и мучительный процесс спимання перчатки как бы гипнотизировал его.

Наконец перчатка внезапно поддалась последнему судорожному усилию тетушки; дядюшка подскочил, как если бы вместо руки все мы должны были увидеть лишь белые кости. Он поспешно пробормотал:

— Я попытаюсь. В самом деле уже пора. Я, пожалуй, подумаю, не сходить ли мне сегодня. Ведь не может же быть, чтобы они мне отказали. Как ты думаешь, "Энджел"?

Он вздохнул. Газета опять начала подниматься, закрывая его лицо. Тетушка, стоя на том же месте, начала стягивать вторую перчатку. Опять в течение нескольких томительных минут мы наблюдали за нервными усилиями ее пальцев.

Наконец дядюшка не выдержал напряжения и вскочил со своего кресла. Он тяжело дышал, его напоминающие паклю волосы были взъерошены.

— Перестань! Нечего так волноваться! — прокричал он на весь дом и ринулся наверх в спальню, откуда тотчас же послышался грохот открываемых и закрываемых ящичков комода. Когда он появился вновь, на нем уже были галстук и пальто. Он порывистым движением снял с вешалки свою соломенную шляпу, а затем со словами «Пошли, сынок!» крепко ухватил меня за руку и, не обращая внимания на мои протесты, потащил к двери. Пока мы, спотыкаясь, спускались по лестнице, я успел бросить взгляд назад. Тетушка сидела на стуле с мокрыми от слез глазами, нервно вцепившись руками в свое платье. У нее был такой вид, как будто ее побили.

Шествуя к бабушкиному дому, мы с дядюшкой молчали. Когда мы вошли в нашу прохладную гостиную, я увидел там отца и бросился было к нему с радостными криками. Но он холодно сказал:

— Иди наверх и пока поиграй там. У нас здесь есть дело.

Затем я увидел в гостиной бабушку, дядюшкина компаньона мистера Руда и какого-то незнакомого мужчину в черном костюме. Мужчины сидели в глубине комнаты в тени, а бабушка расположилась отдельно от них, ближе к дверям. В руках она нервно сжимала небольшую тросточку, отделанную слоновой костью.

Приказ удалиться оскорбил меня, но мне не оставалось ничего другого, как выполнить его, и я отправился через стеклянную дверь в зал, поражающий чрезмерным изобилием обстановки какого-то ошеломляющего стиля. Оттуда я поднялся наверх и, бесцельно бродя по второму этажу, наконец очутился в комнате пловцов. Я остановился перед каминном и уставился на их портрет. Ничто не изменилось. «Исполни свой долг! Оправдай надежды! Действуй решительно!» — казалось, тихо шептались они мне. «Да, вам это легко говорить, — думал я, — у вас безрассудная храбрость вошла в плоть и кровь. Я же сознаю свой долг лишь холодным умом». Будущее пугало меня. Но затем мне пришло в голову, что ведь времена меняются и теперь, кажется, акул убивают при помощи каких-то специальных машин. Но эта мысль не принесла мне облегчения, и я долго стоял перед портретом, исполненный отчаяния.

Затем, услышав бой часов в одной из комнат, я медленно спустился вниз, медленно прокрался через зал к стеклянной двери и осторожно заглянул сквозь нее в гостиную. Отец стоял перед каминном, разведя руки в стороны — его обычный жест в минуты раздражения. Бабушка сидела с окаменевшим лицом. Это было зловещее спокойствие перед бурей. Она, должно быть, уже сказала что-то ужасное мистери Руду, потому что он сидел на стуле в полном бессилии, похожий на бесформенную кучу изношенной одежды. Лишь мужчину в черном костюме все происходящее, казалось, не затронуло. Прищурив один глаз, он спокойно рассматривал фарфоровую фигурку верблюда, стоявшую в другом конце комнаты на этажерке для безделушек. Он уставился на верблюда так пристально, что можно было подумать, что он целится, чтобы выстрелить в него.

У моего дяди был такой вид, как будто его только что сварили. Он сидел красный как рак, с распухшим

лицом, выпученными глазами, отвисшей челюстью. Через стеклянную дверь я услышал, как бабушка сказала:

— Когда я помогла тебе в последний раз, Клинтон, то это был действительно последний раз. Ведь ты же знаешь это.

— Мама! Вы только подумайте, что вы говорите! — замолился дядюшка.

— Мы уже подумали, — резко заметил отец, — подумали и пришли к заключению, что больше мы ничего не можем сделать.

Я увидел, как после этих слов отец повернулся к дядюшке спиной.

И у него были все основания для этого, так как дядюшка плакал. Видеть, как текли слезы по щекам этого маленького пухлого человечка, было ужасно. Для меня вид плачущего дядюшки был невыносим, и я почувствовал, что мне просто необходимо войти в гостиную, чтобы отвлечь от него внимание присутствующих, необходимо, даже несмотря на то, что это может рассердить бабушку. Я должен был прекратить избивение младенца. «Но уж после этого, — подумал я, — с дядюшкой меня больше не увидят. Я убегу из дому и стану юнгой на пароходе».

— Итак, — сказал мне ласково отец, — ты уже вернулся. Теперь тебе неплохо бы пойти погулять с дядей Клинтон. Дело в том, что он себя не совсем хорошо чувствует. А к обеду он приведет тебя обратно домой.

Я ожидал чего угодно, только не этого.

— Я не хочу идти с ним, — ответил я.

Отец подошел ко мне и крепко взял меня за плечо.

— Иди без разговоров, — резко приказал он. — И так у нас сегодня было более чем достаточно неприятностей, — добавил он, обращаясь уже не ко мне, а ко всем присутствующим.

Когда мы выходили из дому, я слышал, как отец незаметно для других щепнул дядюшке:

— Не волнуйся, Клинт. Я сделаю что-смогу.

Для меня все это было совершенно непонятно.

Когда мы были уже на улице, дядюшка остановился на тротуаре и оглянулся на окна нашего дома. К нему как будто возвращался дар речи.

— Д-д-да... так вот, значит, как обстоят дела, — бормотал он, — вот оно что! Для твоей же, говорят они мне,

собственной пользы! Д-д-да... Ну, что касается меня, то на мой взгляд...

Я стоял и растерянно слушал его бессвязные причитания.

Наконец он взглянул на меня и спросил:

— Тебе хочется идти не со мной, а куда-нибудь в другое место?

Я отрицательно покачал головой. Мы медленно побрели вперед. Дядюшка тяжело дышал. У него был какой-то странный вид.

Наконец он засмеялся и сказал:

— Знаешь что, давай пройдемся по берегу реки. Да, река — это как раз место для меня сегодня. — И он вдруг зашагал так быстро, что мне пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него.

На улицах было безлюдно. Томительная жара августовского воскресенья действовала усыпляюще. Погруженными в дремоту казались даже дома, прятавшиеся за рядами деревьев.

Мы перешли через железнодорожный путь и наконец добрались до реки. Здесь было прохладно и пусто. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь густую листву, разукрасили покрытую слоем пыли дорогу причудливыми узорами. Дядюшка беспокойно огляделся вокруг, и в это мгновение я ощутил всю глубину его отчаяния. Он отломил пвовую ветку, бесцельно полоснул ее несколько раз пожом, затем взглянул на меня и бросил ветку прочь.

Мы прошли немного дальше. Вдруг он спросил:

— Тебе хочется покататься в лодке?

Я утвердительно кивнул.

— Возможно, что это будет в последний раз, — добавил он.

— Почему в последний раз? — спросил я. — Почему в последний раз, дядя Клинт?

Но он не ответил на мой вопрос. Мы прошли поворот дороги у большой ивы и по узкой тропинке начали спускаться к тому месту, где мы оставляли лодку.

Не прошли мы и двадцати ярдов, как пз-за кустов внизу до нас стал доноситься визгливый голос какой-то женщины. Она говорила то громче, то тише. Разобрать слова мы не могли. Я побежал вперед посмотреть, в чем дело. В одну минуту я пробрался через кусты и увидел, что эта женщина преспокойно сидит... на средней скамье нашей лодки.

Хуже того, в руках у нее было весло и она неумело старалась оттолкнуться от берега, где девочка примерно моего возраста, но маленького роста и похожая на тощую обезьянку, только что отвязала лодку от столба.

— Воры! — закричал я. — Дядя Клинт, смотрите!

Женщина быстро обернулась. У нее были длинные рыжеватые волосы и грубые, резкие черты лица, напоминавшие зубцы на щербатом лезвии топора. Она была одета в кое-как спитое платье из яркой клетчатой материи, из которой обычно делают скатерти. Девочка подпрыгнула, перевалилась через край лодки и пригнулась, пытаясь укрыться за бортом. Когда она украдкой выглянула оттуда, мы с дядюшкой увидели такое же грубо-бесмысленное лицо, как и у матери, хотя, конечно, черты были тоньше, моложе.

При виде того, как уводят его корабль, дядюшка широко раскрыл рот и онемел. Убегали драгоценные секунды, а оцепенение дядюшки не проходило.

— Эй, вы там! Плывите назад! Это наша лодка! — наконец заорал я. До моего сознания дошло, что спасти нашу лодку придется мне самому. Я бросился вперед, чтобы успеть ухватить веревку, которая свисала с носа и волочилась по воде. Нерешительными шагами дядюшка последовал за мною.

Я уже был близок к цели, как вдруг на моих глазах одно из весел начало медленно подниматься из мутной воды, а затем взлетело высоко в воздух вместе со стекшим с него илом и, описав дугу, понеслось в нашем направлении. Казалось, что женщина в лодке, широко раскрыв глаза, не бросила весло, а сама летела с ним. Я быстро отпрянул в сторону.

Конечно, такие неповоротливые россомахи, как эта женщина, вряд ли когда попадают во что-либо на этом свете, не считая, однако, дядюшки, у которого такая уж судьба. Он в этот момент следовал за мной. Я крикнул ему: «Берегись!» — по и на этот раз, как всегда, он не упустил случая сделать из себя удобную мишень.

Конец весла звонко шлепнул его прямо по подбородку, оставившийся на весле ил разлетелся в стороны, дядюшка отступил на два шага назад в заросли камыша, а весло со всплеском снова погрузилось в воду. Дядюшка принялся ощупывать свое лицо.

Я шарил по земле, выбирая подходящий камень. «Только бы мне хорошенько попасть!» Но я не рассчитал, камень полетел слишком низко и с громким стуком поразил лишь жестяную заплату, которую мы с дядюшкой прибили к борту лодки, чтобы закрыть трещину, пропускаящую воду.

Тем временем женщина и девочка были уже на порядочном расстоянии от берега, и лодка, подхватываемая течением, постепенно, как бы нехотя, набирала скорость. Дядюшка пробормотал слабым голосом:

— Хватит. Перестань.

Я с большой неохотой отказался от памерення поразить похитителей другим камнем, — я гораздо лучше рассчитал траекторию его полета, — и подошел к дядюшке. Лишь тогда мне пришла в голову мысль, что, быть может, удар веслом нанес ему серьезные повреждения.

Со стопами дядюшка опустился на колени, и я стал плескать ему в лицо водой. Вода стекала прямо на его белую манишку, образуя на ней красные и черные полосы.

— Боже мой! — причитал дядюшка. — Нос-то у меня цел ли?

Нос был цел.

— Проверь, оба ли глаза у меня на месте? — продолжал он.

— У вас, дядюшка, кровь только на подбородке, — сказал я, — а в других местах просто грязь. Откройте-ка рот. У вас не хватает одного, нет, я думаю, двух зубов. — Он застонал опять. Я помог ему подняться на ноги. — У вас все в порядке, — продолжал я заботливо, — только выбиты один или два зуба.

— Один, — сказал он мрачно и выплюнул этот зуб.

Дядюшка опять принялся обмывать водой свое лицо, а я тем временем спрятал в кустах злосчастное весло. Я уже начинал думать о преследовании, о возврате лодки, о мести. Уплыть далеко с одним веслом они не могли. Если бы нам только пробраться незаметно вдоль берега... Никже по течению деревья подходили к самой воде, и за ними-то сейчас и скрылась наша лодка.

Когда я сообщил дядюшке свой план, он лишь безучастно промычал что-то невнятное и вновь занялся своим лицом. Он придерживал челюсть рукой, а его нижняя губа начала принимать вид толстой багровой колбасы.

Все же, когда я начал пробираться сквозь заросли на берегу, он машинально последовал за мною. Я продолжал сообщать ему свои соображения, надеясь этим способом понудить его идти вперед.

— Если бы вы тогда успели отодвинуться в сторону хоть немного... а они не уплывут далеко, ведь они не умеют грести...

Дядюшка не отвечал мне.

Прошло двадцать или тридцать минут, а мы все еще шли. В прибрежном лесу мы не встретили ни души, на реке также было пустынно. Колючий кустарник больно царапал мне ноги даже сквозь брюки. Надежда на успех таяла. Мне казалось все менее вероятным, что мы когда-нибудь найдем нашу лодку. Дядюшка приблизился ко мне и, осторожно прикладывая носовой платок к разбитому рту, сказал:

— Я пойду домой и приложу лед. Придется нам бросить поиски. — В его голосе звучала мольба оставить его в покое.

— Ну, а как же лодка? — ответил я. — Ведь мы потеряем ее навсегда, вы это знаете.

Говоря это, я был совершенно беспристрастен к мною не руководил никакой эгоистичный мотив. Еще до того я твердо решил, что никогда больше не буду иметь ничего общего ни с дядюшкой, ни с его лодкой, ни с рекой, и, заботясь теперь о лодке, я действовал лишь по инерции. Я не мог допустить, чтобы за один короткий день дядюшка потерял решительно все. Я представлял себе, как вечером он уныло усядется за стол, тетюшка заведет свои молитвы и над всем этим будет витать мысль: «А лодка потеряна, потеряна навсегда!» Эта картина представлялась мне невыносимой. Но дядюшка слабо покачал головой, и я понял, что мои усилия тщетны.

Когда мы с трудом пробирались вверх по склону, чтобы выйти на дорогу, мне пришла в голову злая мысль убежать вперед и оставить дядюшку одного. Пока я обдумывал этот новый замысел, мы оказались как раз напротив того места, где на реке когда-то была небольшая пристань, от которой теперь оставались лишь старые столбы, торчащие из воды. Вдруг я услышал громкий крик и всплеск воды. Я сразу понял, что случилось, и ринулся к реке.

Быстро пробравшись через кустарник, я снова очутился на берегу. Я хорошо знал, что я увижу на реке, но

тем не менее открывшаяся моему взору картина потрясла меня. Это была та самая неожиданность, которую я ожидал. Наша лодка с вульгарного вида женщиной и девочкой находилась примерно в двух саженях от берега. Очевидно, она ударилась об один из столбов бывшей пристани, и теперь наконец сбывалось всегдашнее предсказание дядюшки — лодка медленно, по неуклонно погружалась в воду.

Женщина в панике металась по лодке в своем вымокшем несуразном платье, то принимаясь неистово вычерпывать воду, то пытаясь при помощи оставшегося весла подвести лодку к берегу, то награждая плепками девочку и давая ей своим внятливым голосом какие-то указания. Увидев меня, она жалобно выкрикнула:

— Мы не умеем плавать! — а затем, изменив тон, заорала: — Ваша чертова лодка течет вовсю!

У меня перехватило дыхание, я стоял как вкопанный и смотрел. Все-таки в конце концов этот злополучный день завершился возмездием. Всем своим существом я жаждал трагедии. Всякий, кто свяжется с дядюшкой, даже чтобы украсть у него что-либо, обречен на страдания. Сам я выходил из игры.

Лодка накренилась, женщина снова пронзительно вскрикнула; весь запыхавшись, подбежал дядюшка.

Он ни о чем не спросил, а лишь отстранил меня вбок, чтобы лучше видеть, и в тот же момент на моих глазах неуклюже ринулся в воду. Колени его подгибались, подошвы скользили по гладкой поверхности ила. Вот уже всплески мутной воды стали достигать его груди. Он рехнулся — в этом у меня не было сомнений, но что мог я поделать?

— Дядя, вернитесь! Вернитесь! Куда вы идете? — молил я, но он продвигался вперед с такой непостижимой быстротой, что вода бурлила вокруг него. Вот он обхватил одной рукой черный столб, торчащий из воды, вот другой рукой уже дотянулся до следующего. Это была забавная картина, ибо вода доходила ему лишь до пояса. Но вот вода уже скрыла его плечи, и всплески отчаянно запрыгали вокруг его головы. И в этот момент мой страх превратился в ужас. Меня ужасало то, что дядюшка *не боялся*.

— Дядя, назад! — кричал я иступленно. — Дядя, ведь вы не умеете плавать!

Но дядюшка одной рукой уже держался за последний столб, а другой старался дотянуться до борта лодки. Лодка в этот момент снова накрепилась, и ему удалось ухватиться за нее и подтянуть немного ближе к себе. Но тут подбородок его скрылся под водой, и он отпустил лодку в тот момент, когда вскинул голову, чтобы не захлебнуться. Я увидел его широко раскрытые глаза и побелевшее лицо и понял, что я ошибался: дядюшка с трудом преодолевал *страх*.

В трепоге я рпнулся было вперед, но тут дядюшке удалось ухватить за руку женщину в лодке, и он начал тянуть ее к себе. Женщина прижимала к себе девочку, дядюшка старался вытащить их из лодки в воду, и они обе слабо боролись друг с другом и сопротивлялись усилиям дядюшки. Наконец, задержавшись на мгновение в неустойчивом равновесии на накренившемся борту лодки, они грузно плюхнулись в воду и исчезли в ней, увлекая за собой и дядюшку. Теперь лишь края несуразного платья мелькали в центре расходящихся по воде кругов.

Но уже в следующую минуту над водой появилась голова дядюшки, как неустойчивый остов, вокруг которого переплелись руки спасаемых им похитительниц его лодки. Все перепуталось в одной трепыхавшейся куче — и ищущие за что бы ухватиться руки, и мокрые волосы, и покрытые грязью лица и одежды. Но под водой упрямая сила понемногу двигала этот запутанный клубок по направлению к берегу.

Позади всего этого вдруг раздался громкий хлюпающий звук, и, взглянув туда, я увидел, что увлекаемая медленным течением лодка накренилась в последний раз, скользнула набок и исчезла.

И здесь из моих детских воспоминаний исчезает и сам дядюшка. Я перестаю помнить его с того момента, как он вышел из воды.

Как только он ступил на берег, он перестал существовать в моей памяти. Как раз с момента его успеха мое сознание как бы погрузило его в пучину забвения. Я не помню, вышел ли он из реки ликующий или подавленный. Мы, должно быть, возвращались домой вместе с ним, но наше возвращение не сохранилось в моей памяти. Наверное, дома мы рассказывали что-то о наших злоключениях, но и этого я не помню.

Ничего больше не знаю я о дядюшке, если не считать того, что, проходя как-то несколько недель спустя мимо его магазина, я увидел на окнах объявление о продаже, а в дверях какого-то толстяка с черными курчавыми волосами, ковырявшего мизинцем в ухе. Отец мой иногда упоминал о своем брате Клиенте и, кажется, после его отъезда посылал ему деньги.

Вот и все, вернее, это было бы все, если бы не отец с его пристрастием к поучительным размышлениям и благородным примерам.

Много лет спустя, точнее в октябре 1943 года, я служил в десантном полку. Наш полк находился в одном из портов Восточного побережья в ожидании погрузки на суда. Погода была унылая. Мы помещались в мрачном военном городке. Дни тянулись однообразно, заполненные подготовкой к отплытию, дурными предчувствиями и мертвящей скукой.

Мы занимались лишь тем, что стояли в очередях на прививки, играли в карты, снова и снова проверяли свое десантное снаряжение да часами валялись на койках, рассматривая водяные пятна на жестком картоне, которым был обит потолок. Водяные пятна на таких потолках замечательны тем, что очертавая многих из них напоминают тонущие корабли, изувеченные человеческие тела и людей, безнадежно барахтающихся в воде. Смерть во всех ее самых ужасных видах изображена там.

Накануне нашего отплытия, в субботу, прибыла последняя почта, направленная к нам из нашего бывшего лагеря. Я получил лишь одно письмо от отца и небольшой пакетик.

В начале письма отец давал мне свои обычные ободряющие нравоучительные наставления. На второй странице он продолжал: «... одновременно я посылаю тебе вещь на память о твоём дядюшке, который, как ты знаешь, был одним из храбрейших людей на свете. Тебе, вероятно, будет приятно иметь при себе этот предмет и как реликвию нашей семьи, и как напоминание о том, кто...» Я отложил письмо, и в моей памяти опять ожил тот злополучный день.

Я ясно представил себе мутные воды нашей реки и побелевшее от ужаса лицо дядюшки в тот момент, когда он, вскидывая голову, чтобы не захлебнуться, тянулся к борту тонущей лодки. То самое смешное, пухлое лицо, которое

вопреки всем законам дядюшкиной природы продвигалось вперед по воде.

Но ведь, насколько мне было известно, мой отец вряд ли знал что-либо обо всем этом, а если бы и узнал, то не придал бы поступку дядюшки никакого значения. Тогда откуда же мог появиться у отца предмет, который он послал мне на память о дядюшкиной храбрости? Это казалось невозможным. Но все же теперь я знал, что являюсь обладателем единственной реликвии, сохранившейся от того дня. И в течение некоторого времени я предавался воспоминаниям.

Наконец я вскрыл пакетик, присланный отцом. В нем лежал маленький полукруглый лоскуток выцветшего черного шелка. Я вынул и внимательно рассмотрел его, а затем долго сидел, вертя его в руках, не будучи в состоянии уяснить, что же это такое. И лишь через некоторое время я понял, что, конечно же, это была маленькая выцветшая шелковая шапочка для плавания — символ наших семейных традиций.

ВО ИМЯ ЛЮБВИ К ДЭЗИ

— То ли дело кошки, — говорила Дэзи своей маме. — У них нет этой несносной привычки вскакивать грязными лапами на новое платье всякий раз, как тебя увидят.

— Да, это правда, — ответила миссис Хэмилкар. — Но зато они имеют привычку делать все исподтишка. Пойми, ведь Фидо любит тебя.

— Ну и пусть, а я его ненавижу. Из-за своей глупой любви он мне испачкал уже не одно новое платье. Это уже второе. Фидо мне больше не нужен. Хочу кошку.

— Ты только посмотри на этого беднягу. Он совершенно убит твоей жестокостью.

— Моей жестокостью? — удивилась Дэзи. — Честное слово, никогда не встречала такой глупой собаки.

— Собаки этой породы славятся умом, — возразила миссис Хэмилкар.

— А по-моему, они славятся тем, что лают, когда на несколько миль вокруг и не пахнет ворами, тем, что пачкают людям платье, да еще тем, что скулят без умолку, если им покажется, что не все вокруг без ума от них. Как будто все должны быть от них без ума. Когда бы я ни взглянула на этого глупого пса, он обязательно смотрит на меня.

— Да, с тех пор как ты отвергла его чистую, верную, неугасимую любовь, он не спускает с тебя глаз. Другой такой собаки не сыщешь. У этого огромного пса нежнейшее сердце. А какая чудесная масть! Весь рыжий. А морда? Разве это собака? Это же человек. Глаза добрые, как у теленка. Такими глазами только на полевые цветочки смотреть. Уши чуткие, как у зайца. Хвост длинный, как у пони, и ходит ходуном, как у льва. Чудо-пес: стройный, как статуя, осанкой лорд, походка, как у фланера.

- У фланера? Это что еще за чертовщина?
- Ты в лагере научилась так выражаться?
- Нет, что ты! Там никогда не разрешали нормально разговаривать. Конечно же, я подцепила это словечко у папы. Так что такое фланер?
- Это человек, который носит гетры, ходит с тросточкой, и в петлице у него всегда торчит розочка. А если у него есть усы, то он их напوماживает и закручивает кверху.
- Кажется, таких людей я никогда не видела.
- Пожалуй, что нет. Они фланируют большей частью по улицам Парижа.
- Это который во Франции.
- Ну конечно, не тот, что в Техасе.
- Так я же там родилась.
- Да, но мы переехали в Нью-Йорк, а потом в Калифорнию, когда ты была еще совсем маленькая.
- А сколько мне было?
- Год.
- Ну, это не так уж мало.
- Во всяком случае, слишком мало, чтобы любоваться фланерами, гуляющими по Рю-де-ла-Па.
- А почему они гуляют именно по этой улице?
- Мы жили на Рю-де-ла-Па, когда папа был корреспондентом «Геральд трибюн». Мы с тобой часто сидели у окна и смотрели на прохожих, в том числе и на фланеров.
- И, по-твоему, у Фидо такая же походка?
- В точности. Я никогда не видела такого сходства. И ты должна знать, Дэзи, что, выбрав Фидо среди собак, потерявших хозяев, ты выбрала цельную натуру.
- А что такое цельная натура?
- Это существо, неспособное раздваиваться.
- Все собаки неспособны раздваиваться.
- Ну не говори! И вообще я никак не могу согласиться, что Фидо — это просто собака. Мы-то с тобой знаем, что он нечто гораздо большее. Поцелуйтесь и помиритесь.
- Не буду.
- Он умрет с горя.
- Ну и пусть.
- Ну что за беда, если он тебе немного испачкал платье?

— Мама, но ведь это платье мне подарила мисс Куплеркейп в прошлом году, когда мне исполнилось восемь лет. Из всех девочек О-Хоу-Хилла мисс Куплеркейп подарила платье только мне. Что она дарила другим девочкам на день рождения? Всякие пустяки: испанские веерочки, браслетки, индейские бусы, посовые платочки. А когда у меня был день рождения, она подарила мне это платье, которое сшила своими руками, ярко-желтое и вышитое разными цветочками.

— В четверг Марджи придет стирать, и твое платье будет как новенькое.

— Я собиралась пойти к мисс Куплеркейп, как только приеду домой, и обещала прийти в платье, которое она мне подарила.

Миссис Хэмилкар отложила в сторону гранки (это был третий роман ее мужа) и внимательно посмотрела на дочь. Если сказать правду — а почему бы и не сказать? — она ревновала дочь к мисс Куплеркейп, маленькой семидесятилетней старушке, предмету любви и восхищения всех девочек О-Хоу-Хилла в возрасте от двух до двенадцати лет. После двенадцати девочки становились маленькими женщинами и освобождались от чар старушки, но лишь для того, чтобы тут же поддаться чарам соседских мальчишек, которые вдруг превращались в маленьких мужчип.

— Так ты обещала? — спросила миссис Хэмилкар.

— Да. Мы с мисс Куплеркейп самые большие друзья, какие только могут быть на свете. На всей земле нет такого чудесного места, как ее дом, и такой благородной женщины, как мисс Куплеркейп.

— Ага, теперь я начинаю понимать, почему ты так сердилась на Фидо. Может быть, его падо было убить за это?

— Мама, не надо быть такой бесчувственной и... ну, неделикатной.

— Мне немного обидно, а когда мне обидно, я всегда становлюсь немного бесчувственной и неделикатной.

— Ну, тебе-то обижаться нечего. Я ведь виню не тебя, а Фидо.

— Мне немного обидно, что кто-то другой — и к тому же другая женщина — может значить для тебя так много. Ты меня даже ни разу не обняла, а ведь прошло уже минут пятнадцать, с тех пор как ты сошла с автобуса.

— Я просто не могла, — ответила Дэзи. — Ведь Фидо все время вертелся вокруг меня со своими дурацкими грязными лапками.

— Ну?

— Что ну?

— Ну, а что же тебе мешает сейчас?

— Ей-богу, я иногда бываю просто невозможная! — воскликнула Дэзи. — Стоит только меня немного разозлить, и я не узнаю даже свою родную мамочку. — Она подбежала к матери, они обнялись и поцеловались.

— Все равно я еще зла на Фидо и хочу кошку.

— Пойщи в шкафу какое-нибудь хорошенькое платьице и отправляйся к мисс Куилеркейп.

— Не пойду.

— Почему?

— Я не могу пойти к ней в другом платье. При наших отношениях это было бы ужасно невежливо. Мисс Куилеркейп, конечно, не подала бы виду. Она была бы страшно рада меня видеть, мы пили бы шоколад, ели бы горячие лепешки с маслом и вареньем и болтали бы обо всем на свете, но я знала бы, что все это не то. Я знала бы и умерла бы от стыда, потому что мисс Куилеркейп знала бы, что я знаю, хотя мы обе не сказали бы об этом ни слова. Мы все время держали бы себя, как подобает леди. Нет, я не выдержу такого напряжения. Вот и все. И так две бесконечные недели просидела папницей в этом лагере.

— Ладно, о лагере поговорим потом. Не все сразу, сначала самое главное. Ты обещала мисс Куилеркейп, что приедешь к ней сейчас же, как только вернешься из лагеря?

— Да.

— И в том платье, которое она тебе подарила?

— Такого уговора не было, но, конечно, я собиралась надеть его в знак благодарности и уважения. Поэтому я и нарядилась еще утром в лагере в это платье, и сколько мне стоило трудов не испачкать его по дороге, ведь мы добирались целых три часа! Сначала из лагеря мы пошли пешком до автобуса. Потом на автобусе ехали до парохода. Потом сели на пароход и поплыли из Каталены в Сан-Педро. Потом снова шли пешком до другого автобуса и на нем доехали еще до одного, последнего автобуса. Мы сели в него и поехали, а он то и дело

останавливался и высаживал девочек. Мы объехали полсвета, пока развезли всех по домам. А меня, конечно, отвезли самую последнюю.

— Бедняжка, — сказала миссис Хэмплькар.

Она вдруг встала и пошла в комнатку за кухней, где стояла стиральная машина. Дэзи пошла за ней, а Фидо остался у каминна, потому что миссис Хэмплькар приказала ему лежать и не трогаться с места. Фидо с ума сходил от любопытства, но приказ есть приказ.

Он как зачарованный с тревогой прислушивался к разговору людей и с нетерпением ждал, когда смягчится голос Дэзи, его Дэзи, его изумительной Дэзи, его прекрасной Дэзи, которой так долго не было в О-Хоу-Хилле. Он искал ее повсюду, днем и ночью, неожиданно натываясь на самые невероятные создания, о существовании которых он раньше и не подозревал. Например, тот скунс, который застыл, подняв вверх хвост и уставившись на него, Фидо. Или тот опоссум, медленно заковылявший прочь, то и дело останавливаясь и оглядываясь назад; непонятное создание: ни друг, ни враг, вроде и не испугался, а не хочет ни подружиться, ни подраться. Или та змейка, которая бросилась в сторону как сумасшедшая и помчалась, то скрываясь в высокой траве, то выныривая из нее. Фидо никак не мог понять, как это она бежит, и кинулся вслед за ней, чтобы поглядеть. Они мчались до тех пор, пока бедная змейка совсем не выбилась из сил и не могла уже больше бежать и не остановилась, покорно ожидая самой страшной участи. Фидо очень удивился, когда понял, что змейка его боится. Он ведь только хотел попать, как она бегаёт. Он подошел к змейке совсем близко и заглянул в ее глазенки, а потом стал рассматривать ее окраску — бедняжка была красива, ничего не скажешь.

А сколько девочек он принимал за Дэзи! Увидев издали какую-нибудь девочку, он молил бога, чтобы это оказалась Дэзи, но его надежды не оправдывались. Некоторые девочки в страхе убежали домой. Другие подзывали его, гладили по голове, разговаривали с ним и даже звали его к себе познакомиться с их родными.

И вот теперь наконец Дэзи вернулась, наверно, с другого конца света. Нет ничего удивительного, что после

стольких испытаний и злоключений, стольких опасностей, которых ей удалось избежать, он был вне себя от радостного изумления и благодарности богу, который доставил Дэзи домой живой и невредимой. Да разве мог он помнить в такой момент, что у него грязные лапы?

Ему хотелось встать и пойти за хозяйками. Очень хотелось. Но он продолжал лежать там, где ему приказала оставаться миссис Хэмилкар, его лучший друг среди взрослых людей. Он лежал и ждал, напрягая слух, чтобы слышать продолжение их разговора. Он ждал, когда смягчится голос Дэзи.

Миссис Хэмилкар сняла со стиральной машины крышку и достала испачканное платье Дэзи. Разумеется, Фидо всего этого не видел, не знал даже, что делают его хозяйки и зачем, и это его мучило больше всего.

Ну когда же они снова заговорят? Он слышал, как из крана в раковину текла вода, но молчание продолжалось. Он слышал, как терли мылом материю, потом полоскали ее — и по-прежнему ни слова. Что они там замышляют?

Наконец Дэзи заговорила:

— Что ты делаешь, мама?

— Что я делаю? — переспросила миссис Хэмилкар. Голос у нее был мягкий и добрый, но ведь он всегда такой. И еще в ее голосе обычно слышался веселый смех, по сейчас его не было. Тут что-то неладно, что-то не то.

— Я хочу быть твоим другом, — услышал Фидо ответ миссис Хэмилкар.

— Мамочка, ты же моя мама. Мамы вовсе не должны быть еще и друзьями.

— Нет, должны. Иногда я думаю, что лучше бы мне быть твоим другом, чем матерью. Видишь ли, кроме тебя, у нас с папой нет почти ничего, что было бы нам понастоящему дорого. В тебе воплотились все наши дети, все дочери, да и все сыновья, которых мы хотели иметь. Мы поклялись, что у нас будет шестеро дочерей и шестеро сыновей. Наверное, все молодые супруги дают такую клятву, но для меня это было совершенно серьезно и для Морли, кажется, тоже. Но мало ли что случается, и надо же было, чтобы это случилось именно со мной. И вот все, что нам осталось, — это ты. Тебе уже девять лет, и мы знаем, что нам не так уж долго быть с тобой

вместе. И мне хочется, чтобы те немногие годы, что нам остались, мы были, ну... верными друзьями.

— Мамочка, — услышал Фидо, — разве кто-нибудь из нас должен скоро умереть?

— Нет, что ты! — рассмеялась миссис Хэмилкар. — Правда, я чувствую себя на шаг ближе к смерти каждый раз, когда замечаю, как ты выросла, но все равно мне так радостно это видеть.

— Мама, что ты делаешь? Ну, пожалуйста, скажи.

— Стираю платье, которое подарила тебе на день рождения мисс Куилеркейн. Вот постираю, потом выглажу, ты его наденешь, пойдешь к мисс Куилеркейн и сдержишь свое обещание.

— Но зачем же, мамочка?

— Потому что я люблю тебя, люблю твоего папу, люблю мисс Куилеркейн, люблю всех твоих знакомых. Потому что я люблю Фидо.

Фидо чуть было не вскочил, услышав свое имя, но вспомнил, что пужно лежать тихо, слушать, ждать и наблюдать. Если бы только они вернулись в гостиную, чтобы можно было их видеть!

— Я зря наговорила столько гадостей про Фидо.

— Я знала, что ты об этом пожалеешь.

— Мне вовсе не нужна кошка.

— Если хочешь, можешь завести и кошку.

«Кошку? — подумал Фидо. — Стоит только завести в доме кошку и...» Но об этом лучше не думать. А что, если так и будет? Допустим, они принесут в дом кошку. Любую кошку, пусть даже не из тех, каких он и видеть спокойно не может, вроде этих бездушных, высокомерных ангорских кошек. Все равно какую. Разумеется, они захотят, чтобы он подружился с ней, а может быть, даже полюбил эту кошку — или хотя бы делал вид, что любит, — и он, наверное, из любви к Дэйзи будет стараться, но это будет кошмар.

Фидо стал молиться: «Господи, сделай так, чтобы они решили отказаться от кошки. Я не говорю, что кошки плохие. Может быть, они и хорошие, но я не выношу, когда рядом живут кошки. Не то чтобы я их ненавижу. Как говорится, живи и жить давай другим, но любить их я тоже не могу. Мистер и миссис Хэмилкар и Дэйзи просили меня не гоняться за кошками. Но сколько мне пришлось из-за этого вытерпеть! Разве легко удержаться?»

'А кошки понимают меня по-своему. Они вертятся у меня под самым носом, и, надо сказать, это порядком меня пугает. Не пойму, что они думают: то ли что они собаки, то ли что я кошка. Но я-то ведь знаю, что они кошки, а я собака. Нет хуже, когда не знаешь, что у них на уме. Господи, помоги моим хозяевам понять, что нам не нужна никакая кошка. Во всем доме нет ни одной мыши. Есть, правда, несколько сверчков, но мы все к ним привязались. Амнь».

И как будто в ответ на свою молитву Фидо услышал голос Дэйзи:

— Но мне вовсе не нужна кошка. Я сказала это просто так, со зла.

Фидо вздохнул с облегчением.

— Кошки и собаки сейчас прекрасно уживаются, — заметила миссис Хэмплькар.

«Нет, нет, — простонал Фидо. — Не говорите так, миссис Хэмплькар. Это неправда. Поверьте мне, они совсем не уживаются, даже когда со стороны кажется, что они друзья. И труднее всего приходится именно собаке. Кошка никогда не идет собаке навстречу. Кошка всегда остается кошкой. А собака старается поддерживать в доме мир и согласие. Собака все время притворяется, и вскоре у нее появляются странности. Я знаю в О-Хоу-Хилле трех собак, которые годами живут вместе с кошками, и все они какие-то странные. Они сбиты с толку. Они понимают, что с ними что-то стряслось, но не знают, что именно. Собаки — джентльмены. Кошки бывают похожи на леди, на некоторых из них, по настоящим леди их назвать никак нельзя. Они видят, что собака из всех сил старается быть деликатной, но сами не сделают ни шагу навстречу, чтобы хоть немного облегчить положение собаки и позволить ей оставаться вежливой и дальше. Отсюда все зло. Вот почему собаки вскоре немощно трогаются умом. Пропиу вас, миссис Хэмплькар, не верьте, что кошки и собаки уживаются. Если хотите знать, собаки просто терпят кошек, так же как и люди. Конечно, живи и жить давай другим, и все такое, но кошка есть кошка, и стоит ей появиться в доме, как вся жизнь меняется. Все время будет тишина, тишина, тишина, как будто она что-то обдумывает. А на самом деле ни о чем кошки не думают, такно уж они есть. Они бродит повсюду, все рассматривают и ничего не говорят. Все они

притворщицы, за это их собаки и ненавидят. Прошу вас, миссис Хэмплькар, не верьте, что кошки и собаки уживаются».

— Да, я знаю, кошки и собаки прекрасно уживаются, — услышал Фидо голос Дэзи. — Но я-то не уживусь с кошкой.

«Браво, Дэзи!»

— Я люблю Фидо, и больше никаких друзей из животных мне не надо. Даже другой собаки.

«Браво, браво, Дэзи!»

— Я ведь тоже не люблю кошек, — сказала миссис Хэмплькар. — Откровенно говоря, терпеть их не могу.

«Браво, браво, браво, миссис Хэмплькар!»

Фидо успокоился и стал слушать дальше. Они разговаривали обо всем на свете. В голосе миссис Хэмплькар снова зазвучал смех, а в голосе Дэзи — любовь. Фидо уснул.

Он проснулся, когда миссис Хэмплькар крикнула из кухни:

— Лежи смирно, Фидо! Не вставай!

Фидо приоткрыл глаза. Миссис Хэмплькар и Дэзи вошли из кухни в гостиную. На них было так приятно смотреть и так приятно вдыхать их запах — добрый старый хэмплькарский запах. От них пахло здоровьем, солнцем, бодростью и любовью. Дэзи снова была в ярком платье, вся какая-то новенькая, как с иголки, и казалась совсем другой: больше, веселее и умнее.

— Не шевелись, Фидо, — приказала миссис Хэмплькар. — Только смотри.

Фидо шире открыл глаза, как будто спрашивая: «Так?»

— Дэзи идет навестить мисс Куплеркейп, как она обещала.

«Разве я не знаю?» — подумал Фидо. Разве он не прожог Дэзи сотни раз до самых дверей домика мисс Куплеркейп и не лежал на крохотной лужайке среди цветущих роз, спрени и жимолости, обвивающей перила и столбы веранды, вдыхая аромат цветов и ожидая, пока Дэзи выйдет из дома?

— Фидо. — сказала Дэзи, — прости меня. Пойдешь со мной к мисс Куплеркейп?

«Пойду ли я?» — воскликнул про себя Фидо и чуть не вскочил на ноги, но сдержался и не сдвинулся с места: он ждал разрешения миссис Хэмплькар.

— Ты в самом деле хочешь, чтобы он за тобой тащился? — спросила миссис Хэмилкар.

— Мама, я ведь целых две недели не видела бедного старого Фидо. Конечно, я хочу, чтобы он со мной пошел.

— Ну ладно, Фидо, — сказала миссис Хэмилкар. — Встать! Только спокойно.

Фидо медленно поднялся, сел и стал ждать. Дэзи подошла к нему. Она встала на колени, заглянула ему в глаза, потом улыбнулась, прижалась лицом к его морде и поцеловала его. Но Фидо не пошевелился. Не потому, что он не был тронут — он был на седьмом небе от счастья. Он просто боялся, как бы снова не наделать ошибок.

Дэзи встала, обняла мать и сказала:

— Ты мой лучший друг, мамочка, мой самый лучший друг. Ну, я пойду к мисс Куплеркейп. До свидания. Пошли, Фидо.

Дэзи направилась к двери. Фидо медленно и осторожно шел следом, первый раз в жизни сознавая, что у него целых четыре поги — а может, даже пять? Дэзи вышла из дому, и он последовал за ней. Дэзи обернулась, и Фидо тоже. Миссис Хэмилкар стояла в дверях. Дэзи помахала рукой, а Фидо наблюдал за хозяйкой. Миссис Хэмилкар улыбнулась, и тут Фидо совершенно неожиданно увидел в ее глазах слезы.

С чего бы это, черт возьми? И когда он научится понимать людей? Он застыл на месте, как будто попал лапами в липкую смолу. Ему хотелось подбежать к миссис Хэмилкар, но он не был уверен, что это будет правильно. Тут раздался голос Дэзи:

— Ну ладно, Фидо, марш! Беги вперед!

Фидо быстро повернулся. Он уже был готов броситься вперед, но не мог удержаться и еще раз взглянул на миссис Хэмилкар. По ее щекам текли слезы. Ну что должна в таком случае делать собака?

— Ступай, Фидо, — сказала миссис Хэмилкар. — Беги, беги, марш вперед! — И в ее голосе он ясно уловил веселый смех.

«Ничего не понимаю», — подумал Фидо.

Он быстро повернулся и понесся вперед, слыша на бегу, как его хозяйки весело смеются. Он бы тоже рассмеялся, если бы не почувствовал, что есть в людях что-то такое, чего он раньше не замечал. Что же это, черт возьми? Наверное, что-нибудь человеческое.

О МОЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ КЕРОЛАЙН!

Клод Хенсон, стоя на верхней палубе плавучего театра «Вечерняя звезда», наблюдал, как горцы развешивают фонари на деревьях по берегу реки. По мере того как их зажигали, Клод видел все больше и больше людей, которые, словно призраки, возникали из темноты. Эти люди казались ему плакальщиками, поспешившими к реке, чтобы присутствовать при его гибели.

Клод, высокий и представительный мужчина, державшийся очень прямо, несмотря на свои шестьдесят лет, склонил голову. Но он понимал, что молитвы не могут предотвратить неизбежное. Никогда прежде он не нарушал обещания, данного своей незабвенной Керолайн, а вот теперь он будет вынужден его нарушить.

В вяло висевших вдоль туловища руках он держал в левой скрипку, в правой смычок. Фонари, загораясь один за другим, бросали строгие отблески на резные украшения палуб плавучего театра, и каждый из них словно выхватывал из темноты отдельные моменты его жизни с Керолайн. Перед Клодом оживали странные обстоятельства их первой встречи, он вспомнил, как внезапно пришла к ним любовь, месяцы и недели, в которые она терпеливо учила его разбирать ноты и читать реплики в пьесах, счастливые годы на реке, ночь, когда он спас тонувшую «Вечернюю звезду», и как гордилась им тогда Керолайн. Просто не верилось, что они прожили вместе двадцать пять лет — в сущности, даже сорок, потому что, хоть он и вдовел уже пятнадцать лет, он еще ни разу не почувствовал, что она его покинула.

Яснее других, более живо и четко, перед его глазами всплывала картина последних дней жизни Керолайн.

«Вечерняя звезда», пришвартованная к берегу у Шарлеруа на Моновгахиле, внушительно чернела в лунном

свете. Хотя весенняя ночь дышала легкой и тепло крохотной комнатке за сценой был жуткий холод.

— Я всегда любил тебя, Керри, — повторял Кэжимая к себе жепу и улыбаясь ей с уверенностью, которой не ощущал, потому что доктор сказал, что она ни за что не перенесет дифтерита.

Она протянула руки и гладила его щеки. Хотя ей было сорок лет, она выглядела почти ребенком, шаловливым ребенком, сохранившим навсегда порывистость и надежды. Она обвела взглядом все их уютное гнездышко, останавливаясь на каждом сувенире, каждой мелочи, напомиравшей о проведенных вместе годах: ферротипиях, лоскутках мишуры от костюмов, прищипленных над зеркалом листках с песенками и романсами, памятных безделушках из сотен городов, где они побывали в своих речных плаваниях.

— Ты ведь любишь реку, Клод?

— Рааумеется, Керри, милая, я люблю ее так же, как тебя.

— Сколько разных рек, Клод. Уобаш и Теннесси, Кептукки, Грин, Огайо, Канова и Арканзас... и — Миссисипи. Плавать по ним, давать представления, — такая это особенная, необыкновенная жизнь. Годы прошли, как в волшебном сне. Они пролетели так быстро, что я словно еще не успела стать женщиной.

— Ты моя девочка.

— Это совсем особый мир, — продолжала Керолайн, будто не слыша его слов. — Вода отделяет нас от остальных людей. А внутри у нас и вовсе иной мир, мир, который мы создаем на сцене. Это — волшебство! Правда?

— Еще бы, моя Керри!

Она вдруг прижалась к нему в безумном порыве, устремив на него взгляд, полный отчаянной мольбы.

— Никогда не покидай реку, о мой Клод! Обещай мне. Что бы ни случилось, я всегда буду на реке. Не оставляй меня, родной мой, не оставляй одну на реке.

— Никогда, моя радость, никогда!

А затем она ушла от него, так же просто, как гаснут огни рампы.

Кто-то стоявший на берегу под мигающим фонарем крикнул:

— Тащите своего скрипача! Старый Джон ждет! Ваш скрипач, может, струсил?

Этот возглас вывел Клода из задумчивости, и он слышал теперь крики и шутки, раздававшиеся из толпы. Актеры и команда «Вечерней звезды» высыпали на палубу и стояли против грубо намалеванных картин с дикими зверями, акробатами и персонажами из драм Шекспира, переговариваясь с горцами на берегу. Женщины — их было немало в толпе — держались скромно, но мужчины, подбодренные вписки, вызывающе орали:

— Старый Джон переиграет любого, кто способен держать смычок!

Клод медленно направился к трапу. Новый капитан, еще молодой человек, не остановил его, когда он проходил мимо, а только кивнул, как бы говоря: «Вам, Клод Хенсон, надо выиграть это соревнование».

Сколько лет он переигрывал всех, кто вызывал его, — любого скрипача от Миннесоты до заболоченных рукавов Ачафалайп. Керолайн выгучила его эффектным руладам и трелям, игре на двух струнах одновременно, мгновенным сменам темпа, так что, даже когда было очевидно, что соперник берет верх над ним, он всегда мог превзойти его и покорить слушателей своей блестящей манерой. Но все это не могло послужить ему сегодня. Взглянув на берег, он увидел пожилого сутулого человека, прозванного Старым Джоном из Ревенс-Глена и слывшего никем не превзойденным скрипачом. У него захолонуло сердце: не сосчитать было, сколько скрипачей в приречных городках и местечках говорили ему, что «лучший из всех, первейший из первых — Старый Джон из Ревенс-Глена».

На трапе его догнал и взял за руку кипучий Эмил Хаузер, повар парохода и исполнитель женских ролей:

— Ты выиграешь, Клод, ты непременно выиграешь, даю голову на отсечение, — горячо шепнул он ему.

Клод едва сумел выдать признательную улыбку — он отлично знал, что капитан его уволит, если он проиграет соревнование. И, уж конечно, другой работы на реке не найти человеку, которому за шестьдесят, пусть неплохому скрипачу, но посредственному исполнителю ролей злодеев. Нечего и надеяться — работы ему не будет. «Мне придется бросить реку и покинуть мою Керолайн», — сказал он себе, спускаясь по трапу; плечи его были низко опущены, а скрипка раскачивалась вдоль бедра, точно была продолжением руки, частью его тела.

Люди уступали ему дорогу, пока он медленно поднимался на берег. Кто-то успел принести два пустых бочонка па-под гвоздей, и Старый Джон уже сидел на одном из них, согнув левую руку и уперев скрипку в сгиб локтя. Он взглянул на Клода и кивнул головой, пробормотав невнятное приветствие.

Клод поздоровался с легким поклоном и, пока усаживался на свободный бочонок, попытался разглядеть старика в мерцающем свете фонарей. Старый Джон был мал ростом, со сморщенным лицом, ввалившиеся щеки обтягивали беззубые десны. Лицо его выглядело бы бесстрастным, если бы не удивительные карие глаза, горевшие словно в предчувствии схватки.

Оглянувшись на публику, Клод увидел, что женщины стоят поодаль, в тени, зато мужчины подошли вплотную. Они разговаривали со Старым Джоном, но Клод понял, что их слова предназначены для его ушей: «Переиграй его так, чтобы ему не повадно было соваться, Старый Джон! Сыграй все мелодии, которые ты знаешь!»

Клод несколько мгновений присматривался к горцам. Они были недовольны и как бы затаили обиду. Не только из-за того, что он собирался выступить соперником их Старого Джона. Нет, тут было и нечто другое. Он наблюдал это уже сотни раз. Не прошло еще часа, как все эти люди сидели в театре, захваченные представлением, которое увело их за тысячу миль от действительности и приобщило к миру, необыкновенно богатому яркими переживаниями, и вот теперь они негодовали на окончание спектакля, резко вернувшее их к повседневной жизни. Дело было не в том, что он только что играл злодея в «Красном кинжале» и кто-то в публике, увлеченный событиями пьесы, громко пригрозил расправиться с ним, если он похитит героиню. Они живо переживали все, что происходило на сцене, каждую реплику актеров, и теперь их возмущало, что представление, перенесшее их в ослепительный мир, оборвалось. Они чувствовали себя одураченными. Хоть бы Старый Джон посрамил его и начисто переиграл за их огорчение!

— Играй «Рипито Рэй»! — повелительно крикнул какой-то долговязый парень, стоявший, заложив руки за пояс комбинезона. — Слушай меня, Старый Джон! Валяй «Рипито Рэй»!

Старый Джон даже не взглянул в его сторону.

— Мне надо расстроить свою скрипку, чтобы это сыграть, — сказал он таким тоном, словно не было на свете мелодии или манеры игры, которых бы он не знал. Он быстро настроил свою скрипку так, чтобы проводить смычком одновременно по двум струнам, и с них сразу сорвался целый поток звуков.

Клод сидел неподвижно.

Долговязый горец стал выкрикивать слова песенки, вторя смычку, наигрывавшему такты в три восьмые:

Вот скрипач-то, черт побери!
Песню, что всех милей,
Одну лишь пикает: «Рипито Рэй»,
Все «Рипито Рэй», ох, ри! *

Закрыв глаза, Клод думал о всех состязаниях, в которых принимал участие. В молодости возле него всегда стояла его возлюбленная, внушая ему уверенность и желание победы, и ее присутствие рядом он всегда ощущал и после ее смерти. Однако нынче вечером в воздухе чувствовалось что-то враждебное и грубое, и, пока смычок Старого Джона носился по струнам, ему стало казаться, что он сейчас один, впервые с тех пор, как встретил Керолайн. Клод сидел, склонив голову, закрыв глаза, и думал, уж не помутился ли у него с годами рассудок: может быть, он только воображал, что чувствует ее присутствие возле себя? Такие штуки случаются, когда одиночество чересчур растравляет человеку сердце.

Старый Джон стал отбивать такт, приплетывая ногой по земле. Это напомнило Клоду, как танцевала Керолайн — как легко и быстро она семенила ножками, исполняя бурный шотландский танец. Вплоть до смерти ее называли в афишах «волшебницей танца и пения». Клод представил себе, как она кружится в короткой сборчатой юбке и при свете ламп сверкают блески, которыми обшит ее корсаж. На мгновение Керолайн оказалась рядом с ним, она вертелась волчком и улыбалась ему, и, забыв об окружающем, он отдался воспоминаниям о том, как по окончании номера, едва падал занавес, она спешила к нему и целовала его в избытке счастья, приговаривая: «Клоди, Клоди, как я люблю танцевать под твою музыку!».

* Стихотворные переводы в этом рассказе сделаны Р. Сашинной.

— Эй, приятель, ты спать сюда пришел или играть?

— Он, может быть, решил заранее сдаться!

Клод встрепнулся. Он и не заметил, что Старый Джон закопчил свою мелодию.

Неловко, неуверенными руками он стал настраивать скрипку, не зная еще, какую именно вещь будет играть. Единственное, что пришло ему на память, была «Гибель индейца». Пробуя смычком струны, он вспомнил день, когда Керолайн стала впервые учить его играть эту мелодию. Это была печальная песня, популярная среди приречных жителей. В ней рассказывалось о плавучем театре, стоявшем у пристани из-за паводка, который нес по реке сплавной лес. Чтобы убить время, актеры танцевали под музыку скрипки, но танец вдруг прервали отчаянные крики. Среди беснующихся волн актеры увидели индейца, уцепившегося за бревно. На глазах у всех спльная струя завертела его, и с диким криком он исчез в пучине. Ужасная картина повредила ум скрипача, и с тех пор, говорилось в песне, он не мог играть другой мелодии, кроме той, которую играл, когда тонул индеец.

Керолайн часто просила его исполнить эту песню, в ее запоминающейся мелодии она чувствовала радость и горе, жизнь и смерть и что-то от ужасного бессердечия, которое способен проявить любой раз невинный младенец.

Клод играл, держа смычок поближе к середине, потому что мелодия была быстрой и легкой. Но каждый раз, когда он хотел передать вопли и крики индейца, его смычок только скреб струны. Он снова и снова повторял припев, но ему не удавалось вдохнуть в него жизнь и выразить мысль, которую несла эта музыка, — мысль о неизбежности конца, насильственного или мирного конца жизни человека.

Наконец он опустил скрипку.

Старый Джон тотчас начал играть. Он исполнял «Салли Гудия», и горцы запели:

Бредут овца с коровой
Зеленою лужайкой.
Кричит овца корове:
— А ну быстрее шагай-ка!

Клод понял, что Старый Джон и горцы насмеются над ним, потому что он играл недостаточно быстро. Он

посмотрел на Старого Джона, но тот, казалось, был целиком поглощен музыкой и не обращал на него никакого внимания. Он лишь мельком взглянул на Клода, и в его удивительных глазах было равнодушие, и даже насмешка.

Клоду вспоминались слова песни:

Дам с начинкой пирожок,
Дам в придачу сладкий пудинг,
Только б глянуть хоть разок
На красотку Салли Гудин.

Было ли что-нибудь в жизни, могло ли быть такое в жизни, чего бы он не отдал, чтобы повидать свою Керолайн? Со дня, когда он впервые ее увидел, ему никогда не хотелось обладать чем-либо, кроме того, что дало бы ей радость и счастье. А теперь ничего ему не нужно, да и ничего у него не было, кроме радости и гордости, которые она дала ему.

Он был крепкий двадцатилетний парень, когда они встретились, диковатый и невежественный. Он спустился с гор и стоял на берегу Арканзаса, любуясь нарядным парходом и ожидая представления, о котором расстроились слух, что женщины на него не допускаются. Он был молод, никогда ничего такого не видел и теперь буквально дрожал от нетерпения. Однако, когда антрепренер заметил, что в публике одни мужчины, он объявил, что у них превратное представление о его театре и что все актрисы на пароходе порядочные женщины. «Ступайте в кассу, — сказал он им со сцены, — получите обратно свои деньги».

Клод выходил из зала одним из последних, оглядывая ярус нарядно убранных лож. Ацетиленовые огни рамы еще горели, и белый, бледно-зеленый и ржавый цвета зала напомнили ему отражение белых облаков в воде, зеленые берега и краски заката на реке. Пока он стоял, очарованный и напуганный всей этой красотой, занавес поднялся, и на сцену вышла самая красивая девушка, которую он когда-нибудь видел. Восхитительное красное платье едва доходило ей до колен, а какое-то украшение в белокурых волосах горело и сверкало так, что глазам становилось невмоготу. Заметив Клода, девушка на мгновение остановилась, затем, словно ей певедом был стыд, спустилась со сцены и по проходу подошла к нему.

Клод так перепугался, что хотел бежать.

— Мне очень жаль, что не будет представления, — сказала девушка нежным, приятным голосом.

— Мне тоже, мэм. Даже не могу сказать, как досадно.

— Вы здешний житель?

— Нет, мэм. Я живу далеко отсюда, в горах. У меня ферма в ущелье, но я живу один и, по правде сказать, так, что это и жизнью не назовешь. Мне хотелось посмотреть представление. — Тут он смолк и покраснел, вспомнив, на что он собирался посмотреть. — По крайней мере мне было бы что вспоминать в зимнее время.

Девушка положила руку на его рукав, прямо глядя ему в глаза. Клоду показалось, что он не устоит на ногах. Прикосновение ее руки заставило его сердце биться так громко, что он испугался, как бы она не услышала.

— Я люблю спрашивать у людей, как их зовут. Меня интересуют имена. Как ваше имя?

— Клод. Клод Хенсон, — еле выдавил он из себя.

— Вы очень красивы, Клод. Я никогда не забуду это имя. Клод Хенсон.

Ему сделалось трудно дышать. В ее манере разговаривать не было и тени развязности или испорченности. Она просто говорила то, что чувствовала. Мужчине почти невозможно слушать такие слова, когда их произносит красивая девушка. Перепуганный и смущенный Клод повернулся и неверной походкой пошел к выходу.

— Может быть, в будущем году, — донеслось ему вслед. — Может быть, в будущем году, Клод Хенсон!

В будущем году! Мог ли человек прожить так долго? Выйдя на берег, он прислонился к дереву и простоял под ним много часов, спрятавшийся в его тени, неспособный поверить в то, что с ним произошло. На пароходе жила такая красота, такая радость и легкость, что отныне ничто другое в мире уже не могло существовать для него. Всякая другая жизнь рисовалась только бременем, чем-то, что падо сносить и терпеть.

Около полуночи до него стали доноситься голоса. Гарцы спускались по дороге к берегу со своими женами и подружками. Столпившись у трапа, они весело кричали, что теперь привели своих женщин и хотят видеть представление.

Когда оно кончилось, Клод сидел молча, не в силах ни аплодировать, ни кричать, ни улыбаться. Всю свою жизнь.

еще когда были живы его родители, он алкал красоты и вот наконец обрел ее. Но красота принадлежала другому миру, миру, который без усилий плыл по реке времени, и Клод чувствовал, что не сможет от него уйти.

На верхнем конце трапа восхитительная девушка продавала свои фотографии. Он читал с трудом, но разобрал ее имя — Керолайн, — написанное под фотографией. Он медленнно произнес: «Ке-ро-лайн!» Иного имени у нее не могло быть.

Тут они прямо взглянули друг на друга. Несмотря на свою застенчивость, даже робость, он не отвел глаз от ее взгляда, чувствуя себя в ее власти. Неожиданно она схватила его широкие руки и прижала их к своим щекам.

— Вы куда поплывете завтра? — спросил он. — Где я могу снова увидеть представление?

— В Мосс-Лэндинге.

— Я там буду. Я не мог бы утерпеть, чтобы еще раз не увидеть вас.

— Я знаю, Клод, я это знаю. Никогда еще я не танцевала так, как сегодня.

— Найдется у вас работа для меня — я готов на любую мужскую работу? — спросил он непрозвольно, прежде чем подумал об этом.

— Что-нибудь будет непременно! — воскликнула Керолайн. — Мы это устроим.

И она обняла его.

Неожиданно послышался старческий голос.

— Ты бы лучше шла домой, Керолайн.

— Сейчас, отец, — покорно ответила она, почти как послушный ребенок, но тут же повернулась и, пригнув Клоду голову, поцеловала его. Это был первый поцелуй в его жизни.

— Я буду ждать тебя.

На рассвете Клод добрался до своей фермы. Он поручил свою корову, лошадь и кур соседу и отправился через горы за сорок миль в Мосс-Лэндинг, захватив с собою всю свою наличность — двадцать два доллара — и костюм, купленный на похороны матери.

Он больше никогда не вернулся, однако, глядя на стоявших вокруг горцев, он подивился тому, что они не узнают в нем земляка. И у него возникло такое чувство, точно он выброшен на мель, не принадлежит больше к

гордам, но и не речной житель, и у него пет ничего впереди, а пути назад отрезаны.

Старый Джон сменил мелодию и темп и теперь играл «Пильщик с Миссиссипи». Эту старую песню любили играть все скрипачи. Клод слушал, погруженный в воспоминания своей безрадостной юности. Он никогда еще не слышал, чтобы эту песню так прекрасно исполняли. Искусный смычок Старого Джона исторгал из струн отдаленный стук наковален, звяканье подков и шипение плл, приглушенный и легкий звук точки серпов и кос. Это была танцевальная музыка, и публика стала в такт хлопать в ладоши.

Клод сидел, не шевелясь, вспоминая серые дни своей юности, но они казались такими пустыми, что он с трудом мог представить себе, что вообще жил до встречи с Керолайн.

Живя в пустынном ущелье, Клод вырос, зная лишь работу и одиночество, но с момента, когда от ступил на палубу «Вечерней звезды» в Мосс-Лэндинге, он уже больше никогда, ни на одно мгновение не чувствовал себя одиноким. Сперва его сделали подручным рабочим и выпилбалой — он выпроваживал на берег пьяных шахтеров, размахивающих револьвером, или переселенцев, кочующих по реке в крытых лодках. Керолайн, настойчивая и увлекающаяся, начала с первых дней готовить его к поступлению в труппу. Узнав, что в долгие зимние вечера в ущелье он сам научился играть на скрипке простые мелодии, она стала учить его игре по нотам. Она помогала ему запомнить реплики из пьес и произносить их так, как если бы он был не собой, а именно тем человеком, которого изображал. Театр сплывал по рекам, буксирь поднимали его вверх по течению, а они все свободное время сидели вдвоем на верхней палубе. И хотя ученье давалось ему с трудом, Керолайн, он отлично это помнил, никогда не раздражалась.

— Все в свое время, — всегда говорила она ему и каждый день вводила его на палубу и сидела рядом с ним, пока он упражнялся, поправляла и поощряла его. Она следила за его выговором, учила произносить слова внятно и отучала от словечек и выражений, свойственных горскому наречию.

— Как у тебя хватает терпения со мной возиться, Керолайн? Почему это? — спрашивал он.

Она смотрела на берега, потом на горы, но ничего не видела. Перед ее глазами было только их будущее, оно всецело ее поглощало.

— Потому что я горжусь тобой, — оборачивалась она к нему с доверчивой улыбкой. — Потому что я люблю тебя.

— За что? Я не могу постичь — почему ты меня любишь?

— Я объясню тебе, Клод. Скажу тебе, как могу правдивее. Это сильнее меня. Наверное, я была создана, чтобы любить тебя.

— Я никогда не мог бы любить никого другого, — ответил он ей. — И мне было бы стыдно, если бы я когда-нибудь об этом подумал.

Он тихо сидел, пока играл Старый Джон, и думал, что жизнь на реке, жизнь на плавучем театре изменила их обоих. А может, это сделали не река и не пароход? Может быть, причиной этому была любовь, любовь, столь полная и всеобъемлющая, что для них не существовало ничего вне ее? Не из-за этого ли их обожала публика, чего не было теперь, когда он выходил на сцену один? Воспоминание о первом вечере, когда ему поручили играть для Керолайн и она танцевала под его музыку, наполняло его счастьем. Это было в далекой Луизиане, за тридевять земель от его дома, но, когда он играл вальс и буйный шотландский танец, не пропуская ни единой ноты, он понял, что только теперь обрел тот родной дом, в котором жизнь всегда отказывала ему.

Весь во власти терзающих сердце воспоминаний, Клод вдруг ясно представил себе запись, которую капитан сделал на следующий день в судовом журнале: «Стоянка в Ле-Гран для бракосочетания Керолайн и Клода. Вечером теплый дождь». Теперь всему подходил конец. Он знал, что ему никогда не перепрять пожилого человека, сидящего рядом с ним, а так как труппа дорожила им только из-за скрипичных состязаний, которые привлекали публику к пароходу, то капитан, несомненно, его уволит. Что он станет делать и куда пойдет? Есть ли выбор для шестидесятилетнего человека, который уже не способен вернуться к жизни в горах и оказался за бортом той жизни, с которой сросся всем сердцем?

Прилаживая скрипку под подбородком, он размышлял о вероломстве судьбы. То единственное, что давало ему

радость и счастье, что заставило годы стремительно лететь, как несутся по реке подхваченные течением осенние листья, все это ушло, и у него впереди длинные годы безнадежного одиночества.

Поверх скрипки он взглянул на актеров плавучего театра, выстроившихся в ряд вдоль перил верхней палубы. Они стояли молча и казались ему чужими и безразличными, словно пароход уже отчалил и удалялся, оставив его на берегу.

Клоду сделалось горько, но в этом горьком чувстве не было боли за себя, оно словно не касалось его лично. Время, когда он испытывал такого рода боль, уже давно миновало — его растворили воспоминания. Боль, испытываемая им сейчас, была грустью, печалью, чувством отчуждения, утраты и замешательства, словно он пережил свое время и теперь был всеми покинут и предоставлен себе.

Слегка повернув голову, он пристально посмотрел на Старого Джопа, стараясь внушить ему, что признает себя побежденным и что, начиная с этого момента, он будет играть лишь мелодии, которые переполняют его сердце, чтобы в последний раз воскресить счастье, которое познал в жизни. И Старый Джон ответил на его взгляд. Даже в неверном свете фонарей можно было увидеть, как вдруг будто изменился странный цвет его глаз, стал темнее, словно взгляд их обратился внутрь к какому-то сокровенному знанию. Покойно положив руки на скрещенные колени, Старый Джопп слегка кивнул головой.

Керолайн любила вальс «Сегодня я пою». И когда он заиграл его, забыв об окружающем, в его памяти зазвучали слова, которые Керолайн пела своим чистым нежным голосом:

Из роз венки надену,
Придет кого люблю...

Нет, не один вечер пела ему его Керолайн: все годы, что она делила с ним, она была весела и счастлива, создавая вокруг себя атмосферу радости и ощущение, что любовь никогда не проходит.

Не знают добры люди,
Что на сердце таю.
Пусть завтра плакать буду,
Сегодня я пою!

Знала ли Керолайн, что рано умрет, впервые подумал Клод. Она, возможно, предчувствовала, что ей придется его оставить, и пыталась внушить ему, чтобы он не печалился. Но одиночество и разбитое сердце — это не просто печаль, сказал он себе.

Клод не заметил, как начал играть Старый Джош. Он не знал, как это произошло: быть может, его смычок зашел на струнах, а может быть, Старый Джош решил вытеснить его игру своей торжествующей мелодией и выставить его на позор поражения.

Скрипач из Ревенс-Глена играл «Отступление Наполеона», обрушивая на слушателей шквал звуков, барабаны по струнам тыльной стороной смычка, щипля их, изображая ружейную пальбу и грохот сражения, а затем вдруг переходя на длинный непрерывный звук, в котором начли слышаться флейты и волынки. Все горцы как по команде затихли, а какая-то женщина, вынув металлический гребень из волос, подошла ближе к Старому Джошу и стала водить по зубьям, как по клавишам, привлекая из них звук, похожий на барабанную дробь.

Клоду казалось невероятным, чтобы кто-нибудь мог так воссоздать жизнь на скрипке, и он понял бесполезность дальнейшей борьбы. И все-таки он не мог заставить себя встать и уйти, как наказанный пес. Ему надо было еще что-то сказать — сказать себе и ночи, он должен был проститься с рекой.

Едва Старый Джош кончил, Клод заиграл и уже не мог остановиться. Одна за другой мелодии возникали в его памяти и беспорядочно пронеслись в голове, как яркие листья, подхваченные вихрем. Ему хотелось сыграть все, что он знал, каждую мелодию, игравшую им для Керолайн. Исполнив их сызнова, он надеялся на короткий миг воскресить жизнь, которую они прожили вместе. Он больше не играл для слушателей, он отдался страстному стремлению, тоске и раздирающей муке и спрашивал себя: не лучше ли было бы, если бы он никогда не любил? В юности он умел переносить одиночество, но теперь, старый и покинутый, он был одинок, несмотря на то, что его окружали люди, несмотря на свою любовь, и это одиночество внушало ему ужас.

Не делая паузы, он стал играть «Песчаную реку». Как он играл — хорошо или плохо, он не знал, потому что Керолайн была рядом с ним и он играл только для нее.

«Песчаная река» всегда напоминала ему о том, как он спас «Вечернюю звезду». Случилось это в поляр, почти четверть века назад. Они плыли вниз по реке ниже Сен-Луи, когда пароход внезапно качнулся и задрожал. Актеры с криком повыскакивали на палубу, готовые покинуть судно. Клод схватил лампу и бросился в трюм. «Вечерняя звезда» наскочила на сваю, и в днище зияла пробойна в рост человека. Он с ужасом смотрел, как вода хлещет через нее. Большинство команды спало, кричать было бесполезно из-за шума воды. Пробойну надо было немедленно заткнуть, он знал это, и знал также, каким образом это может сделать один человек.

Он ринулся по лестнице наверх, схватил толстое одеяло с постели, которую делил с Керолайн, и спустился обратно. Он обернулся одеялом, потому что вода была ледяной, наклонился над пробойной и стал постепенно втискиваться в нее всем туловищем, борясь с бившей оттуда струей воды. Его статное тело, завернутое в одеяло, заткнуло пробойну. Он расставил руки, чтобы найти опору, но задрожал от холода и испугался, что не выдержит.

Наконец появился капитан. Ругаясь на чем свет стоит, он стал звать команду и приказал соорудить пластырь.

— Тащите доски, — орал капитан. — Делайте ящик вокруг Клода! Делайте скорее ящик, чтобы заткнуть эту проклятую пробойну, иначе мы еще до утра пойдем к чертовой матери ко дну!

Клод не знал, когда к нему подошла Керолайн. Он стучал зубами от ледяного холода, глаза его были закрыты.

— Я здесь, дорогой. Выпей это, Клоди, — уговаривала она его, поднося ему к губам чашку горячего кофе, разбавленного виски. — О Клоди, ты самый великий актер на реке!

Матросы работали около часу, пока не сделали пластырь, и за это время она ни на миг не отошла от него. И не проронила ни одной слезы, и не говорила ненужных сочувственных слов. Вместо этого она улыбалась ему, шептала по поводу его любви, щебетала и смеялась звонким колокольчиком, и от нее исходила такая огромная любовь и гордость за него, что это помогло ему выдерживать, а позднее поправиться после сильнейшей горячки, продержавшей его неделю в кровати.

Спустя несколько дней к нему зашел капитан, чтобы сказать, что ему навсегда обеспечено место на «Вечерней звезде». Но, копчив играть «Песчаную реку» и перейдя сразу на веселые песенки «Ступай к черту» и «Встряхнись», Клод вспомнил, что тот капитан давно умер. У плавучего театра был теперь другой хозяин, и ему не было дела до старых обещаний.

Все те годы — в сущности, вся его жизнь — показались ему вдруг нереальными и неправдоподобными. И все же он знал, что они были. И ему мучительно захотелось вернуть их и пережить еще раз, прежде чем минует этот вечер и начнется бесцельное страствование.

Но тут его охватили растерянность и замешательство. У него не было таланта, чтобы повернуть мысли вспять. Рука со смычком повисла вдоль тела, он беспомощно оглядывался по сторонам. Старый Джон внимательно на него смотрел со спокойной, еле заметной улыбкой. Потом он склонил голову, очень медленно, почти благоговейно, и Клод догадался, что скрипач говорит ему: «Играй, я буду тебе вторить».

Клод снова поднял скрипку к подбородку и почувствовал неожиданную крепость в руках. Он заиграл «Черта в тростянке», потом «Бетти Эли», а Старый Джон аккомпанировал ему, создавая фон, придавая музыке полноту и силу.

Теперь Клод чувствовал, что играет лучше, чем когда-либо прежде. Смычок словно направляла нежная рука, и Клод перестал думать об обступивших его гордах. Что-то передавалось ему через музыку: не его или Старого Джона, а ту, что они создали вместе, — его партнер будто преобразил его. Раз, когда он заколебался, не зная, какую мелодию играть, Старый Джон перехватил инициативу и заиграл «Крошку Корн» — в медленном темпе, как всего лучше звучит эта мелодия. И к удивлению Клода, Старый Джон запел, уныло и гнусаво, по с чувством:

Слышишь, стонет сизая птица?

Стопет, плачет день-дневской...

Тут Клод понял, что Старый Джон из Ревенс-Глена музыкой говорит ему, что он все понял — понял, что жизни случается разбить сердце, понял одиночество, которое приносят годы, понял, что человек может отдать жизнь

любимой женщине, а затем обнаружить, что обречен еще долго жить без нее.

Потрясенный, Клод благодарно закивал Старому Джону. Тот чуть усмехнулся, и карие глаза его сверкнули, словно говоря Клоду, что жизнь не начинается и не кончается, как день, а течет вечно и непрерывно, как река, охватывая все дни человеческой жизни — даже горькие и одинокие. Когда они доиграли мелодию, Старый Джон сделал паузу.

Одна Керолайн понимала его до конца, думал Клод, но вот с гор спустился старый скрипач с карими глазами и улыбался ему, как его Керолайн, давая ему понять, что, если человек познал в своей жизни подлинную любовь, это должно помочь ему пережить любые испытания.

«Почему это не пришло мне в голову прежде?» — дивился Клод, вспоминая написанное им много лет назад стихотворение, к которому Керолайн подобрала музыку. Это был романс «О моя возлюбленная Керолайн». Со времени смерти жены он не мог заставить себя играть его, но сейчас он поднял смычок и заиграл.

Старый Джон, разумеется, не мог знать этого ромаса, но он стал вторить, уверенно, словно всю жизнь играл эту мелодию, извлекая из своего инструмента глубокие, дрожащие звуки. Клод смотрел на него, пораженный: Старый Джон преобразился, он не выглядел больше старым и казался духом, которого породила ночь.

Обернувшись назад, Клод посмотрел на плавучий театр и широкий речной простор за ним. Сердце его радостно забилось, страхи исчезли, он перестал чувствовать себя одиноким. Там, на реке, его ждала вся любовь, которую он познал, и замечательнейший в мире скрипач, Старый Джон из Ревенс-Глена, то аккомпанируя ему, то ведя за собой, отсылал его обратно к реке.

Теперь они играли вместе. Их музыка наполняла почт трепетом и расплывалась по реке и по горам, замирая где-то в высоте. Горцы, слушавшие с удивительным вниманием, словно они чувствовали, что происходит, стали хлопать в ладоши, а потом устремились к ровной площадке под деревьями и начали танцевать, кружась и прыгая с веселыми возгласами в слабом свете фонарей.

Актеры один за другим спускались по трапу и присоединялись к танцующим. И снова жизнь горцев переплелась со сказкой, когда они закружились с героиней и

субреткой, с комиком и злодеем — со всеми персонажами пьесы, приобщившей их к миру, где счастье всегда побеждает.

Клод приостановился, когда на берег сошел капитан, но Старый Джон не захотел прекращать игру. «Играй дальше. Веди теперь ты, дружище. Нынче мелодии сами к тебе идут».

Старый Джон вовсе не хотел этим сказать, что он признает за ним первенство. Клод все отлично понимал. Старый Джон говорил, что ни один человек не может спрятать любовь во всяком случае от человека, который состарился, играя по тысяче раз множество мелодий — мелодий грустных и веселых, мелодий о счастье, о любви и одиночестве, мелодий, заученных под сенью пустынного леса, где музыка словно наполняет воздух.

И оба смычка задвигались, скользя или молниеносно касаясь струн, исторгая из них музыку, которая впервые звучала тысячи лет назад.

ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Опережая появление большого желтого автобуса, слышался гомоп звонких ребячьих голосов. Стоящие на тротуаре родители подхватили крик, и он перерос в радостный приветственный гул, в шум веселой встречи. Незнакомые люди улыбались друг другу, их объединяло насмешливо-ласковое чувство, которое, видимо, всегда свойственно взрослым по отношению к их детям. Мужчина в пиджаке из твида стоял в стороне; прислонившись к стене дома комитета Ассоциации молодых христиан 63-й улицы, он, медленно и глубоко затягиваясь, докуривал сигарету; рукой, засунутой в карман темных брюк, он перебирал ключи.

— Эй, мам! Эй, папа!

— Папка!

Автобус затормозил у тротуара, двустворчатые дверцы его сложились гармошкой. Тыльной стороной руки водитель отер со лба пот, стараясь скрыть от возбужденных родителей свое облегчение.

— Здесь, Джеки! Сюда, сюда, сынок! Смотри, как он загорел!

Мальчишки высыпали из автобуса, маленькие личики искали и находили теплые руки, знакомые смеющиеся губы. Все эти худенькие мальчики протягивали какую-нибудь самоделку, расшитую бисером или из кожи, и каждый родитель гордо принимал бесценное подношение, — это входило в ритуал возвращения из летнего лагеря.

— Сам сделал? Ну, мать, что ты скажешь, а? Сам ведь сделал!

— Слушай, а где твоя сумка? Ты обедал?

— Посмотри, как он вытянулся! Дай-ка я погляжу на тебя, хорошенько погляжу. Да перестань ты прыгать!

Его мальчишка сошел последним. Сын был даже меньше ростом и худее, чем он себе представлял. Маленький, щупленький, бледный, в очках с толстой оправой, слишком большие передние зубы. Как косоглазый заяц. Загоревший нос только оттеняет меловую бледность лица; в левой руке судорожно сжата небольшая черная сумка, глаза щурятся за очками. В толпе образовался просвет, и они встретились глазами.

Мальчик сделал несколько шагов. Мужчина в твидовом пиджаке, затянувшись в последний раз, швырнул в сторону окурок. Потом оттолкнулся от кирпичной стены, отдирая прилипший к пей ворс пиджака. Внутри у него парастало знакомое напряженное чувство. Он неуверенно взъерошил рукой волосы мальчика и виновато улыбнулся, размышляя, как растопить лед.

— Вот так нос, а? Ну ты и загорел.

Мальчик моргнул.

— Он немножко облез.

Мужчина взял сумку, и они пошли рядом прочь от автобуса, от ребят и сияющих родителей.

— Давай пойдем через парк.

Мальчик поднял руку к вороту рубашки, помедлил перешитительно и опустил ее. Мужчина заметил это движение.

— Ты что, тоже сделал такую бисерную штуку?

Мальчик покачал головой.

— А что у тебя там?

Мальчик содрал с носа кусочек облупившейся кожи.

— Ничего.

Мужчина, поняв, что мальчик не хочет хвастаться своими сокровищами, перебрал сумку в другую руку и тронул сына за плечо.

— Глаза у тебя что-то покраснели. Ты спал этой ночью?

Мальчик покачал головой.

— Вчера, видимо, многие поздно легли, верно?

— Кое-кто.

Они шли через парк. Мальчику не хотелось говорить, а мужчина хотел, чтобы он разговорился. Почему-то ему казалось, что это особенно важно именно сейчас. Он вынул из плоского портсигара новую сигарету и подержал ее, не зажигая, между большим и указательным пальцами правой руки.

— Ныпче ты плавал лучше, чем в прошлом году?

— Чуточку. Непамного.

Мальчик притворился, что рассматривает болтающуюся пуговицу рубашки. Большими передними зубами он прикусил нижнюю губу. Мужчина остановился перед одной из каменных скамеек и жестом пригласил мальчика сесть.

— Ну, ладно, выкладывай. Что в этот раз стряслось?

Он ожидал слез, но их не было — за стеклами очков моргали сухие глаза.

— Ну что, к тебе опять приставали?

— Иногда.

— Ты жаловался, ябедничал воспитателю?

— Нет.

Мужчина усмехнулся.

— Что ж, и то хорошо. А что же ты делал? Давал сдачи?

Мальчик снова покачал головой. Ему не хотелось отвечать, он боялся расплакаться. А плакать он тоже не хотел.

— Господи! Ты что это? Даже если ты ненавидел лагерь, теперь-то ты дома, так что забудь о нем.

Мальчик прижал ладонью болтающуюся пуговицу. Он не смотрел на отца.

— Ладно. Больше не поедешь. Верно тебе говорю. Останешься со мной в городе. Как мы собирались в этом году. Ты ведь на меня больше не обижаешься, правда?

Мальчик снова покачал головой, на этот раз очень медленно; у него судорожно сжималось горло, он пытался сдерживать волну рыданий, клокотавшую в его щуплой груди.

— Я действительно ничего не мог сделать, — продолжал мужчина. — Дети ее раздражают. Не привыкла она к ним, вот и все. Но на будущий год...

Мальчик закрыл глаза, и отец заговорил как мог мягче, чтобы расположить его к себе.

— На будущий год я отправлю ее домой, к отцу с матерью в Бинтаун, и мы с тобой останемся холостяками, одни. Может, выберемся на стадион, посмотрим бейсбол или в музей сходим. Или еще что, куда ты захочешь. Хоть в зоопарк, мне все равно. Ну, как ты на это смотришь?

Не дождавшись ответа, мужчина встал и взял сумку. Его пальцы напряглись, охватывая ремни, и крепко сжались в кулак.

— Ты больше не бойся пачет лагеря. Мы славно проведем время вместе, будем шататься, как настоящие дружки. Ну, а сейчас...

Он показал па часы.

— Мне падо повидаться ты знаешь с кем. Во всяком случае, твоя мать может подумать, что с нами что-то случилось. Я ей сказал, что к трем ты придешь. Твой отчим что-то устраивает для одного из ребят, и она хочет, чтобы ты там был.

Он внимательно наблюдал, как мальчик реагирует на слово «отчим», но тот сидел, опустив голову, и ничего нельзя было увидеть.

— Ну п семейка у тебя стала, а? Всех по паре. Они наверняка захотят, чтобы ты рассказал им о лагере. Знаешь, тебе повезло. Ребята твоего отчима отдали бы все па свете, чтобы поехать в лагерь. Да у старого скряги разве поедешь. А я, черт возьми, тоже не хочу за них платить. На одного сколько истратишь п без...

Он не закончил п повернулся, собираясь уходить.

— Попли?

Мальчик кивнул. Пуговица, которая болталась па рубашке, осталась у него в кулаке; он швырнул ее в сторону. Когда мужчина скрылся из виду, мальчик сунул руку за пазуху, подержал ее там секунду и вынул. Он глядел па маленькую черепаху, которая оказалась па его ладони. По ее спине неровными буквами было выведено: «Лагерь «Радостный». Мальчик поднес черепаху к губам и поцеловал.

— Я вырос па два дюйма, — сказал он ей, — па четыре фунта прибавил в весе, п пет у меня ни отцов, ни матерей, ни сводных братьев, а в лагере я одного мальчишку держал под водой, пока он чуть не утоп.

Он выпустил черепаху под скамейку п медленно побрел по гравейной тропинке: вслед за мужчиной в твидовом пиджаке.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Д-р Вольфганг Борман переживал вторую молодость. Еще совсем недавно он руководил факультетом философии в Невпльском колледже, а теперь, удалившись на покой, вовсе не собирался чахнуть от апатии и одиночества. Коллеги доктора и обожавшие его студенты утверждали, что стареть он будет легко и проживет лет до ста. Конец академической карьеры — карьеры внушительной, принесшей ему мировую известность в кругах ученых, — он попросту считал окончанием очередной фазы своей жизни. И теперь, вступая в новую фазу, он во всем искал обновления, потому что, как он говорил своим студентам, «перемена — это единственный стимул».

Он стал изучать японский язык и говорил, улыбаясь, что будет писать хокку* в память о друзьях тревожных дней. Он занялся гравированием и тиснением букв (сделал эскиз нового экслибриса и подписал к памятник покойной жене), начал выращивать в парниках персидские дыни, стал изучать микологию, а также микрофагию и, поедая грибы, собранные на выгонах и на поле для игры в гольф, кокетничал со смертью, что вызывало резкие протесты его беспокойной экономки. Он бросил шахматы и взялся за бридж, а два вечера в неделю играл в покер; в этой игре его партнершей была мисс Блоссом Дювин, белокурая развязная секретарша казначея колледжа, а противниками — преподаватель логики мистер Стрит и его не в меру легкомысленная жена.

Но самое замечательное, что было в его новой жизни, это дом, который он построил себе во время весеннего семестра в последний год своего пребывания в колледже.

* Хокку — форма японского стихосложения.

Это был дом завтрашнего дня — вытянутой формы и наполовину из стекла. Его построили в прерии в шести милях от горной цепи, у подножия которой лежит Адамс, город, где находился колледж. Дом был невысокий и узкий, но длинный и походил на корабль, потому что там было нечто вроде палубы, огибавшей его со всех сторон. На палубе было несколько мест, откуда д-р Борман мог видеть Пайкс-Пик, находившийся на расстоянии ста пятидесяти миль, а за многообразием природы можно было наблюдать буквально отовсюду: здесь ослепительное сияние солища, там темная полоса дождя, еще дальше вихри желтой пыли, дымка тумана, окутавшая одну горную вершину, похожее на подушку облако, заслонившее другую вершину, прозрачный свет на леднике, сковавшем склоны третьей вершины. Дом вызывал изумление у обитателей Адамса, этого неопровержимого, утонувшего в грязи западного города, который со времени своего основания являл собою столь оскорбительное для глаза зрелище. Кто бы мог вообразить, что старый и рассеянный профессор, разъезжавший всюду на велосипеде и носивший старомодные гетры и привезенную из Старого Света накладки, совет себе такое экстравагантное гнездышко и, не задумываясь, выкрасит его в ярко-розовый цвет? Несовместимость между человеком и его жилищем вряд ли могло быть более явным. Ведь большую часть жизни д-р Борман провел в затхлых кабинетах, где громоздкая, навечно поставленная мебель (застекленные шкафы для книг, секретеры красного дерева с массивными ножками наподобие когтистых лап, черные кресла с кожаной обивкой, похожей на стеганое одеяло, диваны, огромные бюро, которые не сдвинешь с места, тяжелые, как свинец, круглые столы) теснилась в тускло-оранжевом свете всяческих ламп под абажурами с бахромой, и казалось, что сам он был неотъемлемой частью своего очага. Вы могли увидеть, как он раздвигает портьеры, как висели когда-то в домах, — из длинных нитей с напизанными на них темными деревянными бусами, могли увидеть, как он вешает свою шляпу на прямо-таки допотопную вешалку. А теперь представьте себе этого чудака с его серебряной бородкой, в черном шезлонге на палубе его сверкающего нового дома, в длинном светло-коричневом свитере из магазина Дж. С. Пенни, в помятом костюме из зеленого твида, в старомодных гетрах, в сорочке с крахмален-

ным воротничком и в тирольской шапочке — точно его разодели для какого-нибудь спектакля. При этом он попивает имбирное пиво из глиняной кружки и наблюдает в бинокль за орлами и за погодой. Стоило еще взглянуть на него, когда он копался в своем восточном садике (тут был и высокий арочный мостик, перекинутый над прудом, в котором плавали лилии, и плакучая ива, и причудливо изогнутая сосна, привезенная им из леса), защищаясь от солнца гигантским черным зонтиком, напоминающим зонты, под которыми швейцары из отелей спасаются от проливного дождя. Посмотрели бы вы, как он сидел в своей маленькой, светлой и чистой столовой и уплетал баранью отбивную или кровяную колбасу с красной капустой, запивая все это темным пивом. Куда бы вы ни пристроили его в этом доме, он все равно ничему не был бы под стать. Над этим посмеивались в Адамсе, но без ехидства, потому что д-р Борман был общим любимцем в городе.

Д-р Борман и его жена Хедда, скончавшаяся за два года до его отставки, приехали в Колорадо из Фрайбурга. Сначала они обосновались в Монреале, но там деятельность доктора была внезапно прервана сильным легочным кровотечением как раз в то время, когда авторитет его в университете стал заметно утверждаться. Когда после семнадцати долгих и томительных месяцев он покинул санаторий, где процесс удалось лишь приостановить, заботливые врачи посоветовали ему уехать на Запад, в Скалистые горы, под ярко-голубым небом которых он сможет со временем избавиться от всех бактерий. По их же совету он попросил о назначении в Невильский колледж, поскольку Адамс славился своим целебным воздухом. И провидению было угодно оказать ему услугу — незадолго до этого оно освободило для него место в штате колледжа, отправив на тот свет молодого преподавателя, больного туберкулезом.

Адамс расположился высоко над уровнем моря, и совсем рядом здесь поднимаются ввысь отвесные скалы и остроконечные вершины каменных громад, которые придают ему сказочный вид и поначалу пугают европейца, не привыкшего к такому ошеломляющему великолепию. Лекторский состав колледжа был превосходным, потому что многие известные преподаватели приезжали сюда по той же причине, что и д-р Борман. Если бы у них была

какая-нибудь другая болезнь, они бы уж читали лекции в Нью-Хэвеле или Припстоне, в Оксфорде или Бонне, где более сырой климат. В большинстве случаев они довольно легко мирятся со своим положением — известно ведь, что туберкулезные больные, вообще-то говоря, оптимисты, — и жили вполне сносно в арендуемых ими домиках. С каждым годом они придавали болезни все меньшее значение и наконец заявляли о своем решении вернуться на Восток или же в родные страны, как только здоровье их будет полностью восстановлено. Хотя «Нью-Йорк таймс» попадала в Адамс на четвертый день и они, возможно, не были в курсе последних событий, но жителями Шангри-Ла * их тоже нельзя было назвать. Приезжавшие в Адамс лекторы и отдохнувшие здесь друзья готовы были признать, что живущая замкнуто община полностью *au sang* ** всего происходящего и что в самой общине ведутся споры, такие же неугасимые и жаркие, как и колорадское солнце.

Вначале, когда Борманы только приехали — а это было в 1912 году, — они вовсе не собирались заживать здесь дольше, чем это было совершенно необходимо. Но спустя год с небольшим они уже не помышляли о том, чтобы жить где-либо в ином месте: безукоризненно чистый воздух просто ошарашивал, а солнце, сияющее в этом беспредельном небе, наполняло их дыханием молодости. Они не переставали радоваться тому, что живут на свете, дышали глубоко и спали, как дети. Они любили бродить по столовым горам, собирая там кипичкишик *** зимой, и анемоны — весной. Иногда они нанимали осликов с милыми мордочками и отправлялись верхом к бурному и очень красивому водопаду. Они приходили в восторг от ярких красок заходящего солнца и восхищались глубоким зимним снегом и шумными летними грозами. Они говорили, что место это зачаровано и потому так притягивает их к себе. Гуляя по горным плато, откуда на протяжении многих миль отчетливо видны творенья божьи, они то и дело останавливались, в молчании прижимая руку к учащенно бьющемуся сердцу.

* Шангри-Ла — вымышленная страна в Тибете, отрезанная от внешнего мира.

** В курсе (франц.).

*** Кипичкишик — смесь листьев и коры, которую в прежние времена курили индейцы и первые поселенцы Огайской долины.

И они любили не только этот край, но и его обитателей — коренных жителей и университетскую публику. Студенты осаждали их дом в часы, когда они уютно потягивали кофе, а знакомые приходили к ним по вечерам выпить подогретого вина или пива и завязать долгую и оживленную беседу.

Время от времени д-р Борман и Хедда заговаривали о том, чтобы провести лето в Европе — несмотря на удовлетворенность своей жизнью в Адамсе, они частенько тосковали по родному Фрайбургу; случалось даже, что и билеты на пароход бывали уже заказаны, но всегда что-нибудь мешало им пуститься в дорогу. Один раз Вольфганг был занят работой над монографией о Маймониде для «Хибберт джорнэл», в другой раз Хедда оказалась надолго прикованной к постели после выкидыша, который, к неутешной печали супругов, обрек их на бездетность. После второй мировой войны они уже не говорили о возвращении, потому что сама мысль о том, как должен выглядеть теперь Фрайбург, просто пугала их.

А в общем жизни они очень счастливо и так любили друг друга, что, когда Хедда неожиданно умерла от болезни сердца, друзья Вольфганга опасались, что он тоже умрет, от горя. Он попросил дать ему отпуск на целый семестр, который безвыходно провел дома, редко отзвываясь на звонки у входной двери и совсем не подходя к телефону. Но к концу отпуска он снова стал таким же общительным и словоохотливым, каким был прежде, и дом его вновь ожил.

Вернувшись к своей хлопотливой деятельности в университете, д-р Борман стал накапливать запасы различных сведений и новых знаний, которые могли бы пригодиться ему в невеселые дни после ухода в почетную отставку. Он принялся за изучение японского языка с профессором Саймингтоном — историком, который до заблывания туберкулезом долго жил в Киото, — прочел все, что Горен и Кэлбертсон написали о бридже, штудировал журналы, посвященные архитектуре, и в течение всей зимы трудился над проектом своего нового дома. Вначале подрядчики, когда он обратился к ним, отклонили его планы, считая их нереальными. Такие широкие окна, говорили они, непрактичны в условиях холодного климата, и добавляли, что он еще пожалеет, если соорудит над головой плоскую крышу. Если б это был не

д-р Борман, а кто-нибудь другой, опп, возможно, вообще не пришли бы, но д-р Борман обладал таким даром убеждения, что мог бы заставить реку остановить свое течение или уговорить подрядчика построить дом на Северном полюсе. В конце концов они все же взялись за работу, признав неохотно, но и без недовольства, что в своих расчетах он не допустил ни малейшего промаха. Пока шла стройка, д-р Борман ежедневно садился на велосипед и в своей романтической накидке, развевающейся где-то позади него, и в шапочке, поля которой стояли торчком на ветру, катил туда на огромной скорости, чтобы взглянуть, как вставляются оконные рамы и насколько успела вырасти травка. Он был похож на мать, с гордостью и умплением наблюдающую за удивительными переменами в развитии ее первенца.

В июне в университете окончилися занятия. После актового дня, на котором д-р Борман присутствовал последний раз в своей жизни, он оставил дом, где провел с Хеддой все эти годы, и переехал в новый дом, захватив с собой свою обширную многоязычную библиотеку, бюсты Платона и Лукреция, Эскулапа и Капта, коллекцию карт и старинного огнестрельного оружия, а также простыни из чистого полотна, купленные еще Хеддой. Он продал и роздал свою неуклюжую мебель, которую приобретал вместе с Хеддой, и все сувениры прежних времен — салфеточки, подушечки для иглоп, афганские шалп, фарфоровые стойки для зонтиков, вазочки для цветов из французского стекла. Он пересадил свои клубневые бегонии поближе к террасе на западной стороне нового дома, а позади него посадил несколько горных ясеней и ряд из восьми ломбардских тополей и, кроме того, причудливо засеял огород, окаймленный травой, гвоздикой, примулой и черноголовкой.

Утром, отправив грузовики с вещами, д-р Борман уселся на велосипед, привязав сзади футляр со скрипкой, а впереди — корзину с рыжим котом, и покатил к прерию, напевая сильным, но фальшивым баритоном «Gaudemus Igitur» *. Логик Стрит, видевший, как он катил мимо его дома, в тот же день позвонил по телефону историку Саймингтону: «Вы бы видели сегодня mein Herr

* «Будем радоваться» — начало старинной студенческой песни на латинском языке.

Доктор Professor с его котом и скрипкой, папевавшего веселую песенку и готового прыгать до небес». На это Саймингтон, смеясь, ответил: «Пока мы выращиваем маргаритки, он научится приемам джпу-джитсу». Блоссом Дювин тоже видела его, когда ехала в Денвер в своем миниатюрном малиновом автомобиле с откидным верхом. «Он просто душа и вовсе не так уж стар», — подумала она, и из искры симпатии в ее сердце разгорелся огонь. Блоссом Дювин ни капельки не возражала бы поселиться в этом ультрамодном доме обтекаемой формы.

Грузчики с помощью миссис Причард, экономки, принявшей на себя заботу о д-ре Бормане после смерти Хедды, и нескольких студентов, остававшихся на летний семестр, к полудню все успели расставить по местам и даже убрали стружку, картон и бочки. А ровно в двенадцать д-р Борман, этот старый весельчак, выстрелил в небо из аркебуза, который сам лично починил. Ребята грянули «ура!», а профессор откупорил бочонок с пивом, после чего по очереди обошел всех своих помощников, поднимая стакан и радостно восклицая «Prosit!»*. Он сожалел, что в доме нет достаточно спален, чтобы приютить всех этих добрых юношей, которые говорили языком скотников, но зато умели мыслить критически и трезво и высоко ценили его собственные взгляды и суждения. Он сожалел, и даже очень, что у него нет сыновей, но успокаивал себя мыслью, что любой студент — почти тот же сын, а — господь ведь знает — таких сыновей у него очень много.

Когда все пиво было выпито и развеселившаяся компания, не переставая шуметь и громко смеяться, постепенно разошлась, миссис Причард засеменгла на кухню готовить д-ру Борману второй завтрак. Сам же доктор направился в свою новую библиотеку, выдержанную в шафрановых тонах и красиво отделанную черным деревом. Расположившись там у большого окна, из которого виднелось все пространство от прерии до тундры, он улыбался всему, что только мог заметить, как близкому другу. Потом улыбка погасла, а взгляд стал грустным. Он понял, что через год или два у него уже не будет больше студентов, которые стали бы навещать его и состязаться с ним в остроумии, улетаая при этом яблоки и пекапы и

* За ваше здоровье! (лат.)

раздувая огонь в его камине. Стоило им выйти в свет, и они уже редко возвращались в Адамс, а если и возвращались, то это были уже не те юпоши, которые когда-то запылали упорно, напряженно. Не было и в помине того пыла, с которым они брались за все прежде, а глаза их во время разговора то и дело коснулись на часы. Д-р Борман вздохнул с грустью при мысли о разлуке с молодежью, а потом снова вздохнул, вспомнив о Хедде. Как она, бывало, мило смеялась и как же он любил ее. Он вспомнил, как она сидела за игровой доской, сражаясь с ним в триктрак, как ее пальцы то тянулись к пашкам, то отдергивались от них, и сердце его разрывалось от желания вновь увидеть ее милый смущенный взгляд. Но потом он упрекнул себя за свой нефилософский эгоцентризм и напомнил себе о тех сокровищах, что вскоре появятся в его саду и огороде, и о том наслаждении, которое будет доставлять ему этот дом с его поистине королевскими перспективами. И, устыдившись даже минутной меланхолии, он решительно принялся просматривать утреннюю почту, откладывая газеты и журналы в одну сторону, а письма — в другую.

На протяжении многих лет д-р Борман поддерживал обширную переписку с самыми разными людьми во всех уголках мира — с немногочисленными родственниками, бежавшими куда глаза глядят от войны и погромов, с друзьями по Фрайбургу и Монреалю, с товарищами по несчастью и врачами из туберкулезного санатория, с философами, с которыми он вел споры на собраниях научных обществ. Помимо этого, он писал многим людям, с которыми вообще никогда не встречался. Д-р Борман был очень добр и отзывчив, и, если ему нравилась прочитанная книга, рассказ или поэма, если он слышал по радио музыкальное произведение современного композитора, он тотчас же строчил автору поздравительное письмо — хорошо продуманное и с целым рядом замечаний, — из которого явствовало, что с произведение прочитано или прослушано внимательно и беспристрастно. И нередко такая непрошепаная увертюра приводила к прочной и длительной эпистолярной дружбе, причем с годами д-р Борман оказывался настолько осведомлен обо всем, что касалось этих друзей, — их семье, их домашних животных, их болезнях, печалях, радостях, — словно не раз обедал у них

в доме. Однажды некая Розалинда Трууп, одаренная молодая романистка из Йоганнесбурга, заискивающе попросила его прислать свою фотографию. «Поскольку движения вашей души, — писала она, — стали для меня предельно зримы, мне очень хочется узнать, как выглядите вы сами». Он послал ей моментальный снимок, на котором, кроме него, была и Хедда. Они стояли там по колени в цветущей аквилегии, а позади них виднелась широкая гряда снежных вершин. На это миссис Трууп ответила: «Что же это за цветы, в которых утонасто вы и Frau Professor? Не далее как прошлой ночью, — еще до получения фотографии, — мне приснилось, будто я встретила вас среди Котсуолдских холмов, на лужайке, усеянной полевыми астрами, и вы сказали мне: «Мы должны быстро собрать наши астры, потому что скоро выпадет снег». И вот на фотографии вы стоите среди цветов, а позади вас — снег!» После этого они еще долго упоминали в своих письмах об этой идиллической встрече в Англии, где оба никогда не были, пока все это не перестало казаться фантазией.

В Южную Африку и Японию, в Шотландию и Францию, в Израиль и Германию д-р Борман посылал в подарок книги, подписку на журналы, а также пакеты с продовольствием и одеждой, а детям своих друзей — паконечники для стрел и украшенные перьями повязки, какие носят на голове индейцы. Его корреспонденты слали ему ответные подарки, и время от времени кто-нибудь из них посвящал ему свою книгу. Когда доктору пришлось написать им о смерти Хедды, они искренне сочувствовали ему, и их тревожило его одиночество. Когда же он взялся строить дом, а затем послал им его снимки, все они снова воспряли духом.

Письма, которые он получал, касались и другой стороны его жизни: нередко восхищенные читатели выражали ему свое одобрение или же несогласие с как-нибудь из его очерков, появившихся в журнале «История идей» или в журнале «Метафизика и мораль». Он был плодовитым автором и, по его же собственному признанию, — он говорил об этом с упылой и разочарованной улыбкой — писал довольно скучно и с излишними подробностями. (Однажды он написал миссис Трууп: «Я прочел ваш новый роман и чуть не лопнул от зависти. Как же вы пишете! Если б у меня была хоть крупница

талапта! А то ведь всего лишь *casoëthes scribendi* *, а с этим на Парнас не попадешь! Может ли муза посетить меня, если я занимаюсь скромным делом — собираю, к примеру, погапки или разгадываю ребусы?» Но, несмотря на напыщенный слог и старогерманский синтаксис его монографий, у д-ра Бормана было немало почитателей, и, право же, ничто на свете не доставляло ему большего удовольствия, чем письмо человека, прочитавшего его произведение до конца.

Как раз к тому времени, когда д-р Борман удалился от общества, — после смерти Хедды — у него появился новый корреспондент. Это был молодой человек, по имени Генри Мэдлп, преподававший английский язык в одном из колледжей Флориды. Ему довелось как-то прочесть монографию д-ра Бормана «Новое исследование эстетики Бёрка». На этого блестящего юншу (д-р Борман обычно не скупился на хвалебные эпитеты по адресу своих поклонников) нашло вдохновение копнуть поглубже труды философа. В результате появилась тщательно составленная им библиография, куда были включены и ранние работы д-ра Бормана, о которых тот совсем забыл, а порой не прочь был бы и вообще отказаться. О самом Генри Мэдлп, биография которого постепенно выяснялась в ходе двухлетней переписки, профессору было известно следующее: приехал он из гористых районов штата Нью-Йорк, и ему было немногим больше двадцати лет. Он был единственным сыном в семье. Отец его, умерший много лет назад, был адвокатом, а мать, происходившая из аристократической, но бедной семьи, вынуждена была в конце концов поступить компаньонкой к «девятидесятилетней старухе, настоящему дракону, устроившему свое логово близ реки Гудзон. И вот здесь-то я провожу свои каникулы, стараясь быть со всеми вежливым». Он смог окончить Гарвардский университет, подвизаясь в качестве репетитора у богатых студентов и недоразвитых детей, а однажды летом прокатился по Европе, сопровождая группу подростков, путешествующих на велосипедах. Он писал эпические поэмы в стиле Мильтона, а также стихи, похожие на те, что сочинялись в эпоху королевы Елизаветы, и надеялся со временем показать их д-ру Борману.

* Писательский зуд (лат.).

Казалось, что Мэдли читал все и не забыл ничего. Его не в меру длинные письма, написанные на тонкой полупрозрачной бумаге и таким мелким почерком, что разобрать его удавалось лишь с помощью лупы, были самыми содержательными, какие д-р Борман когда-либо получал. Когда доктор упомянул как-то, что он взялся за японский, Мэдли прислал ему перечень различных выражений должностования. Когда же он сообщил, что собирается построить себе дом современной конструкции, Мэдли подробно ознакомил его с делом, которое Фрэнк Ллойд Райт возбудил против Мнеса ван дер Роге. Мэдли разбирался в оперной музыке, медицине (мог цитировать Сидепама, Плиния Старшего, Рене Теофиля Гнацинта Лаеннека), в живописи и садоводстве («Вы собираетесь посадить пионы, — писал он д-ру Борману, — но осмелюсь предупредить вас — если, конечно, вы этого не знаете, — что они чрезвычайно прихотливы. Эти цветы совершенно не выносят удобрений, а также соприкосновения с корнями деревьев. И сажайте их не слишком глубоко!»). Он был сведущ в вопросах кино и джаза, знал Фрейда и Катулла, знал коралл, был хорошо знаком с военной стратегией, иконографией, географией, геологией, антропологией и теологией. Его забавляло изучение оккультных наук, таких, как френология, алхимия и астрология. Он знал толк в винах, рыбе и разных сортах сыра, читал по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-латыни и по-гречески, играл в теннис, плавал среди коралловых рифов, а в рождественские канюкулы увлекался лыжным спортом на севере страны. Он чинил электроприборы для «дракона» и придумывал фасоны платьев для своей матери. Д-р Борман однажды написал ему, что такая замечательная личность, как он, смело могла бы фигурировать среди персонажей какой-нибудь аллегорической пьесы.

Случалось, Мэдли отвечал на пяти убожисто исписанных страницах на какое-нибудь мимоходом брошенное замечание в письме д-ра Бормана. И тогда д-р Борман начинал сердиться и выговаривал ему за столь обильное словонзлияние. Один раз он написал ему: «Мне кажется, вы из мухи сделали слона. Не все мои соображения, дорогой мальчик, заслуживают такого внимания. Боюсь, что я выразил свои мысли ужаснее, чем обычно, если вдохновил вас на поддержку моего шутливого замечания

в адрес Еврипида. И никак не могу согласиться с вами, что он «самый жалкий драматург в истории». Следует признаться, что шутка моя довольно-таки скверная, и мне теперь просто стыдно». В ответном письме Мэдли так уныженно извинялся, что д-ру Борману стало совсем стыдно. Тем не менее он продолжал журить Мэдли, когда тот, бывало, не задумываясь и безоговорочно со всем соглашался и тем самым совершал грех, о котором так сожалел впоследствии.

Этот обмен письмами был на самом деле очень интересным. Мэдли казался весьма незаурядным юношей, хотя был недисциплинированным и страшно напыщенным. «Не будьте слишком строги с глупыми блондинками, которых вы обучаете, — написал ему как-то д-р Борман. — Что это был бы за мир, если бы в нем не было обывателей, по поступкам которых мы можем судить о себе. Да хранит их бог!» После этого Мэдли вскользь упомянул о затруднениях, которые он испытывал со студентками, никогда даже не слышавшими об Аристотеле. Д-р Борман относился неодобрительно к некоторым черточкам характера Мэдли, но не сомневался, что время отсеет в нем все хорошее от плохого. Никто в наши дни не достигает полной зрелости в двадцать четыре года. Часто после какого-нибудь особенно содержательного письма — ведь когда мальчик бывал в ударе и не важничал, он казался просто очаровательным — д-р Борман искренне сожалел о том, что Генри Мэдли не его сын. Как было бы отрадно воспитывать и наставлять такого умного молодого человека! И как хорошо было бы иметь сына, в котором он узнавал бы облик дорогой Хедды и свой собственный склад ума... О, для старого философа все это могло быть плодами, созревшими к осени его жизни!

И вот сегодня, в первый день его пребывания в новом доме, словно поздравление, пришло письмо от Мэдли. Оно было, как обычно, объемистым и послано, как всегда, воздушной почтой. На сей раз Мэдли писал из города Гудзон, расположенного на реке того же названия (его преподавательская деятельность во Флориде была прервана до осени). Он приехал погостить к матери, которая жила здесь у «дракона». «Старуха, — писал Мэдли, — достала где-то неслающую собаку под стать разбитому пианино, на котором она многие годы играет баллады

Шопена, хотя, откровенно говоря, это мало похоже на Шопена». На первых пяти страницах письма — а всего их было семь, написанных все тем же микроскопическим почерком, — давался отчет о нескольких днях, проведенных в Нью-Йорке по дороге из Флориды. Он побывал там в музеях — и теперь делился своими впечатлениями о Матиссе и Рембрандте, — слушал современную камерную музыку и отыскал комплект одиннадцатого издания Британской Энциклопедии за двадцать долларов. Он настойчиво рекомендовал д-ру Борману поскорее прочесть статью об алфавите и не преминул сообщить, что возобновил изучение филологии и что считает глоссарий Хольтхаузена к «Бесовульфу» гораздо хуже, чем глоссарий Клебера.

Читая письмо, д-р Борман все время ерзал на месте, стараясь уменьшить артритные боли в левом бедре. Он вспомнил, что в сегодняшней суматохе забыл принять болеутоляющие пилюли. В общем-то для человека его возраста здоровье у него было отличное, подводили только суставы и глаза, да и то не слишком. Но подробнейшее описание пребывания Мэдли в Нью-Йорке настолько утомило его, что он почувствовал боль в ногах и сердце. Шестая страница письма начиналась так: «Теперь о сюрпризе, который, надеюсь, вы примете с таким же удовольствием, с каким я о нем сообщаю». Все мы любим сюрпризы, и д-р Борман ничем от нас не отличался. В надежде пойти сообщенные о возможной посылке ящика с апельсинами из Флориды или еще чего-нибудь съедобного из того, чем славятся районы севернее Нью-Йорка, он протер лупу и стал читать дальше. Он узнал, что у Мэдли появилась возможность бесплатно проехать в автомобиле на Запад вместе со своими старыми товарищами по Гарварду, которые собираются обосноваться в Аризоне. Поэтому он не прочь предложить свою персону, «как говорят наши братья англичане, в качестве вашего визави на одну-две недельки или же на столько времени, насколько это будет вам приятно. Я приеду со своей «квартирой» (палаткой) и со своей кухней (портативным рашпером). Надеюсь, вы приютите меня где-нибудь на задворках вашего дома; однако, если вид оттуда не будет радовать мой глаз, я заберусь на вашу знаменитую столовую гору. Итак, если мои расчеты верны, если нам не помешает бог, если... и т. д., то 25 июня, прихватив с

собой «квартиру», пишущую машинку, смену сорочек и пачку поэм, я переступлю порог вашего дома». Далее Мэдл писал, что ему ужасно хочется полазить по горам, побывать на какой-нибудь скотоводческой ферме и объехать города-призраки, что у него уйма всяких идей, связанных с восточным садом д-ра Бормана, о которых он расскажет по приезде, что он собирается о многом расспросить доктора и сам готов изложить ему различные теории и обосновать те из них, которые еще недостаточно научно обоснованы. И, уж конечно, все их споры и разговоры «всякий раз будут продолжаться до двух часов ночи». А в постскрипуме он сообщал следующее: «Поскольку я выезжаю завтра, то боюсь, у вас не найдется способа отказать мне. Однако та сердечность, какой проникнуты ваши письма, дорогой сэр, вселяет в меня уверенность, что вы окажете мне радушный прием. Заранее предвкушаю удовольствие от наших долгих бесед по ночам».

У д-ра Бормана за всю его жизнь никто не гостил (было бы, конечно, непростительно позволить мальчику поселиться во дворе, когда в доме пмелась спальня, которой даже не пользовались), и вовсе не оттого, что хозяева были недостаточно гостеприимны, а просто потому, что такая проблема никогда не возникала. И вот теперь д-р Борман был настолько ошеломлен неожиданным и бесповоротным решением Мэдли навязать ему роль хозяина, что, хотя он и не привык пить спиртное до пяти вечера, да и после этого часа пил его редко, он попросил миссис Причард принести ему стакан и бутылку виски.

Миссис Причард, похожая на грушу, с синеватыми узпками под мясистым и хищным носом, была до такой степени педантична (по мнению профессора, она страдала «хронической хрономанией»), что малейшее нарушение установленного порядка повергало ее в страшное волнение и доводило чуть ли не до нервного припадка.

— Виски?.. Днем?.. — в ужасе завопила она из кухни. — Но вы ведь уже пили пиво... Я ставлю воздушный пирог в духовку... Это пирог с луком, и он должен быть очень вкусным, но он может сесть.

Все же миссис Причард шумно засуетилась и принесла в библиотеку виски и лед, но, поставив их перед доктором, заявила:

— Не понимаю!.. Мы что же, будем пить и есть, как каждому из нас вздумается, только потому, что переехали в этот ультрасовременный дом?

— Не знаю, миссис Причард, — глубокомысленно произнес д-р Борман. — Не знаю, какой отныне будет наша жизнь... К нам приезжает гость — некий мистер Генри Мэдли.

— Гость к ленчу?.. Вам следовало предупредить меня!

— Нет, нет... Гость не к ленчу и не сегодня... Этот молодой человек придет к нам в пятницу и останется у нас на несколько дней, а быть может, и недель... Кто знает? Он готов жить в вигваме под деревьями.. Но мы, миссис Причард, предоставим ему комнату для гостей.

Миссис Причард задышала, точно вытащенная на берег рыба.

— Он не может приехать в пятницу, — с трудом выговорила она. — В пятницу у нас обедают Стриты и мисс Дювин, а вечером вы всегда в этот день играете в бридж. Вы должны были помнить об этом, когда приглашали его.

— Это не совсем так, — сказал д-р Борман. — Я не приглашал его. Он свалится к нам, как говорится, с неба или, если угодно, выскочит прямо из реки Гудзон.

— Вы хотите сказать, что не знаете его?.. Уж не думаете ли вы, что я обязана прислуживать совершенно чужому человеку?.. Постороннему молодому человеку?

Миссис Причард решительно недолюбливала молодежь, и когда студенты, случалось, заходили к ним, она бывала с ними предельно груба и разве только не давала им в ухо.

— Если он нам не понравится, мы его выпроводим, — робко проговорил д-р Борман, вздрогнув под грозным взглядом экономки. — Но я уверен, что он нам понравится. Думаю, он окажется приятным человеком.

— А если так, зачем же вам понадобилось виски как раз в тот момент, когда я ставила пирог в духовку?

Миссис Причард не раз говорила, что ее не проведешь. И сейчас, выпалив свою реплику, она двинулась обратно в кухню, откуда вскоре послышались отнюдь не случайные звон и грохот: это ясно означало, что вторжению Мэдли будет дан надлежащий отпор.

Потягивая виски, профессор испытывал необычное для него, человека спокойного, волнение. Предстоящее изменение ритма его жизни немного беспокоило его (замечание о долгих беседах по ночам не на шутку его встревожило, потому что спать он укладывался покоя века в десять часов). Кроме того, он слегка побаивался эрудиции Мэдли. Стыдно признаться, но немалое удовольствие от своего преподавания в Невпльском колледже профессор получал именно потому, что его студентки в большинстве своем были зелеными юнками. Однако, с другой стороны, было приятно сознавать, что теперь он ежедневно будет находиться в обществе такого энтузиаста. Они смогут вместе гулять по столовым горам и обсуждать различные проблемы, имеющие отношение к богу и человеку, а иногда, под настроение, ходить и в кино. Он думал о том, удастся ли ему влиять на образ мыслей своего юного друга. В его воображении Гепри Мэдли становился все более податливым, как воск, и д-р Борман уже лепил из него мягкой и осторожной рукой одну из наиболее выдающихся фигур в мире науки двадцатого века. А что, если усыновить его? Он мог бы стать своего рода памятником д-ру Борману, когда придет время и останки д-ра Бормана будут похоронены рядом с прахом Хедды.

Затем, отгоняя прочь все эти мысли, профессор сказал себе: «Хватит мечтать, Борман!» — и принялся за чтение игривой открытки с красивым видом, которую получил от миссис Трууп из Дурбана, где она отдыхала со своими детьми. «Я люблю собирать морские ракушки на берегу Индийского океана гораздо больше, чем сочинять романы, — писала она легким размашистым почерком, — и у меня это даже лучше получается. Какие чудесные ракушки! Джек составляет из них коллекцию, и это будет нашим подарком в ответ на ваши паконечники для стрел. Видите, какое место заняли вы в нашей жизни».

Милая миссис Трууп! Он вдруг почувствовал желание усыновить и ее. И ему захотелось, чтобы все далекие друзья приехали благословить его дом.

К вечеру приехал Гепри Мэдли. Он приветствовал хозяйку потоком эпиграмм на отличном ганноверском наречии, отказался от предложенной ему комнаты, а затем, поломавшись, согласился занять ее и тотчас же принялся выгружать свое имущество из такси, доставившего его

с промежуточной станции. (Со своими товарищами он расстался в Девпере.) Помимо палатки, портативного рашпера и спального мешка, он привез с собой два толстых саковья, шипущую машинку, теннисную ракетку, пару лыж, карабин, удочку и ящик с рыболовной снастью, магнитофон, сумку из зеленого сукна, до отказа набитую книгами, многочисленные фотопринадлежности и две огромные коробки с корневищами полевых цветов из долины Гудзона. При виде лыж брови миссис Причард вскинулись вверх и исчезли под прической — ведь кататься на лыжах близ Адамса можно будет только через три месяца! Прежде чем Мэдли поднялся в свою комнату, он извлек две бутылки «Берикастельского доктора» * из недр одного из своих саковья и с пылкой любезностью попросил миссис Причард приготовить жженку (тут же дав ей рецепт) с тем, чтобы можно было провозгласить тост за «самого выдающегося ученого в Америке». Он был настолько галантен и учтив и все делал и говорил с таким авторитетным видом, что сварливая миссис Причард, считавшая, что ее не проведешь, оказалась обезоруженной и послушно засемила на кухню, где приплясывая нарезать фрукты.

Не успел еще д-р Борман составить себе представление о молодом человеке — не считая того, что Мэдли порхает, точно ветерок, — как уже сидел на западной стороне палубы, потягивая мозельвейн (и как это Мэдли догадался, что «Берикастельский доктор» — его любимое вино, жженка была восхитительна) и отвечая на его трудные вопросы. А вопросы так и сыпались: то о разнице между неподвижными и движущимися моренами, то о ледниковой флоре, то об истории горного дела в этих краях. Молодой человек слушал ответы старика с таким сосредоточенным вниманием, с каким врач выслушивает стетоскопом сердце больного. И у д-ра Бормана было такое чувство, словно юпоша на всю жизнь запоминает каждую его мысль, каждое описанное им явление, какими бы мелкими и незначительными они ни были. Человеку обычно льстит, когда ему уделяют внимание и относятся к нему почтительно, и д-р Борман пылал от удовольствия, утоляя жажду этого неугомонного любителя научных разговоров.

* Лучшее мозельское вино.

Генри Мэдли носил очки и бородку; поэтому, глядя на них обоих издали, можно было найти между ними большое сходство. Но подойдя поближе, вы могли заметить, что очки юноши были в толстой черепаховой оправе, а очки старика — в золотой оправе, что черная бородка Мэдли курчавилась, а у д-ра Бормана бородка была гладкая и седая. Человек, подслушавший их разговор, сказал бы, что немецкая речь звучит у них одинаково, и только эксперт-лингвист подметил бы по высоким интонациям и высокопарным оборотам речи Мэдли, что язык он изучал в университете, а в акценте д-ра Бормана услышал бы мягкую певучесть, с какой говорят на юге Германии.

Поначалу, — если рассматривать бородку как забавное совпадение, — у д-ра Бормана создалось о мальчике приятное впечатление. Генри Мэдли был невысок, хорошо сложен. Во всем его облике, начиная с изящных маленьких ног, обутых в белоснежные парусиновые туфли, и кончая макушкой его красивой, коротко стриженной головы, угадывалась несокрушимость. У него были проворные и нервные пальцы, все в темных от никотина пятнах из-за непрерывного курения сигарет, а умные глаза поблескивали, быстро перебегая с одного предмета на другой. Голос у него был высокий, порой неистовый. Но, несмотря на такой голос, несмотря на стрижку ежиком и большую подвижность, Мэдли производил впечатление человека, прожившего на свете гораздо больше, чем двадцать четыре года, и д-р Борман был убежден, что в семьдесят лет он будет выглядеть почти так же. С заходом солнца лицо Генри Мэдли стало темнее, а его великолепные зубы — еще белее, и д-р Борман подумал, что он похож на красивого, элегантного и никогда не стареющего бесенка. Он был учтив, быстро на все реагировал, ясно и восторженно излагал свои мысли, которые свидетельствовали о том, что кругозор у него поистине очень велик. И все же д-р Борман не без удовольствия заметил, что Мэдли далек от совершенства: чего-то в нем не хватало — какой-то важной черточки, которая вовсе не пужна бесенку, но без которой человеку жить невозможно. Например, когда д-р Борман осведомился о его путешествии, действительно желая узнать, каким оно было, Мэдли уклонился от прямого ответа.

— Шоссе Лишкольна — это адво пекло, и оно уродливо, как смертный грех, так что путешествие не было

Одиссеей, и поэтому его не стоит воспевать дактилическим гекзаметром, — выпалил Мэдли и тут же спросил д-ра Бормана, ценит ли он Кроче как историка.

Обычно люди его возраста настолько большие индивидуальности, что от их «я» приходится защищаться с помощью искусной дипломатии. Но Мэдли был так далек от эгоцентризма, что д-р Борман стал сомневаться, есть ли у него вообще хоть какое-нибудь «я». Он говорил о своих планах, по отнюдь не о стремлениях, о своих идеях, связанных с каким-либо предметом, но не о своем отношении к нему; он мог привести цитату из «Путешествия на корабле «Бигль», но не сказал бы, что горит желанием сам совершить путешествие. «Это оттого, что у него есть только мать, «дракоп» и маленькие глупые блондинки», — сказал себе д-р Борман и решил сделать человека из этого выросшего без отца бесенка.

В тот вечер, за обедом, Мэдли имел сногшибательный успех. Мистер Стрит заявил, что еще не встречал человека, который бы так глубоко понял и осмыслил Уайтхеда и Рассела, а дамы были в восхищении от его шуточного описания логова «дракона» и от рассказа о встрече с фабрикантом товаров для бальзамирования. Когда же Мэдли похвалил *соф ау вин* *, миссис Причард влюбилась в него по уши. А когда он в нескольких словах рассказал о поделке на Рейне, гохгеймер ** в бокалах гостей превратился в нектар. После обеда, как только начали играть в бридж, Мэдли тихонько уселся в дальний угол библиотеки и стал читать «Дневник Уильяма Дэйлапа». Он читал до тех пор, пока Блоссом Дюпп не запротестовала, лукаво заметив хозяйню, что его гость просто псевда.

После этого к концу каждого роббера один из игроков выбывал и таким образом получалось, что Мэдли все время оказывался за карточным столом. По словам ошеломленного логика Стрита, он играл, как зверь.

В половине десятого, когда гости уже позевывали, досыта наигравшись в бридж и выпив по стакану некрепкого виски с содовой (больше они себе не позволяли), Мэдли спросил:

* Петух в вине (франц.).

** Гохгеймер — рейнское вино.

— А не хотите ли вы поучиться у меня, как играть в ломбер? Я научился этой игре только после того, как внимательно прочел «Похищение замка».

Таким образом, вся компания с увлечением провела еще битых два часа за колодой из сорока карт, заучивая пил, вернее, безуспешно стараясь заучить такие термины, как мапья и басто. При этом учитель всякий раз напоминал им, что «у черных козырей не может быть понто, и это самое важное из того, что следует запомнить».

Когда Стриты и мисс Дювин собрались уходить, их проводил до дверей не только хозяин дома, но и Мэдли, который тепло пожимал им руки и радушно говорил, что надеется вскоре встретиться с ними снова. Вернувшись в библиотеку, он взялся наводить порядок: вытряхнул пепел из пепельниц, убрал карты, взял два пары подушки... И тут внезапно у него заслезились глаза, и он стал громко и неудержимо чихать. В промежутках между этими взрывами он мучительно гримасничал и дергался, издавая при этом звуки, похожие на стон.

— Бедный мальчик, — сказал д-р Борман. — Вероятно, из прерии залетела сюда пыльца или еще что-нибудь в этом роде. В нынешнем году была сильная засуха.

— Это не пыльца, — задыхаясь, проговорил Мэдли. — Это вот что!

И он дрожащим пальцем указал на Грималкина, рыжего кота, по всей видимости, проникшего в дом через свою лазейку, которую д-р Борман сделал для него в кухонной двери. Кот сидел на подоконнике и с любопытством поглядывал на трясущегося и чихающего незнакомца, у которого из груди вырывалось хрипкое с присвистом дыхание.

Ну и начало для визита! Нечего сказать! Все еще задыхаясь, Мэдли рассказал д-ру Борману о том, что с раннего детства кошки всегда вызывали у него подобную реакцию. Что же делать? Ясно, что Грималкин, этот роскошный кот и властелин в доме, вовсе не собрался менять своих привычек. Что же касается д-ра Бормана, то он, конечно, не мог допустить, чтобы Мэдли переселился на столовую гору со своей палаткой или же немедленно вернулся к «дракопу» и ее нелающей собаке, хотя юноша в отчаянии и страхе сам предложил это.

— Но постойте, — сказал д-р Борман. — Мой зверь по так уж опасен, уверяю вас... К тому же он никогда не заглядывает в комнату для гостей... Пойдемте-ка наверх, может быть, там нам станет лучше.

Очутившись в своей комнате, Мэдли стал с жадностью глотать разноцветные таблетки антигистамина и вскоре действительно почувствовал себя лучше. Он заявил, что будет держаться подальше от кота, а д-р Борман, испытывая крайнюю неловкость в связи с происшествием, заверил его, что и он и миссис Причард сделают все возможное, чтобы Грималкин не проникал в дом; как раз в это время года у него есть немало всяких дел на улице, где он гоняется за землеройками и обнюхивает цветы. А завтра первым делом д-р Борман забьет досками кошачью дверь.

На следующее утро, когда д-р Борман проходил по коридору верхнего этажа, он заметил на полу у самой двери комнаты Мэдлидохлую крысу. Он невольно улыбнулся, а войдя в столовую, увидел Грималкина на его привычном кресле, напротив места хозяина. Д-р Борман погладил большую мужественную голову кота и сказал: «Ах негодник! Злодей ты этакий! Как же ты пробрался сюда?», хотя прекрасно знал, что Грималкин проник в дом через свою лазейку. Между тем кот спокойно уписывал свой завтрак, который, по установившейся традиции, состоял из корнфлекса, обильно сдобренного сметаной, и при этом громко и самодовольно мурлыкал.

С тех пор как миссис Причард вошла в дом д-ра Бормана, сердце ее было отдано трем существам: Хедде, самому доктору и Грималкину. Коту она покупала игрушки в магазине «От пяти до десяти центов», выращивала для него на кухне кошачью мяту в цветочном горшке, готовила для него особые блюда (больше всего ему нравились кукурузный пудинг), чистила его щеткой, чесала ему за ушами, ласкала его, разговаривала с ним и позволяла ему пугать птиц в ее корзинке для вязания. Поэтому, когда д-р Борман, подкрепившись третьей чашкой кофе (это было для него необычно), объявил ей, что собирается заколотить кошачью дверь и что отныне Грималкин не должен из-за Мэдли находиться в доме, она возмущилась.

— Вот как! — заорала она. — Этот юпоша больше не восхищает меня. В его раболепных поклонах и медоточивых замечаниях, в его «Журочка восхитительна, миссис

Причард!» и «Прошу вас, д-р Борман!» есть что-то подлое. Прогнать Грималкина! Вот еще! А что, если милорд невзлюбит и меня? Может быть, тогда и мою дверь прикажете заколотить досками?

— Полно, миссис Причард, — попытался успокоить ее д-р Борман. — Сейчас лето, и у Грималкина хватит дел и на улице. За несколько дней с ним ничего не случится.

— Несколько дней!.. А лыжи вы видели? Еще никто не катался здесь на лыжах раньше октября.. Насколько я понимаю, мистер Генри Мэдли привез с собой все свое добро и намерен остаться здесь до второго пришествия.

— О сударыня, будьте благоразумны! — со вздохом сказал д-р Борман.

Он не привык к семейным раздорам, и это смущало его. Кроме того, он вовсе не был уверен, что миссис Причард не права, и только надеялся, что юноша спит поздно. И вообще ему не хотелось много об этом говорить.

— Отлично! — сказала миссис Причард. — Но мы еще посмотрим!..

И, плотно сжав губы, она подхватила Грималкина, прижала его к своей любящей груди и зашагала с ним на кухню.

Генри Мэдли пробыл у д-ра Бормана три недели и в течение всего этого времени вел себя активнее любой обезьяны. Он взял напрокат велосипед и купил себе тирольскую шапочку, он перенял политические убеждения д-ра Бормана, а также его вкусы в музыке и пище. В обществе он неустанно вторил своему хозяину, хотя и старался делать это как можно незаметнее. Уже на второй день д-р Борман начал уставать от него, на третий день стал его всячески избегать, а на четвертый — увязался за Блоссом Дювни, поехавшей на машине в Денвер, где смотрел какой-то ковбойский фильм, пока она делала покупки в магазинах. Но Генри Мэдли было невдомек, что он порядком надоел своему хозяину. Напротив, он нередко находил совпадение их взглядов настолько полным, что уже готов был поверить в великодушие господина. Он был очень занят. Он не только непрестанно забивал голову д-ру Борману, но и с остервенением возился в саду, переставлял с места на место мебель на веранде, включал свой магнитофон и играл на скрипке д-ра Бормана, читал вслух свои поэмы (они были ужасно длинными) и де-

лал сотни фотоснимков. К исходу первой недели вконец измученный д-р Борман посоветовал Мэдли присоединиться к какой-нибудь группе туристов, которые собирались посетить города-призраки. Но Мэдли заявил, что, если д-р Борман не поедет с ним, он предпочтет остаться дома. Он не ходил на рыбалку, потому что д-р Борман не ловил рыбу, не играл в теннис, потому что д-р Борман был слишком стар, чтобы посидеть по корту. В гости их приглашали вместе, а когда д-р Борман принимал гостей у себя, Мэдли исполнял обязанности хозяина. При этом он говорил: «Сегодня мы угостим вас писпортером*» или: «Нам удалось уговорить миссис Причард приготовить холодный щавелевый суп». И эти «мы» и «нам» проносились до тех пор, пока д-ру Борману не стало казаться, что его собственное «я» постепенно ушляется от него. У него было такое впечатление, точно он всюду таскает с собой маленькую обезьянку, которая научилась говорить по-немецки с брейзгауским акцентом и которая повторяет за ним каждое его слово, каждый жест. Чувство удовлетворения, которое он испытывал в первый день, когда Мэдли, казалось, слушал его с таким самозабвением, исчезло без следа.

Миссис Причард не разговаривала с Мэдли. Ненависть ее была убийственной; казалось, она не прочь подсыпать ему мышьяк в пищу. И в конце концов не кто иной, как миссис Причард, это коварное и прелестное существо, выжила его из дома. В этом ей помог Грималкин. Она поступила очень просто — убрала доску, загоразивавшую кошачью лазейку. Миссис Причард была удивительно хитра; впоследствии она призналась, что каждый вечер поджидала, когда молодой человек отправится спать, а затем прокрадывалась на кухню и убирала доску. А утром, еще задолго до того, как мужчины просыпались, она снова приколачивала ее.

Как-то ночью д-р Борман метался во сне из-за своего артрита и часто просыпался от яркого света луны. Кроме того, его очень удручала вся эта история с Мэдли, ибо впервые за его долгую жизнь нашелся человек, который по-настоящему не нравился ему. Он дошел до того, что возненавидел своего бородатого гостя, слишком засидевшегося в его доме, почти так же люто, как миссис

* Писпортер — мозельское вино.

Причард. Что же с ним все-таки творилось? Почему он, человек, умудренный годами и опытом, не мог спокойно уйти от этой дилеммы? Он погружался в неглубокий сон, просыпался и снова начинал дремать. Ему спилась Хедда. Спилось, что они вместе едут на велосипедах по Шварцвальду, с трудом, тяжело дыша, преодолевают какой-то холм и непрерывно о чем-то разговаривают. «Тетушка Гертруда рассердится на нас за опоздание к чаю, а я ведь обещала привезти сливочного масла», — сказала Хедда. От волнения она даже расплакалась, а потом стала трагически рыдать, и он громкими возгласами старался ее утешить. Он пытался понизить голос, но не мог и проснулся от своего крика: «Не так уж мы запаздываем, дорогая! У нас еще есть время до захода солнца!» Испугавшись своего собственного голоса, доктор привстал и зажег свет. В дверях стоял Мэдли.

— Кот здесь? — спросил он.

— Послушайте, Мэдли, — сказал д-р Борман с необычной для себя храбростью. — Я не люблю, когда посреди ночи заходят в мою спальню.

— Простите, сэр, я бы этого не сделал, если бы...

Но тут Мэдли начал чихать, да так бурно и неудержимо, что из груди его стали вырываться хриплые стоны, а из покрасневших глаз ручьем потекли слезы. По всему было видно, что у него приступ астмы.

Д-р Борман присел на постели, твердо решив не упустить момента.

— Бедняга, — ласково сказал он. — Боюсь, что мой старый рыжий кот перехитрил нас. Вы же знаете, какно они плутишки.

— Я скрывал от вас, сэр, — сдавленным голосом пробормотал Мэдли, — но вот уже целую неделю кот каждое утро притаскивает к двери моей комнаты здоровенные куски какой-то дохлятины. А сегодня он перешел все границы: пробрался в комнату каким-то известным ему одному дьявольским способом. И теперь мне небезопасно оставаться там.

Д-р Борман улыбнулся, предусмотрительно прикрыв рот рукой.

— Мне очень жаль, — сказал он и как-то странно щелкнул языком.

— Не знаю... не знаю, согласитесь ли вы...

— На что, Мэдли?

— На то, чтобы... о нет, сэр... я не осмелюсь предложить...

— Избавиться от Грималкина?.. Вы ведь это хотели сказать?

— Собственно говоря... да...

— Нет, на это я не согласен. Мой милый рыжевый котик живет у меня в доме пятнадцать лет и будет жить здесь до самой смерти.

— Ну что ж, если ему непременно нужно находиться в доме, тогда мне лучше перебраться во двор.

— Послушайте меня, Мэдли, — сказал д-р Борман, устыдившись собственного коварства, но в то же время весьма довольный собой. — Если уж Грималкин прицепился к вам — а то, что он прицепился, не подлежит сомнению, — вряд ли это что-нибудь изменит. Он влезет в вашу палатку и будет беспокоить вас и там. Нет, мой мальчик, боюсь, что Грималкин обвел нас вокруг пальца.

Тут Мэдли снова нестерпимо зачихал, и его одухотворенное лицо густо побагровело. Когда приступ прошел, он в изнеможении прислонился к двери и жалобно застонал. Когда же он снова заговорил, в голосе его звучали гнев и раздражение.

— Если бы я знал, что у вас есть кошка, — сказал он, — я ни за что не совершил бы этого путешествия... Неужто ничего нельзя сделать?

— Боюсь, что нет, — ответил д-р Борман. — Едва ли... едва ли тут можно что-нибудь сделать.

— А что, если мне перебраться на столовую гору?

— Я бы вам не советовал, — возразил д-р Борман. — В это время года там уйма гремучих змей.

— Тогда что же мне делать? — в отчаянье воскликнул Мэдли.

На какую-то долю секунды д-р Борман заколебался, но вовремя спохватился, вспомнив утомительные и скучные мопологи Мэдли, его назойливые вопросы и снова испытал неприятное чувство, точно Мэдли ограбил и обезличил его.

И он сказал:

— Придется уж вам вернуться к «дракону» и его плавающей собаке.

Наутро, когда они встретились за завтраком, Генри Мэдли был бледен и едва держался на ногах. Ночь у него, надо полагать, была скверная. Д-р Борман, который

отлично выспался после того, как гость его ретировался, завел было разговор о пещерных рисунках в Испании. Но Мэдли было не до того; он слабо улыбнулся и попросил разрешения удалиться.

Спустя час к дому подъехало такси, и Мэдли навалил на заднее сиденье свои многочисленные пожитки. Спящая миссис Причард вынесла ему пакетик с ланчем, в то время как Грималкин, греясь на солнышке под редкой листвой плакучей пвы, вылизывал себе спинку.

— Ну, auf Wiedersehen *, Мэдли, — добродушно сказал д-р Борман. — Напишите мне.

— До свидания, — печально отозвался Мэдли. — Подумать только, чтобы кошка... Я мог бы решить, что все это подстроено.

— Приятного путешествия, сынок, — сказал д-р Борман и содрогнулся, произнеся это слово.

Наконец мрачный и надутый Мэдли уселся в машину. Затем, овладев собой, он принял свой обычный вид и сказал по-немецки с южногерманским акцентом:

— Быть может, когда Грималкин отправится к своим предкам, вы снова пригласите меня? Мы ведь не успели обсудить и сотой доли интересующих нас вопросов.

К счастью, шофер завел мотор и машина тронулась, прежде чем д-р Борман вынужден был что-то ответить. А миссис Причард, скрывшаяся в доме еще до отъезда Мэдли, вышла теперь снова, неся в руке тарелку с сардинками. Не говоря ни слова, она протянула ее д-ру Борману. Последний взял тарелку и так же молча поднес ее героическому коту, который принял угощение с протяжным и радостным мурлыканьем. Присев на корточки возле кота, старик с наслаждением оглядел свой сад, а потом несколько удивленно посмотрел на дом. Какой прекрасной и щедрой казалась ему жизнь! Как приятно, что случаю было угодно создать такой контраст: хорошо немного померзнуть, а потом согреться, хорошо утомиться, а потом отдохнуть и снова быть полным сил. Право же, чудесно, что Мэдли приехал и уехал. Эти резонные и согревающие душу мысли пришли в голову д-ру Борману, пока он наблюдал за котом, который доел теперь хвост последней сардинки. Потом он взял свой большой черный зонт и принялся работать в саду.

* До свидания (*нем.*).

Он вырвал с корнем полевые цветы, привезенные Мэдли из долины Гудзона, — и вовсе не со зла, а просто потому, что они никак не подходили к остальным растениям, — и выбросил их в пруд с лилиями. Как раз в эту минуту к дому подкатила Блоссом Дювин.

— Я решила вам напомнить, что сегодня мы играем в бридж, — крикнула она своим грубоватым, металлическим голосом. — Не вздумайте только опять угощать нас гуляшем...

Д-р Борман пошел ей навстречу, снова думая о всевозможных прелестях жизни: как приятно эта милая недотеха после Мэдли с его страстью к всезнанию; как хорошо сыграть в ломбер после бриджа; а увидеть умиротворенную и довольную миссис Причард!

— Что с вами! — удивилась мисс Дювин. — Вы что-то смахиваете на кота, проглотившего канарейку.

— Возможно, — с ухмылкой ответил д-р Борман и заговорщически поглядел на Грималкина, намывавшего макушку своей мудрой головы.

ГОЛУБОЙ ПЕРИОД ДЕ ДОМЬЕ-СМИТА'

Как ни мало сейчас в этом смысла и как ни проста эта история, подчас такая добродетельная, мне хочется посвятить ее памяти моего далеко не добродетельного отца Роберта Агаджапана, или Бобби младшего, как все, и в том числе я, называли его. Он умер в 1947 году от тромбоза, без единого приступа, но не без некоторых угрызений совести. Мой отец был живой, удивительно обаятельный и великодушный человек. После того как я столько лет упрямо отказывался признать его рыцарские достоинства, сейчас я считаю вопросом жизни и смерти вознаградить его этими эпитетами.

Мои родители развелись зимой 1928 года, когда мне было восемь лет, а в конце весны мать вышла замуж за Бобби Агаджапана. Через год во время финансового кризиса Бобби разорился и потерял все, что было у них с матерью, кроме, как казалось, волшебной палочки своего обаяния. Во всяком случае, за одну ночь из вполне заурядного биржевого маклера и несостоятельного *bon vivant** он превратился в энергичного, хотя и не вполне квалифицированного агента-оценщика американского объединения картинных галерей и музеев изящных искусств.

Через несколько недель, то есть в начале 1930 года, папа весьма неоднородная семейная тройка переехала из Нью-Йорка в Париж, чтобы Бобби мог совершенствоваться в своей новой профессии. В то время я был десятилетним мальчишкой, чья невозмутимость граничила с равнодушием, и потому великое переселение не причи-

* Прожигатель жизни (*франц.*).

пило мне ни малейшего огорчения. Но меня глубоко потрясло наше возвращение в Нью-Йорк, когда мы приехали туда с Бобби после девятилетнего отсутствия, через три месяца после смерти матери.

Для через два после нашего приезда в Нью-Йорк произошел примечательный случай. Я сжал по Лексингтон-авеню в переполненном автобусе и держался за никелированную стойку возле сиденья водителя, стоя зад к задку с каким-то парнем. На протяжении нескольких кварталов водитель довольно решительно предлагал столпившимся у передней двери пассажирам «пройти в конец автобуса». Кое-кто попытался сделать ему такое одолжение, а кое-кто нет. Наконец, воспользовавшись красным светом светофора, раздраженный водитель повернулся на своем сиденье на 180 градусов и посмотрел на меня, потому что я стоял прямо за его спиной. В девятнадцать лет я был одним из тех юнцов, что никогда не носят шляпы, зато над далеко не античным лбом у меня торчал черный и не особенно чистый кок на европейский манер.

— Ну вот что, приятель, — обратился ко мне водитель негромко и почти вежливо, — подай-ка свой зад назад.

Ему не следовало называть меня «приятель». Не потрудившись даже слегка поклониться к нему, чтобы наша беседа осталась между нами, и таким образом отвергнув предложенный им *bon goût**, я сообщил ему по-французски, что считаю его неотесанным, грубым, тупоголовым кретинном и что он никогда не сможет себе представить, до чего он мне противен. Затем, чрезвычайно довольный собой, я протиснулся в конец автобуса.

Но это еще что. Когда спустя неделю я вышел однажды перед вечером из отеля «Риц», где мы с Бобби остановились на неопределенное время, мне показалось, что на улице расставлены все сиденья из всех нью-йоркских автобусов и всюду идет какая-то чудовищная игра в музыкальные стулья**. Может, я и захотел бы вступить в

* Хороший тон (франц.).

** Игра, в которой участники ходят под музыку друг за дружкой вокруг стульев, причем стульев на один меньше, чем играющих. Как только музыка прекращается, играющие бросаются к стульям; тот, кто остался без стула, выходит из игры. В конце концов остаются двое играющих, и побеждает тот, кому удается захватить единственный оставшийся стул.

эту игру, если бы манхэттенская церковь клятвенно заверила меня, что пока я не сяду, все остальные играющие будут почтительно стоять. Когда же выяснилось, что ничего подобного в ближайшем будущем, по-видимому, не произойдет, я начал действовать более решительно: стал молиться о нпспослании мне милости, чтобы из города исчезли все люди и я остался один — ОДИН! — единственная молитва жителей Нью-Йорка, которая почти всегда доходит по адресу и исполняется без промедления. И очень скоро все, к чему я прикоснулся, окружило меня беспросветным одиночеством. Я посещал школу живописи, которую ненавидел всей душой, — то есть мое тело пребывало там, на углу 48-й улицы и Лексингтон-авеню, с утра до обеда. (За неделю до того, как мы с Бобби уехали из Парржа, я получил три первые премии на национальной выставке юных художников, которая была устроена во Фрайбург-Галлери. Все время, пока мы плыли в Америку, я не отводил глаз от зеркала в нашей каюте, отыскивая в своем лице таинственно-жуткое сходство с чертами Эль-Греко.) Три вечера в неделю я проводил в кресле дантиста, где всего за несколько месяцев лишился восьми зубов, причем три из них были передние. Остальные два вечера обычно проходили в картинных галереях, чаще всего на 57-й улице, где я только что не плевался, любуясь шедеврами американского искусства. После ужина я обыкновенно читал. Я купил полное Гарвардское собрание классиков — главным образом потому, что Бобби сказал, что наш номер для них тесноват, — и из упрямства прочел все 50 томов. По ночам я неизменно устанавливал мольберт между кроватями в нашей с Бобби спальне и рисовал. Как свидетельствует мой дневник за 1939 год, только за один месяц я написал 18 картин маслом. Небезынтересно, что 17 из них были автопортреты. Однако иногда, когда моя муза вдруг начинала капризничать, я бросал краски и принимался рисовать карикатуры. Одна сохранилась у меня до сих пор. На ней изображен широко раскрытый рот человека, сидящего в кресле дантиста. Язык человека не что иное, как американская сто-долларовая банкнота, и дантист говорит сочувственно по-французски: «Пожалуй, коренной зуб можно оставить, но вот язык, наверное, придется удалить». Мне эта карикатура нравилась чрезвычайно.

Что касается наших с Бобби отношений как людей, вынужденных делить один номер гостиницы, то мы были приблизительно столь же совместимы, как беспредельно терпимый и к самому себе и к ближним выпускник Гарвардского университета и ужасно неуживчивый повзрочок Кембриджа. Не помогло нам и сделанное, по мере того как шли недели, открытие, что оба мы любим одну и ту же женщину, которой уже нет. Почему-то после этого мы стали неестественно любезны и предупредительны друг с другом, от чего нас обоих тошнило. Сталкиваясь на пороге ванной, мы обменивались лучезарными улыбками.

Однажды в мае 1940 года, месяцев через 10 после того, как мы с Бобби обосновались в отеле «Ридж», я прочел в одной из квебекских газет (я подписался всего на 16 газет и журналов, выходящих на французском языке) объявление, занимавшее четверть газетного столбца и помещенное дирекцией школы заочного обучения живописи в Монреале. Дирекция предлагала всем опытным преподавателям немедленно (у нее просто не хватает слов для выражения того, насколько быстро это должно быть сделано) предложить свои услуги самой новой, самой прогрессивной школе заочного обучения живописи в Канаде. Кандидаты должны одинаково хорошо владеть как французским, так и английским языком, причем обращаться к дирекции следует только людям с безупречной репутацией и ведущим умеренный образ жизни. Летняя сессия в «Les Amis Des Vieux Maîtres» * официально должна была начаться 10 июня. Образцы работ, выполненных в академической манере, а также рисунки рекламного характера надлежало присылать на имя мсье И. Ишото, directeur'a **, бывшего члена Императорской Академии изящных искусств в Токио.

С чувством полнейшей независимости и безграничной уверенности в себе я немедленно извлек из-под кровати Бобби его портативную пишущую машинку и напечатал мсье Ишото длинное и отнюдь не свидетельствующее об умеренности моего характера письмо по-французски, для чего пришлось пропустить все утренние занятия в школе живописи на Лексингтон-авеню. Вступление заняло три

* Друзья старых мастеров (франц.).

** Директор (франц.).

стрианицы. Я печатал с таким жаром, что чуть не испепелил бумагу. Я писал, что мне 29 лет и что я внучатый племянник Оноре Домье. У меня есть небольшое поместье на юге Франции, но после недавней смерти жены я переехал в Америку, где временно — я ясно дал это понять — поселился у своего престарелого родственника. Я писал, что занимаюсь живописью с раннего детства, но никогда не выставлялся, следуя совету старейшего друга нашей семьи Пабло Пикассо. Однако несколько моих картин маслом и акварелей украшает лучшие дома Парижа (о домах нуворшней, конечно, не может быть и речи), где они постоянно привлекают внимание самых суровых критиков современности. После безвременной трагической кончины жены, последовавшей от *ulcération cancéreuse* *, я решил никогда больше не брать в руки кисти, но нынешние финансовые затруднения заставили меня изменить принятое *résolution* **. Я почти за честь представить свои работы «Les Amis Des Vieux Maîtres», как только мой агент, которому я напишу, — конечно, *très pressé* ***, — вышлет их мне из Парижа. С уважением Жан де Домье-Смит.

Псевдоним я придумывал почти столько же, сколько сочинял все письмо.

Я напечатал письмо на папиросной бумаге, но вложил его в конверт с гербом отеля «Риц». Наклеив марку для ценного письма, которую я нашел в верхнем ящике стола Бобби, я спустился в холл и бросил письмо в почтовый ящик. По пути я зашел к портю, который явно не выносил меня, и поставил его в известность, что в ближайшее время на имя де Домье-Смита начнет поступать корреспонденция. В 2.30 я незаметно проскользнул в аудиторию школы живописи на 48-й улице, где в 4.35 начались занятия по анатомии. Первый раз в жизни мои товарищи показались мне вполне сносными типами.

Следующие четыре дня я употребил на изготовление дюжины образцов того, что считал типичной американской рекламой, на что ушло все мое свободное и не вполне свободное время. Работая акварелью и иногда, желая блеснуть, пером, я изобразил театральный подъезд в ве-

* Раковая опухоль (франц.).

** Решение (франц.).

*** Немедленно (франц.).

чер премьеры, с лимузинами, из которых выходят стройные, изящные люди в вечерних туалетах — шикарные пары, чьи подмышки иногда по прищипывали из малейшего беспокойства пчьею обоянию, пары, у которых, если хотите знать, вовсе не бывает подмышек. Я изобразил юных загорелых гигантов в белых смокингах, сидящих за столиками на фоне бирюзового бассейна и взволнованно поднимающих за здоровье друг друга высокие бокалы с дешевым, по якобы ультрамодным ржаным виски. Я изобразил румяных, счастливых, пышущих здоровьем детей с открытыми лицами за завтраком, радостно протягивающих пустые тарелки, чтобы им положили еще. Я изобразил смеющихся девиц с высоким бюстом, бесстрашно летящих на аквапланах, потому что они надежно защищены от таких национальных бедствий, как слабые десны, вепушки, волосы, растущие не там, где положено, а также ненадежное или недостаточное страхование жизни. Я изобразил хозяек с огрубевшими (но изящными) руками в грязных (по огромных) кухнях, которые никак не могли привести в порядок волосы, укротить своих детей, угодить своим мужьям и вообще были глубоко несчастны до тех пор, пока не приобрели мыльный порошок нужного сорта.

Как только образцы были закончены, я немедленно отослал их мсье Йошото вместе с полудюжиной рисунков, которые привез с собой из Франции. В конверт я вложил коротенькую записку, где, как мне казалось, вскользь намекнул на в высшей степени романтическую историю о том, как я совершенно без всякой помощи преодолел бесчисленные препятствия и достиг сверкающих ледяным блеском вершин мастерства, доступных только избранным.

Следующие несколько дней я провел в ужасном волнении, но не прошло и недели, как мсье Йошото прислал письмо, соглашаясь принять меня преподавателем в «Les Amis Des Vieux Maîtres». Письмо было написано по-английски, хотя я писал ему по-французски. (Позже я догадался, что мсье Йошото, который знал французский язык, но не знал английского, поручил по каким-то соображениям написать ответ мадам Йошото, располагавшей необходимыми для дела познаниями в этой области.) Мсье Йошото сообщал, что летняя сессия должна начаться 24 июня и что, по всей вероятности, предстоит

чрезвычайно много работы. Таким образом, писал он, в моем распоряжении имеется пять недель для устройства своих дел. Он выражал свое безграничное соболезнование по поводу моих недавних потерь и финансовых затруднений. Он надеялся, что я закончу все свои дела и смогу явиться в «Les Amis Des Vieux Maitres» в воскресенье 23 июня, дабы ознакомиться со своими обязанностями и «подружиться» с коллегами преподавателями (как я потом узнал, их было всего двое — мсье Йошото и мадам Йошото). Он выражал глубокое сожаление по поводу того, что вновь принятым преподавателям не положено высылать деньги на дорогу. Для начала я буду получать 28 долларов в неделю — он понимает, конечно, что это не так уж много, но, поскольку мне не придется платить за комнату и стол и поскольку он почувствовал во мне человека, поистине призванного стать настоящим художником, он надеется, я не подумаю, что со мной поступили несправедливо. Он с нетерпением ждет телеграмму, подтверждающую мое официальное согласие, и будет очень рад моему приезду. Внизу стояло: «Ваш новый друг и директор И. Йошото, бывший член Императорской Академии изящных искусств в Токио».

Телеграмма, подтверждающая мое официальное согласие, была отправлена через пять минут. Странно, по то ли от волнения, то ли из чувства вины перед Бобби за то, что телеграмма была послана по его телефону, я сочинил совершенно прозаичное послание всего в десять слов.

В тот вечер я, как обычно, встретился с Бобби в Овальном зале за обедом и с неудовольствием увидел, что он привел гостью. До сих пор я ни словом не обмолвился о деятельности, которую развил за последнее время и которая вовсе не была предусмотрена учебной программой школы живописи, и сейчас просто умирал от желания опарашить отчима своей новостью с глазу на глаз. Гостя его была удивительно милая молодая женщина, всего несколько месяцев назад получившая развод, с которой Бобби проводил довольно много времени. Я уже несколько раз встречал ее. Все попытки этой очаровательной женщины подружиться со мной и мягко убедить меня расстаться со своей броней — или хотя бы снять шлем — я был склонен рассматривать как замаскированное приглашение лечь в ее постель, когда мне будет угодно — то

есть как только дадут отставку Бобби, который для нее явно слишком стар.

За обедом я был враждебно лакоиччен. Наконец, когда подали кофе, я кратко обрисовал Бобби мои планы на лето. Когда я кончил, он задал мне один-два вопроса, доказывавших, что он неплохо разобрался в обстановке. Я отвечал ему сдержанно и в высшей степени сжато, как и подобает человеку, завоевавшему неоспоримое право самому решать свою судьбу.

— Наверное, это очень интересно, — сказала гостья Бобби, легкомысленно ожидая, что я передам ей под столом записку со своим адресом в Монреале.

— А я думал, ты поедешь со мной на Род-Айленд, — сказал Бобби.

— Не стоит отговаривать человека, раз он уже все решил, милый, — ответила ему миссис Х.

— Я не отговариваю, но мне хотелось бы узнать некоторые подробности, — сказал Бобби, однако по его тону я мог с уверенностью сказать, что мысленно он уже обменивает на нижнюю полку наше отдельное купе в поезде, следующем на Род-Айленд.

— В жизни не слышала ничего более приятного и лестного, — дружески сказала мне миссис Х., и глаза ее порочно заблестели.

В воскресенье, когда я вышел на платформу вокзала Виндзор в Монреале, я был в двубортном бежевом габардиновом костюме (о котором я был чрезвычайно высокого мнения), темно-синей фланелевой рубашке, ярко-желтом ситцевом галстуке, белых с коричневым башмаках, шляпе (она была мне несколько маловата, потому что первоначально принадлежала Бобби), и трехнедельных рыжеватых усах. Меня встретил мсье Йошото. Это был крошечный, не выше пяти футов человек в довольно грязном полотняном костюме, черных башмаках и черной фетровой шляпе с отогнутыми полями. Он не только не улыбнулся, пожимая мне руку, но, насколько я помню, не пропел ни слова. На лице его было *непроицаемое* выражение (это слово я заимствовал непосредственно из французского издания рассказов Сакс Ромер о Фу Манчу). Я же почему-то улыбался во весь рот, не в силах прогнать улыбку или хотя бы сделать ее менее радостной.

От вокзала Виндзор до школы пужно было ехать на автобусе несколько миль. За всю дорогу мсье Йошото не произнес и пяти слов. Именно поэтому я говорил без умолку, вытирая время от времени потные ладони о носок ноги, которая лежала у меня на коленке. Я считал необходимым не только повторить все прежние измышления о своих родственных связях с Домье, о покойной жене и небольшом поместье на юге Франции, но и всячески развить их. Наконец, не желая углубляться дальше в эти тягостные воспоминания (а я действительно начинал чувствовать их тяжесть), я переключился на лучшего и старейшего друга моих родителей Пабло Пикассо. Я называл его *le pauvre Picasso* *. (Собственно я выбрал именно Пикассо потому, что считал его наиболее известным в Соединенных Штатах французским художником. Канаду я тоже относил к Соединенным Штатам.) Я поведал мсье Йошото с достаточной долей вполне естественного участия к поверженному гиганту, как часто я спрашивал его: «Мсье Пикассо, *où allez vous* **?» — и как в ответ на этот проникновенный вопрос маэстро неизменно направлялся, медленно и тяжело ступая, в угол своей мастерской, где висела маленькая репродукция его «*Les Saltimbanques*» ***, которые принесли ему такую славу, теперь уже давно забытую. Несчастье Пикассо заключается в том, объяснил я мсье Йошото, пока мы выходили из автобуса, что он никогда никого не слушает — даже самых близких своих друзей.

В 1940 году школа «*Les Amis Des Vieux Maîtres*» занимала второй этаж маленького трехэтажного дома, где квартиры сдавались внаем. Дом этот находился в Вердуне, то есть наименее привлекательной части Монреаля, и отнюдь не вселял уверенности, что из него удастся извлекать постоянный доход. Школа располагалась непосредственно над магазином ортопедических принадлежностей, занимая одну большую комнату и крошечную незапирающуюся уборную. Тем не менее, едва успев войти в «*Les Amis Des Vieux Maîtres*», я нашел помещенье чрезвычайно презентабельным. И не без причины. По стенам «преподавательской» было развешено несколько заклю-

* Бедняга Пикассо (*франц.*).

** Куда вы идете? (*франц.*).

*** Бродячие комедианты (*франц.*).

цепных в рамку акварелей работы мсье Иошото. До сих пор мне иногда снится пеки́й белый гусь, летящий на фоне необыкновенно бледного неба, голубизна или, вернее, отсвет голубизны которого отражается в перьях птицы, — я никогда не видел ничего подобного этому творению дерзкой кисти мастера. Картина висела прямо над рабочим столом мадам Иошото и вместе с одной-двумя другими акварелями, близкими ей по духу, определяла стиль комнаты.

Когда мы с мсье Иошото вошли в преподавательскую, мадам Иошото, седоволосая женщина в красном черпороранжевом шелковом кимоно, подметала там пол щеткой с короткой ручкой. Она была по крайней мере на голову выше своего мужа и скорее походила на малайку, чем на японку. Она бросила щетку и подошла к нам. Мсье Иошото коротко представил нас друг другу. Мадам Иошото показалась мне столь же непроницаемой, как и мсье Иошото, если не больше. После этого мсье Иошото предложил мне посмотреть мою комнату, в которой, как он объяснил (по-французски), жил раньше его сын, уехавший недавно в Британскую Колумбию, где он поступил на ферму. (После его длительного молчания в автобусе я был благодарен мсье Иошото за несколько связанных слов, которые выслушал почти с радостью.) Он стал было извиняться, что в комнате его сына стульев нет, а лежат на полу циновки, но я тут же уверил его, что это как раз то, о чем я мечтал всю жизнь. (Кажется, я сказал, что поставлю стулья. Я так первичал, что, если бы он сообщил мне, что комната его сына круглые сутки залита водой по щиколотку, я вскрикнул бы от удовольствия. Наверное, я сказал бы, что страдаю редкой болезнью ног и что поэтому их нужно держать в воде по восемь часов в день.) Потом он повел меня по скрипучей деревянной лестнице в комнату. По пути я достаточно ясно дал ему понять, что изучаю буддизм. Позднее я узнал, что и он и его жена были пресвитерианцы.

Поздно ночью, когда я тщетно пытался уснуть, в то время как японско-малайский обед мадам Иошото то поднимался, то опускался у меня по пищеводу en masse *, как лифт, кто-то из супругов Иошото начал ступать во сне за стеной как раз против моей кровати. Казалось,

* Целиком (франц.).

этот высокий, топкий, надтреснутый звук издает жалкий, недоразвитый ребенок или маленькое искалеченное животное, а не взрослый человек. (Стонали регулярно каждую ночь. Я так никогда и не узнал, кто же из Йошото издавал эти звуки, не говоря уже о том, почему.) Когда стало совершенно невыносимо слушать стоны лежа, я встал, надел ночные туфли, ходил по темной комнате и сел на пол на коврик. Часа два сидел я так, скрестив ноги, и курил сигареты, которые потом тупил о подошву туфли; окурки я складывал в карман пиджамной куртки. (В семье Йошото никто не курил, и во всей квартире не было ни одной пепельницы.) Часов в пять утра я наконец заснул.

В 6.30 мсье Йошото постучал ко мне в комнату и сообщил, что завтрак будет подан в шесть сорок пять. Он спросил меня через дверь, хорошо ли я спал, на что я ответил: «Oui!» * Затем я облачился в синий костюм, который считал наиболее подходящим одеянием для преподавателя в день открытия школы, завязал красный галстук, подаренный мне матерью, и, не умываясь, побежал в кухню. Мадам Йошото возлась у плиты, готовя на завтрак рыбу. Мсье Йошото в нижней рубашке и брюках сидел за столом и читал какую-то японскую газету. Он сдержанно кивнул мне. Оба они казались более непроницаемыми, чем когда-либо. Наконец мне подали тарелку с рыбой неведомого мне сорта. Мадам Йошото спросила меня по-английски (у нее оказалось удивительно приятное произношение), может быть, я хочу яйцо, но я ответил: «Non, non, madame, merci!» ** Я сказал, что ненавижу яйца. Мсье Йошото прислонил газету к моему стакану, и мы все трое стали есть в полном молчании, то есть они ели, а я все время что-то глотал.

После завтрака мсье Йошото надел рубашку без воротничка прямо в кухне, мадам Йошото сняла фартук, и мы осторожно спустились друг за другом по лестнице и вошли в преподавательскую. На широком рабочем столе мсье Йошото в беспорядке лежала груда огромных нераспечатанных конвертов. Их было больше дюжины. Они напомнили мне чистеньких и аккуратных учеников в первый день учебного года. Мсье Йошото показал мне мой

* Да (франц.).

** Нет, нет, мадам, благодарю вас (франц.).

стол, стоявший в дальнем конце комнаты в полном одиночестве, и попросил сесть. Он распечатал несколько конвертов, и они с мадам Йошото принялись изучать их содержимое, следуя какой-то особой системе и время от времени советуясь друг с другом по-японски, а я сидел на другом конце комнаты в своем синем костюме и красном галстуке, всем своим видом показывая, что жажду пачать работать, но терпеливо жду и что для организации я незаменимый человек. Я вынул из внутреннего кармана пиджака целую горсть мягких угольных карандашей, которые привез из Нью-Йорка, и тихонько разложил их перед собой на столе. Один раз мсье Йошото зачем-то взглянул на меня, и я послал ему в ответ самую чарующую улыбку. Потом, не сказав ни слова и не взглянув в мою сторону, супруги Йошото уселись каждый за свой стол и углубились в работу. Было около половины девятого.

В девять часов мсье Йошото снял очки, встал и направился к моему столу с пачкой бумаги в руке. Я провел полтора часа, не делая абсолютно ничего, занятый только тем, что старался унять громкое бурчание в животе. Как только мсье Йошото приблизился ко мне, я быстро встал и слегка сгорбился, дабы не казаться таким непочтительно высоким. Он вручил мне пачку и любезно попросил перевести его письменные исправления с французского на английский. Я сказал: «Oui, monsieur!»* Он слегка поклонился и побрел обратно к своему столу. Я сдвинул все свои мягкие угольные карандаши в сторону, вынул авторучку и приступил к работе, совсем упав духом.

Подобно многим настоящим художникам, мсье Йошото обучал своих учеников рисунку ничуть не лучше, чем самый посредственный живописец, который знает, как это делается. Применяя метод «наложения» (то есть поправляя рисунок ученика по образцу на кальке) и сопровождая «наложение» письменными комментариями на обратной стороне рисунка, он легко мог показать ученику со средними способностями, как парисовать свинью в хлеву так, чтобы всем было ясно, что это именно свинья и именно в хлеву. Он даже мог показать, как нарисовать живописную свинью в живописном хлеву, но никогда в

* Да, мсье (франц.).

жизни не был он в состоянии научить учеников рисовать красивую свплю в красивом хлеву (что, конечно, было единственным, чего жаждали его лучшие ученики).

Нужно ли говорить, что дело было вовсе не в том, что он умышленно или неумышленно берег свой талант, не желая растрчивать его таким образом. Он просто не умел делиться им. Как ни безжалостна эта правда, я не был по-настоящему удивлен, столкнувшись с ней, и поэтому не очень огорчился сразу. Осознал я ее только через некоторое время, — нужно принять во внимание, где я сидел, — так что, когда наступило время лепча, мне потребовалось немало стараний, чтобы не смазать свои переводы мокрыми от пота ладонями. В довершение всех бед у мсье Йошото оказался очень неразборчивый почерк. Кончилось тем, что я отказался от лепча в обществе четы Йошото, сказав, что мне нужно на почту. Я почти безгом спустился по лестнице и бесцельно устремился в лабиринт незнакомых мне темных и узких улиц. Там я зашел в какое-то кафе и на ходу проглотил четыре горячие сосиски и три чашки мутного кофе.

Пока я шел в «Les Amis Des Vieux Maîtres», мне пришло в голову, что мсье Йошото оскорбил меня, заставив все утро переводить. Я кое-как справился с первыми приступами страха, который иногда на меня находил, но потом меня охватила настоящая паника. Неужели старый Фу Манчу с самого начала знал, что в числе всех моих доспехов и прочей бутафории, имеющей целью ввести его в заблуждение, были усы девятнадцатилетнего мальчика? Одна мысль об этом казалась мне непереносимой. Мое чувство справедливости было оскорблено. Как, меня, художника, получившего три первые премии, близкого друга Пикассо (я и в самом деле начинал считать себя другом Пикассо), заставляли переводить какие-то бумажки! Преступление не заслуживало такого жестокого наказания. Во всяком случае, усы у меня были хоть и редкие, но настоящие, а не приклеенные спиртовым клеем. Я потрогал их пальцами, как бы желая убедиться, что они на месте. Но чем больше я думал обо всей этой истории, тем быстрее становился мой шаг, так что в конце пути я почти бежал, как будто боялся, что в меня вот-вот полетят со всех сторон камни.

Хотя я ходил по улицам всего минут сорок, Йошото уже сидели за своими столами и работали, когда я вер-

нулся. Они не подняли глаз от работы, чтобы взглянуть на меня, и никак не реагировали на мое появление. Обливаясь потом и задыхаясь, я добрался до своего стола и сел. Минут 15—20 я просидел совершенно неподвижно, мысленно перебирая в памяти «абсолютно новые» анекдоты из жизни Пикассо на тот случай, если мсье Ишото вдруг встанет и направится ко мне, чтобы разоблачить обманщика. И вдруг он в самом деле встал и направился ко мне. Я поднялся со стула, чтобы встретить его — грудью, если нужно, — и дать отпор никому еще не известным анекдотом о Пикассо, но, к моему ужасу, когда он подошел, я не мог вспомнить ни единого слова. Тогда я принялся восхищаться картиной, висевшей над столом мадам Ишото, где был изображен летящий гусь. Расхваливал я ее довольно долго, не жалея слов. Я сказал, что знаю в Париже человека — очень богатого паралитика, — который даст за нее мсье Ишото любую цену. Если мсье Ишото хочет, я могу связаться с ним немедленно. Но, к счастью для меня, мсье Ишото сказал, что картина принадлежит его кузену, который в настоящее время гостит у родных в Японии. Не дав мне времени высказать свое сожаление по этому поводу, он попросил меня, назвав «мсье Домье-Смит», исправить несколько рисунков. Он вернулся к своему столу, взял три огромных, раздувшихся конверта и положил их передо мной. Пока он объяснял мне метод обучения, принятый в школе (или, вернее сказать, не существующий в школе), я стоял в полном изумлении и только кивал головой, перебирая в кармане свои карандаши. Мсье Ишото уже давно вернулся к своему столу, а я все еще никак не мог прийти в себя.

Все три ученика, с которыми я должен был заниматься, говорили по-английски. Первой была двенадцатилетняя домашняя хозяйка из Торонто, по имени Бэмби Крамер — это был псевдоним, под которым она должна была стать известной в художественных кругах, и на это имя она просила школу адресовать свою корреспонденцию. «Les Amis Des Vieux Maîtres» предложила всем своим новым ученикам заполнить анкету и прислать фотографии. Мисс Крамер вложила в конверт снимок, сделанный на глянцевой бумаге форматом восемь на десять дюймов, где она была изображена в купальном костюме без бретелек, в белой матросской шапочке и с браслетом

на ноге. В анкете она написала, что ее любимые художники — Рембрандт и Уолт Дисней. Она сообщила, что надеется когда-нибудь стать всего-навсего их соперницей. Образцы своих рисунков она скромно подколола к фотографии. Все до одного рисунки были поразительны, один — незабываем. Незабываемый был сделан акварелью в самых ярких тонах и назывался «Простите маленьких нарушителей». На нем были изображены три маленьких мальчика, уносящие рыбу в странного вида водоеме. Куртка одного из мальчиков была наброшена на столбик с надписью «Ловля рыбы воспрещена!». Одна нога самого высокого мальчика на переднем плане казалась пораженной рахитом, а другая — слоновой болезнью: несомненно, мисс Крамер сознательно применила этот прием, желая показать, что мальчик стоит, слегка расставив ноги.

Вторым моим учеником был пятидесятишестилетний «фотограф, снимающий высшее общество» из Виндзора, штат Онтарио, которого звали Р. Говард Риджфилд. Он признался, что уже много лет жена убеждает его заняться живописью, чтобы иметь дополнительный источник доходов. Своими любимыми художниками он назвал Рембрандта, Сарджента и «Тидана». Впрочем, он благодушно оговорился, что сам не стремится работать в их манере, ибо его привлекают не столько живописные, сколько обличительные возможности искусства. В подтверждение своего кредо он представил значительное количество оригинальных работ, выполненных карандашом и маслом. Одна из них — по-моему, это было его лучшее и любимейшее творение — преследовала меня потом много лет с навязчивостью песенки вроде «Крошка Сью» или «Будь моей». Картина эта трактовала в сатирическом плане обычную, повседневную трагедию юной и чистой девушки с распухшими по плечам белокурыми волосами и вымяподобным бюстом, бесстыдно соблазняемой священником в церкви под самой сенью алтаря. Одежды обоех были более чем в живописном беспорядке. Но что касается меня, я был потрясен не столько сатирическим подтекстом картины, сколько мастерской отделкой деталей, потребовавшей от художника массу времени. Если бы я не знал, что Бэмби Крамер живет за сотни миль от Риджфилда, я бы поклялся, что она оказывает ему техническую помощь.

Когда в возрасте девятнадцати лет я оказывался в критических обстоятельствах, то, за исключением очень редких случаев, частично или полностью утрачивал способность двигаться, причем паралич начинался с локтевого сустава. Риджфилд и мисс Крамер прикрепили мне немало хлопот, но ни разу мне не пришлось в голову посмеяться над ними.

Пока я просматривал содержимое их конвертов, у меня три-четыре раза возникало искушение встать и заявить моему Йозефу свой официальный протест. Но у меня не было ни малейшего представления, в какую форму облечь его. Я боялся, что подойду к его столу и крикну: «У меня умерла мама, я должен жить с ее прелестным муженьком, а в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, и в комнате вашего сына нет ни одного стула. Неужели вы думаете после этого, что я могу научить этих двух умалишенных рисовать?» В конце концов я все-таки успел на месте, потому что давно научился подавлять приступы отчаяния, и распечатал следующий конверт.

Третьей моей ученицей была монахиня ордена сестер святого Иосифа. Звали ее сестра Ирма, и она преподавала «домоводство и рисование» в начальной школе при монастыре возле Торонто. Не знаю, с чего начать описание содержимого ее конверта. Во-первых, вместо своей фотографии сестра Ирма прислала снимок монастыря без единого слова объяснения. Она оставила незаполненной строку анкеты, где ученику нужно было указать свой возраст. На все остальные вопросы она ответила так, как того не заслуживает ни одна анкета в этом мире. Она родилась и провела свое детство в Детройте, штат Мичиган, где отец ее работал «контролером на автомобильном заводе Форда». Ее светское образование закончилось после первого года обучения в средней школе. Она никогда не училась рисованию, и теперь ей приходится учить детей рисовать единственно по той причине, что сестру такую-то повысили в должности и отец Циммерман (имя это сразу привлекло мое внимание, потому что так звали дантиста, который вырвал у меня восемь зубов) назначил ее, сестру Ирму, на ее место. Она писала: «В классе домоводства у меня учится 34 малышки, а в рисовальном классе — 18». Часы досуга она посвящала любви к богу и слову божьему, а также «собирацию листьев, но только когда они упали с

на ноге. В анкете она написала, что ее любимые художники — Рембрандт и Уолт Дисней. Она сообщила, что надеется когда-нибудь стать всего-навсего их соперницей. Образцы своих рисунков она скромно подколола к фотографии. Все до одного рисунки были поразительны, один — незабываем. Незабываемый был сделан акварелью в самых ярких тонах и назывался «Простите маленьких нарушителей». На нем были изображены три маленьких мальчика, удилищу рыбу в странного вида водоеме. Куртка одного из мальчиков была заброшена на столбик с надписью «Ловля рыбы воспрещена!». Одна нога самого высокого мальчика на переднем плане казалась пораженной рахитом, а другая — слоновой болезнью: несомненно, мисс Крамер сознательно применила этот прием, желая показать, что мальчик стоит, слегка расставив ноги.

Вторым моим учеником был пятидесятишестилетний «фотограф, снимающий высшее общество» из Виндзора, штат Онтарио, которого звали Р. Говард Риджфилд. Он признался, что уже много лет жена убеждает его заняться живописью, чтобы иметь дополнительный источник доходов. Своими любимыми художниками он назвал Рембрандта, Сарджента и «Тицана». Впрочем, он благодушно оговорился, что сам не стремится работать в их манере, ибо его привлекают не столько живописные, сколько обличительные возможности искусства. В подтверждение своего кредо он представил значительное количество оригинальных работ, выполненных карандашом и маслом. Одна из них — по-моему, это было его лучшее и любимейшее творение — преследовала меня потом много лет с навязчивостью песенки вроде «Крошка Сью» или «Будь моей». Картина эта трактовала в сатирическом плане обычную, повседневную трагедию юной и чистой девушки с распущенными по плечам белокурыми волосами и вымяподобным бюстом, бесстыдно соблазняемой священником в церкви под самой сенью алтаря. Одежды обоих были более чем в живописном беспорядке. Но что касается меня, я был потрясен не столько сатирическим подтекстом картины, сколько мастерской отделкой деталей, потребовавшей от художника массу времени. Если бы я не знал, что Вэмби Крамер живет за сотни миль от Риджфилда, я бы поклялся, что она оказывает ему чисто техническую помощь.

Когда в возрасте девятнадцати лет я оказывался в критических обстоятельствах, то, за исключением очень редких случаев, частично или полностью утрачивал способность двигаться, причем паралич начинался с локтевого сустава. Риджфилд и мисс Крамер причинили мне немало хлопот, но ни разу мне не пришлось в голову пошеяться над ними.

Пока я просматривал содержимое их конвертов, у меня три-четыре раза возникло искушение встать и заявить мсье Иопото свой официальный протест. Но у меня не было ни малейшего представления, в какую форму облечь его. Я боялся, что подойду к его столу и крикну: «У меня умерла мама, я должен жить с ее прелестным муженьком, а в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, и в комнате вашего сына нет ни одного стула. Неужели вы думаете после этого, что я могу научить этих двух умалишенных рисовать?» В конце концов я все-таки усидел на месте, потому что давно научился подавлять приступы отчаяния, и распечатал следующий конверт.

Третьей моей ученицей была монахиня ордена сестер святого Иосифа. Звали ее сестра Ирма, и она преподавала «домоводство и рисование» в начальной школе при монастыре возле Торонто. Не знаю, с чего начать описание содержимого ее конверта. Во-первых, вместо своей фотографии сестра Ирма прислала снимок монастыря без единого слова объяснения. Она оставила незаполненной строку анкеты, где ученику пужно было указать свой возраст. На все остальные вопросы она ответила так, как того не заслуживает ни одна анкета в этом мире. Она родилась и провела свое детство в Детройте, штат Мичиган, где отец ее работал «контролером на автомобильном заводе Форда». Ее светское образование закончилось после первого года обучения в средней школе. Она никогда не училась рисованию, и теперь ей приходится учить детей рисовать единственно по той причине, что сестру такую-то повысели в должности и отец Циммерман (имя это сразу привлекло мое внимание, потому что так звали дантиста, который вырвал у меня восемь зубов) назначил ее, сестру Ирму, на ее место. Она писала: «В классе домоводства у меня учится 34 малышки, а в рисовальном классе — 18». Часы досуга она посвящала любви к богу и слову божьему, а также «собирацию листьев, но только когда они упали с

дерева на землю». Любимым художником сестры Ирмы был Дуглас Бептинг. (Должен признаться, что имея это так и осталось для меня загадкой, несмотря на многолетние попытки получить какие-нибудь сведения об этом художнике, которые неизменно заводили меня в тупик.) Она писала, что малыши любят рисовать бегущих людей, а у нее это совершенно не получается. Она обещала очень стараться, чтобы немножко научиться рисовать, и надеялась, что мы не будем слишком строги к ней.

В конверте сестры Ирмы было шесть рисунков. (Ни один из них не был подписан — казалось бы, пустяк, но в тот момент это обстоятельство произвело на меня в высшей степени отрадное впечатление. На всех творениях Бэмби Крамер и Риджфилда красовались имена авторов или — и это было еще хуже — инициалы.) С тех пор прошло тринадцать лет, но я отлично помню все рисунки сестры Ирмы, особенно четыре из них, хотя для моего собственного спокойствия было бы лучше не помнить их так ясно. Ее лучшая вещь была написана акварелью на оберточной бумаге. (На ней очень приятно и удобно рисовать, особенно если она толстая. Многие большие художники любят рисовать на оберточной бумаге, когда не стремятся создать шедевр.) Несмотря на небольшой размер картины (десять на двенадцать дюймов), на ней была с мельчайшими подробностями изображена церемония перенесения тела Иисуса Христа в гробницу, находящуюся в саду Иосифа Аримафейского. На переднем плане в правом углу картины двое мужчин — по всей видимости, слуги Иосифа — довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел следом за ними, держась, может быть, чуть-чуть более прямо, чем того требовали обстоятельства. На почтительном расстоянии от него следовала пестрая толпа женщин из Галилеи, плакальщиц, зевак, детей. Там были даже по крайней мере три неподобающе резвых дворняги. Но самое сильное впечатление произвела на меня женщина, стоявшая в левом углу на переднем плане лицом к зрителю. Подняв правую руку над головой, она самозабвенно звала кого-то — может быть, своего ребенка, мужа или просто знакомого, — чтобы тот бросил все и бежал смотреть. У двух женщин в первом ряду толпы были нимбы вокруг головы. Не имея под рукой библии, я мог только очень приблизительно догадаться, кто они. Зато я сразу же нашел Марию Магдалину. Во всяком случае, я

был уверен, что это она. Она шла среди толпы с опущенными вдоль туловища руками, не видя ничего вокруг. Она затаила свое горе глубоко в душе, и ничто в ней не показывало завистливым людям, как много она значила в последнее время для Усопшего. Лицо ее, как и лица всех других персонажей картины, было сделано дешевой краской телесного цвета. С первого же взгляда становилось ясно, что сестра Ирма сама осталась очень недовольна цветом и безуспешно пыталась смягчить и приглушить его. В картине не было больше ни одного серьезного недостатка. Если бы я стал говорить о чем-то еще, это были бы просто придирки. Насколько я могу судить, эта картина была написана настоящим, большим художником в расцвете таланта, который потратил на нее много часов упорного труда.

Конечно, первой моей реакцией было броситься к мсье Йошото с конвертом сестры Ирмы. Но я снова уселся на месте, потому что не мог riskовать, чтобы сестру Ирму отняли у меня. В конце концов я осторожно убрал ее рисунок в конверт и отложил его в сторону, полный волнующих планов заняться ими в свободное время, ночью. Преисполнившись терпимости, граничившей с благожелательностью, которой я никогда в себе не подозревал, я провел все время до обеда, исправляя при помощи «наложенья» пиящные «ню» * мужского и женского пола, которые Р. Говард Риджфильд изобразил весьма игриво, хотя и sans ** половых органов.

Когда наступил час обеда, я расстегнул на рубашке три пуговицы и супул конверт сестры Ирмы за пазуху, куда ни воры, ни даже Йошото не могли проникнуть.

Обряд вечерней трапезы совершался в «Les Amis Des Vieux Maîtres» в полном молчании, следуя раз и навсегда заведенному порядку. Ровно в пять тридцать мадам Йошото вставала из-за своего стола и поднималась паверх, чтобы приготовить обед, а мы с мсье Йошото присоединялись к ней ровно в шесть. Мы шли друг за дружкой по лестнице и входили в кухню, минуя прочие помещения, куда нас призывают естественные потребности или выполнение правил гигиены. Однако в тот вечер благодаря конверту сестры Ирмы, спрятанному у меня па

* Обнаженная натура (*франц.*).

** Без (*франц.*).

грудн, я чувствовал себя как нельзя более легко и свободно. Во время обеда я просто превзошел самого себя. Я «выдал» первоклассный анекдот о Пикассо, который можно было бы приберечь на черный день. Мсье Йошото даже не опустил свою японскую газету, чтобы послушать его, зато мадам Йошото, кажется, как-то заинтересовалась или по крайней мере не осталась безучастной. Во всяком случае, когда я кончил, она заговорила со мной первый раз после утреннего вопроса, не хочу ли я яйцо на завтрак. Она спросила, не нужен ли мне все-таки в комнату стул. Я быстро ответил: «Non, non, merci, madame!» — и объяснил, что циновки положены прямо возле стен, а мне это очень полезно, потому что так удобнее сидеть прямо. Я встал, чтобы они видели, какой я сутулый.

Когда после обеда супруги Йошото принялись обсуждать по-японски какой-то, по всей вероятности, щекотливый вопрос, я извинился и встал из-за стола. Мсье Йошото взглянул на меня, как бы не понимая, как я вообще мог очутиться у него в кухне, но потом кивнул головой, и я быстро прошел к себе в комнату. Я зажег верхний свет, запер дверь, вынул из кармана свои карандаши, снял пиджак, расстегнул рубашку и сел на пол на циновку с конвертом сестры Ирмы в руках. Разложив все необходимое для работы перед собой на полу, я трудился до четырех утра, составляя для сестры Ирмы план действий на первое время.

Прежде всего я сделал около десятка карандашных набросков. Не имея ни малейшего желания спускаться за бумагой в преподавательскую, я вырвал несколько листов из своего собственного альбома и сделал наброски на обеих сторонах. После этого я написал сестре Ирме длинное, почти бесконечное письмо.

Я никогда не мог ни с чем расстаться, как самая беспокойная сорока, и у меня до сих пор хранится предпоследний черновик письма, которое я написал сестре Ирме той далекой июньской ночью 1940 года. Я мог бы привести его здесь слово в слово, но в этом нет нужды. Большую часть своего письма — можно себе представить, какой огромной была эта большая часть, — я посвятил подробному разбору, маленьких недостатков ее лучшего рисунка, уделив особое внимание цвету. Я рекомендовал ей приобрести некоторые необходимые для художника

принадлежности и указал их примерную цену. Я спросил ее, кто такой Дуглас Бентинг и где можно посмотреть его работы, а также (это была полптика дальнего прицела) видела ли она когда-нибудь репродукции с картин Антонелло да Мессина. Я просил ее написать мне, сколько ей лет, и клятвенно заверил, что цифра эта навсегда останется известной только мне одному! Я писал, что спрашиваю об этом только потому, что так мне будет легче руководить ее обучением. Не переводя дыхания я тут же спросил, можно ли в ее монастырь приходите посетителям.

По-моему, здесь все-таки следует привести последние строки моего письма (измеряемого в кубических футах), сохранив синтаксис, пунктуацию и прочее. Вот они:

«...Пожалуйста, напишите мне, знаете ли вы французский язык, потому что я провел большую часть своей юности в Париже во Франции и гораздо лучше говорю на этом языке.

Вы пишете, что хотите научиться рисовать бегущих людей, чтобы потом передать свою технику ученикам школы при монастыре. Поэтому я посылаю несколько своих набросков, которые могут Вам пригодиться. Конечно, они очень далеки от совершенства, потому что я сделал их довольно быстро, но все-таки, я надеюсь, Вы найдете в них основы того, что Вас интересует. Мне кажется, у директора нашей школы нет никакой системы обучения. Я очень рад, что Вы такая талантливая ученица, но просто не представляю, что мне делать с другими — по-моему, они не только бездарны, но и глупы.

К сожалению, я агностик; но все-таки я всегда восхищался святым Франциском Ассизским — издали, конечно. Вы, наверное, помните, что сказал святой Франциск перед тем, как ему выжгли глаз каленым железом. Вот его слова: «Брат мой Огонь, бог создал тебя прекрасным, могучим и полезным для человека. Молю тебя, будь милосерден ко мне». Ваши рисунки напомнили мне слова святого Франциска, в них очень много хорошего. Напишите мне, пожалуйста, правильно ли я решил, что молодая женщина в синем на среднем плане — Мария Магдалина. Я имею в виду рисунок, который мы с Вами разбирали, конечно. Если это не Мария Магдалина, значит, я горько ошибся. Что делать, со мной это не впервые.

Я буду рад сделать для Вас все, что смогу, пока Вы будете заниматься в «Les Amis Des Vieux Maitres». Если хотите знать правду, я считаю, что у Вас постоянный большой талант, и ничуть не удивлюсь, если через несколько лет Вас признают гениальным художником. Я никогда не стал бы хвалить Вас незаслуженно. Именно поэтому я и спросил Вас о той женщине в синем на переднем плане, которую называю Марией Магдалиной. Боюсь, она заставляет думать скорее о Вашем пробуждающемся гении, чем о Вашей пабожности. Но, по моему, здесь нет ничего плохого.

Я надеюсь, что Вы совершенно здоровы.

С искренним уважением
Жан де Домье-Смит,
преподаватель «Les Amis Des Vieux
Maitres».

P. S. Я чуть не забыл сообщить Вам, что ученики должны представлять свои работы раз в две недели по поведельникам. В качестве первого задания я прошу Вас сделать несколько набросков уличных сцен. Сделайте их быстро и не думайте над ними слишком долго. Конечно, я не знаю, располагаете ли Вы у себя в монастыре достаточным количеством свободного времени, чтобы заниматься рисованием, но надеюсь, Вы сообщите мне и об этом. Я также прошу Вас приобрести все необходимые принадлежности, которые я взял на себя смелость рекомендовать Вам, потому что хочу, чтобы Вы как можно скорее начали писать маслом. Надеюсь, Вы простите меня, если я скажу, что, по моему мнению, у Вас слишком страстная натура, чтобы продолжать работать акварелью. Я говорю это совершенно абстрактно, вовсе не желая обидеть Вас. По правде сказать, это даже комплимент. Пришлите мне, пожалуйста, все Ваши старые рисунки, которые у Вас сохранились, я очень хочу посмотреть их. Нужно ли говорить, что время будет тянуться для меня переносимо долго, пока я не получу Вашего следующего письма.

Если Вы не сочтете мой вопрос бестактным, напишите мне, пожалуйста, удовлетворяет ли Вас жизнь в монастыре — в духовном смысле, конечно. Я буду Вам очень благодарен. Дело в том, что я начал заниматься

изучением сущности различных религий — после того как прочел тома 36, 44 и 45 Гарвардской библиотеки классиков, с которой Вы, наверно, знакомы. Меня особенно восхищает Мартин Лютер. Он был протестант, разумеется. Пожалуйста, не обижайтесь. Я вовсе не собираюсь защищать какую-то одну веру, мне это не свойственно. Пожалуйста, не забудьте сообщить мне, когда посетителям разрешено навещать Вас, потому что субботние и воскресные дни у меня, насколько я знаю, свободны и я могу оказаться в Ваших краях как-нибудь в субботу. Еще раз прошу Вас написать, достаточно ли хорошо Вы владеете французским, потому что сам я почти беспомощен в английском, так как получил хоть и разностороннее, но в достаточной мере беспорядочное образование, несмотря на наилучшие намерения моих родителей».

В половине четвертого я вышел на улицу и опустил в почтовый ящик письмо с рисунками сестре Ирме. Радость переполняла меня, когда я раздевался, и пальцы плохо повиновались мне.

Я свалился на постель, но только что начал засыпать, как за стеной в спальне четы Ишото опять кто-то застопал. Я представил себе, как утром оба они придут ко мне и будут просить и умолять, чтобы я выслушал их ужасную тайну со всеми ее зловещими подробностями. Я ясно видел, как все это произойдет. Мы все сядем за стол в кухне — я в середине, а они по бокам. Подперев голову руками, я буду слушать, слушать, слушать их обоих, и, когда наконец мне станет не под силу дольше выносить все это, я возьму сердце мадам Ишото в руки и буду греть его, как птицу. А когда все станет хорошо, я покажу им рисунки сестры Ирмы, и они будут радоваться вместе со мной.

Основная разница между счастьем и радостью заключается в том, что счастье — твердое тело, а радость — жидкое, но понимать это начинаешь слишком поздно. Моя радость начала выплывать из сосуда, в который была заключена, как только наступило утро и мсье Ишото положил на мой стол конверты с рисунками еще двух новых учеников. В этот момент я без всякой злобы трудился над рисунками Бэмби Крамер, зная, что мое письмо благополучно идет к сестре Ирме. Но я был совершенно неподготовлен к капризу судьбы, создавшей двух людей, одаренных еще более жалкими способностями к рисованию,

чем Бэмби и Р. Говард Риджфилд. Чувствуя, как улетучиваются все мои благие порывы, я закурил сигарету в преподавательской в первый раз с тех пор, как меня приняли в штат. Это принесло мне некоторое облегчение, и я снова принялся за рисунки Бэмби. Но не успел я сделать и трех-четырёх затяжек, ни на кого не глядя, как почувствовал, что мсье Йошото смотрит на меня. Как бы в подтверждение моей догадки я услышал, как он отодвинул стул. Я по обыкновению встал, когда он подошел ко мне, чтобы объяснить на редкость противным шепотом, что лично он не возражает против курения, но, увы, правила школы запрещают учителям курить в преподавательской. Величественным жестом мсье Йошото прервал поток моих извинений и вернулся в запыленный им с мадам Йошото угол комнаты. Меня охватила настоящая паника при мысли о том, как прожить следующие тринадцать дней и не сойти с ума до того понедельника, когда должно прийти письмо от сестры Ирмы.

Было всего-навсего утро вторника. Конец этого дня и рабочие часы двух следующих я заставлял себя лихорадочно работать. Я буквально не оставил живого места на творениях Бэмби Крамер и Р. Говарда Риджфилда и придумал для них десятки примитивных и оскорбительных, но в высшей степени полезных выражений по рисунку. Я написал им длинные письма: Р. Говарда Риджфилда я умолял отказаться на время от своей сатиры, а Бэмби Крамер, призвав на помощь всю свою деликатность, смиренно просил не присылать некоторое время рисунки типа «Простите маленьких нарушителей». Настроенный вполне благожелательно, я тем не менее с некоторым беспокойством приступил к концу дня в четверг к новому моему ученику, американцу из Бангора, штат Мэн, написавшему в своей анкете с искренностью и прямотой цельной натуры, что его любимый художник он сам. Он считал себя реалистом-абстракционистом.

Что касается моего свободного времени, то во вторник вечером, когда занятия в школе кончились, я доехал на автобусе до центра города и посмотрел там в каком-то третьеразрядном кинотеатре фильм, снятый на выставке карикатур, который состоял главным образом из сцен, где стаи мышей забрасывали пробками от бутылок из-под шампанского бесконечное количество котов. В среду вечером я собрал все циновки, захламывавшие мою комнату,

положил их одна на другую и попытался выбросить по памяти картину сестры Ирмы «Погребение Христа».

Мне бы хотелось назвать вечер четверга странным, может быть, даже зловещим, но дело в том, что у меня просто рука не поднимается написать ни один из этих пошлых эпитетов, когда я вспоминаю тот день. После обеда я вышел из «Les Amis» и куда-то пошел, может быть, в кино, может быть, просто побродить — что было в тот вечер, я не помню, а в моем дневнике за 1940 год пужная мне страница совершенно пуста.

Впрочем, я знаю, почему эта страница пуста. Возвращаясь откуда-то, где я провел вечер, — я хорошо помню, что было уже совсем темно, — я остановился возле школы на тротуаре и заглянул в освещенную витрину магазина ортопедических принадлежностей. И тут произошло то страшное и непонятное, чего я не могу забыть до сих пор. Меня оглушила мысль, что как бы спокойно, благоразумно и изящно я ни научился жить в будущем, я навсегда останусь в лучшем случае всего лишь гостем в саду из эмалированных писсуаров и ночных горшков, где над всем возвышается слепое деревянное божество — мапекен в удешенном биндаже против грибки. Конечно, я мог вынести эту мысль только несколько секунд. Помню, я взлетел по лестнице к себе в комнату, разделся и бросился на кровать, не только не сделав записи в дневнике, но даже не открыв его.

Долгие часы я пролежал без сна, весь дрожа. Я слушал стоны, доносившиеся из соседней комнаты, и заставлял себя думать о своей гениальной ученице. Я пытался представить себе день, когда я приеду в монастырь повидаться с ней. Я видел, как она идет ко мне вдоль высокого проволочного забора — прелестная застенчивая девушка восемнадцати лет, еще не принявшая пострига и свободная вернуться в мир со своим избранником — мужчиной типа Пьера Абеляра. Я видел, как мы тихо и молча приходим в дальний конец тенистого монастырского сада. Я обнимаю ее, и это совсем не считается грехом. Мой восторг доходил до экстаза, но постепенно я успокоился и заснул.

Почти всю пятницу я тяжело трудился, пытаюсь с помощью кальки создать какое-то подобие деревьев из леса фаллических символов, старательно изображенных чело-

веком из Бангора, штат Мэп, на дорогой веленевой бумаге. К половине пятого я совершенно выдохся морально, интеллектуально и физически и только слегка приподнялся со стула, когда ко мне на минуту подошел мсье Йошото. Он положил на мой стол какую-то бумажку — так официант небрежно кладет перед посетителем меню. Это было письмо матери-настоятельницы монастыря, где жила сестра Ирма, извещавшее мсье Йошото, что по независящим от него обстоятельствам отец Циммерман был вынужден изменить свое решение и запретить сестре Ирме записаться в «Les Amis Des Vieux Maîtres». Мать-настоятельница выражала глубокое сожаление по поводу затруднений и неудобств, которые их изменившиеся планы могли причинить школе. Она от всей души надеялась, что епархии будет возвращен первый взнос за обучение в размере четырнадцати долларов.

Много лет я был совершенно уверен, что искалеченная мышь возвращается с ярмарки, где сгорело колесо обозрения, лелея новый план убегения кота, которому обеспечен верный успех. Я прочел письмо матери-настоятельницы один раз, перечитал его снова, потом очень долго рассматривал его. Наконец я с трудом оторвал от него взгляд и тут же написал письма остальным своим ученикам, советуя им отказаться от мысли стать художниками. Я сказал каждому, что они просто теряют свое драгоценное время и напрасно отнимают его у школы. Все четыре письма я написал по-французски и тут же вышел на улицу и бросил их в почтовый ящик. После этого я переждал несколько коротких минут глубокого и полного удовлетворения.

Когда наступило время торжественного шествия в кухню, я извинился и сказал, что чувствую себя не совсем хорошо. (Тогда, в 1940 году, ложь в моих устах звучала гораздо более убедительно, чем правда, и я уверен, что мсье Йошото поглядел на меня довольно подозрительно, когда я сказал, что плохо себя чувствую.) Я вошел к себе в комнату и опустился на циновку. Я просидел так целый час, глядя на луч света, пробившийся сквозь щель в шторе. Я не курил, не спял поджак и даже не ослабил узел галстука. Потом я вдруг встал, взял пачку своей собственной бумаги и написал второе письмо сестре Ирме прямо на полу.

Это письмо так никогда и не было отправлено.

Вот оно слово в слово, воспроизведенное прямо с оригинала:

«Мопреаль, Гапада,

28 июня 1940 г.

Дорогая сестра Ирмал

Неужели я написал что-нибудь обидное или неподобающее в своем последнем письме, которое привлекло внимание отца Циммермана? Неужели оно принесло Вам какие-нибудь огорчения? Если это так, позвольте мне по крайней мере просить прощения за обиду, которую я, сам того не ведая, нанес Вам, стремясь стать не только Вашим учителем, но и другом. Разве я прошу слишком много? Думаю, что нет.

Я скажу Вам всю правду: если Вы не овладеете еще некоторыми знаниями, составляющими основу профессионального мастерства, Вы всю жизнь будете всего лишь очень интересным явлением в живописи, но никогда не станете большим художником. По-моему, это ужасно. Понимаете ли Вы, как все это серьезно?

Может быть, отец Циммерман принудил Вас уйти из школы, боясь, что запятая живописью отвлекут Вас от исполнения Вашего долга монахини? Если так, то он поступил в высшей степени опрометчиво во многих отношениях. Живопись вовсе не помешала бы Вам оставаться монахиней. Я сам веду образ жизни печестивого монаха. Самое худшее, что Вас ожидает, если Вы станете художницей, это постоянное сознание того, что Вы немного несчастливы. Но, по-моему, в этом вовсе нет ничего трагичного. Много лет назад, когда я был семнадцатилетним мальчишкой, я пережил самый счастливый в моей жизни день. В кафе меня ждала мама, она первый раз вышла из дому после долгой болезни. Я шел к ней по авеню Виктора Гюго (это улица в Париже) и был счастлив до экстаза, как вдруг на меня налетел какой-то бездельный парень. Прошу Вас, нет, не прошу, умоляю, задумайтесь над этим случаем. В нем заключен бесконечно глубокий смысл.

Или, может быть, запрещение отца Циммермана объясняется тем, что монастырь не располагает достаточными средствами, чтобы платить за Ваше обучение? Я всей душой хочу, чтобы это было так, не только

потому, что такое объяснение снимает с меня вину, по и с практической точки зрения. Если я действительно прав, то достаточно одного Вашего слова, и я предложу Вам свои услуги *gratis* * на какое угодно время. Согласны ли Вы обсудить со мной этот вопрос? Позвольте мне еще раз спросить Вас, когда у Вас в монастыре приемные дни? Можно ли мне надеяться навестить Вас 6 июля в субботу между тремя и пятью часами, в зависимости от расписания поездов между Мопреалем и Торонто? Жду Вашего ответа с величайшим нетерпением.

С уважением и восхищением,
искренне Вам
Жан де Домье-Смит,
преподаватель «Les Amis Des Vieux Maîtres».

P. S. Между прочим, в последнем письме я спросил Вас, не грешница ли Магдалина та женщина в синем, которую Вы нарисовали на переднем плане Вашей картины на сюжет из Библии. Если Вы еще не ответили на мое письмо, пожалуйста, не говорите ничего о ней. Возможно, я и ошибся, но мне сейчас совсем не хочется сталкиваться еще с одним разочарованием. Я предпочитаю оставаться в неизвестности».

Даже сейчас, спустя много-много лет, я не могу без боли вспомнить, что взял с собой в «Les Amis» смокинг. Окончив письмо к сестре Ирме, я облачился в него. Обязательства требовали, чтобы я папился, а поскольку я за всю свою жизнь ни разу не был пьян (из страха, что вследствие чрезмерного увлечения спиртным начнет дрожать рука, которая создала удостоенные трех первых премий картины, и так далее), я счел необходимым одеться в соответствии с трагическим поворотом событий.

Пока Йошото сидел в кухне, я тихонько спустился вниз и позвонил в Виндзор-отель — его мне рекомендовала миссис Х. (приятельница Бобби), когда я еще был в Нью-Йорке. Я заказал столик на одного на восемь часов.

В семь тридцать, одетый и готовый к предстоящему вечеру, я высунул голову за дверь, чтобы посмотреть, не бродят ли поблизости Йошото. Почему-то я не хотел, чтобы они видели меня в смокинге. Уверившись, что никого

* Даром, бесплатно (лат.).

пет, я быстро спустился на улицу и стал искать такси. Письмо к сестре Ирме лежало во внутреннем кармане smoking. Я хотел прочесть его во время обеда, предпочтительно при свете свечей.

Я шел квартал за кварталом, не видя ни свободного, ни даже занятого такси. Мне здорово не везло. Вердеспских обитателей Монреала меньше всего можно было обвинить в том, что они шикарно одеты, и мне казалось, что все прохожие оборачиваются и глядят мне вслед в высшей степени неодобрительно. Когда я наконец дошел до кафе, где в понедельник проглотил сосиски, я решил махнуть рукой на столик, заказанный в Вилдзор-отеле. Я вошел в кафе, сел где-то сбоку и заказал суп, булочку и черный кофе, прикрывая рукой свой черный галстук. Я надеялся, что посетители кафе примут меня за официанта, идущего на работу.

Когда принесли вторую чашку кофе, я достал из кармана неотосланное письмо и прочитал его. Оно показалось мне не вполне убедительным, и я решил как можно скорее вернуться в «Les Amis» и слегка исправить его. Что касается моих намерений повидаться с сестрой Ирмой, то мне пришло в голову, что, может быть, стоит взять билет на поезд в тот же день вечером. Раздумывая обо всем этом (что, по правде сказать, не вселяло в меня необходимого воодушевления), я вышел из кафе и быстро пошел к школе.

То, что случилось со мной через пятнадцать минут после этого, было так странно, что может показаться неправдоподобным. Но все это было, и все это правда. Мне предстоит сейчас рассказать о совершенно необъяснимом явлении, которое до сих пор кажется мне абсолютно непостижимым, но которое я все-таки не хочу истолковывать сколько-нибудь мистически. (Иначе, мне кажется, это было бы равносильно намеку или прямому утверждению, что разница в духовных проявлениях святого Франциска и заурядного истеричного проповедника, демонстрирующего по воскресеньям свою любовь к ближним, будет всего лишь количественной.)

Было около девяти часов. Подходя в сумерках к зданию школы, я увидел с другой стороны улицы свет в окне магазина ортопедических принадлежностей. Я вадрогнул при виде живого человека в витрине — крепкая, здоровая девушка лет тридцати в зелено-желто-лиловом шифоновом

платье меняла бандаж, надетый на деревянный манекен. Когда я подошел к окну, она, по всей видимости, только что сняла старый бандаж, который прижимала к себе левым локтем (девушка стояла ко мне правым боком), и теперь зашнуровывала манекен в новый. Я стоял и смотрел на нее как зачарованный, пока она не почувствовала, что за ней кто-то наблюдает, и не увидела меня. Я быстро улыбнулся, желая убедить ее, что существо в смокинге, стоящее в сумерках за стеклом витрины, вовсе не желает ей зла, — по напрасно. Невозможно описать, как смутилась девушка в витрине. Она покраснела, уронила снятый бандаж, сделала шаг назад и споткнулась о грудку клептирных кружек. Я бросился к ней и больно стукнулся пальцами о стекло. Она тяжело упала на спину, как копыбежец, по тут же вскочила на ноги, не глядя на меня. Откинув рукой волосы, она принялась быстро шнуровать бандаж на манекене. И тогда я понял. Вдруг вошло солнце (надеюсь, я рассказываю об этом со всей подобающей скромностью) и устремилось к моей переполице со скоростью девяноста трех миллипопов миль в секунду. Ослепленный и очень испуганный, я оперся рукой о стекло витрины, чтобы не упасть. Все вместе это длилось не более нескольких секунд. Когда ко мне снова вернулось зрение, девушки уже не было, а в витрине сверкало лишь дважды благословенное поле пысканных эмалированных цветов.

Я отшатнулся от окна и два раза обошел квартал, пока не перестали дрожать колени. Потом, не смея еще раз взглянуть на витрину, я поднялся к себе в комнату и лег. Через несколько минут или часов я написал в своем дневнике по-французски: «Я даю сестре Ирме свободу следовать своей судьбе. Весь мир — монастырь. (Tout le monde est une nonne)».

Прежде чем заснуть, я написал своим четырем исключенным ученикам, восстанавливая их в школе. Я объяснил им, что в канцелярии произошла ошибка. Письма написались очень легко. Может быть, потому, что писал я их, сидя на стуле, который принес снизу.

Каким ни прозаичным может показаться такой конец, я должен сказать, что не прошло после этого и недели, как «Les Amis Des Vieux Maîtres» закрылась из-за неправильно оформленной лицензии (то есть из-за полного

отсутствия какой бы то ни было лицензии, если говорить правду). Я собрал вещи и присоединился к своему отчиму Бобби, который отдыхал на Род-Айленде, где я провел следующие шесть или восемь недель — пока не начался запятня в школе живописи, — изучая самое любопытное из всех пробуждающихся с наступлением лета животных — Юную Американку в Шортах.

Не знаю, хорошо это или плохо, но о сестре Ирме я больше никогда ничего не слышал.

Однако до сих пор я иногда получаю весточки от Бэмби Крамер. По последним сведениям, она занялась изготовлением рождественских открыток. Публике будет не что посмотреть, если только Бэмби не утратила свой творческий почерк.

ПТИЦА-ВЕДЬМА

Он заблудился в долине, так как трехлетняя поросль придала новый облик июньскому ландшафту. Одна из любительниц жевательной глины указала ему путь. Их было тут несколько человек с бумажными мешками и совками, собиравших белую печную глину, чтобы снести ее в свои хижины. У одной пожелтевшей, болезненного вида старухи кожа туго обтягивала кости лица. Глаза ее были тусклы и выпучены. Одной рукой она прикрывала рот, чтобы скрыть желвак, образованный глиной, которую она заложила за щеку.

— Послушай-ка, ты не можешь сказать, где хижина Толливера? — спросил он ее и отер пот с лица большим синим платком. — Тремола Толливера, который стулья делает.

Он ждал ответа, поддергивая черные подтяжки, на которых держались его зеленые штаны. Его желтая рубаха размякла от движений тела при ходьбе так, будто из нее выжали весь крахмал. Снова прокричал осел, мимо которого он только что прошел по дороге. Он не знал, слышала ли его женщина. Она выглянула из-за руки, похожей на когтистую лапу, и наконец протянула гнусавым голосом:

— Это еще далеко будет. Держи-ка на ту вершину, пока не дойдешь до кладбища, обсаженного хурмой. Потом сверни вправо и лезь все вверх по Шнурку. По ту сторону и будет.

— Премного благодарен, — сказал он и прошептал: — Теперь я припоминаю.

Он сунул платок в задний карман.

Старая карга перекачала комок за щекой и поплелась к остальным женщинам, пригнувшимся над канавами, по-

добно черным ворохам. И тут возник звук, похожий на крик и непостоянный лязг где-то в долине. Он подивился, что бы это могло быть.

Пряный аромат утреннего ветра пронесся над землей. Все еще было слышно, как кричит осел, но теперь этот звук доносился слабее, сменяемый звенящей где-то рядом песней лесного дрозда и воинственным, состоящим из двух тонов звонким криком синей сойки в подлеске и среди высоких деревьев, которые теснили дорогу, окаймлявшую подножие горы.

Его башмаки на толстой подошве взметнули пыль на вершине. Она подпрыгнула и повисла в воздухе позади высокой шагающей фигуры. Ветерок только что замер. Одним взмахом человек сменил руку, державшую черную сумку. В сумке была свежая желтая рубашка, бритва, библия и книга законов. Он рано встал и прошел в это утро весь путь от города Четырех Долин, около десяти миль.

Теперь он остановился на дороге и вытащил часы. Ноготь большого пальца щелкнул по крышке часов, на которой был выгравирован олень с опущенными рогами. Он гордился своими часами с лунным календарем на циферблате и пользовался ими как поводом для разговора, когда заключал сделки или брал заказы. Они были сделаны в Швейцарии и стоили шесть долларов тридцать центов. Он кивнул им.

Но затем его худое удлинненное лицо пахмурилось и глаза потемнели. Он, казалось, заглянул на мгновение в будущее, где тянулись унылые годы. Беспokoйным движением он тряхнул головой и пробормотал:

— Жребий бросается в полу, но весь его суд от господа.

Он занес, чтобы подбодрить себя, и его длинные ноги, которые были похожи, как сказала однажды девушка, на ноги паука-сенокосца, пожарили мила.

Так стройны все деревья,
Так зелены все листья,
Но прошлых дней, друг милый,
Ничем не воротить ты!

Вчера я видел почью:
Плыл по небу месяц с луной,
Боюсь, нам завтра море
Грозит, капитан, бедой!

У кладбища он свернул, как наказывала старуха. Он вспомнил, что три года назад, когда он проходил здесь в последний раз, это было красивое, хорошо прибранное место. Теперь оно превратилось в свалку разбитых камней. За кладбищем была роща хурмы — неподвижные, покрытые черной корой стволы с скривленными ветвями. Община больше не пользовалась этим участком, с тех пор как баптистская церковь в Четырех Долинах основала новое кладбище. Рождественники вырыли большую часть старых костей и перенесли их на новое место. А здесь, среди зияющих после раскопок ям, догнивали останки тех, кто был слишком беден, тех, о ком никому было позаботиться, или тех, кто был позабыт с течением времени.

Внезапно над кладбищем, лежавшим перед ним, пролетела слепая сова на мягких серых крыльях. Человек отвернулся и начал взбираться по крутой избитой выючной тропе вверх по горе Шинурок.

На заброшенной дороге росла старая, похожая на осоку трава и кровяк, цветущий дикий нарцисс и чертополох. По тропе смело ковылял сурок. Увидав высокого человека, он бросился назад. Его черные пятки мелькали на солнце, когда он бежал к своей норе в гнилом пне. Забравшись в нее, он повернулся и вызывающе забормотал, в отверстии виднеясь его подпрыгивающий нос.

У гребня горы начинался обрыв. В этом месте сладкий запах жимолости, поднимавшийся из долины, был одуряюще силен. Человек остановился, переводя дыхание.

«Мне скоро стукнет сорок, — подумал он, — я уж не так молод, как когда-то. Бывало, поднимался на этот холм, не передохнув».

Он смотрел, и ему казалось, что земля расплывается вдали, как стеганое лоскутное одеяло, коричневое, желтое и зеленое там, где были разбиты прямоугольники курузных полей, полянок табака и садовых участков. Он представил себе, что их могла бы вот так подобрать девушка-горянка, чтобы сделать лоскутное одеяло, а потом, по обычаю, дать ему имя вроде «У одного взять — другому отдать» или «Голубка у окна». Одеяло было прострочено оградами, рядами деревьев и живыми изгородями; то тут, то там рисунок разнообразился маленькой хижинкой.

Он задумался, нюхая цветы и любуясь простиранием вдали местностью. Потом он услышал смех, кото-

рый был ему памятен. Смех донесся снова, и он последовал за ним. Он шел, подумалось ему, так, как кусок железа скользит прямо к подкове магнита. Вроде той, с которой он играл, когда был совсем мальчишкой.

Он раздвинул кусты боярышника, чтобы заглянуть за них. Там, играя, возилась юная девушка и ее милый. Девушка лежала в траве, одетая в платье, сделанное из одного куска грубой полушерстяной ткани, какие обычно носят горляки. Она была босиком. Черные волосы рекой спадали на плечи. Они были длинные и блестяще и ничем не были перехвачены. Над девушкой стоял на коленях рослый парень лет девятнадцати, черноголовый, с большими костлявыми руками. Волосы его космами спускались на шею. Рот был большой, смеющийся, а глаза устремлены на девушку. Своими длинными пальцами он стиснул ее плечи. По его сияющим глазам было видно, как он к ней относится.

— Уилл! — снова засмеялась она. — Сдаюсь, ты победил! Сильный же ты!

Он отпустил ее, и она, приподнявшись, села в траве.

— Далси Толливер, — прошептал про себя высокий человек. Он вернулся на тропу, так как увидел, что возлюбленный девушки наклонился, чтобы поцеловать ее, а он не хотел подсматривать за этим. Он побрел вниз с вершины горы, еле волоча ноги и опустив в раздумье голову. Ему надо было в хижину Толливера по делу. Он шел, чтобы дать Тремблу Толливеру заказ на стулья на будущий год и посмотреть, что могла предложить по части тканей его жена Сэл. Он чувствовал себя старым. Вид девушки в зарослях боярышника заставил его это почувствовать. Он был холост. Та единственная, которую он когда-либо желал, не хотела за него идти, хотя он ухаживал за ней со всей изысканностью, на какую был способен — он надеялся увлечь ее так же, как сам увлекся ею с первого взгляда.

Он вспомнил, что другая дочь Толливера была дурочкой. Ей не давали работать на ткацком станке, потому что она не могла запомнить ни одного перехода в рисунке и либо переставала ткать, либо продолжала делать все по-прежнему и портила рисунок. Дурочка годилась лишь на то, чтобы присматривать за овцами, да иногда еще она помогала Сэл собирать лозу жимолости, из которой та плела корзинки на продажу.

Вперед показалась хижина. Он сразу узнал ее, уютно устроенную на лесной вырубке. Это был домик из двух поставленных друг против друга хижин, каждая из одной комнаты с чердаком, соединенных общей крышей из узких досок, расщепленных колупом на толстые плашки. Проход между хижинами Толливеры прозвали «собачьей конурой». Очаги были сложены из бревен и глины; ни в комнатах, ни на чердаках не было окон, которые украсили бы их. Однако возле очага имелось отверстие высотой в два бревна. Вечером вы могли сидеть у огня и видеть, как вместе дружно мерцают звезды и пламя. Передняя и задняя двери были подвешены на полосках кожи, и дом стоял так, что ранним морозным утром солнечный шар проникал в комнату через одну из дверей, а по вечерам лучи вползали через другую дверь и растекались по полу, пока хижина не оказывалась совершенно затопленной желтым светом до самого двора на другой стороне. Потом вы могли наблюдать, как шар, подобный спелому плоду хурмы, опускался в себе на западе.

— Дом праведного — сокровище, — пробормотал он.

Деловито постукивал станок, в то время как человек пересекал поляну. Это Сэл Толливер в хижине, подумал он; это ее руки приводят в движение станок, делая покрывала ему на продажу. Трембл сидел перед входом в «собачью конуру», которая была сейчас доверху загромождена искусно сделанными им стульями. Он поднял глаза, заслышав шаги длинноногого человека, который пересекал двор, размахивая сумкой; белокурые волосы прищельца поднимались, как соломенная крыша.

Трембл был сморщенный человек, тогда как его жена отличалась могучим телосложением. Он снова опустил взгляд на длинные узкие полоски из кукурузных листьев, из которых плел сиденье для стула. Считалось, что стульям Трембла Толливера изпосу нет. В них не было ни единого гвоздика; казалось, они сделаны из одного куска. Трембл кивнул.

— Я поджидал тебя, Лем Адам, с той поры, как вошел молодой месяц. Бери стул и садись.

Он вытянул новую полоску из большой кучи кукурузных листьев, сложенной под самой крышей, расправил ее рукой.

— Так я и сделаю, мастер Толливер.

Человек бросил свою сумку на землю.

Трембл крикнул:

— Джессемин! Прппесп кружку молока. У нас гости!

Лем Адам знал, что дурочке потребуется на это некоторое время. Он спял один из стульев со штабеля и сел. Тут он увидел Далси Толливер, идущую через поляну, со стороны дальнего леса.

— А вот и дочь твоя идет, — сказал он.

Трембл промышчал что-то, и человек подумал, что у Далси всегда такая горделивая осанка. Лицо ее было гладким, как пещное небо в тихую погоду. У нее были правильные черты лица, и щеки ее не пылали ярко, а были лишь едва окрашены, как спелое яблоко. То самое яблоко, которое поздно созревает и покрывается легким румянцем, будто вежливо извиняется перед вами.

Однажды, вспомнил он, он сказал ей это, и она посмеялась.

Девушка подошла к ним. Она взглянула на Лема из-под длинных ресниц. Он никогда не знал, какого цвета у нее глаза, потому что они у нее всегда были опущены. Это было для него вечным мучением. Он все искал способа заставить ее поднять глаза. Сейчас они сверкали сквозь черные ресницы, и он понял, что она видела, как он недавно подглядывал в зарослях боярышника.

— Доброе утро, Далси, — сказал он, — я пришел к твоему отцу с заказом.

— А и вправду я вас давным-давно не видела, местер Адам!

— Твоя мать ищет тебя, — сказал Трембл.

И девушка прошла в хижину. Было слышно, как она тихо разговаривает с Сэл. Станок ни на мгновение не переставал постукивать — челнок бегал по основе, сплетая ткань. Белокурый человек сидел с пылающим лицом: так его всегда волновала эта девушка.

— Прошло много времени с тех пор, как ты был здесь, — сказал Трембл.

— Мне опять дали этот участок. Я просил о нем. Захотелось снова повидать горы.

— Где ж ты работал?

— Обходил маленькие города, в основном на западе Кентукки.

— Ну и как там, в долинах?

— Полно народу.

— Я никогда не бывал дальше Четырех Долин, вот только раз в году отвожу вниз стулья и прочее.

— Я вернусь, чтобы горы повидать.

— Торговец, что был прошлый год, говорил, что ты вернешься.

— Вот я и здесь, — сказал Лем, прислушиваясь к голосу девушки в доме.

Пришла Джессемин с молоком.

— Благодарю, — проговорил Лем, беря миску.

Девочка стояла, переминяясь, попеременно потирая одну босую ногу о другую. Ее темные волосы, которые расчесала ей мать, висели космами по сторонам лица.

— Можешь идти в хижину, — сказал ей Трембл, так как она, казалось, ждала.

— Иду, пап.

Она вошла в дом и села на скамью, держа в руках свою тряпичную куклу и молча теребя ее.

— У нас новость, — сказал Трембл. — Далси обручилась.

Человек вздрогнул. Его долговязое тело беспокойно задвигалось.

— Нет.

— Да. И парень торонит, чтобы покончить с этим.

— Когда?

«Надо было мне на западе остаться, — подумал он. — И зачем я пришел снова добиваться ее?»

— Она идет за молодого Уилла Хэмма. Он построил для них хижину у подножия Шпурка. Участок расчистили. Парень засадил кукурузное поле, а теперь ковыряется с делянкой табака. Он как следует выжег участок, и сейчас там все в цвету, глаз не парадует! — подробно рассказывал Трембл о планах молодых людей. — Я им барашка дам и двух овец, чтобы завели собственное стадо, так что Далси сможет прясть, как Сэл. Там для нее и небольшое поле льна посеяно.

Человек задвигался. Он не слушал. Трембл вздохнул.

— Поди, Сэл и я будем скучать по неспям, которые Далси распевает весь день.

Вслед за его словами за дверью возник голос девушки, выводящий мелодичные трели. Мужчины сидели под лучами тихого полуденного солнца; стойкий аромат жи-

молости струплся из-за вершины горы. Лему Адаму казалось, что песня опускается на них, как венец.

Растет там в долине зеленая стрелка,
Ах, если б мне сердце пронзила она!
Не стало бы горя, не стало б печали,
Душе бы смятенной покой принесла!

В тот вечер, когда они сидели за столом, свет заходящего солнца разлился по бревенчатому полу, за долгие годы отшлифованному башмаками и босыми ногами. Сэл тяжело двигалась по компате. Она велела Джессемин взять свой стул и дала ей тарелку. На стол был подан теплый хлеб из кукурузной муки, свежесбитое масло и кушпи свежего молока. За ужином Лем видел, как лица родителей поворачивались к Далси, подобно цветам подсолнечника, которые следуют за ослепительным шаром, совершающим свой путь по небосводу. Она взглянула на па него сквозь ресницы:

— Мы ткем мою свадебную накидку.

Так она называла покрывала или одеяла, которые Сэл ткала на продажу.

— Я только что услышал о твоей свадьбе, — проговорил он.

— К завтрашнему дню она будет готова, — продолжала она.

— А рисунок называется «Роза гор», — вставила Сэл. — Этот Уилл Хэмм, бывает, стоит, стоит тут, смотрит, как работает ее станок, да и скажет: — Роза Гор, а ведь никак эта накидка хочет сегодня потягаться с твоим лицом!

Сэл была довольна.

— О, мам! — воскликнула Далси и засмеялась.

Убрав посуду, девушка подошла к станку с ручным челноком. Ее руки проворно мелькали над свадебным покрывалом. Лем Адам стоял рядом и смотрел на нее, и то время как челнок быстро сновал взад и вперед. Она приостановила его, чтобы заложить рисунок, и затем занустила опять.

— Посмотрите воп на те розовые бутоны! — Она нажала па педаль. — Они получаются так, будто совсем расцветут с первым утренним солнцем.

— Красиво, — прошептал он.

— Ткать, местер Адам, — это самая приятная работа на свете!

Он резко повернулся к пылающему огню, который Трембл разжег, чтобы прогнать почую сырость гор и быстро опускавшуюся прохладу.

Огопь догорел, оставив светящуюся золу. Звезды мерцали в отверстии возле очага. Он и Трембл сидели перед кампном с зажженными трубками, и синий дым струился над ними. Сэл сделала сбоку на скамье с Джессемин. Отдыхая, она наблюдала за Далси. Наконец она сказала:

— Хватит на сегодня. У тебя завтра будет полно времени.

— Хорошо, мам.

Тихое подскликивание стапка прекратилось, и девушка подвядлась. Она подошла, чтобы выглянуть в отверстие.

— Я сегодня немца слышала.

— Кто это? — спросил Лем.

— Это пасечник.

— Когда из долины доносится шум, — сказал Трембл, — уж знаешь, что его пчелы роются.

— Там колотят в сковороды, — сказала Сэл, — трубят в рог и кричат.

— Я слышал, когда шел через гору. Я как раз проходил мимо глиносов. Я и удивился, что это такое.

— Июньский рой, — проговорила дурочка, — в цене золотой. — Она снова занялась своей куклой.

— Этот шум для того, чтобы заглушить зов матки.

— Понятно; — сказал Лем.

— Чтобы пчелы остались в улье.

— Джессемин, — Сэл подпесла маленькую руку к своим волосам, стянутым в пучок, — пошли спать.

— Да, мам.

— Спокойной ночи, — сказал Лем.

Они пошли через «собачью конуру» к другой хижине, где они обычно спали. Трембл встал и начал сгребать уголь для следующего утра.

— Мне здесь внизу спать, местер Толливер? — спросил высокий человек.

— Как ты себя ведешь, Далси! Покажи Лему Адаму его постель.

Девушка отвернулась от отверстия, прорезанного в бревнах.

— Сейчас, пап. Вы будете сегодня спать на этом чердаке, местер Адам.

Она зажгла свечу. Он взял свою сумку и последовал за ней вверх по приставленной лестнице.

Тени порхали над ними, как птицы. В хижине Толливера не было ковров или ковриков на полу, не было никаких украшений. Но Сэл славилась своим замечательными покрывалами. Горожане покрывали ими свои постели, стремясь вернуться к давним пестропливым дням. Сэл и Далси снимали шерсть с овец. Они мыли и чесали ее, а затем красили с помощью Трембла и пряли. Они делали и льняную пряжу из местного льна, который хорошо удавался в этом краю. В сочетании с шерстью лен давал грубую полушерстяную ткань.

Лем поднимался по лестнице вслед за Далси. Трп года назад он почевал в другой хижине. На этом чердаке он никогда не был. Он остановился в благоговении у входа, так как увидел при свете свечи, что для путника, который мог остановиться на ночь, были приготовлены царские покои. Пол чердака был устлан пестрыми одеялами и покрывалами с изящным рисунком, некоторые из них истерлись почти в клочья, но были все еще красивы. Он сбросил ботинки и смело шагнул на середину темной комнаты. Куда бы он ни ступил, всюду были тонкие нити, выпряделные и сотканые женщиной и ее дочерью. Он рассматривал рисунки и цвета и то, как они сочетались. На тюфяке, набитом кукурузными листьями, были složены грудой еще одеяла. Ночной ветерок проникал через отверстия под карнизом крыши.

Девушка крикнула с того места, где она стояла, держа свечу:

— Вы такой же длинноногий, как паук-сенокосец. Я всегда это говорила! Вон, посмотрите-ка на свою тень!

— Я знаю, она безобразная.

Он оглянулся назад, туда, где тень, словно спотыкающийся гигант, ползла по балкам наклонной крыши.

— Пожелаю вам спокойной ночи.

— Подожди, Далси! Назови-ка мне рисунки. Мне хочется их знать.

— Хорошо. Вот это «Радость холостяка», а это «Двери и окна» и «Восемь противоположностей». — Она ступала по одеялам в мерцающем свете и указывала босой ногой. — А это «Горо Иова» и «Вилы Оусли».

— Вот этот я знаю, — прошептал он. — Это «Печаль ююпи». Не уходи! — воскликнул он, когда она скользнула к лестнице, подобно пугливой ланг.

— А это «Розы и сосны в пустыне», — мягко сказала она.

— Как вы получаете разные оттенки, Далси?

— Вот этот розово-желтый, — она стала на колени на одеяло, чтобы коснуться пальцем полоски па рисупке, — получается из осоки. Она такая невзрачная, никогда не подумаешь, что она может дать такой удивительный цвет.

Девушка держала свечу в одной руке, и в неверном свете человеку казалось, будто она — видение из сна.

— Я все думаю о том лете, три года назад, Далси.

— Чемерица дает этот бледно-лиловый цвет.

— Я вернулся, чтобы узнать, не передумала ли ты. Когда ж теперь твоя свадьба?

— Послезавтра. А если очень постараться, получится красивый розовый.

— Так скоро! Боюсь, другой такой, как ты, нет. Далси!

— Черный получается из скорлупы серого ореха.

— Я видел тебя в зарослях боярышника.

— Знаю. Я видела ваше лицо среди листьев.

И она спустилась по грубо сколоченной лестнице.

Он вытянулся во всю длину на своем ложе в царственной опочивальне; легкие шаги девушки шелестели, когда она шла из хижины через поляну. Этот звук смешался с густым ароматом жимолости. Он вынул свою библию и стал читать при мягком мерцании свечи.

Утром Лем вышел к колонке, чтобы умыться. Он сузил белокурую голову в стремительный ток воды. Когда он поднял мокрое лицо, он увидел Далси, спускавшуюся по горной тропинке с деревянной миской, полной желтого пенистого молока, в руке. Она смеялась и, потянув за руку сестру, заставила и ее улыбнуться. Он стряхнул воду с волос и крикнул им:

— Доброе утро!

Дурочка вырвалась от Далси и побежала к нему.

— Знаешь! Мы видели итцу-ведьму. — Ее пустые глаза на удивленном худом лице возбужденно поблескивали.

— Да-да, правда! — Далси подошла к ним. — Когда я доила корову. Я рада, что у наших кур есть навес, чтобы укрыться.

— Этой сове положено ловить цыплят, — засмеялся Лем, — чтоб прокормиться. Зачем же называть ее ведьмой?

— И Далси с ней говорила! — сказала Джессемпи.

— Что ж ты ей сказала, Далси?

— Я сказала: «Старый Том Уокер в шапке своей! Отец, Сын и Дух Святой!»

— Ты веришь в эти старые заклинания, Далси?

Девушка перестала смеяться. Она посмотрела на лес, где бродила корова. Облако проплыло, скрыв солнце, и тень коснулась ее лица.

— Это не может повредить.

Она пошла к хижине, и дурочка последовала за ней. Лем опять наклонился над насосом и домылся. Позднее, когда заработали оба станка, мужчины обсудили свои дела. Они договорились о цене на стулья Трембла и тканые изделия Сэл и корзишки для яиц, которые она искусно плела из длинной лозы жпмолости, выварив ее прежде, чтобы отделить кору, и зачистив сучки. Лем убрал книгу заказов в сумку.

— Мне надо спуститься обратно в долину.

Он встал.

— Оставайся к полднику.

— Хорошо, премного благодарен, — быстро сказал Лем, так как жизнь его была одинокой. Он спона сел, согнувшись, на скамью у двери.

Трембл начал рассказывать бесконечные истории. Лем слушал. Светило медное солнце, руки Трембла работали, он кивал головой, а порой замолкал, чтобы плести. Он рассказывал о первых поселенцах, о больших солонцах, к которым собирались животные и где можно было подстрелить любую дичь, на выбор, — диких кошек и волков, бизона и гигантского лося, медведя и лань и почти любую мелкую тварь, которая сбегалась сюда, чтобы удовлетворить свою острую потребность в соли.

— Да, так вот этот проповедник...

Старое лицо Трембла сморщилось в ухмылке.

— У него было девять детей, когда его жена взяла да померла. Проповедник и женился на вдове с тринадцатью душами. Ну, как тебе нравится эдакая куча за столом?

— Двадцать два пострела, — вздохнул Лем, вытягивая погн.

В Четыре Долины пришли холм роллерсы *, рассказывал Трембл, и у них начались нелады с властями из-за нарушения общественного порядка. Они брали в руки змей и раскаленные добела ламповые стекла. Они тряслись и лопотали на неизвестном языке.

Потом он заговорил о Далсе, и лицо его смягчилось.

— А ты будешь покупать у нее накидки, когда она станет женой Улла Хэмма? У нее всегда была склонность к ткацкому делу.

— Буду, местер Толливер.

— Если ты вернешься через год, может статься, тут уже малютка будет.

— Вуки — венец стариков. — У Лема Адама было пристрастие к высокопарным цитатам, которые он вычитывал из своей библнн в долгие вечера. — И слава детей — родители их.

— Слава, — пробормотал Трембл и уставился на бледные солнечные лучи в зарослях сорной травы.

И тут Лему почудилось, что, пока старик сидел, погруженный в мечты, дымка заволочка солнце, и это было предвестием беды.

«Я не могу предвидеть будущее, — подумал он, — и, может быть, это просто страх за тех, кого мы любим, который охватывает нас, бедных смертных, в этом странствии во тьме. Так вот и мать тревожится, когда ее малыши играют возле леса. «Может быть, именно сейчас, — говорит она себе, — один из них упал и ушибся. Может быть, неведомый зверь напал на шх». И она, задыхаясь, бежит и застаёт их в безопасности на лужайке — они плетут венки из девичьей травы и ромашек и увенчивают ими друг друга». То же самое ощутил и он, когда по небу скользнула легкая мгла. Не грозит ли опасность кому-то, кого я очень люблю?

Он тихо проговорил:

— Скажите мне, местер Толливер, что такое птица-ведьма?

— Чего ты? А, это подлая сова-неясыть. У нее такая повадка — проберется потихоньку на дерево, на котором расселись куры на ночь, как на насесте, и пу подталкивать курицу, пока та не свалится с ветки. А как начнет курица падать, так птица-ведьма и подхватывает ее на

* Холм роллерсы — американская религиозная секта.

лѣту. У псе лапы с человеческую руку. Большущие, как руки Уялла Хэмма. Подхватит и улетит с ней.

Джессемни пришла звать их поесть. Мужчины медленно вошли в дом. Когда они закончили, Далси спросила:

— Пройтись мне с вами, мастер Адам, до вершины горы? Я знаю голубиное гнездо на обрыве.

— Сочту за честь.

Он поднял свою черную сумку и распрощался с Толливерами на год.

Они пошли вверх по тропе. Он всегда вспоминал потом, как в этот день порывы ветерка словно старались превзойти себя, соперничая за первенство в черных волосах девушки, которые струились вокруг ее лица. Она шла с опущенной головой, пряча от него цвет своих глаз. Она легко подпрыгивала па ходу, и он снова почувствовал себя старым, как старик, который заставляет ребенка замедлять свой обычный шаг.

— Послушай, Далси! — Белокурый человек остановился посреди тропы. — Я не знал, что ты помслелена.

Она сразу повзрослела и серьезно сказала:

— Я знаю.

— Так что я пришел неподготовленный.

Он вытащил из кармана часы с лунным календарем на циферблате.

— Но я подарю тебе к свадьбе вот это. Вот как это открывается. — Он показал ей, где надо нажать ногтем.

— Господи боже! Я не могу это взять.

Он протянул часы.

— Они показывают день недели, число и месяц.

Его узкое лицо было взволнованно.

— Нет! Они слишком хороши!

— И новолупия тоже. Это заморская штука.

— Я бы хотела, чтобы вы остались еще на день, на свадьбу, — прошептала она, прижимая подарок.

— Нет. Мне надо идти. У меня дела.

Они двинулись дальше, и она пошла рядом с ним, принаравливаясь к его шагу. Они дошли до вершины Шнурка. Впереди растилалось лоскутное одеяло из фермерских земель. Резко выбросив вперед длинные руки, он воскликнул:

— Назови это одеяло, Далси!

— Я называю его «Краса Кентукки», — тотчас ответила она. — Потому что я очень люблю эту доскутную долину. Но все-таки, пожалуй, мой любимый рисунок — это «Роза гор».

Она взглянула на него сквозь ресницы, и он понял, что она сказала это, потому что Уилл Хэмм говорил ей, что нарядка хотела походить на нее, так она была красива.

— А вот и голубиное гнездо. Видите? — Она указала на выступ под отвесным склоном горы, ниже того места, где они стояли. — Птенцы подросли, вот-вот улетят. У них розовато-серые грудки, как небо на закате.

— Оставь их!

— Я хочу, чтобы вы посмотрели, Лем.

Он понял, что она умышленно назвала его по имени, потому что ему было больно навсегда расставаться с ней.

— Да мне все равно.

Но она засмеялась и полезла вниз к гнезду. Она вынула голубя и заговорила с ним. Он тихо лежал у нее в руке. Издали слышалось печальное воркованье матери птенца. Снизу, из долины, поднимался сладкий запах земли, когда она протянула к нему вверх руку с птенцом.

— Я, как коза, ловкая, — похвасталась она. — Возьмите его, Лем.

Он неловко взял птенца, и тот стал биться в его руке. Его долговазая фигура возвышалась над девушкой, когда она карабкалась вверх по скале, поросшей мхом. Ее голова была запрокинута на фоне неба и долины, которую она назвала «Краса Кентукки». Внезапно их глаза встретились, и он подумал: «Теперь я знаю, что они яркие».

Он будто помолодел, и казалось, ему теперь под силу сдвинуть с места Шнурок и дубовые деревья и разорвать надвое небо.

Далси тоже почувствовала это, добравшись до края. Когда он протянул к ней руки, она отшатнулась. Он отбросил полуоперившегося птенца и нетерпеливо схватил девушку. Он поцеловал ее и услышал, как голубь поднялся над ними, трепеща крыльями и издавая пронзительный писк. Потом он стал падать, медленно опускаясь по спирали, а Далси вырвалась.

— Я помолвлена! — крикнула она.

— Уйдем вместе, Далси!

Она наклонилась, чтобы стряхнуть с платья мох и пыль.

Ее волосы, упавшие на лицо, мягко стекали на землю, как струящийся поток. Она поспешно сказала:

— Я вижу, вон там идет мой милый!

— Ты слышишь меня, Далси? — настаивал он.

— Я уже связана с Уиллом Хэммом. Он обещал позаботиться и о Джессемин, когда придет время!

Юпоша неуключе взбирался по дальней тропе. Рубаха его была запачкана, рабочие сапоги — в грязи. Казалось, что вся его одежда как-то мала для такого верзилы, как он. У него были глубоко сидящие глаза, а на огромных руках выпирали большие суставы. Он прокричал:

— Ты что, Далси, весь день будешь слоняться? Работы — непочатый край.

Девушка уже направилась к нему. Высокий человек хрипло прошептал ей вслед:

— Далси! Он тебя изведет! Я бы о тебе заботился!

Она обернулась, и он замер, так как подумал, что все это ему снится и она лишь плод его воображения. Она вынула из кармана часы с лунным календарем, потрогала выгравированное изображение олеи и осторожно открыла крышку.

— Я здесь вижу, что сегодня взойдет месяц. Я, пожалуй, с годами научусь разбираться в них.

Она засмеялась, а потом она подошла к Уиллу Хэмму и они вместе направились к хижине Толливера.

Человек нацупил свою черную сумку в кустах, где он бросил ее.

— Я говорю: помилуй меня, господи! Потому что я взнемог. Омываю каждую почку постелю мою. Слезамы мойми ложе мое омочаю.

Это был отрывок из прочитанного им псалма.

Он посмотрел туда, где юпоша и девушка подходили к повороту тропы. Далси помахала ему. Птицы без умолку пели в благоухающем свете дня. Он, спотыкаясь, побрел вниз по выючной тропе. У подножия Шпурка он свернул влево возле кладбища с разоренными могилами. Пронзительно закричала сова и выпорхнула из деревьев хурмы. Он прошептал:

— Старый Том Уокер в шапке своей! Отец, Сын и Дух Святой. — Так, как это сделала бы синеглазая Далси.

Он знал, что Томом Уокером местные жители называют черта. Его длинные ноги продолжали шагать, и, пройдя несколько миль, он оказался у места, где глиноеды искали печную глину. Теперь их было двое с одним бумажным мешком. Он все вспоминал мягкокрылую птицу-ведьму, парившую над кладбищем, и ее когти размером с руку черноволосого юноши. Когда он зашагал теперь вниз, к Четырем Долинам, прокричал осел, и идти надо было еще десять миль.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Они влезли в грузовик, и, подпрыгивая на ухабах, он повез их по пыльным грунтовым дорогам к шоссе. Высокие борта грузовика с застрявшей в щелях соломы качались из стороны в сторону, швыряя взад и вперед двух девушек, сидевших в глубине кузова на ящиках; каждая из них одной рукой держалась за борт, а другой придерживала подол праздничного розового атласного платья. Наконец они добрались до шоссе и остановились; от радиатора шел пар; они немного передохнули, пока их шофер, гладко выбритый, в чистой рубашке с крахмальным воротничком, вертел головой, выбирая направление. Выбрав, он медленно перевалил через бугор на дороге и с трудом развернулся к городу. Угрожающе задребезжал капот, ритмично закачалась борта, и пассажиров в кузове затрясло по мощной дороге.

Две девушки в розовых платьях — совсем как близнецы — выпрямились, расправили юбки, и Полли Энн, младшая из них, обернулась и положила руку на голову шестилетней Мэди Клод, чтобы девочку меньше трясло; малышка стала похожа на горбунию, но трести ее не перестало: грузовик по-прежнему подпрыгивал, и попки ее летали вверх и вниз, а башмачки стучали о пол. Сет стоял впереди. Его соломенная панамы была сдвинута на лоб, как у повара. Он ни за что не держался и с безразличным видом жевал спичку. Был он неподвижен, как птица на ветке в сильный ветер, и только ноги его в брюках со штрипками слегка колебались в такт быстрой езде. Джонни, маленький двойник Сета, — он едва доходил ему до плеча, — стоял рядом и пытался подражать Сету. Он старался ни за что не держаться, но в конце

концов не выдержал и украдкой схватился одной рукой за качающийся борт машины, а другой — за поля своей соломенной шляпы. Шляпа была явно велика ему — она спускалась на лоб, доходила чуть ли не до бровей и закрывала уши, и у Джонни был такой вид, как будто он выглядывает из глубокой норы. Как он ни хмурил лоб, пытаясь удержать шляпу, казалось, ветер вот-вот унесет ее, — и Джонни не оставалось ничего другого, как по-аорно схватиться рукой за поля.

Они ехали по шоссе; все так же дребезжали борта грузовика, все так же шел пар от радиатора и при каждом толчке плясала пыль в кузове. Том Гампльтон ни на секунду не выпускал руль из цепких, узловатых пальцев. Его худое, изможденное лицо было бесстрастно, как лицо статуи, — вылитый Авраам Линкольн, только без бороды; подвижна была только нижняя часть лица: Том жевал табак. Он как бы сросся с шоферской баранкой; похоже было, что он старается убедить себя, что это ему послушна машина.

Рядом с ним сидела его жена Мэми. На коленях у нее был ребенок; она сцедила на животе грубые мужские руки с коротко подстриженными ногтями. Ее круглое полное лицо сохраняло отсутствующее выражение: вероятно, в мыслях она была уже в городе и прицепялась к продуктам в магазине. Мэми молчала, отодвинувшись от коренастого приземистого мужчины — своего деверя Альберта, который был похож на нее больше, чем на своего брата. От него, как всегда, несло табаком и виски, он сопел и стрелял по сторонам маленькими голубыми глазками. Грузовик трясло, с каждым толчком трое взрослых и ребенок подсакивали вверх; на лицах всех троих застыло одинаковое безучастное выражение, казалось, тряска ничуть не мешала им, они поднимались и опускались, точь-в-точь как шары в руках у жонглера.

Они взобрались на пригорок. Уже виден был Калвилль. А на расстоянии полумили они увидели грузовик. Они смогли разглядеть черные головы пассажиров, высокий капот и буксующее заднее колесо. Спустившись с пригорка, они начали нагонять грузовик. Том Гампльтон лениво нажал ногой на педаль. Скорость заметно не увеличилась, хотя мотор заработал по-прежнему. Ногой, обутой в грубый башмак, Том нажимал и отпуская педаль, и

челюсти его двигались то быстрее, то медленнее. Мэми поудобнее усадила девочку на коленях. Альберт застыл в пеловкой позе и затих, не отрывая глаз от буксующего колеса. Машина медленно пабирала скорость. Грузовик маячил впереди и был похож на встряхивающегося мокрого пса, сидящего посреди дороги. Сет передвинул зубами спичку из одного угла рта в другой, и при этом его папама, казалось, еще больше чем обычно, сдвинулась на лоб, как у повара. Джонни теперь обеими руками держался за борт и за неизменною резинку жевал соломинку. Том Гамильтон с силой нажал на акселератор, расправив плечи, как будто ему предстояла тяжелая борьба, медленно повернул руль и стал ждать, пока машина паберет скорость. Руль задрезжал, запрыгал, и машина рванулась на середину дороги. Том дал задний ход и, выровняв машину, направил ее влево, мимо грузовика, застрявшего, по-видимому, надолго.

Они вели себя так, будто ничего не произошло, — все, кроме Альберта: тот даже высунулся, чтобы получше рассмотреть буксующее колесо. Они смотрели вперед, по сторонам — куда угодно, только не на потерпевший аварию грузовик. Они были уже в двадцати футах от него, потом в десяти и, наконец, почти совсем поравнялись. Тогда Том Гамильтон, правой рукой держась за руль, левой дотянулся до автомобильной сирены. Раздался рев, заглушивший все остальные звуки, прозвучавший, как сигнал к бою. И слова Том обеими руками держался за руль и жевал резинку. Все смотрели куда-то вдаль, как будто грузовика и в помине не было. И только уголком глаза каждый из них, когда проезжали мимо, увидел и грузовик и его пассажиров — семь или восемь негров, сбившихся в кучу. Они поравнялись с грузовиком и обогнали его. Сет и Джонни смотрели прямо перед собой, а Полли Эпи и Маргарет не отрываясь следили за дорогой, как будто впереди было нечто необычайно интересное.

Через несколько минут они были в Калвилле. Они пересекли через железную дорогу на окраине города. Грузовик трясло, большие борта хлопали, как крылья гигантской птицы. Девушки подпрыгивали на ящиках, а малышку на полу мотало из стороны в сторону, несмотря на то, что Полли Эпи продолжала держать руку у нее на голове. Ноги у Сета двигались, как шатуны, в то время как сам он оставался неподвижным, а шляпа на

голове у Джонни съезжала то вправо, то влево, то совсем закрывала ему лоб. Трое спдевших впереди двигались, как будто их соединяла невидимая нить, — то вправо, то влево, то вверх, то вниз. Грузовик замедлил ход. Том Гампльтон снова повел его через железную дорогу.

Они въехали на небольшой склон, спускавшийся к центру города, проехали мимо памятника конфедерату, изображенному солдатом с ружьем наперевес, готовым по первому слову командира броситься в атаку против северян. Они как раз проезжали мимо памятника, когда заметили необычные приготовления в верхней части города. Они увидели фонарные столбы, перевитые красными и белыми лентами, лепты, протянутые между столбами и поперек улиц, драпировки на дверях, надписи на окнах, красно-белые плакаты, флаги Конфедерации и флаги Соединенных Штатов у дверей магазинов, а перед светофором через всю улицу громадный транспарант с надписью: «Столетний юбилей». Они ехали и смотрели по сторонам. Транспаранты спускались вдоль улицы до самой железной дороги, красовались в витринах и на стенах магазинов; то же самое было на соседней улице. Сет вынул спичку изо рта и смотрел по сторонам, не поворачивая головы. Джонни вертелся во все стороны, разглядывая украшения.

— Послушай, что это? — спросил он.

Сет кивнул на транспарант у светофора и снова принялся жевать спичку.

— Ну что? — спросил Джонни.

Сет прочел.

— Чего? Что это такое?

— «Столетний юбилей».

Сет взглянул на Джонни и отвел глаза. Прокашлявшись, он повернулся спиной к Джонни и начал ковырять спичкой в зубах. Джонни еще раз окинул взглядом улицу и перебрался в глубь грузовика, где сидели Полли Энн и Маргарет.

— Столетний юбилей, — повторил он, указывая на транспарант. — Похоже, что они к моему дню рождения все это приготовили, а?

— Ну да! — отозвалась Полли Энн.

— Да ведь день-то один и тот же! Сегодня мой день рождения, правда? Мне исполнилось шестнадцать лет. Вот они и приготовились.

— Что за столетний юбилей? — спросила Маргарет. Ей никто не ответил. Все разглядывали улицу, пока грузовик не завернул за угол. Тогда Джонни снова перебрался к Сету и сообщил:

— Столетний юбилей в тот же день, что мой день рождения.

— Угу, — сказал Сет.

— В тот же самый день.

— Угу.

Они остановились перед продуктовым магазином на Смоукс-роуд, там, где стоянки не было, — напротив здания железнодорожного депо с красной крышей из рифленного железа. Они вылезли из машины, размялись, почистили запыхавшуюся в дороге одежду и стряхнули пыль с платяца Мэдди Клод, смотревшей в это время, как поезд пересекает улицу, а из трубы паровоза вырываются черные клубы дыма. Пока они хлопотали около девочки, Альберт вошел в магазин и завел разговор с пожилым человеком в комбинезоне; разговор вскоре перешел в громкий спор. Том Гамильтон достал из маленького белого мешочка табак и бумагу и тщательно скрутил сигарету. Пока Мэми перечисляла ему продукты, которые ей необходимо было купить в городе, он насыпал на бумагу табак, короткими тупыми пальцами разровнял его, обильно смочил бумагу слюной, чтобы лучше заклеплась, сунул сигарету в рот и зажег; бумага слегка обгорела, прежде чем огонь дошел до табака. Выслушав Мэми, Том ощупью пашел в заднем кармане маленький засаленный кошелек и, достав его, отсчитал ей шесть замусоленных долларовых бумажек и еще одну в 50 центов. Джонни, Маргарет и Полли Эни, окружив их, наблюдали за процедурой. Заметив это, Том вытащил из кошелька еще 75 центов, разделил их поровну между всеми тремя и, слегка поколебавшись, протянул 10 центов шестилетней Мэдди Клод. Потом он быстро захлопнул кошелек и с некоторым замешательством взглянул на Сета, который стоял в стороне и смотрел на что-то в конце улицы, всем своим видом показывая, что он совершенно поглощен этим занятием.

Они простояли у грузовика ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы убедиться, что все в порядке, а затем разошлись кто куда. Сет ушел первым. Сначала он шел не спеша, с достоинством, потом ускорил шаг, и

железные подковки па его ботинках дробно застучали по мостовой. Джонни замешкался. Он взглянул на мать, потом на Полли Эни, у которой был такой вид, словно она собиралась ему что-то сказать, и наконец решился.

— Я пойду с Сетом, — сказал он.

Они снова взглянули друг на друга, и Полли Эни спросила:

— А разве ты не пойдешь с нами...

Но они уже больше не смотрели друг на друга, и конец фразы повис в воздухе. Джонни повернулся и побежал за Сетом, то и дело вертя головой, чтобы получше рассмотреть лепты и драпировки на дверях.

Вскоре после этого отправились по своим делам Полли Эни и Маргарет. Они быстро скрылись из виду в оживленно обсуждавшей что-то толпе. Потом ушла Мэми с ребенком на руках и Мэдди Клод. Том Гамильтон присел было на ступеньку магазина послушать, о чем спорят Альберт со стариком Биггерсом, но через минуту-другую поднялся и пошел вниз по улице к магазину скобяных товаров, перед которым сидело на лавке несколько мужчин; те потеснились, приглашая его сесть.

Они расстались у грузовика около десяти часов утра и собирались встретиться снова лишь поздно вечером.

Сет, за которым неотступно следовал Джонни, прошел мимо магазина дешевой распродажки и кинотеатра в бильярдную и уселся на свободный стул сбоку, наблюдая за игрой на переднем столе. Джонни сел рядом и прищурился, стараясь привыкнуть после яркого апрельского солнца к прохладной темноте игорного зала. Посетителей было еще немного. Столы в глубине зала были сдвинуты, и свет над ними погашен. Сет положил ногу на ногу, закурил и развалился на стуле, продолжая наблюдать за игрой. Джонни украдкой следил за ним. Он слова прищурился, взглянул на Сета, потом так же, как тот, развалился на стуле, положил ногу на ногу и стал смотреть, как дым от папиросы поднимается вверх, к жужжащим голубым неоновым лампам, освещавшим бильярдный стол. Потом взгляд его остановился на толстяке в белой рубашке, который вынул изо рта облюбованную сигару и опорожнил кружку пива, стоявшую перед ним на стойке. Джонни даже затащило от отвращения. Он еще несколько раз взглянул на Сета, потом наклонился к нему и бросил небрежно и грубовато:

— Слушай, Сет, дай мне сигарету, а?

Сет не ответил. Он курил и смотрел, как разлетаются шары на зеленом сукне. Джонни отвернулся и стал следить за игрой, как вдруг почувствовал на себе взгляд Сета. Он даже подскочил от неожиданности, когда Сет спросил его:

— Дать тебе что?

Растерявшись, Джонни не смог ничего ответить и только переспросил:

— Что ты сказал?

— Дать тебе сигарету?

— Ну да, Сет. Я только хотел попробовать.

Сет долго не отвечал, и Джонни ждал, затаив дыхание. Наконец Сет полез в карман и достал пачку. Джонни, не глядя, вытащил сигарету, сложил губы трубочкой, зажал ее во рту и протянул пачку обратно. Потом он перевел дыхание и спросил:

— А спичку?

Сет неторопливо достал спичечный коробок и протянул его Джонни. Джонни зажег сигарету и стал курить, не затягиваясь. Непущимися пальцами он неумело держал сигарету, курил, выпуская в потолок клубы дыма, и следил за игрой, а на глаза ему наворачивались слезы.

Полли Эпп и Маргарет отправились на автобусную станцию. Они зашли в буфет, уселись у белой стойки и заказали официантке — толстой девчонке в белом платье — две кока-колы. Дружно склонившись над стаканами, они потягивали кока-колу, а Полли Эпп время от времени смотрела на себя в зеркало, висевшее напротив стойки. Они разглядывали посетителей. Это были сплошь сельские жители в чисто выстиранных рабочих костюмах цвета хаки, синих джинсах и комбинезонах. Подошел автобус, и девушки повернулись посмотреть на приехавшую публику. Они похихикали над грузной негряткой со множеством свертков, которая чуть не растянулась, выходя из автобуса. Еще посмотрели, пошептались. Полли Эпп взглянула на себя в зеркало и выпрямилась, отведя назад плечи, так что ее маленькие груди чуть резче обозначились под розовым атласным платьем, еще раз взглянула на себя в зеркало, потом посмотрела на толстую официантку, потом снова на себя. Потом она повернулась к Маргарет, которая ей что-то говорила, опустила

глаза, оглядывая свою фигуру; опять взглянула на сестру, которая была годом старше ее, потом снова на себя; по-видимому, она была вполне согласна с тем, что говорила ей в это время Маргарет. Вошли два знакомых молодых человека, и девушки, как по команде, стали сосредоточенно разглядывать что-то прямо перед собой: если молодые люди хотят заговорить с ними, это их дело; во всяком случае, они не покажут вида, что заметили их. Молодые люди направились к двери, так и не заговорив. Девушки одновременно посмотрели им вслед. От нечего делать они снова принялись разглядывать посетителей; каждая из них была слегка сердита на другую. Полли Эни повернулась на стуле и увидела, как юноши переходят улицу. Она сказала:

— Вон идет Тим со своим приятелем. Они оба такие противные...

— Где?

— Вон там.

— Это они? Вот никогда бы не подумала.

— Ну, конечно, они, — подтвердила Полли Эни.

— Слава богу, что они нас не видели, — сказала Маргарет. — Они такие противные...

Девушки уже кончали пить кока-колу и собирались уходить, когда пришел автобус северного направления. Они начали пить маленькими глотками, чтобы растянуть время и посмотреть, кто выйдет из автобуса. Теперь они обсуждали, что подарить Джоини на день рождения. Маргарет предлагала купить зеленую панаму, а Полли Эни настаивала на том, чтобы подарить зажигалку.

— Ну зачем ему зажигалка? — удивлялась Маргарет, — ведь он даже не курит.

— Ну и что же? Он же начнет когда-нибудь. Ведь ему уже шестнадцать, правда?

— Ну, знаешь, — заявила Маргарет, — я просто не вижу смысла покупать зажигалку, раз он даже не курит, и потом у нас все равно денег не хватит.

Они обсуждали этот вопрос, рассматривая пассажиров, выходящих из автобуса. Они увидели, как, опираясь на руку шофера, из автобуса вышла блондинка с ярко-красным маникюром и кольцами на руках. Они продолжали разговаривать и одновременно следили за тем, как женщина, очень прямо держась на слишком высоких каблуках, направилась к зданию станции. Они слышали,

как стучат ее каблуки, и видел, как двигаются ее бедра под узкой юбкой — совсем как части хорошо смазанной машины. Женщина вошла. У нее оказались пустые глаза, а белокурые волосы совсем не шли к цвету ее лица. Полли Энн потрогала кусочек льда на дне стакапа и отвернулась, когда женщина попросила толстую официантку, тоже разглядывавшую ее, принести ей кока-колы:

— Пожалуйста, моя милая. И, будьте так добры, положите туда кусочек лимона.

Она открыла сумочку, вытащила носовой платок и, перегнувшись через стойку к зеркалу, поправила на губах помаду; потом достала сигарету и, закурив, спросила официантку, что означают праздничные приготовления в городе.

— Да какой-то праздник. Столетний юбилей, что ли, — ответила девушка, смешавшись и покраснев. Полли Энн презрительно посмотрела на нее.

— А что это, моя милая, что-нибудь вроде ярмарки?

— Да, наверно, что-нибудь вроде того.

Сосед женщины, седоволосый мужчина в сером костюме, все время поглядывавший на нее, вступил в разговор.

— Никто не знает, что это за штука, — сказал он. — Но уж будьте уверены, отпразднуют ее что надо.

Женщина обернулась и посмотрела на него. Он смеялся. Смех его звучал неестественно, лицо покраснело от напряжения. Полли Энн видела, как он, первичая, мусолил в пальцах бутерброд. Несмотря на то что на нем был городской костюм, Полли Энн безошибочно определила по цвету его лица, что он сельский житель.

— Откуда вы? — спросил он, улыбаясь; улыбка вышла неестественная, чувствовалось, что ему явно не по себе.

— Из Джексонавила, — ответила женщина, даже не удостоив его взглядом.

— И куда же вы направляетесь?

Сначала казалось, что она вообще не ответит. Но она все-таки ответила:

— Нам не по пути.

Несколько человек засмеялись. Мужчина смутился, покраснел и, отвернувшись от нее, откусил большой кусок от бутерброда; вскоре после этого он позорно бежал с поля боя, так и не доев бутерброд.

Полли Эни и Маргарет подождали, пока женщина кончила пить свою кока-колу, посмотрели, как она поднялась из-за стойки, подошла к билетной кассе и спросила, когда отходят автобусы; тогда они тоже собрались уходить. Маргарет направилась к двери, Полли Эни пошла было за ней, но, когда женщина проходила мимо них, внезапно остановилась и окпнула ее взглядом с головы до ног. Потом она догнала Маргарет, и они вместе вышли на улицу. Полли Эни держалась очень прямо, чуть отведя плечи назад, так что яснее вырисовывались под платьем ее груди, а бедра ее слегка двигались при ходьбе.

— До чего же противный был мужик, правда? — сказала она. — Готова поспорить, что ему все шестьдесят.

— Может быть, — отозвалась Маргарет.

— А ты видела, какая у нее прическа? Готова поспорить, что у нее крашенные волосы, — заметила Полли Эни. — Я своп, пожалуй, тоже так покрашу.

— Боже мой! — простонала Маргарет, взглянув на нее.

— А знаешь, если не считать каблуки, то она ничуть не выше меня, — сказала вдруг Полли Эни. Тут она засмеялась, и Маргарет засмеялась тоже, и все вдруг показалось им таким смешным, что, схватившись за руки, они, смеясь, побежали вниз по улице и добежали до самого угла; тут Полли Эни перестала смеяться, но Маргарет никак не могла остановиться, Полли Эни посмотрела на нее, и все началось снова. Потом они гуляли и смотрели на окна; Маргарет разглядывала украшения, выставленные в окнах, а Полли Эни любовалась собственным отражением в стекле и, исправляя волосы, решала, пойдет ли ей новая прическа.

Город становился все более и более оживленным по мере того, как съезжались жители всей округи. Они оставляли свои шкапы и двухтопки на улице, прямо у железнодорожного полотна. Подъезжали старые, поездившие на своем веку грузовики, из них, как лилипуты в цирке, вылезали люди. Подъезжали фургоны, повозки, запряженные мулами, форды устаревших образцов. К двенадцати часам дня улицы были буквально забиты неграми и белыми в комбинезонах и костюмах цвета хаки, женщинами с детьми и мужчинами, стоявшими группами на каждом перекрестке и рассуждавшими о по-

годе, запаха, видах на урожай и праздничном убранстве города.

Джонни все еще был в бильярдной. Он ел бутерброд с горячей сосиской и смотрел, как играет Сет. Сет наклонился над столом, не выпуская изо рта сигарету. Он легко и уверенно держал в руках кий, натирая кончик мелом после каждого удара, а дымок от сигареты поднимался вверх, застилая ему глаза. Джонни с гордостью отметил, что Сет за игру взял тридцать три очка. Расправившись с бутербродом, Джонни слизал горчицу с пальцев, потом нашел себе партнера — мальчишку, составлявшего пирамиду, и они стали играть в восемь шаров. Джонни загнал только два шара, но зато научился натирать мелом кончик кия, совершенно не испытывая при этом неловкости, которую он с некоторым презрением отметил у прочих новичков.

Альберт обедал в одиночестве в небольшом ресторанчике около вокзала и, чтобы развлечься, шутил с официанткой, хихикавшей при каждой его шутке. Он выпил три кружки пива и вдвоем с каким-то мужчиной направился в парк, где должны были состояться торжественные церемонии по случаю столетнего юбилея. В парке его ждало разочарование. Никак не больше тридцати человек окружало помост, на котором стояли ораторы. Те, отчаявшись собрать большее число людей, перебрасывались через микрофоны шутками друг с другом; шутки были понятны им одним, никто из публики не смеялся. Альберту это скоро надоело, и он поспешил вернуться в город, чтобы выпить в том же ресторанчике еще несколько кружек пива и поболтать с официанткой. Он только что приступил ко второй кружке, когда в ресторане вошла женщина.

Он не мог ее видеть, потому что сидел спиной к двери, но уже по запаху ее духов почти представил себе, как она выглядит. Альберт жадно втянул в себя этот запах, и он защекотал ему пощечин. Он обернулся и увидел, что она уселась на стул неподалеку от него. Маленькая, стройная блондинка, с ярко-красным макияжем, она была одета в плотно облегающее ее стройную фигурку шелковое платье — Альберт различил даже еле заметный рубец на платье чуть пониже ягодиц — след от резинки ее трусиков. Он часто задышал, пожирая ее глазами. Потом вдруг широко улыбнулся, встал и подошел к ней.

— Готов поспорить, что вы нездешняя, — начал он. — Могу ли я надеяться угостить незнакомку кружкой хорошего холодного пива?

Она оценивающе посмотрела на него. По физиономии Альберта расплзлась широкая добродушная улыбка, а глазки его блестели. Взгляд женщины стал холодным, потом сердитым, потом презрительным и, когда он не сдался, наконец, дружелюбным.

— Ну что же, — сказала она, — если уж вы так настаиваете, я, пожалуй, не откажусь.

— Вот и хорошо, — заявил Альберт. — Кроме того, у нас сегодня столетний юбилей. И еще — у моего племянника сегодня день рождения, надо еще ему что-нибудь купить, хороший мальчик, ему сегодня шестнадцать исполнилось.

— Ну хорошо, — улыбнулась женщина, — тогда я выпью за вашего племянника. Я ведь помню то время, когда мне самой было шестнадцать.

— Хотел бы я, черт возьми, вспомнить, когда это мне было шестнадцать, — пробормотал Альберт. — Золотко мое, принесите леди хорошего холодного пива...

В четыре часа дня в парк прибыл радиокомментатор. Он оставил машину с оборудованием и оператором около кинотеатра, а сам пошел налаживать аппаратуру, готовясь к предстоящей передаче, которая должна была начаться ровно в четыре тридцать. Он спешил, чтобы вовремя пачать передачу, и, устанавливая микрофон, с застывшей улыбкой, то и дело извняясь, пробирался сквозь плотное кольцо любопытных; он улыбался, просил прощения, а его галстук бабочкой прыгал вместе с кадыком, когда он говорил в микрофон: «Раз, два, три, четыре. Ты слышишь меня, Чарли?»

Любопытствующая публика образовала около него тесный полукруг. Старик Биггерс внимательно следил за всем, что делал радиокомментатор, жевал табак и время от времени спрашивал: «А это зачем?» Том Гампльтон тоже подошел посмотреть на приготовления. Вскоре к ним присоединилась Мэми. Она возвращалась из бакалейной лавки и несла ребенка и продукты; Мэдди Клод, как взрослая, шла рядом с ней. Мэми подошла, посмотрела, потом снова ушла, чтобы положить продукты в грузовик, перед тем как пойти в кино — потому что она всегда хо-

дпла в кино по субботам. Она вернулась, когда радиокомментатор объявлял начало передачи, постояла рядом с мужем, посмотрела на провода около машины радиокомментатора; мысли ее были далеко.

— Интересно, куда девался Джонни, — сказала она. — Я ведь его хотела с собой в кино взять, у него же сегодня день рождения, ну и вообще, знаешь...

— Он куда-то с Сетом ушел, — ответил Том Гамильтон, не взглянув на жену.

— А ведь он всегда так пристраивал ко мне, чтобы я его с собой взяла.

Том Гамильтон кивнул, но не пропнес ни слова; он следил за радиокомментатором. Мэми поискала глазами Джонни и, не найдя его, спросила:

— И куда они девались, хотела бы я знать?

На этот раз Том Гамильтон взглянул на нее. Он поклонился, сплюнул, утер губы рукавом рубашки и сказал:

— По-моему, тебе нет никакого смысла стоять и ждать его здесь. А может, он сейчас и не захочет с тобой идти.

Больше он ничего не сказал, потому что в это время радиокомментатор выключил микрофон, а Биггерс спросил его: «А это зачем?», и он начал объяснять, зачем. Мэми постояла еще, потом повернулась и направилась к кассе кинотеатра: заплатив за билет, она, перед тем как исчезнуть в темном зале, из которого уже слышны были выстрелы и топот лошадей, оглянулась еще раз, проверяя, нет ли поблизости Джонни.

В четыре тридцать, как раз, когда Мэми отправилась в кино, оператор из грузовика кивнул радиокомментатору. С последним произошла разительная перемена. На лице его заиграла широченная улыбка, голос зазвенел воодушевлением, он говорил, кивал головой, суетился, махал руками, приветствуя толпу, собравшуюся по случаю столетнего юбилея города Калвилля, а его галстук-бабочка так и прыгал вверх и вниз вместе с кадыком. Он описывал праздничные украшения и толпы народа на улицах города, сообщал о танцах, которые предполагалось устроить тут же, на главной улице, под музыку оркестра Роя Болтона. Потом он приступил к интервью и попытался было затащить к микрофону грузную женщину со свертком продуктов в руках, спрашивая ее сказать всего несколько слов, но женщина попятилась, плотно

сжав губы, и, наконец, совсем ушла. Комментатор с юмором описал это небольшое происшествие, хотя смех его звучал несколько натянуто.

Сет и Джонни вышли из бильярдной и присоединились к толпе, окружавшей радиокомментатора. Они стояли далеко от грузовика, но Сету все было отлично видно, потому что он был высокий, а Джонни, чтобы лучше видеть, украдкой поднимался на носки. Том Гамплетон достал из кармана маленькую белую мешочек с табаком и бумагой и скрутил сигарету. М-р Биггерс, не переставая жевать табак, уставился на провода около машины радиокомментатора. Последний пытался заполучить к микрофону долгового парня, который, тупо уставившись на него, ухмылялся и качал головой. «Пожалуйста, скажите нам ваше имя», — обратился к нему радиокомментатор. Парень широко улыбнулся, показав невероятное количество зубов. «Только ваше имя, — настаивал радиокомментатор. — Вы не хотите сказать нам ваше имя?» — Он нагнулся к парню, поднеся микрофон к самым его губам, в то время как тот смотрел на него, ухмыляясь; несколько секунд они молча смотрели друг на друга, потом парень пошевелил губами, собираясь, очевидно, что-то сказать, но, по-видимому, раздумал; радиокомментатор огорченно покачал головой, совсем как мать, воркующая над малюткой дочерью, забывшей детский стишок; отчаявшись наконец получить какой-нибудь ответ от ухмылявшейся физиономии, он заговорил сам. Поднеся ко рту микрофон, он ослепительно улыбнулся, показав все зубы до одного, и сообщил: «Кажется, этот молодой человек не расположен говорить по радио. К счастью, народу здесь сегодня более чем достаточно. Вы слушаете нас сегодня, сидя дома около своих радиоприемников... Простите, сэр, может быть, вы скажете нам, как вас зовут? — обратился он к угрюмому человеку в комбинезоне. — Как, вы тоже не хотите сказать нам, как вас зовут? Ну тогда, может, вы тот джентльмен... Ха-ха-ха! Кажется, он так спешит, что ему не до нас... Вы слушаете нас сегодня, сидя дома около своих радиоприемников...»

Толпа равнодушно наблюдала за тем, как радиокомментатор в течение пятнадцати минут безуспешно старался вытянуть из кого-нибудь пару слов; его жизнерадостный смех превратился к этому времени в какое-то бульканье, которое он, казалось, выдавливал из себя, а

лицо стало уродливой улыбающейся маской, и только губы иногда произвольно дергались. Однажды он попытался заговорить с мужчиной, который был чем-то недоволен, а еще раз чуть не получил интервью у другого, который сначала вообще не хотел говорить, а потом начал было, но поперхнулся, закашлялся и кашлял так долго, что радиокomentатору ничего не оставалось делать, как убрать микрофон и самому сказать несколько слов, чтобы не прерывать передачу; переминаясь с ноги на ногу, он дождался, когда мужчина кончил кашлять, и снова поднес ему микрофон, но тот снова закашлялся, и радиокomentатор вынужден был снова убрать микрофон и спросить радиослушателей: «Вы слышите, как он сильно кашляет?» Он подождал еще и спустя некоторое время снова спросил радиослушателей: «Вы слышите, как он сильно кашляет?» Наконец, когда приступ кашля, казалось, благополучно окончился, он снова поднес микрофон к самым губам кашлявшего. Тот стал отхаркиваться и сплевывать, прочищая горло; в конце концов, громко высморкавшись, он повернулся спиной к радиокomentатору и исчез в толпе.

Альберт и женщина, которую, как он узнал, звали Клареной, вышли из ресторана и, увидев толпу, направились посмотреть, что там происходит. Альберт шел вприпрыжку, улыбаясь и указывая пальцем на все, что привлекало его внимание, а Кларена семенила рядом, громко стуча каблуками, и мускулы ее тела ритмично двигались в такт ходьбе. Они остановились позади толпы, окружавшей грузовик; от них шел смешанный запах духов и пива, и люди оборачивались, чтобы посмотреть на них. Кларена скучающим взглядом посмотрела на машину и радиокomentатора и небрежно, тоном светской дамы объявила: «А, это у них радиопрограмма» — и слегка икнула, язычком прикрыв рот рукой.

Радиокomentатор, уже не пытаясь улыбаться, старался в оставшееся время развлечь своих слушателей подробным описанием праздничных украшений в витринах магазинов. Раз или два он чуть не обрел прежнее красноречие, заявив: «Как жаль, что не все наши отцы, деды и прадеды присутствуют сейчас здесь, чтобы своими глазами видеть эту дань любви нашему дорогому городу в его столетний юбилей. Нам очень недостает их, и мы

хотели бы, чтобы они были сейчас с нами, но мы знаем, что они незримо присутствуют здесь и смотрят на нас, и мы хотели бы, чтобы вы, слушающие нас дома у своих радиоприемников, тоже были сейчас здесь, с нами, и своими глазами видели все...»

Они стояли и слушали. Альберт вертелся во все стороны, с лица его не сходила улыбка, а рука была опущена вниз, так что, когда Кларена меняла положение, он чувствовал, как двигается ее зад, обтянутый шелковым платьем. Растроганная красноречием радиокomentатора, Кларена вытащила из сумочки носовой платок и поднесла его к покрасневшим глазам, пробормотав:

— Да, они сейчас смотрят на нас... Я помню, когда мне было шестнадцать лет.

Сет издали заметил Кларену и, уставившись на нее, перестал жевать спичку; кивком головы он указал на нее Флипу, с которым вместе вышел из бильярдной, и тот кивнул в ответ: он тоже ее заметил. Недоверчиво покачав головой, Флип тихонько присвистнул:

— Это что, твой дядя с ней?

Сет кивнул, не сводя глаз с Кларены и Альберта.

— Ну и ну! Будь я проклят!

— Сто чертей! — сказал Флип. — Ну и дьявольщина!

— Будь я проклят! — повторил Сет.

— Что там? — Джонни поднялся на носки, чтобы лучше видеть. — Что там такое?

Толпа уже пачала расходиться, когда Полли Энн и Маргарет вышли из магазина дешевой распродажи. Радиокomentатор закончил передачу на пять минут раньше срока, и оставшееся время пришлось занять музыкой. Тяжко вздыхая, он помогал оператору грузить оборудование в машину; движения его были вялыми, а глаза ничего не выражали. Те, кто не разошлись, жевали табак и резинку, молча наблюдая за погрузкой. Полли Энн и Маргарет удивились, увидя толпу, но разузнавать в чем дело не стали. Общим им было не до того: они спорили и были так раздражены, что даже не смотрели друг на друга.

— Пожалуйста, иди и покупай все что хочешь, — заявила Полли Энн. — Но только имей в виду, что я тебе ни цента не дам. Наплевать ему на твою панаму.

— Это на твою зажигалку ему наплевать.

— Ну что ж, можешь говорить все что угодно, а я ему все-таки куплю зажигалку. Очень ему нужна твоя па-нама, раз ему уже шестнадцать лет.

— Да ты знаешь, сколько стоит зажигалка? Ты иногда прямо как ненормальная становишься. Ведь самая дешевая, что ты нашла — помнишь, в аптеке, — и то стоила полтора доллара! А у тебя только пятьдесят центов и у меня тридцать. Понятия не имею, на какие деньги ты ее собираешься покупать и на что она ему вообще сдалась. Ей-богу, Полли Энн, иногда ты прямо как ненормальная становишься. Я просто не понимаю, и зачем Джонни зажигалка. Я...

— Ты много чего не понимаешь, — с горечью заметила Полли Энн и отправилась вверх по улице, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, идет ли за ней Маргарет.

Сет, Флип и Джонни отправились за Альбертом и Клареной, следя, как мелькала в толпе негров и белых, запрудивших улицы, ее маленькая стройная фигурка. Дойдя до Редз-Плейс на Смоуки-роуд, они остановились. Альберт и Кларена вошли в ресторан, а Сет, Флип и Джонни остались у дверей, размышляя, что им теперь делать.

— Черт побери, пойдём и мы! — заявил Флип.

Но Сет медлил, а Джонни стоял, прислонившись к стенке и засунув руки в карманы, и ждал, что скажет Сет. Сет погрыз спичку и после некоторого раздумья сказал:

— Терпеть не могу отбивать женщин.

— А ты и не будешь ее отбивать. Вы с ним просто поменяетесь местами, вот и все. Ведь он же твой дядя, правда?

Они вошли. Это был дешевый ресторанчик с потрепавшимся деревянным полом, крохотными синими лампочками под потолком и скверной пианолой, которая освещалась всеми цветами радуги — от розового до зеленого, — когда играла музыка. Они подошли к кабине, где сидели Альберт и Кларена. Альберт не только пригласил их зайти, но, казалось, был страшно рад их видеть. Он подвинулся, чтобы Джонни мог сесть рядом с Клареной, и сказал:

— А ну-ка, залезай сюда, малыш. Сейчас мы отпразднуем твой день рождения.

— Ах, так это он и есть? — спросила Кларена. Она улыбнулась и потрепала Джонни по плечу. — Я ведь помню, когда мне самой было шестнадцать. — И изящно оттопырив палец, она отпила большой глоток прямо из бутылки.

Около восьми часов, когда они вышли из ресторана, праздник был в самом разгаре. Все развивалось весьма необычным образом. Сначала казалось, что вся затея вообще провалилась. Рой Болтон со своим оркестром так и не показывался, ресторанный пианино, которую поставили на разукрашенный по случаю праздника грузовик, совсем не слышно было через микрофон, а когда наконец стало слышно, оказалось, что она дребезжит так сплюснато, что это вообще было не похоже на музыку. Пока кто-то пробовал починить пианино, какой-то весельчак из торговой палаты пытался развлечь публику длинным анекдотом, но, как парочко, на самом интересном месте вышел из строя микрофон, и когда рассказчику удалось наконец закончить свой анекдот, он был так зол, что никто уже не смеялся. Чтобы удобнее было танцевать, улицу посыпали опилками, но выигрыш от этого получился небольшой, потому что опилки лишь заполнили выбоины мостовой. Люди небольшими группами топтались около грузовика, болтая и наблюдая за приготовлениями. Студенты, собравшиеся потанцевать, начали презрительно поглядывать вокруг. Фермеры разговаривали о своих обычных заботах. Негры прохаживались взад и вперед по улице, как всегда чрезвычайно вежливо приветствуя друг друга.

Так все и шло, пока Рой Болтон со своими молодцами не поставил все с головы на ноги. Собственно говоря, главную роль сыграл здесь даже не Рой Болтон, а один бедняга, который упал с грузовика, пытаясь достать бочку с пивом, и сломал себе ногу. Производительный рев сирены скорой помощи словно разбудил толпу. Кто-то запустил фейерверк, а тут подоспел оркестр Роя Болтона, и через пятнадцать минут вечер, который, казалось, был уже обречен на провал, превратился во всеобщую сумятицу и неразбериху, поистине достойную такого замечательного события, как столетний юбилей города Калвилля.

Так что когда Сет, Альберт, Кларена и Джонни вышли из ресторана на Смоукн-роуд, это было все равно

что в непогоду, покнянув уютный дом, пуститься в плавание по бурному морю. Кто-то бросил шутиху; она тут же с шумом взорвалась, заполнив всю улицу дымом и запахом жженого пороха. М-р Биггерс с воплем подхватил какую-то женщину, стоявшую около грузовика, и пустился с ней в пляс. И тут кто-то запустил ракету; она с треском взвилась вверх, оставляя за собой огненный хвост, сопровождаемая восторженными воплями толпы, и разорвалась с таким шумом, что все затаили дыхание. Альберт смеялся, кричал и показывал пальцем на ракету; Клэрена схватила за руку Джонни. Оркестр заиграл «Подводные скалы в субботнюю ночь», и уллицу запрудили танцующие пары. Фермеры в комбинезонах степенно танцевали со своими женами, молодежь танцевала более легкомысленно, а один студент выделывал невероятные на со множеством поворотов, вихляний и выпадов, высоко подняв голову и отставив зад. М-р Биггерс в конце концов влез на грузовик и начал отплясывать там какой-то индейский танец, видно было лишь, как мелькали его ноги в грубых башмаках. Народу на улице было полным-полно — фермеры со своими женами, одетыми в ситцевые платья, с руками, загрубевшими от тяжелой работы, лавочники, чиновники и горожанки в нарядных платьях, с дорогими кольцами на руках. Рой Болтон надтреснутым голосом шел на тирольский манер, виолончелист, поставив инструмент между ног, бил по нему смычком, воображая; очевидно, что погоняет лошадь, а вокруг грузовика с визгом поселились друг за другом детишки. Лавочники, все еще не закрывавшие свои лавки, стояли у дверей, наблюдая за общим весельем. Негры, посоветовавшись, устроили тут же, на углу, свои негритянские танцы. Кто-то запустил несколько шутих, улица наполнилась дымом, женщины завизжали; за первой партией шутих последовала вторая.

Толстяк м-р Трэвис, директор банка, выставил две бочки пива и, сидя за рулем своего бычка, с довольной улыбочкой следил за тем, как их откупают.

Альберт танцевал с Клэреной, слегка подпрыгивая и все время смеясь; Сет в шапке, все еще лихо сдвинутой на лоб, вклинился между ними и увел Клэрену; потом она оставила его, подошла к Джонни и, положив руку ему на плечо, сказала:

— А мы с тобой почти одного роста, правда?

Джонни послушно пошел за ней, изо всех сил стараясь держаться развязно, но, как только они начали танцевать, он почувствовал, что весь словно одеревенел. Кларена, показывая ему, как надо вести даму, сказала:

— Я тоже не умела, когда мне было шестнадцать. Нет, дорогой мой, вот так. Ну и что ж из того, что ты никогда раньше не танцевал? Вот так. Вот теперь правильно. Дорогой мой, как быстро ты научился!

Она вела Джонни, время от времени стремительно падая к нему на грудь, как будто кто-то щекотал ей спину. Джонни спотыкался и оглядывался вокруг, а Сет, Альберт и Флип подбадривали его криками. Альберт махал руками и кричал:

— Вот он, мой подарок! Вот что я тебе подарю! Клянусь богом, я помню, как я сам начинал!

Он рупором приложил руки к губам и закричал:

— Танцуй, Джонни, танцуй, малыш! Да никто здесь тебе и в подметки не годится!

Альберт кричал и сустился до тех пор, пока Флип, разозлившись, не сказал ему, что так можно все испортить.

Альберт так шумел, что Джонни оказался в центре внимания, и Полли Энн, стоявшая неподалеку от грузовика вместе с Маргарет и двумя кавалерами, увидела его. Она злобно ущипнула Маргарет, прошепав:

— Полюбуйся на Джонни. Что я тебе говорила? Что я тебе говорила?

Маргарет взглянула на Джонни и, поджав губы, возразила:

— Ну что ж, если ты даже и права, у тебя же все равно нет денег. — И она повернулась к своему кавалеру. Полли Энн постояла еще немного, посмотрела и, не сказав больше ни слова, ушла куда-то.

Джонни все танцевал и танцевал с Клареной, пока Флипу это не надоело настолько, что он вклинился между ними и, обхватив Кларену, зашептал ей на ухо что-то такое, что она отпрыгнула от него и закричала: «Ты, ублодок, проваливай отсюда!» Альберт засмеялся, а Флип покраснел. После этого Кларена снова подошла к Джонни, а Флип, ругая ее последними словами, повернулся и зашагал куда-то вверх по улице.

Он подходил к аптеке, когда увидел, как мелькнуло за дверью розовое атласное платье Полли Энн; она была

одна, и он быстро вошел следом за ней и, усевшись на стул, начал разглядывать ее. Девушка долго вертела в руках зажигалку и наконец спросила продавщицу, сколько она стоит.

— А что, разве на пей не написано? — удивилась продавщица.

Полли Энн повернула зажигалку и сердито сказала:

— Написано, конечно. Но я просто не думала, что она может так дорого стоить.

Флип подошел к ней и, взглянув на зажигалку, спросил:

— Сколько?

Полли Энн обдала его ледяным взглядом. Но ведь он смотрел на зажигалку, а не на нее, и она ответила:

— Полтора доллара.

— Ну что ж: по-моему, это неплохая штучка. Пожалуй, я куплю ее себе. — Он улыбнулся Полли Энн и добавил: — Не может быть, чтобы вы, такая молоденькая, и уже курили.

— Что?!

— Готов побиться об заклад, что вы сигарету в руках держать не умеете.

— Очень много вы знаете.

Оба они смотрели на зажигалку. Флип потянулся, чтобы забрать ее, и коснулся руки Полли Энн. Полли Энн вздрогнула от неожиданности; потом глаза ее забегали. Флип взял ее руку в свою и сказал:

— Да, сэр, если бы я только не думал, что вы слишком молоды, я бы сам купил ее вам.

— Но ведь я совсем не знаю вас, — сказала Полли Энн, глядя на зажигалку.

— Ну что же, вы меня узнаете, если мы немножко потанцуем. Это, конечно, в том случае, если вы не такая уж малышка.

— Я не малышка, — сказала Полли Энн.

Она подождала его у дверей, озабоченно высматривая, нет ли поблизости кого-нибудь из знакомых; Флип вскоре подошел к ней, засовывая в карман покупку. Они пошли туда, где толпился народ. Флип грубо спросил ее:

— Я надеюсь, мы с тобой долго не потанцуем? Ведь у нас еще уйма дел, кроме танцев, а? — И он с силой сжал ее руку, в то время как она возбужденно оглядывалась по сторонам.

Джонни понял, что он пьян. В руке у него был бумажный стаканчик с пивом, разбавленным виски, которое туда плеснула Кларена. Голова у него кружилась, а лицо словно онемело, и он подумал, что вот сейчас он действительно первый раз в жизни по-настоящему пьян. Потом он танцевал, а потом он уже не помнил, как получилось, что они перестали танцевать и он стоял между Альбертом и Клареной, разговаривал и смеялся, а Альберт хлопал его по спине. Потом все перемешалось. По-прежнему взрывались шутихи; а однажды он взглянул вверх, чтобы посмотреть, как разорвется ракета у него над головой, но она так и не разорвалась — она просто улетела в небо. И снова они шли куда-то через дорогу, а потом он стоял с Клареной около грузовика, и в руке у него был бумажный стакан, а Кларена доставала бутылку из сумки; потом они танцевали, и он чувствовал, как ее тело содрогается от икоты; потом он снова пил, и виски больше не обжигало ему горло; и он танцевал, танцевал так легко, что ему даже не снилось, что он может так танцевать; потом они снова стояли у грузовика, и кто-то сунул ему в рот сигарету, но губы были такие непослушные, они совсем онемели, и сигарета упала на землю. Кларена подобрала ее, снова вложила ему в рот и сказала:

— Сейчас я дам тебе закурить, малыш. Вот так.

И они пошли куда-то на другую улицу, и он никак не мог вспомнить, что это за улица, хотя знал город как свои пять пальцев. И тогда он увидел Сета; Сет сидел на самом краю тротуара, а вокруг никого не было, и он подумал: что он тут делает? А Альберт куда-то исчез.

— Обожди немного. — Кларена стояла рядом и держала его за руку. Потом они прислонились к стене, и Кларена целовала его. — Альберт сейчас вернется. Он ушел повидать дружка. — Она прижалась к нему, и он почувствовал, как что-то просыпается в нем. — Обожди, дорогой. Обожди. Сейчас вернется Альберт. Мой маленький чертенок. Ты ведь чертенок, правда? Обожди. Обожди. Теперь уже совсем недолго.

Пришел Альберт, и они потащились куда-то по длинной темной лестнице, и ступени скрипели у них под ногами, а кто-то держал Джонни за плечи и говорил: «Да нет, дальше. Прямо под залом». Потом был какой-то провал, и Джонни очнулся в кресле; ему очень хотелось спать, но Альберт вытирал ему лицо мокрой тряпкой и

говорил: «Ну разве мужчины так ведут себя? Нет, в мое время молодежь была другой».

И вдруг он сразу протрезвел; он был совсем трезв, только голова кружилась. Правда, он не помнил, как добрался до двери, но зато отлично знал, что было там, за дверью. Он хотел было пройти наверх, в зал, но наткнулся на Альберта и упал в кресло, которое собирался обойти.

Потом он оказался у другой двери, и Альберт смеялся, а Сет держал его за плечо и ухмылялся; и вдруг дверь открылась, и он увидел Кларепу; она выглянула из-за двери и позвала его:

— Входи, дорогой. Теперь можно.

Он шагнул в полутемную комнату и почувствовал, как ее обнаженные руки обвились вокруг его шеи и вся она, совсем голая, до боли тесно прильнула к нему. И он уже не помнил, как они очутились в кровати.

К двум часам ночи Гампльтоны начали собираться к своему грузовику. Город затих; большой грузовик, на котором раньше стояла пианола, отъехал в сторону, веревки убрали; люди разошлись по домам, оставив после себя разбросанные по мостовой огрызки, залптые пивом опилки, множество бумажных стаканчиков и обгоревшие остатки праздничного фейерверка. На тротуарах и в водосточных канавах валялись конфетные бумажки, пустые бутылки, стаканчики из-под мороженого; налетевший откуда-то ветер подхватил газету, валявшуюся на тротуаре, и она попелася по улице, как маленькая белая собачонка. Тускло горели фонари; слышно было, как какой-то водитель включил вторую скорость. Сет, Альберт и Джонни возвращались к грузовику; железные подковки на башмаках Сета громко стучали о тротуар. Все остальные были уже в сборе. Том Гампльтон сидел на своем обычном месте; обеими руками держа руль, он смотрел по сторонам, как будто уже вел машину. Мэми сидела рядом с ним и клевала носом; на коленях у нее по-прежнему был ребенок. Маргарет примостилась на ящике в глубину кузова; она спала в неудобной позе, вытянув ноги и опершись подбородком о высокий борт грузовика. Полли Эни, согнувшись и плотно сдвинув колени, сидела на другом ящике; сжав губы, она широко открытыми глазами смотрела на фонарь, прислушиваясь, не идет ли Джонни; в руке она держала маленький пакетик. Услышав шаги,

Полли Эпп и Том Гамильтон одновременно повернули головы. Шаги были все ближе и ближе, они отдавались в ушах, как будто кто-то забивал гвозди молотком, а эхо подхватывало их и четкими ружейными выстрелами разносило по пустынным улицам, где гулял ветер, шевеля залптые пивом опилки. Том Гамильтон перестал жевать резинку и выжидаяще уставился на угол. Три темные фигуры появились вз-за поворота, призрачные, как тени. Сет шел впереди; Джонни тащился за ним, ссутулившись и засунув руки в карманы; он с трудом поспевал за Сетом. Альберт шагал рядом, по-медвежьки неуклюже переваливаясь; волосы его были спутаны, он тупо смотрел себе под ноги, как человек, двигавшийся лишь в силу привычки.

Они подошли к грузовику; Сет, подтянувшись на руках, перебрался через борт и занял свой наблюдательный пост впереди. Альберт зашел с другой стороны и, открыв дверцу, поднялся в кабину. Он разбудил Мэми; она вздрогнула и, подвпнувшись к мужу, пробормотала: «А мы ждем...», но, так и не окончив фразы, задремала снова. Подобрал сонную Мэдди Клод, Альберт уселся на свое место и опустил девочку, как мешок, себе на колени; тяжело вздохнув, он дотянулся до дверцы и с шумом закрыл ее; казалось, на это ушли все его силы. Том Гамильтон нажал на стартер, проговорив: «А мы уже собрались было без вас ехать». Альберт не ответил: откпнувшись назад, он тяжело дышал, как будто собираясь с силами для того, чтобы закрыть глаза и заснуть.

Они выехали на главную улицу, где осталось уже только два автомобиля, потом свернули за угол и поехали по усыпанной опилками мостовой, объехав разбитую бутылку, валявшуюся посреди дороги; они проехали мимо того места, где стоял грузовик с паполой — на усыпанной опилками мостовой еще виднелись следы от его шин; потом они свернули за угол и выехали из города, проехав мимо оборванного транспаранта у светофора, на котором еще можно было прочесть: «Столет...» — транспарант повис в воздухе, и то, что было написано дальше, уже нельзя было разглядеть; они проехали мимо памятника, у которого примостился на ночлег какой-то бродяга, переехали железную дорогу и спустились к шоссе; темнота охватила их со всех сторон, холодный, свежий ветер по-

дул в лицо и закружился над грузовиком; а высоко в небе, ярко и неподвижные, горели звезды. Было так тихо, что казалось, даже мотор работает приглушенно, а кваканье лягушек и стрекотание сверчков в лесу вдоль дороги еще больше подчеркивали эту тишину. Они проехали мимо группы деревьев, где причудливыми фигурами клубился туман. Сет стоял впереди, подставив лицо ветру. Альберт по-прежнему сидел в полном изнеможении. Порыв ветра поднял пыль со дна грузовика. Полли Эпп попала в глаз соринка. Она вскрикнула и начала тереть глаза пальцем. Джонни шагнул к ней и грубо сказал:

— Ну так не три его.

Она обернулась к нему сердито, чуть не плача.

— А тебе-то какое дело? Тебя кто спрашивает?

— Ну, как знаешь. Мне-то что, — ответил Джонни, отворачиваясь от нее.

До поворота они не сказали друг другу ни слова; когда машина стала заворачивать, Полли Эпп неожиданно резким движением швырнула Джонни маленький пакетик.

— Держи!

Джонни уставился на нее. Он даже не погнулся, чтобы подобрать пакетик.

— Что это? — спросил он.

— Подарок тебе.

— Что там еще?

— Открой и посмотри, — сердито сказала Полли Эпп. — По-моему, ты это и без меня можешь сделать.

Равнодушно, не спеша Джонни развернул пакет. Когда он взглянул на то, что вытащил, он вдруг покраснел и тихо спросил:

— С чего ты взяла, что я курю?

— Если она тебе не пужна, можешь ее выбросить, — заявила Полли Эпп, — возьми и выбрось.

— И на что мне зажигалка? — возмущался Джонни. — Если ты сама куришь, так не думай, что все... — Он взглянул на нее. — Ну просил я тебя покупать мне зажигалку? Не просил!

Тогда, до боли тесно сцепив маленькие руки у себя на коленях, Полли Эпп наклонилась к нему и, глядя на него сумасшедшими глазами, закричала:

— А мне наплевать, нужна она тебе или нет! Выбрось ее! Выбрось ее, если она тебе не пужна!

— А ты не кричи на меня! — заорал Джонни. — Просил я тебя покупать ее или нет? Просил я тебя?!

— Ну так выбрось ее! Выбрось ее!

— И зачем мне...

— Выбрось ее!

Она попыталась вырвать у него из рук зажигалку, он потянул ее к себе, и между ними завязалась отчаянная борьба. Крик Полли Энн перешел в истерическое всхлипывание; ей удалось наконец схватить зажигалку, и она вертелась из стороны в сторону, стараясь увернуться от Джонни, но он тоже вцепился в зажигалку и тонким, ломающимся голосом возмущенно кричал что-то, пытаясь ударить Полли Энн локтем в живот и одновременно вырвать пакет с зажигалкой из ее рук. Они вскрикивали, ругались, зажигалка переходила из рук в руки, и временами уже трудно было различить, кто что говорит, потому что перебранка их начала походить на верещанье белок; и вдруг они одновременно стали ругать друг друга словами, которые им никогда раньше и в голову не пришли бы. Полли Энн упала с ящика и растянулась на дне кузова. Джонни сейчас же приставил локоть к ее груди и давил до тех пор, пока не услышал сдавленный крик; тогда он потянул к себе пакет. Но в это время Полли Энн, изловчившись, вскочила на колени и швырнула пакет с такой силой, что он перелетел через борт грузовика и упал куда-то в придорожные кусты. После этого она села на ящик, в неступлении повторяя сквозь слезы:

— Вот тебе! Вот тебе!

А он наступал на нее с кулаками, как будто все еще собирался бить ее, и бормотал сквозь зубы:

— Да заткнись же ты, черт возьми! Будь ты проклята!

Так или иначе, все было окончено. Сет обернулся и посмотрел на них. Глаза его ровно ничего не выражали, и по его виду трудно было понять, как он отнесся к ссоре. Маргарет проснулась, открыла глаза и тоже смотрела на них; ноги ее были по-прежнему вытянуты, казалось, что она не в силах пошевелиться; она молча смотрела, как они боролись у самых ее ног, потом — как они поднялись и Джонни, не сказав больше ни слова, ушел на свое место; Маргарет и тогда ничего не сказала; может быть, ей казалось, что все это ей только снится; она посмотрела

еще на сплпу Полли Энн, когда все уже было копчено, и снова заснула.

Наконец они добрались до дому. Одни за одним они с трудом вылезли из грузовика. Машина стояла, а мотор все еще, казалось, работал, как будто остановка была временной. Они вошли в дом; включили, потом снова выключили свет. Все были настолько утомлены, что еле двигались. Мотор наконец остыл, и грузовик затих. Собаки, встречавшие хозяев, снова ушли спать на веранду. Все умолкло. Слышен был только шелест ветра в верхушках сосен, слабый, как чье-то дыхание, таинственный, как голос неземного существа. Где-то в лесу закричала ночная птица, и крик ее был отчетливый и прекрасный, резкий и пугающий.

ТОСТ В ЧЕСТЬ ГАРЛЕМА

Неожиданно наступившая тишина иногда может показаться просто оглушительной. Поскольку никто в баре не произнес ни слова после того, как старый автомат вдруг перестал хрипеть фокстроты и блюзы, я обратился к моему приятелю Симплу с вопросом:

— Так как ты мне вчера заявил, что ты индеец, то объясни мне, пожалуйста, мой храбрый друг, почему ты живешь в меблированных комнатах в Гарлеме, а не в резервации для индейцев?

— Я — черный индеец, — ответил Симпл.

— Иными словами, ты — негр.

— Я — чернокожий индеец, приятель. Во всяком случае, я всегда хотел жить в Гарлеме. И если бы не хозяйки меблированных комнат, я был бы вполне доволен своей жизнью. Да, это так! Я люблю Гарлем.

— За что же ты его любишь?

— Он полон негров, — ответил Симпл. — Я чувствую себя здесь в безопасности.

— В безопасности? От кого?

— От белых, — сказал Симпл. — Кроме того, я люблю Гарлем еще потому, что он принадлежит мне.

— Гарлем не принадлежит тебе. Например, тебе не принадлежат дома в Гарлеме. Они принадлежат белым.

— Пусть так. Дома в Гарлеме действительно не принадлежат мне, но я живу в них. И только атомная бомба может вышибить меня отсюда.

— А депрессия?

— Никакая депрессия не заставит меня покинуть Гарлем. Я никогда не вернусь на Юг, даже в Балтимору. Я никуда отсюда не уйду. Ты говоришь — дома в Гарлеме не принадлежат мне. Зато мне принадлежит здесь

тротуар, и пусть никто не вздумает сталкивать меня с него! Даже полицейские здесь больше не говорят: «А ну, проваливай!» Раньше, бывало, они избивали негров прямо на улице, на глазах у всех. Теперь же они осмеливаются проделывать это только в полицейских участках. Но если они думают, что ты знаком с каким-нибудь цветным конгрессменом, тогда они вообще опасаются пускать кулаки в ход.

— Да, в Гарлеме есть черные конгрессмены, — заметил я.

— За которых я сам лично голосовал, — сказал Симпл. — Здесь я не боюсь голосовать, и это еще одна причина, почему я люблю Гарлем. Он нравится мне и потому, что здесь есть метрополитен и можно быстро добраться до центра, а по дороге никто не будет тебя оскорблять из-за того, что ты черный. Знаешь, негры здесь даже водят электропоезда! Вот сегодня утром я ехал на метро до Тридцать четвертой улицы. Поезд вел негр со скоростью девяносто миль в час. Ах, как этот парень вел поезд! Каждый раз, когда мы пролетали мимо станции не останавливаясь, он как бы кричал всем: «Глядите! Это мой поезд!» Вот тебе еще одна причина, почему я люблю Гарлем. Иногда на Сто двадцать пятой улице я встречаю Дюка Эллингтона*. Я говорю ему: «Как дела, Дюк?», а он мне отвечает: «Все в порядке, старппа». А сам совсем меня не знает. А то однажды я видел Лену Хорн**, она выходила из отеля «Тереза». Она даже улыбнулась мне. Народ приветлив в Гарлеме. Здесь мне кажется, что мир у меня в руках и я его хозяин. Поэтому выпьем за Гарлем. — Симпл поднял свой стакан пива.

Давай за Гарлем выпьем,
Наш Гарлем — это рай.
А ищешь рай на небе,
Ложись и помирай***.

— Рай — это твое собственное настроение, — заметил я.

* Дюк Эллингтон — популярный негритянский дирижер и исполнитель джазовой музыки.

** Лена Хорн — известная негритянская певица, исполнительница лирических песен.

*** Стихотворные переводы в этом рассказе сделаны М. Кудиновым.

— Нет, Гарлем — мой! — сказал Симпл и осушил стакан. — Он мой от Центрального парка и до Сто семьдесят девятой улицы, от реки до реки. Гарлем — мой! Мало найдется таких белых, которые отважатся появиться здесь с наступлением темноты.

— И в этом нет ничего хорошего, — сказал я.

— Мне очень жаль, что белые боятся Гарлема. Но я тоже боюсь подходить близко ко многим из них. Вот однажды, в моем родном городке, еще до того, как я совсем перебрался на Север, я шел по улице. Вдруг какая-то белая леди выскочила из дверей своего дома, да как закричит: «Убирайся отсюда, негр! Я боюсь тебя». — «Почему?» — спрашиваю я ее. «Потому что ты — черный». — «Леди, я тоже боюсь вас, потому что вы — белая», — ответил я и спокойно пошел дальше, но в ту минуту мне, ей-богу, захотелось стать еще чернее, чтобы до смерти напугать эту белую леди. Что делать, сознаюсь, мне этого хотелось. Представляешь себе, они меня боятся, потому что я черный! У меня гораздо больше оснований бояться их, чем у них бояться меня.

— Это верно, — ответил я.

— Белые насильно увезли меня из Африки, сделали рабом, «освободили», а теперь линчуют, заставляют умирать с голоду во время депрессий, преследуют за то, что я негр, — и после всего этого еще заявляют, что они боятся меня! Вот почему я рад, что есть хоть какой-то уголок на белом свете, который я могу считать своим. Это — Гарлем. Отсюда я на весь мир могу глядеть свысока.

— Ты рассуждаешь, как настоящий негрптяпский националист, — сказал я.

— А что такое негрптяпский националист?

— Это тот, кто считает, что негры должны быть первыми.

— Если все только и думают о том, чтобы они были последними, что худого в том, что я хочу быть первым. И когда-нибудь я этого добьюсь.

— Вот такие настроения и приводят к войнам, — сказал я.

— Я не возражал бы против войны, если бы знал, что выиграю ее. Белые затевают войны и линчуют негров в свое полное удовольствие.

— Ну вот, опять ты со своими старыми разговорами о расовой ненависти, — сказал я. — Так никогда не будет

мира. Мир завтрашнего дня должен быть таким, где все живут дружно. Нам надо протянуть всем руку дружбы.

— Каждый раз, когда я это пытаюсь сделать, меня тут же осаживают назад. Ты знаешь песенку о черном коте, который вздумал подружиться с белым? Вот послушай:

Обратился червый кот

К белому коту:

«Будь мне другом. Без друзей

Жить певмоготу».

Отвечает белый кот:

«Не смени меня,

Этот помер не пройдет:

Ты мне не ровня».

— Я считаю, что такое недружелюбие к хорошему не приведет, — возразил я. — Надо любить своего ближнего.

— Ты все говоришь о том, что должно быть. Но, пока все остается по-старому, а штат Джорджия остается штатом Джорджия, я предпочитаю Гарлем. Если что случится, я по крайней мере буду стрелять из собственного оупа.

— Я отказываюсь разговаривать с тобой на эту тему, — ответил я. — Из своих окон Гарлем должен протянуть белым руку дружбы, а не встречать их таким враждебным отношением.

— Из своего окна я не прочь их встретить кое-чем другим, — ответил мне Спэннл.

ТРЕВОЛНЕНИЯ МАРСИ ФЛИНТ

«Иду на борту парохода «Огастус» спустя три дня после отплытия. Мой чемодан набит ореховым маслом, я беглец, навсегда покинувший предместья больших городов. Что за клоаки! Я имею в виду предместья. Да сохранит меня бог от дружеских знакомств в поездах, от прелестных дам, ежевечерне убирающих в комнаты горшки с астрами и розами из страха перед ночными заморозками, и от дам, помешанных на общественной деятельности. Я еду в Турин, где девушки обожают ореховое масло, где властвуют мужчины и где...» Предместья (Шэди Хилл), откуда спасался бегством Чарльз Флинт — его возраст не играет роли, — были тут совершенно ни при чем. И в Турин он ездил уже не раз и только совсем недавно провел в этом городе три месяца, отправившись туда по делам.

«Да сохранит меня бог, — продолжал он, — от женщин, которые, направляясь в магазин самообслуживания, выражаются, как тореадоры, от курьерских сумок из коровьей кожи, от фланели и габардина. Да упасет меня бог от пгр в слова, адюльтеров, такс, бассейнов для плавания, засохших бутербродов с кильками, светского чистоплюйства, кустов чубушника, заседаний Ассоциации родителей и учителей». Он писал и писал, а «Огастус» плыл и плыл, держа курс на восток и делая в среднем семнадцать узлов в час, с тем чтобы послезавтра миновать Азорские острова.

Подобно всем вспыльчивым людям, Флинт смутно представлял себе обстоятельства, вызвавшие его гнев, и в большей степени стремился излить свое негодование, чем уяснить его реальные причины. Марси, брошенная им жена, была темноволосая и темноглазая жемчужна, об-

ладавшая неспящими запасами женской притягательности, хотя ни один человек, даже надменный богатейшим воображением, не решился бы назвать ее молодой. О том, что Чарли бросил ее, она не поведала даже соседям и даже не обратилась по этому поводу к адвокату; однако она рассчитала кухарку и в эту минуту сама готовила детям ужин, перемещаясь в юго-западном направлении от плиты к раковине. В отличие от мужа она не умела копаться в прошлом и не стремилась разобраться в событиях, разверзших пропасть между супругами, которые счастливо прожили вместе пятнадцать лет. Марси соизвала, что во время последней деловой поездки мужа в ее отношениях с ним возникла легкая трещина, вызванная тем, что он, постоянно жалуясь в письмах на тоску по ней, двумя строками ниже сообщал, что шесть дней в неделю обедает в Суперге и вообще чрезвычайно весело проводит время. Он говорил ей, что уезжает на полтора месяца, а когда эти полтора месяца превратились в три, она убедилась, что разлука не так уж страшна.

Вначале ее одиночество пытались скрасить соседки, но вскоре Марси пришла к выводу, что одна неприятная гостья может испортить лучший обед, и, по мере того как отсутствие Флинта затягивалось, она проводила все больше вечеров одна. В Шэди Хилл имелось два рода развлечений. Разумеется, хождение в гости и наряду с этим пестрый и разнообразный, будто высыпаемый из мешка деда-мороза, набор забав и отрад: певческие кружки, политические кружки, кружки любителей музыки, школы танцев, конфирмационные классы, заседания различных комитетов, лекции по литературе, философии, градостроительству и борьбе против эпидемий. Звездам небесным едва ли удавалось когда-нибудь созерцать на земной поверхности столь суетливую и бурную деятельность. У Марси был прелестный чистый голос, она вступила в певческий кружок, собиравшийся по четвергам, и, кроме того, записалась в политический кружок, собиравшийся по понедельникам.

Поскольку Марси освободилась от супружеских забот, ее стали рассматривать как желанного члена всякого рода комитетов, для чего, впрочем, было мало оснований: на заседаниях она сидела, будто в рот воды набрала. Стремясь заполнить время, она на третий месяц отсутствия Чарли согласилась вступить в одну из муниципальных комиссий.

Так случилось, что женские добродетели, рассудительность, гражданский пыл, сочетаясь с одиночеством, привели бедную Марси на грань гибели. Живя в далеком Турине, Чарли иногда рисовал в своем воображении картину: вечер, он возвращается домой, Марси встречает его в ярко освещенной прихожей. Но представлял ли он себе иные картины: Марси, лезущую под кровать в поисках завалившегося детского ботиночка, или Марси на кухне, подливающую свиное сало в старую кастрюлю, где варится суп?

«Папочка задержался в Италии, потому что хочет заработать побольше денег для нас с вамп», — говорила она детям. Но когда Чарли звонил ей из Италии, что он делал раз в неделю, ей всегда казалось, что он пьян. Имейте же сочувствие к прелестной женщине, вынужденной распевать «Christus natus», изучать политическую экономию и часами просиживать на жестком стуле в муниципалитете.

Наиболее уязвимым местом в общественной жизни Шэди Хилла являлось отсутствие библиотеки, где, как водится, красовались бы на полках порыжелые, пропахшие капустой фолианты Паскаля; разрозненные тома Достоевского и Джорджа Элиота; произведения Барри и Беннета, не говоря уже о Голсуорси.

В те дни, когда Марси состояла членом муниципальной комиссии, вопрос о библиотеке находился в центре внимания городского самоуправления.

Поборниками создания библиотеки были преимущественно люди, недавно поселившиеся в Шэди Хилле. Лидером оппозиции была миссис Селфредж, пышная дама с голубыми, удивительно блестящими и лишенными всякого выражения глазами, являвшаяся членом муниципалитета. Миссис Селфредж любила подчеркивать, что она ведет чрезвычайно замкнутый образ жизни. «Мы абсолютно нигде не бываем», — говорила она, но в голосе ее почему-то звучало не удовлетворение, а грусть. Муж миссис Селфредж, очень богатый человек, был намного старше ее, детей у них не было, и малейшее упоминание о проблемах пола почему-то заставляло эту женщину густо краснеть. Основным аргумент миссис Селфредж заключался в том, что создание библиотеки будет содействовать развитию общественной жизни поселка, а это приведет к его росту. Опасения эти были не напрасны.

Соседний Карсен Парк своевременно не остерегся подобной угрозы, и это имело губительные последствия для его коренного населения. Налоги увеличились вдвое, школы лишились средств. Поборники создания библиотеки рьяно утверждали, что между книголюбием и перспективами городского строительства нет никакой связи. Но все их доводы рухнули, когда в одном из вновь выстроенных стандартных домов Карсен Парка произошло жуткое убийство — вернее, три убийства сразу. Проект организации библиотеки был похоронен вместе с жертвами страшного преступления.

С террас Суперги открывается широкий вид на Турин и обступившие его снежные горы; сидя за бутылкой вина в Суперге, человек не думает о жене, которая сидит в это время на заседании муниципалитета.

Десять мужчин и две женщины во главе с мэром обсуждали коммунальные проблемы. Муниципалитет заседал в Городском доме, старом здании, конфискованном у его владельцев за неуплату налогов. Под зал заседаний была приспособлена бывшая гостиная. Некогда здесь красили пасхальные яйца, дети прищипливали бумажным осликам бумажные хвосты, в камине ярко пылал огонь, в углу сияла огнями рождественская елка; завладев домом, муниципалитет беспощадно изгнал этих милых духов прошлого. Автопортрет Рафаэля, «Сломанный мост в Авиньоне» и «Река Эвои в Стрэтфорде», висевшие по стенам, были выдворены, а комнату окрасили в мрачный зеленый цвет. Камин наглухо заделали, а его кирпичную кладку тоже выкрасили в зеленый цвет. Неоповые трубки, укрепленные вдоль потолка, излучали унылый, скудный свет, и лица муниципальных советников казались в нем бледными и изможденными. Марси терпеть не могла этот зал. Она знала, что блеклый, унылый свет уродует ее, и чувствовала себя как бы обворованной.

Покончив с платой за водоснабжение и автомобильными стоянками, перешли к библиотеке. Мэр, ставя на обсуждение этот вопрос, подчеркнул, что он обсуждается в последний раз.

— Мы можем считать, что он окончательно решен, — сказал мэр. — Мы заслушали мнения всех членов муниципалитета — как положительные, так и отрицательные. Но один из жителей Мейпл Делла обратился к нам с просьбой дать ему возможность выступить. Я думаю, нам

следует удовлетворить его просьбу. — Мэр отворил дверь, и в зал вошел Ноэль Макхем, ожидавший, когда его пригласят. Мейпл Делл, расположенный по соседству с Шэди Хиллом, являл наглядную картину тех роковых последствий, к которым ведет в наши дни градостроительство. Поселок этот, выстроенный в один присест лет двадцать назад, состоял из стандартных домов, стоявших вплотную друг к другу и окрашенных в совершенно одинаковый белый цвет; возле каждого дома стояла автомашина, выглядывавшая чем-то более существенным, нежели самый дом, — словно здесь устроило привал некое кочевое племя. Поселок походил также на нерестилище — место, предназначенное для произведения и выращивания молоди, — ибо кто родившийся в Мейпл Делле и однажды покинувший его пожелал бы вернуться сюда? Кто из уроженцев Мейпл Делла темной ночью вспомнит с тоскою в сердце три спальни на верхнем этаже, подтекающий унитаз, го-стиную внизу, пропитанную нестерпимым кислым запахом? Кто пожелает вернуться в столовую, такую тесную, что, если сделаешь резкое движение, непременно смахнешь со стены цветную фотографию горы Маунт Ренье? Кто захочет увидеть вновь кресла со вздувшимися сиденьями, допотопные телевизоры, притчливо изогнутые чугунные пепельницы, украшенные фигурой голый девичьи, танцующей с шарфом?

— Мне известно, что вопрос решен, — сказал Макхем. — Но я считаю, что библиотека нужна, и я хочу, чтобы мое мнение было занесено в протокол. Это велит мне моя совесть. — Требовать, настаивать Макхем не умел. Он был высокого роста; безнадежно облысевшая голова покрыта легким пушком; черты лица острые; кожа бледная и нечистая; голос тонкий. Монотонный и хрипловатый, словно вследствие ларингита, голос этот напомнил Марси тоскливые звуки венгерской народной музыки.

— Так вот, — просипел Макхем. — Я скажу только несколько слов. Библиотека, по-моему, нужна. Я вырос в очень бедной семье, и единственное, что скрашивало мое печальное детство, была общественная библиотека Карнеги. Я стал ходить в нее лет с восьми и ходил десять лет подряд. Читал все, что попадалось под руку: книги по философии, по технике, романы, стихи, пособия по морскому делу. Прочитал однажды даже поваренную книгу. — Для меня эта библиотека была настоящей ра-

достью, единственным светлым пятном в жизни. Когда и читал интересную книжку, мои в жар бросало. И я не могу себе представить, как это мои дети будут жить без библиотеки.

— Мы вас вполне понимаем, — сказал мэр Симмонс, — но речь идет не об этом. Никто не собирается отрицать полезность книг. Но дети могут читать те книги, которые имеются у нас почти в каждой семье.

Со своего места поднялся Марк Баррет.

— Позвольте и мне сказать кое-что по поводу ищущих детей и библиотеки, — произнес он так внушительно и громко, что все улыбнулись. — Не стыжусь признаться, что я тоже вырос в бедной семье, — продолжил он уже веселым тоном. — Но думайте на этот счет что угодно, а я в жизни своей не был в библиотеке. Разве что если проходил мимо и хотел укрыться от дождя или хотел познакомиться с хорошенькой девушкой — она тогда, а я за пей. И пусть никто не воображает, что путь к переопеляню лежит через библиотеку.

— А я и не говорил, что путь...

— Это вытекает из ваших слов! — рявкнул Баррет и возмущенно плюхнулся на стул. Стул затрещал, и было даже слышно, как затрещали Барретовы подвязки, штаны и ботинки.

— Я только имел в виду...

— Это вытекает из ваших слов! — вновь прогремел Баррет.

— Но из того, что вы неграмотный, вовсе не вытекает, что...

— Откуда вы взяли, что я неграмотный, черт бы вас побрал! — закричал Баррет, вскакивая со стула.

— Джентльмены, прошу вас! Очень прошу! — вмешался Симмонс. — Не горячитесь. И выберите выражения.

— А я не желаю, чтобы к нам на Мейпл Делла вылезли разные субъекты и заявляли, что они, мэр, стали такими цанями из-за того, что проглотили чужую книгу! — заорал Баррет. — Книжки тоже нужны, но сперва. Но я добился своего нынешнего положения без всяких там книг. А заняв это положение, я начал читать на Мейпл Делл. Что же касается моих ребят, так пусть они, вместо того чтобы изучать поваренные книги, играют лучше в мяч на свежем воздухе.

— Тито, Марк, тито, — взмолился мэр. И он предложил миссис Селфредж с общего согласия закрыть заседание.

«Я пробыл дома примерно с неделю, и то сияющее, благоуханное воскресенье было одним из самых радостных дней в моей жизни. Боже, как я был счастлив! Большую часть дня я вставлял зимние рамы; я очень люблю заниматься хозяйством. Например, вставлять рамы. Покопав с рамами, я отнес лестницу на место, взял полотенце, купальные трусы и отправился к Таунсендам, поплавать в бассейне. Таунсенды были в отъезде, но воду они не спустили. Я надел трусы и прыгнул в воду. Как сейчас помню, прыгая, я увидел высоко-высоко на вершине сосны бюстгальтер: по всей вероятности, его стащили летом дети Таунсендов у одной из купальщиц и водрузили на сосну: крики злосчастной давно развеял западный ветер. Вода была страшно холодная, и то ли вследствие повышения кровяного давления, то ли по какой иной физиологической причине, но, вылезая из бассейна и одеваясь, я почувствовал себя необыкновенно, до предела счастливым. Я отправился обратно. Когда я вошел в дом, там стояла такая тишина, что я даже испугался, не случилось ли чего. Я не хочу сказать, что в этой тишине было нечто зловещее, — просто я удивился, почему часы тикают так громко. Я поднялся в спальню. Марси спала. Тонкое одеяло соскользнуло с ее обнаженной груди и плеч. Из сада до меня донеслись голоса Генри и Кэти, и я подошел к окну. Внизу лежала усыпанная гравием дорожка, тянувшаяся к небольшому холму. На дорожке играли Генри и Кэти. Кэти что-то чертила на гравии палкой — вероятно, любовное послание. Генри держал в руках игрушечный самолет — давний и заветный предмет его желаний, сделанный из бальзового дерева, с широкими крыльями и пропеллером, приводимым в движение резиновым шнуром. Он крутил рукой пропеллер, натягивая резинку, и его губы беззвучно шевелились, отсчитывая число поворотов. Закрутив резинку до отказа, он широко расставил ноги, как это делают стрелки, и запустил самолет в воздух. Кэти была поглощена своим делом. Самолет взмыл вверх; сначала он был едва различим в сгустившихся сумерках, но когда он поднялся выше, его крылья заблестели под лучами солнца.

Легко, словно мотылек, он выписывал круги. Ты отрыва-
лась, то подымался, пошел вниз, пересек полосу тени и
рухнул в пионы.

— Я его опять запустил под самое солнышко! — крикнул
Генри. — Опять запустил!

Кэти продолжала чертить свое послание. И вдруг,
словно то был какой-то гипнотрюк, на месте моего лица
я увидел самого себя: как я стою в таком же саде и за-
пускаю в вечеряющее небо самолет, стрелу из лука, вы-
писный мяч — это могло быть что угодно. — а моя ва-
стра рисует рядом на дорожке пронзенные сердца. Без
затасиное, давнее воспоминание, неожиданно всплывшее
в моей памяти, так поразило меня, что я все стоял и смат-
рел, как мой сын вновь и вновь запускает в небо само-
лет.

В приподнятом, веселом настроении я отошел от окна,
полюбовался изящным изгибом груди Марси, но в при-
лив добросердечия решил не нарушать ее сон. Я чувство-
вал себя до того счастливым, что мне было необычайно
выпить — не для бодрости, а, наоборот, для успокоения,
но, так или иначе, выпить, — и я взял стакан и наполнил
его виски. Потом я пошел на кухню за льдом, и там
я, к своему удивлению, увидел множество муравьев, на-
ползших сюда из сада. До этого муравьи никогда не по-
ставляли нам какого-либо беспокойства. Парки — другое
дело. Накапуне равноденствия, сопровождающегося у нас
грозами, в доме появлялись целые полчища тараканов, сто-
но предчувствовавших близкую перемену погоды и наду-
вшие атмосферного давления. Мы находили тараканов в ван-
ных, в столовой, в кухне и даже на этом этаже: даже то
нашему длинному коридору в часы приближения грозы,
вы могли ощутить на лице пражесневенные мушкетеры. Но
муравьи не доставляли нам беспокойства. И вдруг сегодня,
осенью, нашу кухню буквально заполонили муравьи. Ты-
сячи муравьев проникли через щели сруба и образовали
два сплошных живых ряда, тянувшихся от сушилки для
посуды к раковине, где, по-видимому, находилось нечто
привлекавшее их.

Я достал из кладовки банку со средством от муравьев,
купленным мной несколько лет назад в аптеке Гайдмана,
высыпал коричнею порошок на блюдце и поставил на
сушилку. Затем, взял стакан с виски и протер им

дороге воскресную газету, я расположился на террасе. Терраса примыкала к дому с запада, здесь в отличие от участка сада, где играли дети, было еще светло. И счастье так переполняло меня, что даже газетные сообщения показались мне чрезвычайно отрадными. Никто в эти дни не застрелил короля на окраине дождливого Марсея; на Балканском полуострове не бушевали разрушительные ураганы; скромные английские клерки — предмет восхищения их квартирных хозяек и тетюшек — не умерщвляли юных девиц, растворяя их бранные останки в ваннах с кислотой; даже похищения бриллиантов и те не имели места. Промозглый, неприятный, взбаламученный мир, где падали короны и зрели войны, вставивший передо мной прежде с газетных страниц, казалось, навсегда ушел в прошлое. Закатное солнце перестало освещать мою газету и кресло, и мне захотелось надеть свитер.

Стояла поздняя осень, в воздухе уже ощущалось приближение зимы, но и это радовало меня. Неделю-две назад терраса, где я сидел, была бы в этот час залита солнцем. Я стал думать, куда бы мне хотелось сейчас перенестись, вспомнил Нантукет, в осеннюю пору пустынный и безлюдный, его парусники, уже покинувшие бухту, его дюны, затевающие пляж от скудного осеннего солнца. Я вспомнил Вайньярд, его белесые скалы, его багровое осеннее море, его тишину, столь верушимую, что вы слышите, как на паруснике, проходящем где-то у Саунда, поскрипывает блок подъемного крана.

Я отпил глоток виски и решительно взялся за газету, но позлащенные заходящим солнцем деревья и лужайка были до того прекрасны, а видения раскинувшихся среди моря островов так обольстительны, что я никак не мог углубиться в чтение. Это было теперь тем труднее, что в моем сознании наряду с другими видениями стали всплывать белоснежные бедра Марси. Я был заморожен окружавшей меня красотой, радостно ощущая свою нерасторжимую, органическую связь с нею и доступность предмета моих вожделений. Я представил себе Марси, погруженную в сон, предвкушая сладостную близость, которая воплотит все, что я сейчас чувствую. Боясь упустить отрадный миг, я отбросил газету и, слыша, но не слушая доносящиеся снизу голоса детей, направился к лестнице и взбежал на второй этаж. Марси все еще спала, я быстро разделся и лег рядом с ней, очевидно пробудив ее от

какого-то приятного сногддения; она улыбулась и прятнула меня к себе».

Вернемся, однако, к тревожениям Марси. Когда заседание кончилось, она, надевая пальто и прощаясь, сказала: «Спокойной ночи. Спокойной ночи... Я жду его на будущей неделе». Ее нелегко было вывести из равновесия, но сейчас у нее было ощущение, что она окунулась в трясину людской глупости и непорядочности. Она спускалась по лестнице вместе с Макхемом и испытывала горячее, смешанное с жалостью сочувствие к этому незнакомцу из Мейпл Делла и острую неприязнь к своему давнему другу Марку Баррету. Желая как-то загладить происшедшее, Марси, выходя на улицу, сказала Макхему, что она тоже часто и с удовольствием вспоминает библиотеку, которую посещала в детстве.

Миссис Селфредж и Симмонс выходили из зала последними. Мэр, положив руку на выключатель, ждал, когда миссис Селфредж наденет перчатки и можно будет погасить свет.

— Я очень рад, что мы наконец покончили с этой библиотекой, — сказал он. — Я человек терпимый, но сейчас любые общественные начинания вызывают у меня решительный протест, потому что я вижу в них дополнительную угрозу роста нашего города.

В его голосе звучала искренняя тревога, и, прозвонив слова «рост города», он представил себе мысленно улылые, тянущиеся куда-то в гору ряды стандартных домов. Он не мог внутренне примириться с этим зрелищем совершенно одинаковых, как два пятака, домов, сложенных из деревянных щитов, покрытых штукатуркой и выкрашенных в зеленый цвет. Он не мог примириться с тем, что в этих домах, лишенных красоты и изящества, будут начинать свою супружескую жизнь юные пары; с тем, что эти дома, без сомнения, в очень скором времени станут еще более уродливыми, утратив даже жалкую претензию на пристойность и аккуратность.

— Конечно, никто не собирается лишать детей книг, — повторил он. — В каждой семье есть книги, и этого вполне достаточно. У вас в доме, вероятно, тоже имелась библиотека?

— О, конечно, конечно! — ответила миссис Селфредж. Мэр повернул выключатель, и разлившийся сумрак как бы смягчил и поглотил эту ложь.

Девочкой миссис Селфредж жила в Бруклине, где ее отец служил полицейским, и у них в доме никогда не было ни одной книги. Впрочем, отец ее был довольно приятный человек, хотя от него всегда не очень приятно пахло; обходя свой околоток, он дружески заговаривал со всеми детьми, встречавшимися ему по дороге. Выйдя в отставку, он долгие годы просидел на кухне, печеный и немый, в одном исподнем, прихлебывая пиво, что крайне огорчало и смущало его единственную дочь.

На улице миссис Селфредж, прощаясь с мэром, услышала, как Марси говорила Макхему:

— Мне ужасно стыдно за Марка и за его слова, но нам всем приходится сносить его грубости... Вы не зайдете ко мне на рюмочку вина? Возможно, мы все-таки что-нибудь придумаем с этой библиотекой.

«Ах, так, значит, для вас с библиотекой не покончено, — вознегодовала миссис Селфредж. — Эти люди не успокоятся до тех пор, пока весь Шэди Хилл из конца в конец не превратится в сплошную новостройку». Жители Карсен Парка, с их изможденными лицами, вечной нуждой, с их оравами детей и заботами о ежемесячном взносе процентов, самый поселок этот, с его стандартными домами, голыми, грязными, немощными улицами, казалось, бросал вызов всему, что любила и ценила миссис Селфредж: зеленым газонам, городским развлечениям, наконец, ее чувству собственности и даже самоуважению.

Мистер Селфредж, просвещенный и элегантный джентльмен преклонных лет, с нетерпением поджидал возвращения своей принцессы. Она рассказала ему о своих переживаниях. Мистер Селфредж жил на покое, уйдя от банковских дел. Оставил он их, щадя себя, ибо стоило ему выйти в наши дни за порог своего дома, как он с грустью наблюдал падение того чувства ответственности и той коммерческой инициативы, которые так скрашивали мир, окружавший его в юности, сообщая этому миру аристократичность, силу и здоровье. Он был неплохо осведомлен о современном положении Шэди Хилла и даже припомнил, кто такой Макхем.

— Его дом заложен в нашем банке, — сказал он. — Я помню, как он приходил просить ссуду. Он сотрудничает в одном нью-йоркском издательстве, выпускающем учебники. Руководителей этого издательства вызывали один или два раза в комиссии конгресса, их обвиняли в том, что выпущенные ими учебники американской истории имеют подрывной характер. Этот господин меня мало волнует, но, если тебе будет приятно, я напишу о нем письмо в газету.

«Дети находились совсем не там, где я предполагал, — писал Чарли на борту «Огастуса». — Сначала они действительно были в саду. Но потом им захотелось есть и они решили потихоньку поискать чего-нибудь из еды. Это желание оказалось для них роковым. Мне нетрудно себе представить, как все произошло. Они ощутили голод, не менее острый, чем мой, и зашли в дом. В холле настороженно прислушались, — все было спокойно. Тогда они направлись к холодильнику и тихонько, стараясь не щелкнуть тугой пружиной, отворили дверцу. В холодильнике они не обнаружили ничего стоящего внимания. Генри подошел к раковине, увидел блюдо с мышьяком и, воскликнув «конфеты!», принялся его уплетать. Кэти последовала его примеру, и они даже подрались, деля остатки. В кухне они пробыли довольно долго — пока Генри не стало рвать. «Ты загадишь всю кухню, — сказала Кэти. — Иди-ка лучше во двор». Ее тоже начало тошнить. Они пошли в сад и забрались в кусты чубушника. Там я их и увидел, когда оделся и спустился в сад. Они рассказали мне, что с ними произошло, я побежал в спальню, разбудил Марси, снова спустился и позвонил доктору Мулленсу. «О господи! — воскликнул он. — Сейчас выезжаю». Он попросил меня посмотреть, что сказано на этикетке. Там было написано «мышьяк», но процент не был указан. Я сказал доктору, что купил это средство у Тиммонса, и он велел мне позвонить в аптеку и узнать, у какой фирмы тот его приобрел. У Тиммонса было занято, я вскочил в машину и помчался в поселок. Марси металась между Генри и Кэти. Помню, небо было еще совсем светлое, но поселок уже погрузился в почную тьму. Светилась только аптека. Заведение это питалось крохами, падавшими со стола других коммерческих предприятий, и главная торговля у Тиммонса шла вечером, когда

все остальные лавки и магазины были уже закрыты. Витрина аптеки являла собою дикую мешанину самых разнообразных товаров — от утюгов до Веперы, облаченной в бандаж, и от пещельниц и резиновых мешков для льда до духов; мешанина эта заполняла и внутренность аптеки, похожей одновременно на фармацевтическую лавку древностей и комнату смеха. Здесь висели изображения красоток, умащивающих свои телеса средством для загара, и сияющих горных пейзажей, рекламирующих хвойное мыло; стояли полки с книгами; выселись коробки со скатертями, красовались пистолеты из пластмассы. Но аптека походила и на жилье, и такой вид ей придавала миссис Тиммонс, чистенькая женщина с печальным лицом, стоявшая возле сифона с содовой водой, фотография трех ее сыновей в военной форме (один из них погиб), висевшая позади миссис Тиммонс, напротив зеркала, а также облик самого мистера Тиммонса, который подошел к стойке, жуя бутерброд и смахивая с губ хлебные крошки. Я протянул ему банку из-под мышьяка и сказал:

— Мои дети час назад съели этот порошок. Я вызвал доктора Мулленса, и он велел мне немедленно ехать к вам. На этикетке не указан процент содержания мышьяка. Доктор говорит, что если вы скажете, какая фирма прислала вам это средство, мы сможем позвонить к ним и узнать.

— У ваших детей отравление? — спросил Тиммонс.

— Да!

— Вы купили это средство не у меня.

Эта дикая, наглая ложь в сочетании с пеллепостью окружавшей меня обстановки и царившими вокруг тишиной и покоем породили во мне какое-то непередаваемое отчаяние.

— Я купил это средство у вас, — сказал я. — И я в этом абсолютно уверен. Мои дети при смерти. И я прошу вас сказать, где вы приобрели этот яд.

— Вы купили это средство не у меня.

Я обернулся к миссис Тиммонс; она старательно вытирала пыль со стойки, делая вид, что даже не слышит нашего разговора.

— Подлец! Мерзавец! — закричал я, перегнулся через стойку и схватил Тиммонса за ворот. — Несите ваши бухгалтерские книги! Вы их сейчас же притащите сюда, сукин вы сын, и скажете, где вы купили эту дрянь!

— Мы знаем, каково это — потерять ребенка, — сказала миссис Тиммонс; слова ее, полные печали и тоски, прозвучали так тихо, будто капнули в песок. — Нам вы можете не рассказывать.

— Вы купили это средство не у меня, — повторил Тиммонс.

Я рванул его за рубаху с такой силой, что она затрещала по швам, и отпустил на волю божию. Миссис Тиммонс вытпирала стойку. Тиммонса все же пронял стыд: он так низко опустил голову, что даже глаз не было видно. Я выбежал из аптеки.

Доктора Мулленса я застал наверху в холле; самое страшное уже осталось позади.

— Еще немножко, и вы лишились бы ваших детей, — сказал он веселым голосом. — Я сделал им выкачивание желудка, и теперь, надеюсь, все будет в порядке. Мышьяк — очень сильный яд, иногда он остается в почках, так что пусть Марси проследит с недельку за их состоянием, а вообще-то все, по-моему, обошлось.

Я поблагодарил его, проводил к машине и пошел к детям. Их положили в одной комнате, чтобы им было веселее. Я стал болтать с ними, но тут услышал за стеной рыдания Марси. Я направился в спальню.

— Все прошло, — сказал я. — Они совершенно здоровы.

Но когда я попытался ее обнять, она разрыдалась еще пуще. Я спросил, почему она плачет.

— Я уйду от тебя, — ответила она сквозь слезы.

— Что?

— Я уйду от тебя, потому что слишком истрадалась; у меня не хватает сил. Стоит им немного простудиться или опоздать из школы, как я теряю рассудок и думаю, что это возмездие свыше. Я больше не выдержу.

— Возмездие? Какое возмездие?

— Когда ты был в отъезде, я натворила бог знает что.

— Что же?

— Бог знает что — с одним человеком.

— С кем именно?

— Его зовут Ноэль Макхем. Ты его не знаешь. Он живет в Мейпл Делле.

Я онемел — что можно на это ответить? И вдруг она напугулась на меня как бешеная:

— О, я наперед знала, как ты это воспримешь, наперед знала! И знала, что ты будешь меня упрекать, ругать! Но я не виновата, я абсолютно не виновата. Я знала, что ты будешь меня упрекать, ругать, я знала, знала...

Дальнейшего я не слышал, потому что был поглощен укладыванием чемодана. Поцеловав детей, я отправился на станцию, сел в поезд и на следующее утро был уже на «Огастусе».

А с Марси произошло вот что. На следующий день после заседания муниципалитета она прочтала в вечерней газете письмо Селфреджа и позволила Макхему. Макхем сказал, что он написал опровержение и очень хотел бы показать его Марси: если можно, он зайдет к ней в восемь часов. В середине дня, только Марси собралась сесть с детьми обедать, раздался звонок и неожиданно появился Марк Баррет.

— Привет, дорогая! Не нальешь ли мне рюмочку? — Она налила ему мартини, он снял шляпу, нальто и приступил к делу.

— Я слышал, что вчера у тебя был этот остолоп и вы с ним даже выпивали?

— Кто тебе это сказал? Кто мог тебе это сказать?

— Мне сказала Элен Селфредж. Подумаешь, тайпа... Видишь ли, Элен не желает, чтобы возобновилась эта история с библиотекой.

— Получается, что за мной установили слежку. Какая гадость.

— Не обращай внимания, душечка.

Он протянул ей стакан, и она подлила ему мартини.

— Я пришел к тебе как добрый сосед и как добрый друг Чарли. Соседи и друзья затем и существуют, чтобы выслушивать их советы, ты согласна? Всем известно, что этот Макхем жуткий остолоп, и, кроме того, он жуткий бабник. Поскольку Чарли уехал, ты должна рассматривать меня как самого близкого вашей семье человека, как своего старшего брата, который обязан о тебе заботиться. И ты должна мне поклясться, что этот остолоп никогда больше не переступит порог вашего дома.

— Я не могу этого сделать. Он должен прийти ко мне сегодня вечером.

— Он не придет. Ты позвонишь ему и скажешь, чтобы он не приходил.

— Я не могу обидеть человека, Марк.

— Выслушай меня, дорогая. Выслушай, что я тебе расскажу. Верно, он человек. Но ведь мусорщик, который роется на помойке, тоже человек. И уборщица — тоже человек... Так вот тебе очень интересная история. Со мной в школе учился один болван, вроде этого Макхема. Его у нас все презирали до такой степени, что с ним даже никто не разговаривал. Но я был мальчик с фантазиями. Меня все любили, не то что его, и я впил себе в голову, что мой святой долг подружиться с этим парнем и добиться, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Как-то я подошел к нему, завязал разговор. Потом мы вместе пошли гулять. Потом я пригласил его к себе в гости. В общем из кожи воп лез, стараясь, чтобы он чувствовал себя человеком. И это была роковая ошибка. Прежде всего он начал хвастаться перед ребятами, что, мол, он и я ходили вместе туда-то и туда-то и собираемся делать вместе то-то и то-то. Затем он, не спросив меня, отправился к директору и добился разрешения переселиться в мою комнату. Потом его мамаша стала посылать мне гостинцы — какое-то гнусное домашнее печенье, а его сестра — я ее никогда и в глаза не видел — засыпала меня любовными письмами. Он впился в меня, как пиявка, и в один прекрасный день я решил — хватит. Я ему прямо и откровенно заявил, что подружился с ним только из жалости, а иначе я бы и двух слов с ним не сказал. Но даже после этого он не захотел от меня отстать — ведь на подобных типов слова не действуют. Он прилип ко мне как банный лист, подстерегал меня после занятий у подъезда, дежурил в раздевалке, дожидаясь, когда я кончу играть в футбол. Наконец он мне до того осточертел, что мы с ребятами решили устроить ему хорошую взбучку. Мы зазвали его в комнату к Питу Фендону, будто бы пить какао, отдубасили его как следует, потом разделы, выкинули в окно костюм и белье, намазали ему зад йодом и в довершение сунули его головой в ведро и держали в воде так долго, что этот идиот чуть не очурился. — Марк закурил и допил martini. — Я это тебе для того рассказываю, чтобы ты поняла — с подобными типами лучше не связываться. Ты воображаешь, что поступаешь благородно, великодушно, а на деле ему же приносишь вред. Так что позволи ему и вели не

приходить. Скажи, что ты заболела. Не смей его даже на порог пускать, я тебе запрещаю.

— Но я же не позвала его в гости. Он придет по делу, показать мне опровержение, которое собирается послать в газету.

— Немедленно звони. Я категорически требую.

— Нет, не буду.

— Сейчас же иди к телефону и звони!

— Не кричи на меня!

— Иди к телефону!

— Я прошу вас оставить мой дом!

— Ты дура, жалкая дура! Причем неизлечимая! — заорал Баррет. — И тебе уже никто не поможет. — С этими словами он встал и ушел.

Она уживала в одиночестве, когда пришел Маккем. На улице лил дождь, и он был в толстенном плаще и ветхой шляпе, которую, очевидно, приберегал специально для плохой погоды. В этой шляпе он выглядел настоящим стариком. Лицо у него было мрачное и утомленное. Он стал медленно разматывать длинное желтое шерстяное кашне. Он ездил к редактору. Редактор печатать опровержение отказался. Марси спросила, не выпьет ли он рюмку вина, он ничего не ответил, и она повторила свой вопрос.

— Нет, нет, спасибо, — пробормотал он и посмотрел на нее с такой беспомощной и жалкой улыбкой, что Марси подумала, не болен ли он.

Он подошел к ней, и ей вдруг показалось, что он хочет ее обнять. Она повела его в библиотеку и уселась на диван. По дороге она заметила, что он не снял галоши.

— Простите, ради бога, — пролепетал он, — я, кажется, наследил...

— О, пустяки!

— У меня дома это не были бы пустяки.

— Ну, а у меня — пустяки.

Он сел на стул возле двери и припнулся стаскивать галоши. Галоши-то и явились всему виной. Заложив ногу на ногу, он стянул одну галошу, потом другую, и, глядя на него, Марси вдруг почувствовала такую щемящую жалость к этому несправедливо оскорбленному человеку, что оп по выражению ее лица, ее широко раскрытых глаз понял, что она совершенно безоружна.

Темно на палубе, темно за бортом. Из бара, расположенного в конце парохода, доносятся голоса. Чарли поведаль все, но никак не оторвется от бумаги. «Огастус» вошел в теплые воды, и так как вокруг густой туман, воеет спрена. Перерыв между ее завываниями ровно минута, он проверил по часам. И вдруг Чарли удивленно спрашивает себя, зачем он здесь, на этом пароходе, да еще с чемоданом, набитым ореховым маслом. «Муравьи, мышьяк, ореховое масло, спрена, — пишет он. — Любовь, кровавое давление, деловые поездки — загадочно, непонятно. Ведь я твердо знаю, что вернусь». Вздвывает спрена, и среди ее томительного воя ему вдруг видится его дом — по щербатым ступенькам забегают к нему жена, дети; дикая гвоздика, ящерицы, родные, любимые лица... «В Генуе я сяду в самолет и вернусь домой, — пишет он. — Я буду воспитывать своих детей, они будут расти и мужать на моих глазах, и я буду жить с моей Марси, милой Марси, чудесной Марси, любимой Марси, и прикрою ее своим телом от всех бед и угроз, таящихся во тьме».

ТРИ МЕСЯЦА

Констанс нетерпеливо сидела на стульчике в каюте первого класса и время от времени подносила к губам бокал с шампанским, которое прислал Марк. Марка не было в городе, и он не смог приехать, но прислал шампанское. Констанс не любила шампанского, но пришлось его пить, потому что она не знала, что с ним еще делать. Отец стоял у иллюминатора и тоже держал в руке бокал. По лицу его было видно, что и он не любитель шампанского. Впрочем, может быть, ему не нравился только этот сорт. Или то, что вино прислал Марк. А может быть, дело было вовсе не в шампанском — просто отец сейчас немного расстроен.

Констанс чувствовала, что у нее хмурое лицо, и попыталась изменить выражение; она знала, что в такие минуты кажется моложе своих лет, девочкой лет шестнадцати-семнадцати. Но, как она ни старалась, лицо становилось все угрюмее, она была в этом уверена, и ей хотелось, чтобы поскорее прозвучал гудок и отец сошел на берег.

— Наверно, тебе придется много пить этой штуки, — сказал отец, — там, во Франции.

— Я не собираюсь долго оставаться во Франции, — возразила Констанс. — Поищу что-нибудь поспокойнее.

Голос ее прозвучал жалобно и раздраженно, как у капризного ребенка. Она попыталась улыбнуться отцу. Ей было очень тяжело несколько последних недель перед отъездом — все то время, что они спорили, с трудом подавляя вражду, — и теперь ей хотелось за десять минут, оставшихся до отплытия парохода, вернуть их прежнюю дружбу. И она улыбнулась, но даже ей самой улыбка показалась натянутой, холодной и кокетливой. Отец отвер-

нулся и рассеянно глянул в иллюминатор на крытую набережную. Шел дождь, дул холодный ветер, и люди на пристани, ожидавшие команды отдать концы, казались жалкими и никому не нужными.

— Будет бурная ночь, — сказал отец. — У тебя есть драматизм?

Враждебность снова вернулась, потому что он спросил о драматизме. В такой момент!

— Мне не нужен драматизм, — сухо ответила Констанс и сделала большой глоток. Судя по этикетке, вино было самого высшего качества, как и все, что дарил Марк, но почему-то казалось кислото-терпким.

Отец повернул голову и улыбнулся ей, но она подумала с горечью: «Больше никогда не позволю ему относиться ко мне как к маленькой». Он стоял перед ней, сильный, уверенный в себе, здоровый, еще молодой, и, казалось, втайне забавлялся. «Вот возьму сейчас и сойду на берег с этого распрекрасного парохода. Интересно, что ты тогда будешь делать?» — подумала Констанс.

— Завидую я тебе, — сказал отец. — Если бы кто-нибудь послал меня в Европу, когда мне было двадцать лет...

«Двадцать лет, двадцать лет, — подумала она. — Далось ему эти двадцать лет».

— Прощу тебя, папа, довольно об этом. Я на пароходе, я уезжаю, все уже решено, и давай не будем завидовать друг другу.

— Стоит мне сказать, что тебе двадцать лет, — ответил отец миролюбиво, — и ты сразу реагируешь так, будто я тебя оскорбил.

И он улыбнулся, страшно довольный собой, потому что был так проникателен, так хорошо понимал ее и потому что не был одним из тех отцов, чьи дети ускользают от родителей и бесследно исчезают в таинственных глубинах современности.

— Не будем говорить об этом, — сказала Констанс низким голосом. Она всегда старалась говорить низким голосом, когда не забывала об этом. Иногда по телефону ей удавалось казаться женщиной лет сорока или даже мужчиной.

— Развлекайся хорошенько, — сказал отец. — Побывай всюду, где интересно. А если захочешь остаться подольше, напиши мне. Может быть, я смогу к тебе приехать, и мы проведем несколько недель вместе...

— Ровно через три месяца, — прервала его Констанс, — и ни на один день позже, я сойду здесь на берег.

— Как скажешь, девочка.

По тому, как он сказал «девочка», было ясно, что он просто не хочет спорить с ней. Ужасно, что с тобой обращаются так сейчас, когда ты сидишь в этой скверной каюте, на улице идет дождь, пароход вот-вот отчалит, а из соседней каюты доносятся громкий смех и прощальные возгласы. Если бы у них с отцом были другие отношения, она бы заплакала.

Дали гудок, чтобы провожающие сошли на берег, отец подошел и поцеловал ее, задержав руки у нее на плечах, и Констанс попыталась быть с ним любезной. Но когда он сказал очень серьезно: «Вот увидишь — через три месяца ты скажешь мне за это спасибо», она оттолкнула его, возмущаясь его отвратительной самоуверенностью и в то же время чувствуя боль оттого, что они, такие близкие прежде, стали теперь чужими.

— До свиданья, — сказала Констанс срывающимся и вовсе не низким голосом. — Слышишь — гудок. До свиданья.

Отец взял шляпу, потрепал ее по плечу, задержался на миг у двери, глядя на нее задумчиво, но без тревоги, потом вышел в коридор и смешался с толпой провожающих, устремившихся к трапу.

Когда отец ушел, Констанс поднялась на палубу и долго стояла там одна под дождем на пронизывающем ветру, глядя, как буксир выводит пароход. Он медленно проплыл мимо причалов порта и вышел в море. Дрожа от холода, Констанс думала: «Я плыву в страну, где все мне чуждо», — и ей было приятно величие ее чувств.

Подъемник подходил к середине горы, и Констанс пристегнула себя ремнем к штанге. Потом она проверила, хорошо ли лыжи держатся в гнезде. Впереди на площадке стояли на утопанном снегу несколько лыжников, которые съехали вниз только до половины горы и теперь ждали, когда подойдет пустое кресло, чтобы снова подняться на вершину. Констанс всегда чувствовала себя здесь не совсем уверенно, потому что, когда ты на сиденье сдвинута, первый же человек в очереди сядет рядом с тобой, нагрузка сразу сильно увеличится, и от резкого движения легко потерять равновесие. Она видела, что место рядом

с ней должен запясть мужчина, и приготовилась держаться прямо и пзящно, пока он будет устраниваться. Он легко опустился рядом с ней, и подъемник заскользил вдоль цепочки стоящих лыжников. Она чувствовала, что он смотрит на нее, но не повернула головы, потому что внимательно глядела вперед и вниз.

— А я вас знаю, — сказал мужчина, когда подъемник снова пополз вверх. Он сидел, опираясь плечом о штапугу; лыжи их тихонько подпрыгивали. — Вы та самая серьезная американка.

Констанс в первый раз взглянула на него.

— А вы, — сказала она, потому что здесь, в горах, все разговаривали друг с другом, — вы тот самый веселый англичанин.

— Угадал наполовину. — Он улыбнулся. У него было загорелое лицо лыжника и на скулах румянец, как у девушки. — Во всяком случае, на одну треть.

Констанс знала, что его зовут Причард, она слышала, что так его называли в отеле. Кто-то из тренеров сказал о нем: «Отчаянный парень. Он переоценивает себя. Для такой скорости ему не хватает техники». Она посмотрела на него и решила, что он и правда кажется отчаянным. У него был длинный нос — такой нос плохо выходит на снимках, но в жизни вовсе не кажется некрасивым, особенно на худом длинном лице. Лет двадцать пять, подумала Констанс, двадцать шесть. Не больше. Он слегка опирался спиной о стойку, не держась руками. Потом он снял перчатки, порылся в карманах и, вытащив пачку сигарет, протянул ее Констанс.

— Спортивные, — сказал он. — По-моему, ничего.

— Нет, спасибо, — ответила Констанс. Она была уверена, что выпадет из кресла, если попытается зажечь спичку.

Англичанин закурил, немного нагнув голову над сложенными ладонями, и скосил глаза на поднимающуюся струйку дыма. У него были длинные тонкие пальцы. Почему-то всегда кажется, что такие руки должны быть у нервных людей, которых легко огорчить. Он был высок и строен, на нем был красный свитер и клетчатый шарф, а спортивные брюки — Констанс это отметила — немало повидали на своем веку. Он производил впечатление денди, который постоянно посмеивается над собой. Он

чувствовал себя на лыжах легко и свободно, и было видно, что он не из тех, кто боится упасть.

— Я ни разу не видел вас в баре, — сказал Причард, бросив спичку в снег и надевая перчатку.

— Я не пью, — ответила Констанс, но это было не совсем правдой.

— Там есть кока-кола. Ведь Швейцария — сорок девятый штат.

— Я не люблю кока-колу.

— Когда-то она была одной из наших главных колониальных. — Он усмехнулся. — Швейцария. Но мы потеряли ее так же, как и Индию. До войны англичан здесь было больше, чем эдельвейсов в горах. Если бы вам захотелось поглядеть на швейцарца между первым января и тринадцатым марта, его пришлось бы разыскивать с собаками.

— Вы были здесь до войны? — удивилась Констанс.

— Да, с матерью. Она тут каждый год обязательно ломала ногу.

— Она сейчас тоже здесь?

— Нет, — сказал он. — Она умерла.

«Никогда, — подумала Констанс, не глядя на человека, сидящего рядом с ней, — не нужно спрашивать европейцев об их родных. Их почти никого нет в живых».

— Тогда здесь было очень весело, — продолжал Причард. — Все отели переполнены, каждый вечер танцы, к обеду все одевались, а под Новый год пели «Боже, храни короля». Кто бы поверил, что когда-нибудь здесь станет так тихо?

— Да, — сказала Констанс, — я спрашивала в бюро путешествий в Паррже.

— О! И что же вам там сказали?

— Что все здесь всерьез занимаются лыжами и ложатся спать в десять часов.

Англичанин быстро взглянул на нее.

— А вы занимаетесь лыжами не всерьез?

— Нет, я всего раза два-три стояла на лыжах до этого.

— А вы не...?

— Что? — Она с недоуменным поглядом на него.

— Ну, в рекламах, знаете — «Школы для детей со слабым здоровьем. Швейцария — страна для больных туберкулезом».

Констанс засмеялась.

— Разве похоже, что у меня туберкулез?

Он серьезно посмотрел на нее, и Констанс показалось, что она толстая и развязная и что свитер слишком плотно обтягивает ее грудь.

— Нет, не похоже. Да ведь кто угадает? Вы читали «Волшебную гору»?

— Да, — ответила Констанс, чувствуя гордость от того, что она не так уж невежественна, хотя и очень молода и прехала из Америки. Она помнила, что пропускала философские рассуждения и плакала над смертью сестры. — Да, читала. А что?

— Здесь недалеко санаторий, о котором там написано. Я его вам как-нибудь покажу, когда будет плохой снег. Вам не кажется, что здесь грустное место?

— Нет, — ответила она удивленно. — Почему грустное?

— Да некоторым так кажется. Из-за контраста. Чудесные горы, сильные, здоровые лыжники мчатся вниз сломя голову и ног под собой не чувят от радости, хоть и знают, что каждую секунду могут сорваться в пропасть, и тут же томятся люди с больными легкими, смотрят на них и гадают, удастся ли им когда-нибудь выбраться отсюда живыми.

— Знаете, я об этом никогда не думала, — честно призналась Констанс.

— Сразу после войны было хуже, — сказал он. — Сразу после войны здесь начался бум. Все, кому пришлось голодать, скрываться или сидеть в тюрьме, кто так долго жил в страхе...

— Где же все они сейчас?

Причард пожал плечами.

— Кто разорился, кто и по сей день напрасно ищет работу, кто умер... — сказал он. — А правда, что в Америке люди отказываются умирать?

— Да, — ответила Констанс. — Это значит признать себя побежденным.

Он улыбнулся и похлопал ее по руке в перчатке, которой она крепко держалась за среднюю перекладину.

— Не сердитесь, что мы так завыстливы, — сказал он. — Ведь только так мы и можем проявить свою признательность.

Он мягко оторвал ее пальцы от дерева.

— И не нужно так напрягаться, когда вы на лыжах. Даже пальцы нельзя сжимать. Даже брови нельзя

хмурить, пока не пойдете пить чай. Легкость, свобода и отчаянная уверенность — вот что главное.

— И вам все это удается?

— В основном отчаяние.

— Но что же вам тогда делать на этом спуске для начинающих? Почему вы не подниметесь па ту вершину?

— Я вчера растянул лодыжку, — ответил Причард. — Переоценил себя. Что делать, февральская болезнь. Потерял управление и с блеском свалился в овраг. Так что сегодня я способен только писать медленные величественные дуги. Но завтра мы снова пойдём на приступ, — он протянул руку к вершине, до половины скрытой в тумане, над пей мокрым пятном расплывался тусклый круг солнца, и от этого вершина казалась грозной и опасной. — Пойдем? — Он вопросительно посмотрел на нее.

— Я еще не была там ни разу, — сказала Констанс, почтительно разглядывая гору. — Боюсь, она пока еще не для меня.

— Нужно всегда делать то, что пока еще не для тебя, — сказал он. — На лыжах. Иначе пропадает все удовольствие.

Они помолчали немного, медленно подымаясь вверх. Ветер дул им в лицо, и все вокруг было залито тихим туманным светом, какой бывает только в горах. Впереди них ярдах в двадцати ехала девушка в желтой парке, похожая на яркую покорную куклу.

— Итак, что же Париж? — спросил Причард.

— Что? («Он все время перескакивает», — подумала Констанс, немного растерявшись.)

— Вы сказали, что приехали из Парижа. Значит, вы из тех симпатичных людей, что приезжают сюда оставить нам денежки вашего правительства?

— Нет, — ответила Констанс. — Я приехала сюда... приехала просто отдохнуть. Вообще я живу в Нью-Йорке. А от французской кухни я просто чуть не умерла.

Он оглядел ее критически и сказал:

— Вы очень мало похожи на умирающую. Вы похожи па девиц из американских журналов, которые рекламируют мыло и пиво. Беру свои слова обратно, если в вашей стране это считается оскорблением, — добавил он поспешно.

— А какие в Париже мужчины!

— О, в Париже есть мужчины?

— Они всюду преследуют тебя, даже в музеях. Разглядывают с ног до головы, будто оценивают. И все это среди картин религиозного содержания.

— Я знал одну девушку, — сказал Причард, — она была англичанка. В сорок четвертом году ее от Прествика — это в Шотландии — до самого Корнуолла преследовал американский пулеметчик. Три месяца. Впрочем, насколько мне известно, картины религиозного содержания там не фигурировали.

— Вы знаете, о чем я говорю. Вся эта развязность... — строго сказала Констанс.

Она впдела, что он с самым невозмутимым видом потешается над ней, как это умеют англичане, и не знала, следует ей обидеться или нет.

— Вы воспитывались в монастыре?

— Нет.

— Многие американские девушки рассуждают так, будто воспитывались в монастыре. А потом вдруг оказывается, что они хлещут джин и устраивают скандалы в барах. Что вы делаете по вечерам?

— Где, дома?

— Нет. Что американцы делают по вечерам, я знаю. Они смотрят телевизор, — сказал он. — Я спрашиваю, что вы делаете здесь?

— Я... я мою голову, — сказала она с вызовом, чувствуя, как это глупо. — Пишу письма.

— Сколько вы еще здесь пробудете?

— Шесть недель.

— Шесть недель. — Он кивнул и перекинул палки на другую сторону, потому что они уже подъезжали к вершине. — Шесть недель чпстейших волос и корреспонденции.

— Я обещала, — сказала она, решив, что, может быть, стоит сказать ему обо всем, а то он вдруг заберет себе что-нибудь в голову. — Я обещала одному человеку писать каждый день, пока меня нет.

Причард кротко кивнул, как будто сочувствуя ей.

— Да, американцы, — сказал он, когда подъемник остановился и они спрыгнули на площадку. — Порой они ставят меня в тупик. — Он помахал ей палками и рпнулся вниз, и красный свптер его яркой точкой замелькал на белом с синими телями снегу.

Солнце скользнуло в просвет между двумя вершинами, как золотая монета в щель гигантского автомата. Все казалось плоским в его обманчивом свете, и ухабы были почти неразличимы. Съезжая вниз, Констанс упала два раза и теперь суеверно думала, что обязательно упадет еще, — так всегда бывает, стоит только сказать себе, что едешь в последний раз.

Она остановилась на утопанном снегу между двумя шале, стоящими на окраине города, и с облегчением сбросила лыжи. У нее замерзли пальцы на руках и ногах, но вообще ей было тепло, щеки горели, и она радостно вдыхала чудесный холодный и немного разреженный горный воздух. Она чувствовала себя сильной и здоровой и весело улыбалась лыжникам, которые останавливались рядом с ней, грея лыжами. Она стряхивала приставший к костюму, когда она падала, снег, чтобы все считали ее настоящей лыжницей, когда придется идти по городу, и в это время Причард, взлетев на последнем трамплине, с шумом остановился возле нее.

— А я видел, — он наклонился отстегнуть крепления. — Видел, но не скажу ни одной живой душе.

Констанс в последний раз смущенно провела рукой по ледяным кристалликам на парке и сказала:

— Я упала всего четыре раза за весь день.

— Там, наверху, — он кивнул в сторону горы, — вы будете завтра летать в снег целый день.

— Я не говорила, что пойду с вами.

Она застегнула ремешком сложенные лыжи и стала устраивать их у себя на плече. Причард протянул руку и взял у нее лыжи.

— Я упала всего четыре раза за весь день.

— Американки почему-то всегда проявляют твердость характера, когда дело не стоит выеденного яйца.

Он уложил две пары лыж у себя на плечах под углом, и они пошли по грязному, утопанному снегу, скрипящему под их ботинками. В городе зажглись огни, совсем бледные в гаснущем свете дня. Мимо них прошел почтальон; большая собака вместе с ним тащила его сани. Шесть ребятшек в лыжных костюмах съехали по круто спускающемуся вниз переулку на связанных цугом салазках и, звонко хохоча, вывалились в снег у самых их ног. Большая рыжая лошадь медленно протащила к станции три огромных бревна. Несколько стариков в

голубых парках сказали «Grüezi», поравнявшись с пимп. Зажав коленями бидон с молоком, мимо выхрем пронеслась на малюпких салазках служанка из какого-то домика наверху. На катке играли французский вальс, звуки музыки сливались со смехом детей, звоном колокольчика на дуге у лошади и далекими ударами старинного колокола на вокзале, где отходил поезд. «Пора», — говорил колокол, пробиваясь сквозь другие звуки.

Далеко в горах раздался глухой взрыв, и Констанс удивленно подняла голову.

— Что это?

— Пушки, — ответил Причард. — Прошлой почью шел снег, и сегодня солдаты целый день стреляют по снежным глыбам. Чтобы они обвалились.

Снова прокатился неясный гул, они остановились и стали слушать, как замирает эхо.

— Как в старые добрые времена, — сказал Причард, когда они пошли дальше, — старые добрые времена, когда была война.

— О... — Констанс никогда раньше не слышала, как стреляют пушки, и сейчас ей было немного не по себе. — Война. Вы тоже воевали?

— Воевал, — он усмехнулся. — Так, самую малость.

— Что же вы делали?

— Я был ночным истребителем, — ответил Причард, поправляя на плечах сложенные хомутом лыжи. — Летал на гнусном черном самолете по гнусному черному небу. Знаете, что мне больше всего нравится в швейцарцах? То, что они стреляют только по снегу.

— Ночной истребитель, — задумчиво повторила Констанс. Ей было всего двенадцать лет, когда кончилась война, и в памяти у нее сохранились только смутные, неясные обрывки. Так бывает, когда тебе рассказывают о классе, который кончил школу за два года до тебя. Люди постоянно называют имена, даты и события, думая, что тебе они тоже известны, а ты так и не можешь разобраться в них до конца.

— Мы летали над Францией и работали по перехвату, — продолжал Причард. — Летали на бреющем, чтобы не засекали радары и не подбили зенитки. Мы кружим над аэродромом, а необстрелянные новички просто места себе не находят, не чают дожидаться, когда же наконец машины выпустят шасси и пойдут на посадку.

— О, теперь я вспомнила, — решительно сказала Констанс, — вы ели морковь, чтобы лучше видеть ночью.

Причард расхохотался.

— Это в газетах мы ели морковь, а на самом деле у нас были локаторы. Засечешь немца на экрапе и начинаешь стрелять, как только становится видна пламя выхлопной струи. Нет уж, пусть другие едят морковь, а мне дайте радар.

— И много самолетов вы сбили? — спросила Констанс, думая, что, может быть, не нужно говорить об этом.

— Grüezi, — сказал Причард хозяину репсion'a, который стоял у двери и глядел на небо, решая, пойдет ли ночью снег. — К утру будет двадцать сантиметров. Снежная пыль.

— Вы думаете? — спросил тот, с сомнением вглядываясь в вечернее небо.

— Гарантирую.

— Вы очень любезны, — сказал хозяин, улыбаясь. — Приезжайте в Швейцарию почаще, — и он вошел в свой репсion и закрыл за собой дверь.

— Пару, — сказал Причард небрежно. — Мы сбили пару самолетов. Поведайте о своих подвигах?

— На вид вы так молоды.

— Мне тридцать лет, — ответил Причард. — Да много ли должен человек прожить, чтобы сбить самолет? Особенно жалкую, тянущуюся на последних каплях горючего пассажирскую тарактелку, битком набитую священниками и тыловиками, которые каждую минуту протирают очки и думают, зачем только была изобретена эта проклятая машина.

Они снова услышали далекие голоса пушек в горах, и Констанс захотелось, чтобы больше не стреляли.

— Вам никогда не дашь тридцати лет, — сказала она.

— Я веду простой и полезный для здоровья образ жизни. Стоп, — сказал он (в эту минуту они проходили мимо одного из маленьких отелей), положил лыжи на подставку и воткнул палки в снег рядом. — Давайте зайдем и выпьем по простой и полезной для здоровья чашке чая.

— Вы знаете, — начала Констанс, — я...

— Сократите сегодняшнее письмо на две страницы, но вложите в него побольше пыли. — Он мягко, почти не касаясь, взял ее под руку и повел к двери. — А на волосы наведете блеск как-нибудь в другой раз.

Они прошли в бар и сели за массивный резной деревянный стол. Кроме них, здесь не было ни одного лыжника, только несколько местных жителей, сидя за покрытым сукном столиком у стены, где висели рога серпы, мирно играли в карты и пили кофе из плоских бокалов на высоких ножках.

— Ну, что я вам говорил, — сказал Причард, снимая шарф. — В этой стране просто деваться некуда от швейцарцев.

Подошел официант, и Причард сказал ему что-то по-немецки.

— Что вы заказали? — спросила Констанс, догадавшись, что он просил принести не только чай.

— Чай с лимоном и черный ром.

— Вы думаете, мне тоже стоит выпить рому?

— Ром стоит пить всем без исключения. Он поможет вам удержаться от самоубийства в сумерки.

— Вы говорите по-немецки?

— О, я говорю на всех мертвых языках Европы, — ответил он. — По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски. Я получил всестороннее образование для мира обменной валюты. — Он откинулся на спинку стула, растирая ладонью суставы пальцев, чтобы согреть руки. Прислонившись затылком к деревянной панели стены, он улыбнулся Констанс, и она не могла решить, хорошо ей или нет. — А теперь скажите: «Хи-хо, малыши!»

— Что? — растерялась она.

— Разве в Америке так не говорят? Я хочу усовершенствовать свое произношение для следующего путешествия.

— Нет, — ответила Констанс, думая: «Господи, какой он нервный. Интересно, что с ним было, почему он стал таким?» — Больше не говорят. Это сейчас уже не модно.

— Как быстро в вашей стране выходит из моды все стоящее, — сказал он с сожалением. — Возьмите швейцарцев, — он кивнул головой в сторону играющих в карты. — Эта игра идет у них с 1910 года. Здесь так безмятежно, как будто живешь на берегу озера. Конечно, мало кто может вынести такую жизнь. Помните шутку о швейцарцах из той картины о Вепе?

— Нет. Из какой картины? — спросила Констанс и подумала: «Первый раз в жизни я назвала фильм картиной. Осторожно!»

— Один из героев говорит: «Швейцария не воевала сто пятьдесят лет. И что она дала миру? Часы с кукушкой». Не знаю, — Причард пожал плечами. — Может быть, лучше жить в стране, которая изобретает часы с кукушкой, а не радар. Маленькая забавная игрушка, которая каждые полчаса издает безобидный механический звук. Что ей время? Но для тех, кто изобретает радар, время — грозный фактор, для них оно разница между высотой полета и расположением батарей, которая должна тебя сбить. Радар нужен тем, кто никому не верит и всюду видит ловушку. А вот и чай. Как видите, я всю стараюсь развеселить вас, потому что наблюдаю за вами уже пять дней и вы производите впечатленные девушки, которая несколько раз в неделю обязательно плачет по почтам.

— Сколько его нужно налить? — спросила Констанс, совершенно сбита с толку потоком его слов. Она держала в руке ром и старательно избегала смотреть на Причарда.

— Половину, — ответил он. — Чтобы осталось для второй чашки.

— Хорошо пахнет, — сказала Констанс, вдыхая пар, поднимающийся из чашки, после того как она вылила туда половину рома и выжала лимон.

— Может быть... — Причард приготовил чай для себя, — может быть, мне лучше говорить о чем-нибудь постороннем?

— Пожалуй, так будет лучше, — ответила она.

— Тот парень, который получает ваши письма, — спросил Причард, — почему он не здесь?

Констанс на миг заколебалась.

— Он работает.

— О, это серьезный порок. — Он сделал несколько глотков, поставил чашку и вытер нос платком. — У вас так тоже бывает от горячего чая?

— Да.

— Вы собираетесь за него замуж?

— Вы же обещали говорить только о постороннем.

— Ясно. Значит, это дело решенное.

— Я этого не говорила.

— Правильно. Но вы сказали бы «нет», если бы я не угадал.

Констанс засмеялась.

— Ну хорошо. Решенное. По крайней мере почти решенное.

— Когда?

— Через три месяца, — ответила она, не подумав.

— Это что, в Нью-Йорке такой закон, что нужно ждать три месяца? Или просто маленькое семейное табу?

Констанс молчала, вдруг почувствовав, как давно она ни с кем по-настоящему не говорила. Она заказывала обеды и ужины, спрашивала, как ей проехать с вокзала, говорила «доброе утро», входя в магазины, но, если не считать всего этого, она жила в полном одиночестве и молчании, и оттого, что она сама была в этом виновата, ей было не легче. А почему бы и нет, подумала она эгоистично и с благодарностью, почему бы не рассказать обо всем один раз?

— Так захотел мой отец, — сказала она, смывая бумажный стаканчик. — Это он придумал. Он против. Он сказал: подожди три месяца и подумай. Ему кажется, что за три месяца в Европе я забуду Марка.

— Да, Америка, — протянул Причард. — Единственное место на земле, где люди могут позволить себе старомодные поступки. А чем плох Марк? Он что, урод?

— Он красивый. Грустный и красивый.

Причард кивнул, как бы беря все это на заметку.

— Но нет денег?

— Денег сколько угодно, — сказала Констанс, — во всяком случае, у него хорошая работа.

— В чем же тогда дело?

— Отец считает, что он слишком стар для меня. Ему сорок лет.

— Да, тут есть над чем задуматься. Потому он и грустит?

Констанс улыбнулась.

— Нет, он таким родился. Он очень серьезный человек.

— Вам нравятся только сорокалетние мужчины? — спросил Причард.

— Мне нравится только Марк, — сказала Констанс. — Правда, я никогда не могла подружиться со своими знакомыми молодыми людьми. Они... они как-то жестокие. Почему-то с ними я всегда смущаюсь и сержусь на себя. Когда я бываю с ними где-нибудь, то потом прихожу домой с таким чувством, будто меня вывернули наизнашку.

— Вывернули паизпанку? — удивился Причард.

— Да. Я чувствую, что вела себя совсем не так, как это свойственно мне, а так, как, по-моему, должны вести себя пх девушки. Кокетливо, легкомысленно, цинично. Это слишком сложно?

— Да нет.

— Я ненавижу, когда люди считают меня не тем, что я есть на самом деле. — Констанс, казалось, совсем забыла о молодом человеке, который сидел против нее за столиком, и теперь с горечью говорила для себя. — Ненавижу, когда о тебе вспоминают только потому, что кто-то окончил колледж или вернулся из армии и по этому поводу нужно устроить вечер. Ты — вещь, которую можно пригласить на этот вечер, а потом обнимать в такси по дороге домой. А мой отец! — Она еще никому не говорила об этом. — Я всегда думала, что мы с ним настоящие друзья, что он считает меня взрослым человеком и доверяет мне. Но когда я сказала ему, что хочу выйти замуж за Марка, то поняла, что все это ложь. На самом деле он считает меня ребенком, то есть попросту дурочкой. Мама ушла от него, когда мне было десять лет, и с тех пор мы всегда были очень дружны, но оказалось, вовсе не так дружны, как я думала. Он просто тешил меня, играя в доверие. И все кончилось, как только нам нужно было решать первый серьезный вопрос. Он не мог допустить, чтобы я считала себя тем, что я есть на самом деле. И по этому я в конце концов согласилась на эти три месяца. Чтобы доказать ему раз и навсегда. — Она вдруг настроенно взглянула на Причарда, не улыбается ли он. — Вам смешно?

— Ну что вы, — ответил он, — я просто думаю о всех тех людях, с которыми у меня расходится мнение относительно моей особы. Есть от чего прийти в ужас. — Он смотрел на нее задумчиво, но она не знала, серьезно ли он говорит. — А какая вы, по-вашему?

— Я еще не совсем разобралась, — медленно сказала Констанс. — Но знаю, какой хочу быть. Я хочу быть человеком, которому можно верить, не хочу быть беспомощной, не хочу быть жестокой... и хочу идти по правильному пути. — Она пожала плечами, совсем смутившись. — Маловразумительно, правда?

— Правда, — согласился Причард, — но замечательно.

— Ну, пока еще во мне нет ничего замечательного, — возразила она. — Может быть, лет через десять... Я еще не до конца разобралась в себе. — Она впервые засмеялась. — Правда, хорошо — через несколько дней вы уедете, мы никогда больше не увидимся, и сейчас я могу говорить с вами вот так.

— Правда, — сказал он, — правда, хорошо.

— Я так давно ни с кем не говорила. Наверное, это ром. Причард улыбнулся.

— Готовы ко второй чашке?

— Да, спасибо.

Она смотрела, как он наливает чай, и вдруг с изумлением заметила, что у него дрожит рука. «Наверное, он из тех, кто во время войны привык пить по бутылке виски в день», — подумала она.

— Итак, — сказал Причард, — завтра мы заберемся на самую вершину.

Он понял, что она больше не хочет говорить о себе, и перевел разговор, и она была благодарна ему за это.

— Но как же вы... А ваша лодыжка?

— Доктор сделает мне укол новокаина, и на несколько часов она обретет бессмертие.

— Ну что ж, — сказала Констанс, глядя, как он пьет чай, как дрожит его рука. — Значит, утром?

— Я не катаюсь по утрам. — Он добавил в чай рому и понюхал его с видимым удовольствием.

— Что же вы делаете по утрам?

— Собираюсь с силами и пишу стихи.

— О! — Она неуверенно взглянула на него. — Может быть, я знаю вас?

— Нет, — ответил он. — На следующее утро я их рву.

Констанс засмеялась немного неуверенно, потому что до сих пор ее знакомыми поэтами были лишь пятнадцатилетние мальчишки из приготовительной школы.

— Господи, — сказала она, — какой же вы чудак.

— Чудак? — Он поднял брови. — Ведь это, кажется, считают немножко неприличным в Америке? То есть когда мужчина с женщиной.

— Иногда, — смутилась Констанс, — но сейчас я хотела сказать другое. Какие стихи вы пишете?

— Лрические, элегические и атлетические. Во славу юности, смерти и анархии. Рвутся отлично. Давайте сегодня вечером пообедаем вместе.

— Зачем? — спросила она, растерявшись, что он так перескакивает с одного предмета на другой.

— В Европе ни одна женщина не задала бы такого вопроса.

— Я сказала в отеле, что буду обедать у себя.

— Я пользуюсь в отеле большим влиянием. Не исключено, что даже смогу убедить официанта не носить вам обед наверх.

— Да, по как же, — возразила Констанс, — как же та дама, с которой вы обедали всю неделю, та француженка?

— Неплохо, — улыбнулся Причард. — Значит, вы тоже наблюдали за мной.

— В ресторане всего пятнадцать столиков, — смутилась она, — что же тут удивительного...

Француженке было не меньше тридцати лет, у нее были короткие пышные волосы и неправдоподобно тонкая талия. Она носила короткие брюки и свитеры, туго стянутые блестящим поясом, и они с Причардом всегда очень много смеялись каким-то своим шуткам, сидя каждый вечер за одним и тем же столиком в углу. Когда Констанс бывала в одной комнате с француженкой, она чувствовала себя слишком молодой и неуклюжей.

— Француженка — хороший друг, — сказал Причард, — по англосаксы для нее, как она говорит, недостаточно пюансэ. Французы — патриоты до последней простыни. И, кроме того, завтра приезжает ее муж.

— Пожалуй, мне не стоит менять своих плапов, — ответила Констанс холодно и встала. — Вы готовы?

С минуту он смотрел на нее долгим взглядом.

— Вы очень красивы, — сказал он, — иногда невозможно удержаться и не сказать вам об этом.

— Пожалуйста, — сказала она. — Пожалуйста, мно правда уже пора.

-- Конечно. — Он встал и положил деньги на стол. — Как скажете.

Они молча прошли сто ярдов, отделявших их от отеля. Было уже совсем темно и очень холодно, и дыхание их замерзало на лету, превращаясь в маленькое облачко.

-- Я поставлю ваши лыжи, — сказал он у двери отеля.

— Благодарю вас, — ответила она низким голосом.

— Спокойной ночи. И напишите хорошее письмо.

— Постараюсь.

Она повернулась и вошла в отель.

Поднявшись в комнату, она сняла ботинки. Но не стала переодеваться. Не зажигая света, лежала она на кровати и думала, глядя на темный потолок: «Никто никогда не говорил мне, что англичане такие...»

«Мой хороший, — писала Констанс, — прости, что я не писала тебе, но погода сейчас изумительная, и я на некоторое время с головой ушла в повороты и в борьбу с глубоким снегом... Здесь есть один молодой человек, англичанин, — добросовестно писала она, — очень смелый. Он любезно предложил мне быть моей корреспондентом, и можно сейчас без преувеличения сказать, что дело у меня идет на лад. Он был в авиации: отец у него ранен, а мать погибла во время бомбежки...»

Она остановилась. Нет, кажется, я хотела как будто хочу скрыть что-то за вывеской несчастной семьи погибших патриотов. Она скомкала письмо и бросила его в корзину, потом взяла чистый лист бумаги: «Мой хороший...» — написала она снова.

В дверь постучали, и Констанс крикнула: «Ага».

Дверь открылась, и вошел Причард. Она удивленно подняла глаза. За все эти три недели он ни разу не был у нее в номере. Растерявшись, она стояла в центре комнаты посреди комнаты, где все было разбросано после прогулки на лыжах — ботинки возле окна, свитер болтал на спинку стула, на батарее сушались перчатки, возле двери ванной висел парка, и с воротенка ее струей стекал растаявший снег. Приемник был выключен, и американский джаз играл «Балл Ха-и», которую передавала военная станция из Германии.

Причард улыбнулся ей, стоя у открытой двери.

— Ага, — сказал он, — тот самый уголочек вашей комнаты, где всегда будет жить студентка.

Констанс выключила приемник.

— Простите, — она беспомощно махнула рукой, чувствуя, что волосы у нее не прижались. — Я была только разгром.

Причард подошел к американскому окну и стал рассматривать стоящий там корсет Марии в золотой рамке.

-- Ваш корреспондент?

— Мой корреспондент.

На столе стояла открытая коробочка с бигуди, валялась машинка для загибания ресниц и полплитки шоколада, и Констанс стало стыдно, что она представляет Марка Причарду в такой легкомысленной обстановке.

— Он очень красив. — Причард прищурился.

— Да.

Констанс нашла и надела мокасины, и ей стало немножко легче.

— У него серьезный вид. — Причард отодвинул коробку, чтобы лучше рассмотреть Марка.

— Он действительно очень серьезный, — сказала Констанс.

За все три недели, что они катались с Причардом на лыжах, она ни словом не обмолвилась о Марке. Они болтали о чем угодно, но по молчаливому соглашению почему-то никогда не вспомнили Марка. Каждый день они вместе катались с горы и много говорили о том, что нужно всегда обязательно наклоняться вперед и падать, ослабив мышцы, о том, как Причард учился в закрытой школе в Англии, о его отце, о лондонских театрах и американских писателях, о том, как чувствует себя человек в двадцать лет и когда он уже прожил тридцать, о рождественских праздниках в Нью-Йорке, о воскресном футболе в Принстоне, и даже однажды у них разгорелся решительный спор о мужестве, после того как Констанс испугалась, съезжая как-то вечером вниз по крутому склону, когда солнце уже садилось и в горах не было ни души. Но никогда они не говорили о Марке.

Причард отвернулся от портрета.

— Не пужно было обуваться ради меня, — сказал он, кивнув на мокасины. — Когда катаешься на лыжах, самое приятное снять потом эти чертовы тяжеленные башмаки и ходить по теплому полу в шерстяных носках.

— Я все время воюю с собой, чтобы не быть неряхой.

Они молча стояли и смотрели друг на друга.

— Ах, — спохватилась Констанс, — садитесь, пожалуйста.

— Спасибо, — вежливо ответил Причард и сел в единственное кресло. — Я зашел на минуту. Прощаться.

— Прощаться, — повторила она, не понимая. — Куда же вы собираетесь?

— Домой. По крайней мере в Англию. И мне захотелось оставить вам адрес.

— Обязательно.

Он протянул руку за листком бумаги и стал писать ее ручкой.

— Это всего лишь отель. Пока не найду себе жилья. — Он положил листок на стол и сказал, вертя ручку: — У вас будет еще один человек, которому можно писать письма. Английский корреспондент.

— Да.

— Вы можете писать мне, какой сейчас снег, сколько раз вы съехали сегодня с горы и кто напился в баре сегодня вечером.

— Как неожиданно...

Почему-то ей никогда не приходило в голову, что Причард может уехать. Он жил здесь, когда она приехала; казалось, он родился в этом городке, и для нее он так слился со всей его обстановкой, что она не могла себе представить, как можно жить здесь без него.

— Да нет, не так уж неожиданно, — Причард встал. — Я хотел попрощаться наедине.

Опа подумала, что он, поверное, поцелует ее. За все три недели он ни разу не взял ее за руку и прикасался к ней, только помогая встать после особенно жестокого падения. И сейчас он тоже стоял неподвижно, странно улыбаясь и вертя ручку, необычно молчаливый, как будто ждал, что она что-то скажет.

— Ну, вот и все, — сказал он наконец. — Я вас еще увижу?

— Да.

— Мы устроим прощальный обед. В меню сегодня телятина, но я постараюсь, чтобы нам дали что-нибудь лучше в честь предстоящего события.

Он осторожно положил ручку на стол.

— До вечера.

Констанс смотрела на закрытую дверь. Все уходит, подумала она. И вдруг рассердилась. Она понимала, что сердиться глупо — как ребенок, который огорчен, что копчился праздник в день рождения, — но ничего не могла с собой поделать. Она оглядела комнату. Все разбросано, везде беспорядок, как в комнате глупой перяхи школьницы. Констанс нетерпеливо тряхнула головой и принялась наводить порядок: вынесла в холл ботинки, повесила парку в шкаф, отнесла коробку с бигуди в ванную и отдала поллитки шоколада горничной. Потом она

поправила одеяло на кровати, выбросила все, что было в пепельнице, и, повинувшись неожиданному побуждению, бросила машинку для загибания ресниц в мусорную корзину. Как можно заниматься такими пустяками, подумала она.

К обеду Причард заказал бутылку бургундского, потому что швейцарские вина, сказал он, слишком легки для прощания. Они мало говорили за обедом. Было так, будто он уже уехал наполовину. Два раза Констанс готова была пачать благодарить его за то, что он так терпеливо учил ее кататься с гор, но почему-то не могла сказать ни слова, и обоим становилось все тяжелее. Причард заказал бренди к кофе, и Констанс тоже выпила немного, хотя от бренди у нее всегда бывала изжога. Пока они пили бренди, пришел оркестр из трех музыкантов, начались танцы, и теперь уже нельзя было разговаривать, потому что стало слишком шумно.

— Хотите танцевать? — спросил он.

— Нет.

— Вот и отлично — я терпеть не могу танцы.

— Давайте уйдем отсюда, — сказала она. — Давайте пройдемся.

Они пошли к себе надеть что-нибудь теплое, и когда Констанс спустилась вниз в ботинках и шубке изнутри, подаренной ей в прошлом году отцом, Причард ждал ее на улице у двери, прислонившись к перилам крыльца. С минуту она смотрела на него. Потом он повернул голову, и ее поразило, какое у него усталое и неожиданно старое лицо, когда он не знает, что за ним наблюдают.

Они шли вниз по главной улице, и музыка оркестра звучала все тише. Была ясная ночь, над горами горели яркие голубые звезды. На вершине горы, где кончался *téléphérique*, одиноко светился огонек — там стоял домик, в котором можно погреться перед спуском и выпить горячего пуншу с бисквитами.

Они дошли до самого конца улицы и свернули на тропинку вдоль темного катка. Свет звезд слабо отражался от ледяной поверхности, журчала вода в бегущем рядом с катком ручье, который почти никогда не замерзал.

На занесенном снегом мостике они остановились, и Причард закурил сигарету. Теперь огни города были далеко. Вокруг в черной тишине стояли деревья. Причард

закинул голову назад и протянул руку к огоньку на вершине горы. Дым его сигареты медленно подымался вверх.

— Какая жизнь, — сказал он, — там, паверху, у этой пары. Ночь за ночью всю зиму одни па вершине, в ожидании, когда настанет утро и придет жизнь. — Он снова затынулся. — А знаете, они ведь не женаты. Только швейцарцам могло прийти в голову посадить вот так па вершину горы двух неженатых людей. Он старик, а она религиозная фанатичка, и они ненавидят друг друга, по ни один ни за что не согласится переменить работу, чтобы не доставить другому удовольствия. — И он засмеялся, глядя вместе с Констанс на яркую точку в вышине. — В прошлом году был буран, электрические провода упали в снег, подъемник не работал целую неделю, и им пришлось прожить там одним шесть дней и шесть ночей. Печь топилл стульями, питались шоколадом и консервированным супом и за все время не сказали друг другу ни одного слова.

Причард задумчиво смотрел па далекий огонек высоко па вершине.

— Отличный символ для страп нашего континента, правда? — тихо сказал он.

И вдруг Констанс поняла, что она должна сказать.

— Аллен, — она встала прямо перед ним, — я не хочу, чтобы вы уезжали.

Причард стряхнул пепел.

— Шесть дней и шесть ночей. Вот что значит жестокое сердце.

— Я не хочу, чтобы вы уезжали.

— Я здесь уже давно. Весь лучший снег достался мне.

— Я хочу, чтобы вы женились па мне, — сказала Констанс.

Причард поднял па нее глаза. Она видела, что он пытается улыбнуться.

— Чудесно, когда тебе двадцать лет, — сказал он. — Можно говорить вот так.

— Я сказала, что хочу, чтобы вы женились па мне.

Причард швырнул сигарету, и она долго потом тлела па снегу. Он шагнул к ней, обнял ее и поцеловал. Она почувствовала легкий запах бренди па его губах. Потом он опустил руки, отступил па шаг и застегнул ей шубу, как заботливая няня ребенку.

— Бывает в жизни и такое. — Он медленно покачал головой.

— Аллен...

— Беру свои слова назад, — сказал он, — вы совсем по похожи на девиц, которые рекламируют мыло и пиво.

— Пожалуйста, — сказала она, — не нужно так.

— Что вы знаете обо мне? — Он резко смахнул снег с перил мостика и оперся о них, отряхивая руки. — Неужели вам никогда не говорили, каких молодых людей вы можете встретить в Европе?

— Не сбивайте меня, — сказала она. — Пожалуйста.

— А как же тот парень в кожаной рамке?

Констанс глубоко вздохнула, чувствуя, как холодный воздух покалывает легкие.

— Не знаю, — ответила она. — Он далеко.

— Забыт. — Причард невесело засмеялся. — Забыт, и память смыта океаном.

— Дело не только в океане.

Они шли молча и слушали, как снег скрипит под ногами. Над горами восходила луна, снег молочно светился под ее лучами.

— Вам предстоит услышать обо мне нечто, — тихо сказал Причард, глядя на свою длинную тень впереди на тропинке. — Я был женат.

— О, — Констанс старательно ступала в следы тех, кто прошел по тропинке до нее.

— Женат не особенно всерьез. — Причард поднял голову. — Два года назад мы развелись. Что вы скажете сейчас?

— Это ваше дело.

— Нет, я обязательно должен как-нибудь побывать в Америке, — засмеялся Причард. — Там выводят новую породу.

— И все?

— Дальше совсем худо. У меня нет ни фюпта. Я с самой войны не работал и жил на то, что осталось от драгоценностей матери. Их и вообще-то было немного, а на прошлой неделе я продал в Цюрихе последнюю брошь. Хотя бы из-за этого мне придется уехать. Видите, — сказал он, горько улыбувшись, — какой вы сделали завидный выбор.

— Это все?

— Разве этого мало?

— Да.

— Я никогда не смог бы жить в Америке, — сказал Причард. — Я старый летчик, у которого заглух мотор, я ужасно устал, у меня нет ни гроша за душой, мне нечего делать в Америке. Вот и все. А теперь идите. — Он быстро взял ее под руку, не желая продолжать разговор. — Уже поздно. Идите обратно.

Констанс не двинулась с места.

— Вы не все мне рассказали.

— Разве этого не довольно?

— Нет.

— Ну что ж, — сказал он, — я не смог бы поехать с вами в Америку, даже если бы хотел.

— Почему?

— Потому что меня никто бы туда не пустил.

— Почему же?

— Потому что я — добыча червей.

— О чем вы говорите?

— Швейцария — страпа для людей со слабым здоровьем, — сказал он резко. — По этой же причине Д. Г. Лоренса * выгнали из Нью-Мексико и заставили умирать на Ривьере. Их нельзя винить. У них хватает своих болезней. А теперь идите обратно.

— Но вы кажетесь таким здоровым. Вы катаетесь на лыжах...

— Здесь все умирают в расцвете сил и здоровья. Мне становится то лучше, то хуже. Сейчас я почти здоров, а через год, — он пожал плечами и беззвучно рассмеялся, — а через год — почти неизлечим. Врачи отворачиваются, когда видят, как я поднимаюсь в горы. Идите домой, — сказал он снова. — Я не для вас. Я выдохся. А вы полны сил. Союз был бы слишком неравным. Мы идем обратно?

Констанс кивнула. Они шли медленно. Сейчас в горах на склоне горы погасли почти все огни, но в ясном ночном воздухе до них долетали далекие, слабые звуки оркестра, игравшего в отеле.

— Мне все равно, — сказала Констанс, когда показались первые дома. — Что бы вы ни говорили, мне все равно.

* Известный английский писатель.

— Когда мне было двадцать лет, — сказал Причард, — когда мне было двадцать лет, я тоже сказал так однажды.

— Во-первых, поговорим серьезно. Чтобы остаться здесь, вам нужны деньги. Я вам дам их завтра.

— Я не могу взять ваших денег.

— А они вовсе не мои, — ответила Констанс, — они папны.

— Англия всегда будет вашей должницей. — Он попытался улыбнуться. — Осторожнее со мной.

— Почему?

— Боюсь, я начинаю чувствовать, что жпть стоит.

— Разве это плохо?

— Для тех, кто обречен, — прошептал Причард, неловко обнимая ее, — это может оказаться смертельным.

Когда они проснулись утром, то были очень торжественны сначала и бессвязно говорили о погоде, которая сквозь неплотно закрытые шторы казалась серой и неопределенной. Но потом Причард спросил: «Ну и что ты чувствуешь?» И когда Констанс задумалась и, нахмурив брови, чтобы не ошибиться, сказала: «Я чувствую себя ужасно взрослой», он не удержался и захохотал, и вся их торжественность исчезла. Они тихо лежали и говорили о себе, о своем будущем — как инщие, и Констанс беспокоилась, хотя и не очень сильно, что они шокируют прислугу. Но Причард сказал, что беспокоиться не о чем: что бы иностранцы ни сделали, они не могут шокировать швейцарцев, и Констанс очень обрадовалась, что находится в такой цивилизованной стране.

Когда они стали говорить о свадьбе, Причард сказал, что они поедут венчаться во французскую часть Швейцарии, потому что он не хочет жениться в немецкой, и Констанс подумала, как это ей самой не пришло в голову.

Потом они решили, что нужно одеваться, потому что нельзя же всю жизнь пролежать в постели, и у Констанс на миг больно сжалось сердце, когда она увидела, какой он худой. Она подумала, как заговорщик: «Яйца, молоко, масло, отдых...»

Они вышли из комнаты вместе, полные решимости подавить всех своей наглостью. Но ни в коридоре, ни на лестнице никого не было, так что им было приятно вдвойне — оттого что они ни от кого не притались и от-

того что их никто не видел, — и Констанс сочла это добрым знаком. Оказалось, что уже почти полдень, и они сначала выпили немного киршвассера, а потом им принесли апельсиновый сок, яичницу с беконом и чудесный черный кофе в сверкающей чистотой столовой, где стены были отделаны деревянными панелями, и вдруг у Констанс глаза наполнились слезами, и, когда Причард спросил, почему она плачет, она сказала: «Я думаю обо всех завтраках, которые мы будем есть вместе». Причард смотрел на нее, и у него тоже заблестели слезы в глазах, и Констанс сказала:

— Знаешь, ты должен часто плакать, хорошо?

— Зачем? — спросил он.

— Потому что это так не по-английски, — сказала она, и оба засмеялись.

После завтрака Причард сказал, что хочет немного покататься, и спросил Констанс, пойдет ли она с ним, но она ответила, что не может кататься на лыжах сегодня, потому что в душе у нее все слишком гармонично. Причард ухмыльнулся при слове «гармонично».

Она сказала, что будет писать письма, и лицо у него стало серьезным.

— Если бы я был джентльмен, — сказал он, — я бы немедленно написал твоему отцу и объяснил ему все.

— Посмей только! — Она не на шутку испугалась, потому что знала — получив такое письмо, отец прилетит со следующим же самолетом.

— Не бойся, — сказал он, — я не настолько джентльмен.

Она посмотрела, как он легко шагает в своем красном свитере по сугробам, беспечный, как мальчишка, потом пошла к себе и написала Марку, что все обдумала и решила, что они ошиблись, пусть он простит ее. Она ничего не сказала ему о Причарде, потому что Марку не было до него никакого дела. Она писала письмо спокойно и ничего не чувствуя, ей было уютно в теплой комнате.

Потом Констанс написала отцу, что рассталась с Марком. Ему она тоже не рассказала о Причарде, потому что не хотела, чтобы он прилетел к ней первым же самолетом. Не написала она ни слова и о том, собирается ли домой. Со всем этим можно было подождать. Она запечатала конверты, легла помечтать и отдохнуть и крепко проспала больше часа. Потом она надела шубку и пошла

на почту отправить письма, дошла до катка и посмотрела, как катаются дети, а возвращаясь в отель, зашла в спортивный магазин и купила Причарду легкий желтый свитер, потому что скоро солнце начнет сильно греть и в зимних вещах будет слишком жарко.

Она спокойно ждала Причарда в баре, и вдруг кто-то сказал, что он умер.

Никто не пришел к ней и не рассказал, что Аллен разбился, потому что никто не знал, что нужно было рассказать ей.

В баре сидел лыжный инструктор, с которым Причард иногда катался, и говорил каким-то американцам: «Он потерял управление, не рассчитал и налетел на дерево. Через пять минут он умер. Отличный был парень, — лыжный инструктор выучился английскому языку у своих учеников-англичан еще до войны, — но отчаянный. Для такой скорости ему не хватало техники».

Судя по тону инструктора, нельзя было сказать, что он считает смерть на лыжах обычным делом, однако он не был удивлен. Как и все его друзья, он переломал себе немало костей, налетая на деревья и каменные стены и падая летом, когда ходил проводником с альпинистами, и сейчас в голосе его звучало убеждение, что время от времени люди должны расплачиваться с горами за свои недостатки в технике и что это неизбежно и справедливо.

Констанс осталась на похороны. Она шла за покрытыми черным саями сначала в церковь, потом к яме в снегу; земля оказалась неожиданно темной после безупречной зимней белизны. Из Англии никто не приехал, потому что приехать было некому. Однако бывшая жена заказала телеграммой цветы. Пришло много местных жителей — всего лишь друзья, — пришло несколько лыжников — случайных знакомых Причарда, и можно было подумать, что Констанс тоже одна из них.

У могилы лыжный инструктор сказал со свойственной всем учителям профессиональной привычкой повторять: «Для такой скорости ему не хватало техники».

Констанс не знала, что ей делать с желтым свитером, и в конце концов отдала его горничной для ее мужа.

Через восемь дней Констанс была в Нью-Йорке. Отец встречал ее на пристани, Она подняла руку, он тоже по-

махал ей в ответ, и даже издали было видно, как он рад, что она вернулась. Они поцеловались, когда она спустилась по трапу, он крепко обнял ее, потом отстранился и, с восхищением глядя на нее, сказал:

— Честное слово, ты чудесно выглядишь! Вот видишь... — продолжал он, и ей было неприятно, что он это говорит, хотя она и понимала, что он не может иначе — вот видишь, кто был прав? Разве я не знал, что говорю?

— Да, папа, — сказала она, думая: «Как я могла когда-то сердиться на него? Он не глупый, не злобный, не эгоист, который ничего не понимает, он просто совсем одинокий».

Держа Констанс за руку, как он держал ее, когда она была маленькой девочкой и они ходили вместе гулять, он повел ее в таможню, и они стали ждать, когда с парохода снимут чемоданы.

ДЕНЬ СУДЬБЫ

Я уверен, что в жизни каждого есть день, который решает его судьбу. Этот день может быть избран ворчливыми Парками, которые сидят, монотонно напевая над прялкой, или богами, которые на своих мельницах очень тонко перемелют все на муку. Это может быть день, залитый солнцем или дождем, жаркий или холодный. Это день, которого никто из нас не ведает и который можно даже накликать по неосторожности.

Но для каждого из нас есть такой день. И если он привел к плохому, лучше не оглядываться назад и не искать его. То, что откроешь, может причинить боль, и боль эта бесплодна, потому что ничего уже не поделаешь. Ничего.

Я понимаю, что в такой убежденности есть что-то противное логике, почти мистическое. Конечно, такой взгляд может снискать себе готовое осуждение тех современных заклинателей духов — фокусников с хрустальными шарами, тех философов-недоучек, психологов и социологов, которые, выражаясь их собственным жаргоном, уверены, что можно управлять фантастической связью времени, места и событий на незримых перекрестках этого дня. Но они ошибаются. Как и все остальные, они могут быть лишь задним умом крепки.

В данном случае — и слово «случай» здесь особенно уместно — речь идет об убийстве человека, которого я не видел почти тридцать пять лет. Не видел с лета 1923 года, или, точнее, с того летнего вечера 1923 года, когда еще мальчишками мы распростились с ним на улице Бруклина, чтобы никогда уже не встретиться больше.

Нам тогда было всего по двенадцати лет, но я запомнил тот вечер потому, что на следующий день папа

семья переезжала в Манхэттен — событие, само по себе подобное землетрясению. С чудовищной ясностью я вспоминаю сцену нашего расставания. Теперь я это понимаю. Я знаю, это был День Судьбы этого мальчика. Его можно было бы назвать Днем Пули, хотя сама пуля настигла его лишь тридцать пять лет спустя.

Я узнал об убийстве из первой полосы газеты, которую моя жена читала за завтраком. Она держала газету прямо перед собой, сложив ее, но сгиб не мог закрыть от меня снимок на первой полосе — распростертого у колеса автомобиля окровавленного человека с широко раскрытыми в предсмертной агонии глазами.

Снимок ничего не говорил мне, равно как и кричащий заголовок — «БОСС ГАНГСТЕРОВ УБИТ НАПОВАЛ». Мысли мои были заняты в этот момент куда более привлекательным видом моего кофе и ломтика хлеба, подрумяненного на сковородке.

Но затем взгляд мой упал на подпись под фотографией, и я чуть не выронил чашку. «Тело Игнаца Ковача, — стояло там, — босса бруклинских гангстеров, который сегодня ночью...»

Я взял газету из рук жены и стал внимательно рассматривать снимок. Ошибки быть не могло. Я не видел Игнаца Ковача с тех пор, как мальчишками мы играли вместе, но я не мог его спутать ни с кем, даже в виде этого окровавленного тела. И самое страшное было, пожалуй, в том, что рядом, опертая на сиденье автомобиля, стояла сумка с клюшками для гольфа. Эти клюшки для гольфа, как вспышкой, осветили в памяти давно позабытое.

Меня вернул к действительности возглас жены. Она смотрела на меня с удивлением.

— Ну, — она прикрыла улыбкой раздражение, — принимая во внимание, что я как раз до середины прочла Уолтера Уинчелла...

— Прости, пожалуйста, меня передернуло, когда я увидел эту фотографию. Похоже на то, что я его знал когда-то.

В ее глазах вспыхнуло любопытство. Она была похожа в этот момент на человека, который, пусть из вторых рук, наслаждается общением со знаменитостью.

— Правда? Когда же?

— О, когда мы еще жили в Бруклине. Мальчиками мы играли с ним. Это был мой лучший друг.

— Вот как! — Ее глаза сузились. — Я и не знала, что ты путался в детстве с малолетними преступниками.

— Он совсем не был преступником тогда. Серьезно...

— Да? Ну, если ты сам не такой же... — Она дружелюбно улыбнулась мне, показывая, что тема исчерпана, и снова погрузилась в Уинчелла, который сообщал, беспорядо, более свежие и более волнующие новости, чем мои. — Во всяком случае, — сказала она, — нам нет нужды слишком волноваться об этом, дорогой! Это ведь было так давно.

Это было так давно. Тогда можно было еще играть в мяч на мостовой, не рискуя попасть под автомобиль — на дальних окраинах Бруклина было очень мало автомобилей. А Бат-Бич, где я жил, выходящий на Грейвсенд-Бэй и граничивший с Конн-Айлендом на востоке, в нескольких минутах ходьбы от трамвайной остановки, и с Дайкер-Хайтсом и его полем для гольфа на западе, был одной из самых далеких окраин. Каждый из этих обособленных районов был отделен от Бат-Бича пустырем, заросшим бурьяном и еще не обнаруженным застройщиками.

Таким образом, как я уже сказал, нам можно было играть в мяч на мостовой, не боясь автомобилей. Или можно было наблюдать в сумерки, как фонарщик включает газовые рожки уличных фонарей. Или можно было ожидать у депо пожарной команды на Восемнадцатой авеню до тех пор, пока, если выпадало такое счастье, не раздавался сигнал тревоги и три тяжелых копя не выкатывали на улицу насосную машину, высекавшую стальными шинами своих колес снопы искр. А иногда, о чудо из чудес, можно было, закинув голову к небу, широко раскрытыми от удивления глазами проследить за полетом рокошущего в небе биплана.

Это все были дела, которыми я занимался в то лето с Игги Ковачем, моим лучшим другом, жившим по соседству, дверь в дверь. У них был двухэтажный бревенчатый дом, окрашенный в какой-то степенный цвет, такой же, впрочем, как и наш. Большинство домов в Бат-Биче были такими же, каждый с маленьким садиком с фасада и двором позади. Единственным примером роскошной архитектуры в нашем квартале был угловой дом,

собственность мистера Роза, нашего незадолго до того появившегося соседа. Это был огромный каменный дом, почти дворец, окруженный необъятными газонами, с оштукатуренным гаражом на две машины в конце въезда.

Этот въезд зачаровывал и Игги и меня. Там время от времени стоял автомобиль мистера Роза, серый паккард, и именно этот автомобиль влек нас к себе как магнит. Он был красив и издала, но вблизи, возвышаясь над нами как локомотив, он, казалось, распространял лучи какой-то могучей и грозной энергии, даже когда стоял совершенно смиренно. И он имел целых две подножки, одну над другой, чтобы облегчить вход. Никто более в окрестности ничего подобного на своем автомобиле не имел. Да по правде сказать, никто по соседству вообще не имел автомобиля, даже отдаленно напоминающего это чудо.

Бывало, мы украдкой подбирались к въезду, когда он там стоял, надеясь, что нам повезет взобраться на эти подножки и нас не заметят. Но это никогда не удавалось. За автомобилем как будто велось неусыпное наблюдение. Либо это был сам мистер Роз, либо кто-нибудь из живущих в комнатах над гаражом, но, как только мы оказывались на расстоянии нескольких ярдов от въезда, проткрывалось окно в доме или гараже и хриплый голос пзыгал угрозы. Тогда мы, поджав хвост, пулей мчались прочь.

Правда, вначале было иначе. В первый раз, прохаживаясь невдалеке от машины, мы, уверенные в добрососедских отношениях, не придали значения этим угрозам. Мы лишь удивленно смотрели на высунувшегося к нам из окна мистера Роза. Внезапно он исчез. Через мгновение он вырос перед нами и схватил Игги за руку.

Игги пытался вырваться.

— Пустите меня! — испуганно кричал он пронзительным голосом. — Мы ничего не делали вашему автомобилю! Пустите! Вот я пожалуюсь папе. Тогда увидите, что будет!

Но, по-видимому, это не произвело впечатления на мистера Роза. Он продолжал трясти Игги — правда, не сильно, потому что Игги был мал и тщедушен даже для своего возраста, — в то время как я просто прирос к месту от ужаса.

Среди наших соседей были люди с заскоками, которым ничего не стоило погнаться за нами, поднимая

шум перед их домом, но никто из них никогда бы не дал волю рукам и не стал говорить с нами так, как мистер Роз. Помню, мне пришла в голову смутная мысль, что все это потому, что он здесь недавно, он еще не знает, как принято здесь вести себя, и, когда я мысленно перебираю все это в памяти теперь, я думаю, что я был недалеко от истины. Но какова бы ни была действительная причина, поднятая мистером Розом буря перешла всякую границы. Игги разрыдался во весь голос, и мы после этого стали очень осторожны при приближении к паккарду. Был он слишком притягателен, чтобы устоять. Но теперь, оказавшись во владениях мистера Роза, мы напугали пару кроликов, пересекающих открытую лужайку в сезон охоты. И примерно с тем же успехом.

Мне не хочется, чтобы после всего этого создалось впечатление, что мы были скверными ребятами. Что касается меня, то я отдавал себе полный отчет в том, что такое буква закона, и очень рано обнаружил, что лучшая линия поведения для всякого, кто добродушен, миролюбив и слаб на ноги — всего этого у меня было в избытке, — стараться не выходить из границ. Пороками же Игги были лишь жизнерадостность и безрассудство. Он был как ртуть, всегда в движении и полон озорства.

Кроме того, он был способный и находчивый мальчик. Это были дни, когда в конце каждой недели ваши успехи подвергали проверке и переоценке и вас пересаживали в соответствии с успеваемостью — отличников в первый ряд, хороших — во второй и т. д. И я думаю, что лучше всего характеризует Игги колебание его места в классе между первым и шестым рядом. Большинство из нас никогда не передвигалось в конце недели больше чем на один ряд в какую-нибудь сторону. Игги же мог оказаться вдруг брошенным из первого ряда в бесчестье шестого, а затем в следующую пятницу так же внезапно снова попасть в почет первого ряда. Это был верный признак того, что мистер Ковач принял меры.

Не физические, отнюдь нет. Однажды я спросил Игги об этом, и он сказал:

— Нет, он меня не отлупил, но он сказал, не будь глупым и всякое такое и... ну да ладно, ты понимаешь...

О, я, конечно, понимал, потому что в те времена я в полной мере разделял чувства Игги к мистеру Ковачу, то есть пламенное преклонение. Начать с того, что боль-

шпиство пап по соседству «работало в городе» — по терминологии Бат-Бича, — а это означало, что шесть дней в неделю они садились в трамвай на Восемнадцатой авеню и отправлялись в Манхэттен, чтобы прирасти там к своим письменным столам. Мистер же Ковач был кондуктором на трамвайной линии Бат-авеню. И мы, бывало, не могли оторвать глаз от его мощной, внушительной фигуры в форменной фуражке и синем мундире с медными пуговицами. Трамвайные вагоны на Бат-авеню были в те времена без боковых стенок, тесно заполнены скамьями, и кондукторам, чтобы собрать плату за проезд, приходилось перебираться на ходу по узкой наружной подложке вдоль вагона. Мистер Ковач на работе — это было зрелище. Единственный, кто мог с ним сравниться, — это капельдiner при карусели на Конн-Айленде, который перегибался через перила, чтобы взять у вас билет.

И еще мистер Ковач занимался спортом. Большинство отцов, когда они достигали возраста моего папы, не много внимания уделяли спорту, между тем как мистер Ковач был неистовым игроком в бейсбол. Каждое ясное воскресенье после полудня внизу в маленьком парке у залива устраивалась игра в мяч, и юноши из соседних домов играли свои положенные девять подач на размеченной площадке. Мистер Ковач всегда превосходил всех в ловкости и был всеми признанной звездой. Что же касается нас с Игги, то мы считали, что он мог подавать, как Ванс, и отбивать, как Эк Уит, а лучшего ведь и желать нельзя. Стоило понаблюдать за Игги, когда его отец работал лаптой. Он сидел, грызя ногти, никак не реагируя на удары других игроков, но если вступал со своим ударом мистер Ковач, Игги мгновенно вскакивал с таким истошным криком, что у вас буквально голова отваливалась.

А затем, когда игра кончалась, мы продирались сквозь толпу с коробкой жареной кукурузы для команды, и игроки рассаживались на парковых скамьях, обсуждая свои дела. Тогда Игги становился тенью своего отца; он вертелся вокруг него, ловил каждое его слово и пожирал его глазами. Я не мог так откровенно выражать свое восхищение, так неистовствовать, как Игги, на это прав у меня не было. Поэтому я обычно держался на почтительном расстоянии. А когда я приходил в эти дни домой, каким чудовищно унылым выглядел для меня мой

папа, сидящий на балконе в своей излюбленной позе с небрежно рассыпанными вокруг страницами воскресной газеты.

Когда я впервые узнал, что мне предстоит расстаться со всем этим, что наша семья собирается переезжать из Бруклина в Манхэттен, я был совершенно выбит из колеи. Манхэттен был местом, куда вы в своем лучшем костюме отправлялись в случайную субботу с мамой — потолкаться по магазинам, прицениться и присмотреть что-нибудь — или, если повезет, с папой — на скачки или в Зоологический музей. Манхэттен никогда не представлялся мне местом, где можно жить.

Но шли дни, и мое настроение менялось, теперь я уже с радостным возбуждением ожидал переезда. В конце концов, пускаясь в Неизвестное, я совершал что-то героическое. Романтический ореол всего этого довели до моего сознания мои разговоры ребята нашего квартала.

Однако в канун нашего переезда вся моя радость померкла. Дом с вещами, связанными в узлы, упакованными в корзины и клетки, стал чужим и неудобным; у отца и матери из-за спешки и сборов был загнанный вид; а сознание надвигающихся перемен — в моей жизни это был первый переезд из одного дома в другой — теперь пугало меня невероятно.

В этом настроении после раннего ужина я пробрался через дыру в заборе между нашим задним двором и двором Ковачей и уселся на ступеньки перед кухонной дверью их дома. Вышел Игги и сел рядом со мной. Он не мог не видеть, что я расстроен, и ему тоже было не по себе.

— Джиз, не будь таким младенцем, — сказал он. — Жить в городе — это здорово. Подумай, сколько интересного ты там увидишь.

Я сказал, что мне там ничего не хочется видеть.

— Отлично, тогда не смотри, — сказал он. — Хочешь почитать что-нибудь хорошее? Я достал нового «Тарзана» и еще «Мальчики-союзники в Ютландии». Можешь выбрать, что тебе больше понравится, а я возьму вторую.

Это было более чем великодушно, но я сказал, что мне и читать сейчас не хочется.

— Ладно, но мы же не можем сидеть здесь чурбанами, — резко заметил Игги. — Давай что-нибудь придумаем. Что ты хочешь делать?

Это было начало обряда, в котором путем исключения — идти купаться слишком поздно, играть в мяч слишком жарко, разойтись по домам слишком рано — мы останавливали свой выбор на чем-нибудь. И сейчас мы тщательно выполнили весь ритуал. И, как всегда, именно Игги сделал выбор.

— Я знаю, — сказал он. — Давай пойдем в Дайнер-Хайтс и займемся ловлей мячей для гольфа. Во всяком случае, сейчас самое подходящее время.

В этом он был прав, потому что самой лучшей порой для ужения гольфовых мячей, попавших во время игры в пруд, был заход солнца, когда на площадке никого не было, но света было вполне достаточно. Нужно было сбросить туфли и чулки, расстегнуть пряжки и закатать штаны выше колен, а затем, сосредоточившись, переходить пруд вброд, пытаясь босой ногой нащупать в липкой грязи гольфовый мяч. Это было приятное и прибыльное занятие, потому что на следующий день за любой мяч, который вы нашли, можно было получить с проходящего игрока пять центов. Я уже не помню, как случилось, что мы установили именно эту цену. Любители гольфа были удовлетворены ею, а мы — тем более.

За все это лето я не уверен, что мы нашли более полудюжины мячей, но тридцать центов были для нас в то время щедрым даром. Моя доля заработка довольно быстро разошлась на пустыки, внезапно поражавшие мое воображение. У Игги же была своя большая мечта. Больше всего на свете ему хотелось иметь клюшку для гольфа, и каждый цент, который ему удавалось раздобыть, он откладывал в жестяную банку с дыркой, пробитой в крышке. Кромку крышки он заклеил велосипедной лентой.

Он никогда не открывал эту банку, но время от времени тряс ее, оцепивая содержимое. У него была своя теория: когда банка наполнится доверху, будет как раз достаточно, чтобы уплатить за короткую клюшку, которую он облюбовал в витрине спортивного магазина Лео на 86-й улице. Два-три раза в неделю он тащил меня к Лео, чтобы мы могли еще раз посмотреть клюшку, а все остальное время он без конца говорил о ней, демонстрировал, как надо ее держать и как прицеливаться, как гнать мяч в лунку по зеленой лужайке. Игги Ковач был для меня первым человеком — позднее я звал многих. —

помешанным на гольфе. Но, пожалуй, его случай был единственным в своем роде, ведь в то время он еще никогда в своей жизни даже не держал в руках настоящей клюшки!

Так вот, в тот вечер, зная обо всем этом, я сказал ему: ладно, раз он хочет идти половить мячи для гольфа, я пойду с ним. Идти на Бат-авеню было недалеко. Единственным трудным участком на пути к полю для гольфа с дальней стороны были кучи мусора, на которые нам пришлось карабкаться, — их деликатно называли «насыпью». Было жарко и дымно. Наконец мы добрались до болотистого участка и пруда.

После того дня я не был там никогда, но недавно мне довелось читать в одном журнале статью о гольфе в Дайкер-Хайтсе. Если верить этой статье, это теперь самое популярное в мире поле для гольфа. Восемнадцать прекрасных содержащихся дорожек усеяны играющими с утра до вечера; в субботу вам нужно стать в очередь за клюшками в три или четыре часа утра, если вы хотите попытаться счастья сыграть один раунд.

Что ж, кому что нравится, но, когда мы, бывало, удпили с Игги гольфовые мячи, там было совсем не так. Прежде всего, мне кажется, там не было восемнадцати лунок; насколько я помню, там была разметка только на девять лунок. С другой стороны, обычно там было очень мало людей, возможно, потому, что в те дни мало кто в Бруклине играл в гольф, а может быть, потому, что это было далеко не самое приятное место.

Дело в том, что здесь отвратительно пахло. Вокруг всюду производили мелнорационные работы, болотистую местность засыпали отбросами, и тлеющие костры среди этой свалки окутывали весь район черной пеленой дыма. Независимо от того, когда вы приходили, вокруг вас в воздухе стояла туча пыли, через несколько минут глаза начинало нестерпимо жечь, а нос заполнялся каким-то странным едким запахом.

Но с этим мы, Игги и я, могли примириться. Мы принимали это зловоние как атрибут пейзажа, такой же атрибут пейзажа, как случайный самосвал «Макк», груженный мусором, который мог прогромыхать вдоль пыльной дороги к болоту, рокоча на ходу цепной передачей. Но мы были решительно против мусора, который жег нам подошвы, когда мы взбирались по нему. Мы не отва-

живались выйти к дорожкам со стороны клубного здания: служитель поймал нас однажды в пруду, видимо считая наши действия браконьерством. Мы знали, что он нас запомнил. Поэтому нам приходилось пробираться к пруду со стороны свалки, хоть там и пекло.

Когда мы достигли пруда, вокруг никого не было видно. Стоял горячий тихий вечер с пламенным красным солнцем, погружавшимся за горизонт, и, едва сбросив туфли и чулки — длинные черные бумажные чулки. — мы вошли в воду. Было очень приятно ступить по липкому скользкому илу, забиравшемуся между пальцев, когда я надавливал его ногой. Я подозреваю, что у меня тогда была жилка заправского рыболова. Удовольствие было во время препровождения, а не в улове.

Впрочем, и улов был достойной целью. Двигаться надо было медленными зондирующими шагами и останавливаться, как только почувствуешь под ногой что-то упругое, маленькое. Я только что резко остановился, в охотничьем азарте вдавив ногой мяч в ил, как услышал звук мотора в стороне грязной дороги недалеко от нас. Моей первой мыслью было, что это один из самосвалов с очередной порцией отбросов, но затем я разобрал, что звук у него совсем не такой, как у грузовика «Макк».

Я огляделся, разыскивая машину глазами, все еще держа ногу на моем сокровище, но ряд лунок между прудом и дорогой загораживал ее. Двигатель внезапно заглох, и я в панике бросился из воды, подняв снопы брызг. Игги сделал то же самое. В одну секунду мы схватили наши туфли и чулки и юркнули за угол ближайшей лунки, где нас не могли увидеть. В следующие секунды мы натянули чулки, не заботясь даже о том, чтобы вытереть ноги, и напялили туфли, готовые пуститься наутек, как только кто-нибудь появится.

Мы поспешили спрятаться потому, что не были уверены, имеем ли мы право удить гольфовые мячи. Мы говорили об этом с Игги не раз, и он страстно отстаивал нашу правоту, ведь там были мячи, до которых равно никому не было никакого дела, разве что полусонному сторожу, который все равно их не доставал. Тем не менее Игги считал, что разумнее заниматься нашим делом незаметно. И я уверен, что, когда рядом остановился автомобиль, у него возникла та же мысль, что и у меня:

кто-то донес, и теперь длинная рука власти дотянулась до нас.

Мы ждали, припав к земле в высокой траве за лункой, боясь своим дыханием нарушить безмолвие, пока Игги стало неспособно. Он подполз на локтях и коленях к углу лунки и стал пристально всматриваться туда, где лежала дорога.

— Вот это да! Смотри! — прошептал он с дрожью в голосе и поманил меня рукой.

Я посмотрел через его плечо и, не веря своим глазам, пораженный, увидел серый паккард, автомобиль с двумя подножками, одна над другой, единственную в своем роде машину. Ее нельзя было спутать ни с какой другой, так же как нельзя было ни с кем спутать мистера Роза, который стоял подле нее с двумя мужчинами. Одному из них, ростом пониже, он что-то говорил, все время в раздражении рубя воздух рукой.

Оглядываясь теперь назад, я думаю, что эту сцену делала такой необычной обстановка. Пустынное поле для гольфа вокруг нас, кучи тлеющего мусора в отдалении, окрашенные в темно-красный цвет заходящим солнцем, и в этом захолустье возле свалки лакированный комфортабельный автомобиль и трое хорошо одетых мужчин в соломенных шляпах — все это выглядело совершенно чуждо.

Но особенно захватывающим было то, что мы ощущали приближение беды; мы не могли слышать, о чем они говорили, но мистер Роз был разъярен, как и тогда, когда он поймал Игги и меня на въезде. Рослый мужчина рядом с ним стоял молча, маленький же, качая головой, пытался что-то ответить и медленно пятился, так что мистер Роз должен был наступать на него. Затем вдруг маленький человек резко повернулся и бросился бежать прямо к лунке, за которой прятались мы с Игги.

Мы юркнули обратно, но он пробежал мимо и был почти за прудом, когда рослый догнал его и сгреб. Мистер Роз подбежал к ним, держа шляпу в руках. Теперь мы уже могли выйти из нашего укрытия, не боясь быть замеченными, но мы этого не сделали. Мы припали к земле, ошеломленные зрелищем, о котором мы и не мечтали никогда, — взрослые выясняли свои отношения прямо перед нами, так, как это бывает на экране.

Как я уже сказал, мне в то лето исполнилось двенадцать лет. Сейчас я могу сказать, что это было время, когда я понял разницу между тем, что мы видим в кино и в реальной жизни. Потому что никогда самые жестокие потасовки в картинах с Томом Миксом, Хутом Джибсопом или другим моим любимым героем не потрясли меня так, как то, что случилось на моих глазах с маленьким человеком. И, по-видимому, Игги переживал все это еще острее, потому что он сам был мал и тщедушен и, хотя в драках держался стойко, его всегда превосходили в весе и в силе. Он, по-видимому, почувствовал себя на месте маленького человека, которому громко скрутил руки за спиной, в то время как мистер Роз бил его по щекам, прыгая ругательства при каждом ударе.

— Паршивая сука, — рычал мистер Роз, — ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Думаешь, я из тех вшивых базарных торгашей из-под полы, которых можно облапошить за здорово живешь? Вот кто я! — И он с остервенением бил в живот и по лицу истошно вопившего маленького человека, — который мог защищать себя только тем, что корчился и извивался, — до тех пор, пока вопли и дерганье не прекратились. Тогда мистер Роз кивнул в сторону пруда, и его приятель бросил маленького человека головой прямо в воду; соломенная шляпа поплыла в сторону и запрыгала поплавром в нескольких футах.

Они стояли, наблюдая, пока человек не ухитрился подняться на четвереньки в грязной воде, отплевываясь, в ошеломлении качая головой. Тогда они повернулись и без единого слова направились к автомобилю. Я слышал, как хлопнула дверца и заурчал двигатель отъезжавшей машины, затем все стихло.

Мне хотелось только одного — скорее бежать из этого места. Увиденное мною было слишком чудовищным, чтобы постичь его или хотя бы поверить, что оно было. Это было похоже на кошмар. И мне так захотелось скорей быть дома.

Я осторожно встал, но, прежде чем я начал взбираться к дому и безопасности, Игги дернул меня за рубашку так резко, что чуть не повалил на себя.

— Куда ты? — прошептал он с горячностью.

Я рывком освободил свою рубашку.

— Ты с ума сошел? — ответил я. — Ты собираешься торчать здесь всю ночь? Я домой, вот куда.

-- А это изуродованное чучело? Ты хочешь, чтоб он так и остался там? — Лицо Игги посерело, ноздри его трепетали.

— А чего я должен хотеть? Что это, мое дело?

— Ты видел, что произошло. Думаешь, это правильно — так отколошматить бедного человека?

То, что он сказал, и то, как он это сказал, твердым сдавленным голосом, удивило меня настолько, что я подумал, не обезумел ли он. Я стал слабо возражать:

— Это не мое дело, вот и все. Во всяком случае, мне надо домой. Мои будут недовольны, если я приду поздно.

Игги поднял на меня обвиняющий палец.

— Хорошо же, если ты так считаешь! — сказал он и, прежде чем я мог остановить его, повернулся и бросился к пруду. Было ли это чувство покинутости во враждебном мире или какая-то вспышка преданности, я не знаю. Но я колебался лишь какое-то мгновение, а затем поспешил вслед.

С берега пруда он глядел на человека, все еще стоявшего на четвереньках и тупо водившего головой из стороны в сторону.

— Эй, мистер! — крикнул Игги, и в его голосе уже не было и следа недавней уверенности. — Вам больно?

Человек медленно оглядел нас. На его лицо было страшно смотреть. Опухшее, сплошь в сляках и кровоподтеках, со стеклянными глазами. Мокрые волосы висели длинными жгутами, спускаясь на лоб. Его вид заставил нас с Игги невольно отступить на шаг.

Сделав усилие, человек рывком поднялся на ноги и стоял, пошатываясь. Затем он двинулся вперед, уставившись на нас своими невидящими глазами. Мы поспешно попятились еще на несколько шагов. Он резко остановился и, вдруг наклонившись, зачерпнул горсть ила со дна.

— Убирайтесь отсюда! — завопил он визгливым женским голосом. — Убирайтесь отсюда, гнусные фискалы! — И он швырнул в нас грязью.

В меня он не попал, но его жеста было достаточно, чтобы я испустил панический крик и бросился сломя голову прочь. Сердце мое глухо стучало, а ноги работали с машинной четкостью и быстротой. Игги бежал почти рядом, я слышал его тяжелое дыхание, когда мы взбирались на кучу тлеющего мусора, преграждавшего путь

к улице. На другой стороне «пасыпи» мы съехали вниз на штанах в клубах пыли и пепла и побежали, не оглядываясь. Только достигнув первого уличного фонаря, мы остановились перевести дух и стояли, судорожно ловя воздух широко открытым ртом и дрожа всем телом. Мы были в грязи с ног до головы.

Но пережитый мною ужас был ничто по сравнению с тем, что я почувствовал, когда Игги наконец отдышался и смог заговорить.

— Ты видел этого малого? — спросил он, все еще тяжело дыша. — Видел, что они с ним сделали? Пошли! Я заявлю в полицию.

Я не верил своим ушам.

— В полицию? С чего это ты вздумал путаться с полицией? Какое тебе дело до всего этого, скажи на милость?

— Потому что они его измордовали, разве нет? И полиция может засадить их на пятьдесят лет, если кто-нибудь им скажет, а я свидетель. Я видел, что произошло, и ты тоже. Так что и ты свидетель.

Мне это не понравилось. Я, разумеется, не видел оправдания жуткому зрелищу, от которого только что спасался бегством, но иметь дело с полицией мне никак не хотелось. Не то чтобы у меня уже были с ней какие-нибудь неприятности. Просто, как и большинство других знакомых мне ребят, при виде полицейского мундиром меня пробирала первая дрожь. И я был более чем озадачен решением Игги. Как могло прийти в голову мальчику добровольно пойти и что-то сообщать полиции, было выше моего понимания.

Я сказал неприязненно:

— Ну ладно, значит, я свидетель. Но почему этот человек, которого так избили, сам не может пойти и рассказать полицейским обо всем? Зачем нам идти и говорить об этом?

— Потому что сам он никому не расскажет. Разве ты не видел, как мистер Роз задурил его? Ты считаешь, это правильно, что мистер Роз расхаживает вот так петухом, бьет кого ему заблагорассудится и никто не может ничего ему сделать?

Тут я все понял. За всеми этими непопаятыми словами, за этим приступом благородства я вдруг увидел нечто объяснимое и понятное. Совсем не человек в воде

занял Игги, он думал о себе самом. Мистер Роз обидел его, и теперь у него появилась идеальная возможность расквитаться.

Я не высказал этой мысли Игги: все-таки, когда ваш лучший друг оказался униженным, вам не хочется напоминать ему об этом. Но, во всяком случае, такое объяснение ставило все на свое место. Кто-то наносит вам удар, и вы отвечаете тем же, вот и вся недолга.

Кроме того, так мне было гораздо легче присоединиться к Игги и участвовать в его плане. В самом деле, речь ведь идет не о том, чтобы стать союзником какого-то взрослого идиота, у которого как-то там свои счета с мистером Розом; я просто лучший друг Игги.

Внезапно перспектива посетить полицейский участок и рассказать всю эту историю кому-то показалась мне невероятно интригующей. И тут же где-то под спудом возникла успокаивающая мысль — очень скоро я окажусь далеко от всего этого, ведь завтра мы переезжаем в Мапхэттен, не так ли?

И вслед за Игги, на расстоянии одного шага позади него, я проследовал между двумя зелеными шарами входа в полицейский участок, все еще, казалось, смутно угрожавший нам чем-то. Там стоял высокий, как кафедра судьи, письменный стол, за ним сидел и писал седой человек, а у подножия этого стола стоял второй стол, за которым сидел тучный мужчина в мундире и читал газету. Когда мы подошли, он отложил газету и посмотрел на нас, высоко подняв брови.

— Да? — сказал он. — В чем дело?

Мысленно я повторял описание всего только что виденного на поле для гольфа, но мне так и не пришлось заговорить. Игги пустился с места в карьер, и в его рассказе пауз не было, так что вставить хотя бы одно слово было невозможно. Тучный слушал озадаченно, время от времени пощипывая пальцами нижнюю губу. Затем он посмотрел на другого за высоким столом и сказал:

— Эй, сержант, здесь двое ребят говорят, что они видели нападение, совершенное в Дайкер-Хайтсе. Хотите послушать?

Сержант продолжал писать, даже не взглянув на нас.

— Зачем же? Разве у вас уши не в порядке?

Тучный полицейский откинулся на спинку стула и улыбнулся.

— Не знаю, — проговорил он, — только кажется мне, что в этом замешан некий Роз.

Сержант вдруг перестал писать.

— Чего там еще? — спросил он.

— Некий тип, по имени Роз, — повторил тучный, и казалось, его что-то забавляет, — во всяком случае, вы знаете человека с такой фамилией, который ездит в большом сером паккарде...

Сержант сделал головой движение, приглашающее нас подойти поближе к помосту, на котором стоял его стол.

— Ладно, парень, — обратился он к Игги, — что так тебя волнует?

Игги стал пересказывать все сначала. Когда он закончил, сержант продолжал сидеть, глядя на него и постукивая ручкой по столу. Он смотрел на Игги так долго и постукивал по столу так методически — тук-тук-тук — что у меня мурашки поползли по спине. Меня не удивила, когда он наконец сказал глухим голосом:

— А ты парень не промах!

— Что вы имеете в виду? — спросил Игги. — Я все видел своими собственными глазами. — Он кивнул в мою сторону. — Он тоже видел. Он вам расскажет.

Я приготовился к худшему, но тут же увидел с облегчением, что сержант не обратил на меня никакого внимания. Он кивнул Игги и сказал:

— Я разберусь, парень! А тебе скажу, ты чертовски болтливый хвостун для своего возраста. Ты не мог придумать ничего умнее, чем втягивать людей в неприятности?

Теперь, подумал я, время ретироваться, потому что если мне когда-нибудь нужны были доказательства, что в дела взрослых не следует вмешиваться, то сейчас они были налицо. Но Игги не отступал. Он всегда рьяно спорил, даже когда был совершенно неправ. А тут, когда он отлично знал, что правда на его стороне, он совсем распалился.

— Вы мне не верите? — воскликнул он. — Честное слово, я видел, как все это случилось! Я был тут же.

Сержант глядел на него, как грозовая туча.

— Хорошо, что ты был тут же, — сказал он. — А теперь мотай отсюда, парень, да держи язык за зубами. У меня нет больше времени точить с тобой дяды. Мотай!

Игги был настолько взбешен, что даже большая золотая кокарда на расстоянии одного фута от его носа не могла теперь образумить его.

— Можете мне не верить, это неважно, — заявил он. — Найдется достаточно людей, которые мне поверят. Вот подождите, я расскажу своему отцу. Тогда увидите.

В тишине, которая наступила после этих слов, я услышал, как у меня звенит в ушах. Сержант сидел и пялил глаза на Игги, а Игги, несколько было оробевший из-за своего неожиданного взрыва, в свою очередь таращил глаза на него. У Игги, по-видимому, возникла та же мысль, что и у меня. Кричать на полицейского, вероятно, так же скверно, как и ударить кого-нибудь, и мы оба могли провести остаток своей жизни в тюрьме. Я не чувствовал ничего похожего на справедливое возмущение Игги. Я думал только об одном: он затащил меня в эту западню, и теперь мне приходится расплачиваться за его безумие. В эти минуты я, пожалуй, ненавижу его даже больше, чем сержант.

Наконец сержант обратился к тучному полицейскому с видом человека, принявшего решение.

— Возьмите машину и отправляйтесь к Розу, — приказал он. — Объясните ему все это и попросите его приехать с вами. Да еще выясните адрес и фамилию этого парня и прихватите также и его отца. А там посмотрим.

Так я первый и единственный раз в своей жизни провел некоторое время на скамье в полицейском участке, глядя, как маятник больших степных часов качается вправо-влево, и мысленно перебирая все свои прошлые преступления. Не больше чем через полчаса тучный полицейский возвратился с мистером Розом и отцом Игги, по мне показалось, что прошел целый год, длинный, тягостный год.

Меня поразило вид мистера Роза. Я был почти уверен, что его привезут силой, что он будет сопротивляться и шуметь, потому что сержант мог не верить истории, рассказанной Игги, но мистер-то Роз прекрасно знал, как все было.

Однако у него был такой вид, как будто он забежал на минутку с дружеским визитом. На нем был великолепный летний костюм, спортивного типа туфли — белые с черным, и он курил сигару. Он был абсолютно спокоен и даже весел и каким-то непонятным образом производил впечатление, что он здесь главный.

Совсем иначе выглядел отец Игги. По-видимому, мастер Ковач читал газету на балконе в нижней сорочке, потому что его верхняя сорочка была кое-как заправлена в брюки и край ее свисал сбоку. А по тому, как он держался, можно было подумать, что он чувствует себя в чем-то виноватым. Он с трудом глотал слюну и как-то неловко вертел шеей, помпунтно бросая нервный взгляд на мистера Роза; от его обычной внушительности не осталось и следа.

Сержант обратился к Игги.

— Ну, парень, — сказал он, — теперь повторю то, что ты рассказывал мне. Встань так, чтобы мы все могли тебя слышать.

Так как Игги рассказывал уже дважды, он повторил всю историю с начала до конца без запинки, как хорошо выученный урок. Его не перебивали. Все это время мистер Роз стоял, вежливо слушая, а мистер Ковач вертел шеей в воротничке, как будто он был ему узок.

Когда Игги кончил, сержант спросил:

— Я поставлю вам вопрос прямо, мистер Роз. Были ли вы сегодня вблизи поля для гольфа?

Мистер Роз улыбнулся.

— Нет, не был, — ответил он.

— Ясно, не были, — сказал сержант. — Но вы можете понять трудность, которая встает перед нами?

— Конечно, могу, — сказал мистер Роз. Он подошел к Игги и положил руку ему на плечо. — А вы знаете что, — сказал он, — я даже не порицаю парнишку за то, что он устроил этот аттракцион. Мы с ним немножко повздорили недавно из-за того, что он все время лез в мою машину, и я полагаю, он теперь пробует взять реванш. Я бы сказал, у мальчика есть характер. Верно, малыш? — И он дружески сжал рукой плечо Игги.

Я был ошеломлен меткостью этого удара. А Игги взорвался, как ракета. Он высвободился из-под руки мистера Роза и подбежал к отцу.

— Я не лгу! — выкрикнул он в отчаянии, и, ухватившись за рубашку мистера Ковача, дернул ее к себе. — Честное слово, пап, мы оба видели! Честное слово!

Мистер Ковач посмотрел вниз на него и затем вокруг па всех нас. Когда он наткнулся взглядом на мистера Роза, воротничок у него, казалось, стал еще туже. Между тем Игги продолжал тянуть его за рубаху и вопил, что

он видел, видел и он не врет! До тех пор пока мистер Ковач не дернул его с такой силой, что он сразу умолк.

— Игги, — сказал мистер Ковач. — Я не хочу, чтобы ты рассказывал о людях всякие басни. Слышишь?

Игги отлично слышал его. Он отступил на несколько шагов, пораженный, как будто получил пощечину, и стоял, глядя на мистера Ковача с кривой улыбкой. Он ничего не сказал, даже не двинулся с места, когда к нему подошел мистер Роз и снова положил ему руку на плечо.

— Ты слышал, что сказал твой папа, не правда ли, мальчик? — спросил мистер Роз.

Игги продолжал молчать.

— Конечно, ты слышал, — сказал мистер Роз. — Теперь мы понимаем друг друга несколько лучше, мальчик, поэтому нам нечего обижаться. Серьезно, как только захочешь, приходи ко мне, в доме всегда найдется для тебя работа. Я к тому же хорошо плачу, так что об этом не беспокойся.

Он полез в карман и достал кредитный билет.

— Вот, — сказал он, запихивая бумажку в руку Игги, — это поможет тебе понять. А теперь иди и доставь себе какое-нибудь удовольствие.

Игги глядел на деньги, как лунатик. Я был совершенно сбит с толку. Насколько я мог понять, все было в порядке, а между тем Игги совсем не обрадовался. И, казалось, только когда сержант обратился к нам, он вернулся к действительности.

— Ну ладно, ребята, — сказал сержант, — мотайте теперь домой. Остальных прошу остаться, нам необходимо кое о чем поговорить.

Меня не нужно было просить вторично. Я стремглав выбежал из участка и торопливо зашагал по улице. Игги тащился за мной, не говоря ни слова. Нужно было пройти три квартала вниз, а затем один вверх. И всю дорогу до самого дома я почти бежал. Никогда до того знакомые контуры нашего дома и свет в его окнах не казались мне такими милыми и родными. Но я вошел не сразу. Я внезапно остро почувствовал, что в последний раз вижу Игги, и остановился в смущении. Мне всегда было не по себе, когда приходилось прощаться.

— Ну и отлично, — сказал я наконец. — Я имею в виду доллар, который дал тебе мистер Роз. Ведь это все равно, что двадцать мячей для гольфа.

— Да? — сказал Игги и посмотрел на меня с такой же улыбкой, как на своего отца. — Держу пари, это тебе больше, это целая новая клюшка. Пойдем вместе к Джо, я тебе покажу.

Мне хотелось пойти, но еще больше мне хотелось домой.

— Мои будут недовольны, если я поздно приду сегодня, — сказал я. — Во всяком случае, ты не можешь купить клюшку за один доллар. Тебе понадобится значительно больше.

— Ты так думаешь? — сказал Игги и вдруг вынул руку и медленно разжал кулак. Я увидел, что он держал в руке. Это был не доллар. С благоговейным выражением и смотрел на его ладонь — там лежал пятидесятирублевый кредитный билет.

Это, как сказала моя жена, было очень давно. За тридцать пять лет до того, как в газетах появилась фотография Игнаца Ковача, человека, весьма компетентного в жульнических операциях, который тяжело скончался в предсмертной агонии у колеса комфортабельной машины, с пулевой раной во лбу и сумкой с инструментами для работы, опертой на сиденье возле. За тридцать пять лет до того, как я понял значение его последних слов, скончался, когда мы стояли друг против друга на улице в Бруклине, и затем пошли каждый своим путем.

Я глядел на деньги в руке Игги. Это были большие Креза, и его размеры вызвали во мне трепет.

— Ну, знаешь, — сказал я. — Это же пять долларов. Это же уйма денег. Лучше отдай своему старику, иначе он тебе устроит забучку.

И тут я увидел, к своему удивлению, что рука держащая деньги, задрожала. Игги затрясся всем телом, как если бы его вдруг погрузили в ледяную воду.

— Моему старику? — дико заорал он на меня и резко стиснул зубы. Как будто так можно было унять дрожь. — Знаешь, что я сделаю, если мой старик только попробует сунуться? Я пожалуюсь на него мастеру Роду! Вот что! Тогда увидишь!

Он рывком повернулся и побежал прочь от меня вдоль по улице навстречу своей судьбе.

МИСТЕР АЙЗЕКС

В любое время года, в любую погоду сидит старый м-р Айзекс возле каменной урны, стоящей у многоквартирного дома. Он сидит на деревянном складном стуле, поставленном здесь его дочерью, у которой нет ни времени, ни терпения, ни денег. Старик сидит на стуле согнувшись, обмякнув, напоминая плохо набитую соломой куклу, но его голубые глаза внимательно следят за всем, что происходит вокруг.

Обитатели улицы давно уже привыкли к нему. Зимой они видят его неподвижную, часами сидящую здесь бесформенную фигуру, закутанную в старую одежду — какую-то рвань, полотенца, пальто такого неопределенного цвета, что даже трудно сказать, было ли оно вообще когда-либо окрашено; но не укутай его дочь во все это тряпье, он непременно замерз бы. М-ра Айзекса можно здесь увидеть и в страшный холод; он сидит, устремив взгляд на тумбу, как будто видит в ней свое прошлое. На кончике носа у него образуются капельки, замерзают и превращаются в сосульки. Если у м-ра Айзекса и бывает носовой платок, то он так далеко упрятан в складках одежды, что у него не хватает ни сил, ни сноровки, чтобы извлечь его. И когда старик поворачивает голову к солнцу, то издали можно подумать, что в лицо его вкраплены алмазы.

Днем вокруг м-ра Айзекса водоворотом кружится жизнь женщин и детей. Ребятишки, слишком еще маленькие, чтобы ходить в школу, но уже достаточно большие, чтобы не сидеть на месте, с криком носятся вокруг, обращая на него внимания не больше, чем на огромную каменную урну, украшающую вход в дом. Иногда кто-нибудь из них заметит его и, прервав на мгновение стремительный бег, остановится перед старым джентльменом. Как

будто встретилась два полюса жизни — начало ее и закат, один — еще не познав, что такое притворство, называемое вежливостью, а другой — позабыв, что это значит; и на мгновенье обоим овладевает удивительное чувство смущения.

В четвертом часу дня жизнь улицы начинает бурлить ключом. Возвращаются из школы старшие дети, и на лице м-ра Айзекса возникает выражение настороженности. Он уже не дремлет, а смотрит взглядом человека, которого всю жизнь подстерегают опасности.

Ему приходится зорко следить за ребятами, катающимися на коньках. Они принимают его за естественное препятствие и проносятся рядом, словно лавина, а затем, круто развернувшись, объезжают кругом, как если бы им на пути встретилась колонка или детская коляска. В эти опасные минуты м-р Айзекс не проявляет особенного беспокойства. Он только покачивает головой, крепче сжимает палку, и даже когда кто-нибудь из конькобежцев, распластавшись, как краб, и пытаясь ухватиться за воздух, падает, обдирая коленки и локти, м-р Айзекс продолжает все так же сидеть, машинально покачивая головой, а его гладкая коричневая палка по-прежнему стоит рядом.

Кроме конькобежцев, есть еще и игроки в мяч. Эта сумасшедшая игра состоит в том, что играющие колотят резиновым мячом о стену дома. Здесь также остается рассчитывать на точность ударов мальчуганов, и м-р Айзекс снова качает головой и сжимает палку. В конце концов мяч с глухим стуком, не причиняя боли, опускается на его многослойную броню из лохмотьев.

— Простите, — на ходу бросает пробегающий мимо мальчуган, так как игра необыкновенно захватывающая, а м-р Айзекс проявляет так мало признаков жизни, что не заслуживает большего внимания.

Тогда м-р Айзекс, словно мечом, тычет палкой в сторону своих мучителей.

— Послушай-ка. Старый человек хочет поговорить с тобой.

И юный игрок, досадуя и в то же время испытывая некоторое любопытство, приближается к м-ру Айзексу и, постукивая мячом, останавливается в ожидании скупой нотации.

— Сколько тебе лет? — спрашивает м-р Айзекс. Можно было бы предположить, что голос его похож на грохот гравия, который перекатывается по дну ржавой железной бочки. Однако совершенно неожиданно он говорит так, будто в свое время был оратором и голос его сохранил глубокое и мягкое модуляци, как напоминание о прежних днях.

— Восемь, — отвечает мальчуган, а может быть, «десять» или «тринадцать».

М-р Айзекс снова качает головой и поднимает к мальчику лицо, на которое время наложило беспощадную руку, — увядшее, морщинистое, но горделивое. Это выражение придает его носу строгие очертания орлиного клюва. На губах его блуждает вялая улыбка.

— Когда-нибудь ты будешь президентом Соединенных Штатов, — произносит он с такой торжественной уверенностью, что мальчуган в замешательстве морщит лоб. Затем, не меняя выражения лица, старик указывает на стену, подальше от своего стула. — Почему вам не нравится вот то место? Потому что там никто не спит и вы никого не сможете ударить своим мячом? Ведь так? Уважь старика, уведи своих друзей, и там играйте.

Все это м-р Айзекс произносит ровным, глубоким, приятным для слуха голосом. Мальчик отходит; в словах, сказанных со старческой мягкостью, есть что-то такое, что пугает его. Голубые, лишенные ресниц глаза следят за удаляющимся мальчиком без насмешки, беззлобно, но непреклонно.

Обитатели дома, живущие по соседству с м-ром Айзексом, знают кое-что о его жизни. Он тяжелым бременем висит на шее у своей чрезмерно перегруженной всякими заботами дочери, а она не из тех, кто добровольно обрекает себя даже самой простой ношей.

— Что мне делать? Поместить его в приют? Но даже для приюта нужны деньги, а в богадельню — я до этого еще не дошла. — Она любит принимать драматическую позу и придавать своему лицу выражение, за которое средневековые художники дорого бы заплатили. Руки ее, уютно сложенные на коленях, напоминают пару жирных голубей. Голова покорно склоняется, глаза полузакрываются перед неумолимостью судьбы.

— Не понимаю, — доверительно говорит она друзьям и соседям. — Вот человек, который всю свою жизнь про-

работал на швейной фабрике. Он был квалифицированным мастером. Я знаю, он хорошо зарабатывал. Но вот приходит время уйти на покой — и по одному целта! Куда все пошло? Он ничего ведь не тратил на семью. Уж я-то знаю.

Часто все эти таинственные разговоры о прошлом дочь ведет в присутствии м-ра Айзекса. Но он как будто и не слышит их. До него не доходит добрая половина ее слов, стонаний, воплей и слез. Оплет ветер, проносающийся над поверхностью моря, а мысли м-ра Айзекса упрятаны глубоко на дне моря, подобно подводной лодке.

— У него были какие-то там идеи, — осуждающе говорит дочь, презирая отца еще больше, так как эти идеи оказались мыльным пузырем. — Спросите его сами.

Но никто не спрашивает м-ра Айзекса. Известно, что он был активным членом профессионального союза, который в то время представлял собой не что иное, как беспокойную кучку голодных иммигрантов, готовых па что угодно ради куска хлеба. Известно также, что все эти прежде поборники справедливости стали важными, уважаемыми людьми, что председатели компаний предлагали им сигары и весьма вежливо разговаривали с ними. С м-ром Айзексом случилось иное. Когда великая борьба должна была принести победу, он вдруг увял, потерял ко всему интерес, снова вернулся к своей машине, на фабрику, где его опыт обеспечил ему почти непрерывный год работы.

— О чем ты вечно думаешь? — не выдерживает наконец дочь, когда бесконечный град ее насмешек разбивается об отрешенный взгляд голубых глаз и безразличное покачивание головой.

— Мне уйти к себе? — спрашивает м-р Айзекс.

— Иди ты к...

Но ей некуда было сплавить его. Для ада он был слишком кроток, а для рая — слишком скрытен. Приходилось терпеть его здесь, в комнате двух ее сыновей, которые вырвались оттуда в жизнь, словно птицы из неволи.

— Оставь его в покое, — говорит зять, углубившись в чтение газеты. Его раздражает шум и, кроме того, немного мучают угрызения совести. В конце концов, именно этот старый человек устроил его работать в фирму готового платья.

И спокойствие водворяется вновь.

О чем он думает? Он не думает вовсе. Между образами, проходящими перед его мысленным взором, нет никакой связи. Но образы эти яркие, хотя они ни к чему не побуждают и не вызывают никакой картины, при созерцании которой у м-ра Айзекса возникло бы желание сказать: «Это моя жизнь».

Осенний облачный день. Он предвещает наступление зны, которую м-р Айзекс вряд ли переживет. Тени облаков вызывают у него одни воспоминания, солнечный свет — совсем другие. Сидя на складном стуле возле каменной урны, м-р Айзекс чувствует на лице и на руках солнечное тепло, и это ощущение, словно электрический ток, пронзает все его существо, вызывает в памяти картины прошлого.

Вот двор его отца в Варшаве. Отец богат, насколько может быть богатым купец-еврей в Польше. В глубине двора видны повозка и две лошади; в воздухе носятся смешанные запахи конского пота, навоза и кухни. По воскресеньям у отца собираются гости и во дворе ставят большой деревянный стол, покрытый белоснежной скатертью. Задняя дверь кухни выходит во двор, и мать с помощью двух служанок выносит оттуда горшки, блюда, суповые миски. От них исходит приятный запах. Все это расставляют на столе, снимают крышки, и легкий ветерок уносит облако пара, поднимающегося от посуды с едой. Как раз в это время появляется солнце, освещает покрытые глазурью пузатые бока горшков, и все так сверкает, словно сам господь бог благосклонно осветил стол, чтобы все присутствующие навсегда запомнили этот день.

— Как поживаете, мистер Айзекс?..

М-р Айзекс медленно поднимает взор и с трудом узнает стоящую перед ним женщину. Это одна из соседок по дому, которая считает своим долгом заговорить с ним, проходя мимо.

— Я задремал, — говорит м-р Айзекс.

Женщина смотрит на небо и возвещает:

— Скоро уж и зима.

М-р Айзекс кивает головой. Женщина перекладывает узел из одной руки в другую и предостерегает:

— Не простудитесь!

М-р Айзекс роется в памяти в поисках приятных воспоминаний, вспугнутых равнодушными словами соседки.

Что же это было? Он не может вспомнить. Солнце скрывается за облаками, и сумерки вливаются в улицу, как стремительный поток.

Длинный ряд швейных машин тянется до самого окна, которое похоже на грязного часового, стоящего на посту. В помещении царит полумрак, и только около окна немного светлее. Осенью в сумерки и зимой оно становится совершенно непроницаемым, отражая лишь желтые огни мастерской.

Здесь, под желтым кругом лампы, отправляя волны ткани в машину, он чувствует себя как дома. Полипропиленовый сосновый стол, катушки, шпульки, рулоны хлопчатобумажной ткани, вискозы, шелка, тонкой шерсти, тюля... все это вызывает ощущение знакомого сухого запаха. Его слух привык к монотонному жужжанию двух дюжины машин. Иногда к нему подходит женщина мастер и забирает готовую работу. Она подсчитывает изделия, обрезает нитку и уносит все так бережно, словно это ее ребенок. В полдень м-р Айзекс разворачивает пакетик и принимается за сэндвич с жесткой соленой колбасой. Сегодня вечером на ужин будет наваристый куриный суп с лапшой и кусочками белого мяса. Но пока наступит время ужина — пройдет целая вечность.

Спокойствие все-таки должно быть нарушено. Он поклялся что-нибудь сделать, и он должен сделать это сегодня. Он поговорит с хозяином, низеньким м-ром Краковом, а это довольно смелый шаг, так как м-р Краков принадлежит к тому сорту людей, к сердцу которых не так-то легко найти дорогу. Он скажет ему: «М-р Краков, прибавьте мне немного денег, всего лишь два доллара. На 14 долларов в неделю я могу прожить, а на 12 — нет». Он так часто репетировал в своем воображении эту сцену, что прекрасно представляет себе м-ра Кракова. Это преуспевающий бизнесмен, человек, понимающий справедливость по-своему, ценящий толкового рабочего. А поэтому ответ будет такой: «Хорошо, Айзекс, но сначала я посмотрю вашу работу». Что же! Он покажет ему, как он умеет работать! Ну, решено. Он встает со стула. Вейнтрауб, который работает слева от него, посвящен во все его планы. Он поднимает голову, рот его приоткрыт, и если бы безмолвная мольба, которая отражается на его лице, имела силу, то Айзекс остался бы пригвожденным к стулу.

В конторе м-ра Кракова Айзекс остается недолго. Сказано не так уж много, однако обидное высокомерие хозяина затронуло какие-то самые сокровенные струнки его души — будто яд проник в самое сердце.

Он снова садится за машину. Рассеянный взгляд его обращен к окну, и этот мрачный, почти не пропускающий света прямоугольник кажется ему сегодня особенно злоеющим. Айзекс отрывает взгляд от окна и начинает работать, но сегодня поток ткани, струящийся из-под его рук, вызывает у него отвращение. Он с яростью первобытного дикаря строчит не ткань, а кожу, содранную с поверженного врага.

В полдень на улице выходят с младенцами мамыши и выносят коляски. Они устраиваются на солнышке, неподалеку от м-ра Айзекса и судачат. Ему слышно все, о чем они говорят, однако он и впрямь не подает. Голоса их напоминают щебетание птиц на деревьях.

— Прямо не знаю, что и покупать... Опять мясо. Джо только и ест, что мясо.

— ...Я думаю, она простудилась... Наверное, у нее аденоиды. Она всегда спит с открытым ртом... Вы сейчас в магазин?

— Да... Идемте... Здравствуйте, м-р Айзекс. Как ваше здоровье?.. Не правда ли, сегодня чудесный день?..

М-р Айзекс чувствует, что рядом стоит дочь. Кажется, что она не замечает его присутствия. Она смотрит на улицу так, словно это корабль, а она — капитан на мостике. Вот сюда — в косметический кабинет, в кино, к дому друзей, а сюда — к рынку, обувной лавке и химчистке. Все зависит от того, куда капитан направит корабль.

— Все в порядке, папа? — рассеянно спрашивает она, продолжая оглядывать улицу.

— Да.

— Тебе тепло?

Старик утвердительно кивает головой.

— Я иду в магазин.

Она уходит, и некоторое время м-р Айзекс продолжает раздумывать о прошлом и настоящем. Голос дочери нарушает его покой. Это не голос его жены, однако в нем есть что-то такое, что живо напоминает ее. Неторопливо воскрешает он картины прошлого, и воспоминания эти отрывочные, неясные... так человек, спотыкаясь, бродит

в потемках по комнатам своего дома. Хаппы уже нет в живых, это он великолепно знает, однако ее переход от жизни к смерти — лишь последняя из ступенек. Он старается думать о ней и видит бесконечную вереницу наполненных воском стаканчиков, в которых по пятницам горит огонь. Он видит фарфоровую поверхность кухонного стола, тускло освещаемую лампочкой у потолка. На середине стола красуется старинный серебряный поднос, чистая салфетка и хлеб. Он видит груды влажного, свернутого белья, ждущего утюга, который греется на плите.

Они на кухне. Как-то получается, что все вечера они проводят здесь. Другая комната, в которой стоит кожаный диван, кресло и массивный круглый стол, кажется, останется такой же и через тысячу лет, ибо ее мрачная строгость не располагает к тому, чтобы посидеть в ней, почитать газету. Итак, он именно здесь, на кухне, предпочитает читать свою газету, а Хаппа в это время разворачивает рубашку и раскладывает ее на гладильной доске. Она берет с печки утюг и подносит его к лицу, чтобы определить, достаточно ли он нагрелся. Она проводит утюгом по рубашке, и в комнате раздается приятное успокаивающее шипение пара.

Услышав звонок у двери, он идет открывать и в сумраке коридора видит знакомое лицо. Он тихонько прикрывает за собой дверь в кухню и в таинственной темноте коридора, где смешались запахи десятков ужинов, посетитель — в голосе его одновременно и вопрос, и вызов — спрашивает его:

— Вы слышали?

— Да, — говорит м-р Айзекс.

— Он меня уволил.

— Знаю. Не беспокойтесь. Он должен будет принять вас обратно. Когда он подпишет соглашение с союзом, ему придется это сделать да еще и уплатить все то, что вы потеряли.

— А когда это будет?

— Скоро, — отвечает м-р Азейкс.

— Через неделю? Через две? Три? Квартирная плата внесена за месяц. А на что жить?

М-р Айзекс вынимает из кармана кожаный кошелек с щелкающим замочком и дает человеку пять долларов.

— Я возвращу их.

- Я знаю.
- Как только начну работать.
- Знаю.
- Спокойной ночи, Айзекс.
- Спокойной ночи.

Он возвращается на кухню и снова берется за газету. Ханпа кончила гладить рубашку. Она застегивает пуговицы, аккуратно складывает рубашку и опускает ее на стопку уже выглаженного белья. Краешком глаза он наблюдает, как она тянется за следующей вещью. Это что-то из ее одежды, какая-то нижняя розовая юбка, и когда утюг прикасается к ней, в кухне раздается шипение пара и голос Ханпы, которая произносит всего лишь одно слово, тяжелое, словно утюг, бьющее прямо в цель: «Дурак!»

Около шести часов улица принимает другой вид. Конькобежцы и игроки в мяч удаляются. То здесь, то там открывается окно и слышится резкий окрик: «Сидни-и-и!.. Сидней!..» В воздухе тянет прохладой. Солнце уже спряталось за крышу дома, где сидит м-р Айзекс, и прямой золотистый луч освещает верхние этажи в доме напротив.

Очень скоро по улице пройдет зять м-ра Айзекса; под мышкой у него свернутая газета, лицо как будто потемнело от выросшей за день бороды. Он подойдет к м-ру Айзексу и остановится возле него с мрачной терпеливостью больничного служащего. Если м-р Айзекс спит — он тихонько потреплет его по плечу, если же бодрствует — то просто кивнет ему. Потом он поможет ему подняться на ноги и, поддерживая старика одной рукой, а в другой неся складной стул, пройдет с ним во двор, захлапленный за день конфетными бумажками, огрызками фруктов и обрывками газет.

Они начнут подниматься по лестнице, останавливаясь на каждой площадке, чтобы м-р Айзекс мог передохнуть, дойдут до второго этажа, где есть окно с цветными стеклами. Это достопримечательность дома — эти цветные стекла. Их нет больше ни в каких других окнах. И именно здесь каждый вечер м-р Айзекс повторяет про себя одни и те же слова. Он не может вспомнить, как возник этот ритуал, но каждый раз, когда взгляд его падает на эти стекла, он спрашивает: «Чего же я жду?»

Ибо м-р Айзекс уверен, что если он до сих пор еще и жив, так это только благодаря непостижимым усилиям

воли. Смерть не докучает ему. Она держит себя с ним, как дружелюбно настроенный пес — останавливается, когда останавливается он, и идет рядом, когда он идет. Она опускается возле него в гостиной, ее осклепная морда отдыхает у него на кончике башмака. Она идет по пятам за ним в спальню и наблюдает, как он путается в застегках и рукавах. А затем, в тишине комнаты м-р Айзекс считает себя вправе разговаривать со своей безмолвной собеседницей, как однополое люди разговаривают с домашними животными.

«Чего же я жду?» — повторяет он.

Исчезает ощущение времени, остается только пространство, и его собственная жизнь отступает так далеко, что он даже и не видит ее. Перед его взором вновь возникает ряд картин: Иосиф в каменоломне, Моисей, разбивающий скалу, двор отца в Варшаве, бесконечный конвейер на фабрике м-ра Кракова, изготавливающей готовое платье по сходной цене, — картины, запечатленные на длинной, уходящей вдаль стене его памяти.

Он укладывается поуютнее, чтобы уснуть, а может — и умереть. Он этого не знает. Часто он решает, что пришло время умереть, но в этот самый момент перед его глазами возникает какая-то фигура и пристально смотрит на него испуганными глазами. Это оборванная, трогательная фигура неопределенного возраста, но история ее так необычна, у нее, как и у м-ра Айзекса, в жизни было так много поражений и так мало побед, что она вызывает в нем чувство глубокого сострадания — и тогда он решает еще на один день остаться в этом бренном мире.

Послесловие

Американцы любят называть свою страну «родиной новеллы». Они всегда гордились достижениями в этом жанре, которыми действительно богата американская литература прошлого. Они знают, какое сильное влияние оказали на искусство рассказа во всех литературах европейского континента такие мастера прошлого столетия, как Эдгар По и Марк Твен, Брет Гарт и Вашингтон Ирвинг, Генри Джеймс и Амброс Бирс. Человечеству хорошо известны и продолжатели этих традиций в нашем веке — О. Генри, Джек Лондон, Шервуд Андерсон, Эрскин Колдуэлл и немало других. Особое место в американской новеллистике конца 20-х и всего десятилетия 30-х годов занимал Эрнест Хемингуэй, положивший начало новой струе в жанре «short story» («короткой истории», как в дословном переводе с английского звучит название этого жанра). Известно, насколько обогатили творческое наследие многих романистов — Синклера Льюиса, Уильяма Фолкнера, Теодора Драйзера и других — созданные ими рассказы.

Наши читатели имеют представление обо всем подлинно лучшем, что создано новеллистами США вплоть до второй мировой войны. Наши издательства не скупилась на издание интересных и талантливых сборников американского рассказа. Значительно обогатили наши представления о лучших писателях этого жанра в литературе США выпущенные в свое время Государственным издательством художественной литературы двухтомники «Американская новелла XIX века» и «Американская новелла XX века», основательно подготовленные к изданию А. И. Старцевым.

Вполне закономерен интерес наших читателей к тому, как развиваются и продолжают в наши дни значительные и давшие в свое время такие обильные плоды традиции. Между тем судьба рассказа в литературе США военного и послевоенного времени, то есть за последние два десятилетия, могла быть прослежена нашими читателями только по советской периодической печати, на страницах которой в разное время появлялось довольно много интересных рассказов американских авторов. Попытки наших издательств собрать рассказы отдельного автора в книжку или многих авторов — в антологию были немногочисленны и не всегда удачны. Ни тоненький сборничек из семи рассказов Уильяма Фолкнера, ни отдельные выпуски библиотечки «Огонька» не восполняют в какой-либо заметной мере этого пробела. Если вспомнить и такую книжку, как «Рассказы об Америке» 1950 года, то в нее вошло всего несколько интересных рассказов, но и они как-то потонули в общей массе маловыразительных повествований, чаще даже отрывков из романов, отобранных преимущественно потому, что тематически они отображали ту или иную сторону американской действительности.

Особенно радует поэтому намерение Издательства предлагаемым сборником начать серию книг современной американской новеллы и постепенно ввести в обиход множество имен, составляющих сейчас обширный и безусловно интересный круг американских писателей, плодотворно работающих в этом жанре.

Авторы этой книги в большинстве своем впервые предстают перед нашим читателем, хотя среди них найдутся и авторы многих книжек, и люди, уже убежденные сединами.

Около трех десятков авторов, представленных в сборнике, — писатели самых разных возрастов, степени литературной известности, разных тем. Сборник поэтому несколько мозаичен. Впрочем, в этой мозаичности есть и свой смысл и своя привлекательность.

Как, бесспорно, заметил каждый, кто прочитал книгу, в сборнике нет единого тематического стержня, нет и попытки более или менее всесторонне «осветить» многообразную жизнь современного американца. Многие из его жизни не нашло никакого отражения в книге. Это произошло вовсе не потому, что о других явлениях жизни не

пишут повеллисты США. И не потому, что редакции многих периодических изданий и антологий, публикуемых в Америке, проявляют склонность обходить некоторые мрачные сюжеты, хотя и это водится за некоторыми издателями и составителями. Просто Издательство не ставило своей задачей «охват» действительности во всех ее проявлениях.

И все же внимательный глаз без труда видит, что в сборнике нет буквально ни одного рассказа, который не добавил бы чего-то — и нередко это «что-то» очень существенно — к общей картине духовной жизни и повседневного существования наших американских современников. Пусть эта картина осязается в сознании читателей как бы незавершенной и даже рваной. Так или иначе, здесь сказывается одно из преимуществ той совокупности свидетельств, какой не найдешь, пожалуй, ни в одном самом гухлом романе. Прочитанное будит мысль, помогает глубже заглянуть в тот внутренний мир человека, который ощутимо влияет и на ход общественного развития, на жизнь в ее сложности, какой она представляется не из-за океана, а самим американцам.

Каким американцам? — вправе спросить читатель. Кто эти люди, взявшиеся поведать о духовном мире своего современника?

Некоторые из представленных в сборнике авторов — такие, как Уильям Сароян, Ленгстон Хьюз, Альберт Мальц, Ирвин Шоу, Рэй Брэдбери, Дж. Сэллинджер — давно знакомы нашим читателям и по рассказам, и по произведениям иных жанров, публиковавшимся на русском языке.

В последнее время в наших газетах не раз мелькало имя стремительно выходящего в первые ряды американских прозаиков писателя-негра Джеймса Болдуина. Ему еще нет сорока. Но уже по тому сравнительно немногому, что им опубликовано в США, можно смело сказать, что это человек большой одаренности, незаурядных творческих возможностей. Выходец из Гарлема, он знает жизнь американских негров изнутри, глубоко проникает в психологию своего народа. Вся общественная и литературная деятельность Болдуина направлена на борьбу за равноправие, за человеческое достоинство негров в американском обществе. С появлением этого художника в негр-тянской литературе современной Америки обозначились

новые тенденции. Нашим читателям известно немало книг о преследованиях негров, о чудовищных расправах над ними, о их бедственном существовании в стране «неограниченных возможностей». Многие произведения негритянских авторов с большой силой воспроизводили эти уродливые, вопиющие явления в жизни Америки. Многие еще, несомненно, будет сказано об этом и в творчестве самого Джеймса Болдуна и его товарищей по перу. Но то, что особенно характерно для Болдуна, в известной мере характеризует и новые тенденции в развитии негритянской прозы вообще.

Но уходя от проблем расового неравенства, наиболее тонкие художники начинают все чаще выходить из замкнутого круга явлений, лежащих, так сказать, на поверхности. Представленный в книге рассказ «Выйди из пустыни» только отчасти показывает то направление, в котором, по-видимому, пойдет развитие негритянской темы в прозе США. В этом рассказе раскрыта душевная коллизия молодой негритянки, внешне, казалось бы, сравнительно благополучно устроенной, имеющей постоянную работу и даже перспективу продвижения по служебной лестнице. Автор хочет показать ее внутренний мир, мир, по существу мало чем отличающийся от душевного мира любой другой американки и все же непрерывно травмируемый сознанием общественной неполноценности, под гнетом которого живут даже самые «благополучные» негры в Америке. Джеймс Болдун как бы показывает: перед вами обычная женская судьба, понятные всем душевные переживания героини, женщины, способной на тонкие и глубокие чувства, но ни на одну минуту своего существования не имеющей права забыть про цвет своей кожи, права мечтать о простом человеческом счастье с любимым человеком, только потому, что он — белый. а опа... В новеллистике Дж. Болдуна есть и другие интересные рассказы. Более полное знакомство с творчеством этого художника еще ждет русских читателей. Но этот рассказ как бы вводит их в круг тех американских писателей, которые близки нам гуманстичностью и страстностью своей любви к человеку, защиты его человеческого достоинства.

В условиях общества, в котором вырос и формировался Болдун, как, впрочем, и все остальные авторы сборника, защита человеческого достоинства, гуманизм

в отношении к человеку не могут не вызывать в художнике потребности в активном отрицании определенных явлений, присущих этому обществу и в то же время мешающих жизни, счастью, а порой и самому существованию человеческой личности. «Я люблю Америку больше какой-либо другой страны на свете, — писал Джеймс Болдуин в 1955 году в остро публицистической работе «Заметки сына Америки», — и именно в силу этого я настаиваю на своем праве постоянно подвергать ее критике». Как, несомненно, увидел читатель, критические интонации звучат во многих рассказах книжки. Если бы Издательство располагало при составлении сборника более широким кругом периодических изданий, отдельных антологий и сборников, эта критическая струя обозначилась бы еще явственнее.

При многих слабостях, присущих американской прозе сегодня, нельзя не подчеркнуть, что в лучших своих проявлениях она честно продолжает те глубоко демократические традиции, которые характерны для всего пути ее развития. Жизнь простого человека, человека «с улицы», постоянно привлекает внимание наблюдательных художников. Это очень заметно и в настоящем сборнике.

Простые и бедные парни-мексиканцы, в складчину справившие себе один «чудесный костюм цвета сливочного мороженого» на шестерых, по очереди выходят пофорсить в нем по вечерам в долгие месяцы безработицы; автора этого рассказа Рэя Брэдбери мы полюбили в свое время за великолепную сатирическую повесть «451 градус по Фаренгейту».

С большим тактом проявляют односельчане-рыбаки свое сочувствие горю отца, потерявшего гордость семьи — старшего сына, который погиб в единоборстве с морской стихией; суровая скупость чувств придает этому рассказу писательницы из Нью-Орлеана, Ширли Энн Грау, «Дом охотника», большую силу.

Переживания двух братьев-подростков, друг за другом покидающих дом отца, владельца сельской лавочки, и уезжающих в город, где их ждет полуголодное существование, но зато возможность учиться, выбиться в «люди», — в них внезапно пробуждается чувство локтя, желание облегчить друг другу самостоятельную жизнь, — составляют психологическую канву рассказа Гордона Вудворда «Уехал в город».

Без нажима, без прикрас передают эти рассказы другие рассказы сборника нелегкие будни жизни и мысли американцев, маленьких людей этой огромной и богатой страны.

Особое место в ряду рассказов о простых людях Америки занимает талантливый рассказ Мэка Кеймана «Столетний юбилей». Несколько фермеров в субботний день преодолевают тяжкий путь по скверным проселочным дорогам, на тряском старом грузовике до близлежащего городка в поисках хоть каких-нибудь свежих впечатлений, непохожих на их повседневную жизнь. Выясняется, что себя они попадают туда в день, когда местные власти отмечают столетний юбилей городка. Мастерски выписывает автор казенность и бездушные юбилейной прощупки события, о котором и не подозревал ни один из героев. На фоне ярко нарисованного «пейзажа сельской жизни» даже это событие представляет собой нечто необычайное ее монотонность. «Все-таки что-то новое». — такой важный лейтмотив рассказа. В нем интересен и остро показан каждый из участников этой «увеселительной прогулки».

Кистью живописца, хорошо знающего жизнь беднейших районов Нью-Йорка, написал рассказ Саймун Джентейна «Мистер Айзекс». Как живая встает перед читателем фигура высохшего, уже вышедшему предельного иному миру старика, в прошлом мастера на фабрике готового платья. Целыми днями сидит он на стуле в грязном дворе многоквартирного дома, не жалея себя, ожидая смерти.

Очень выразительна крохотная зарисовка молодого драматурга Боба ван Скойка «После выписки». Худенькая фигурка мальчугана, уныло плетущегося после возвращения из загородного лагеря, домой, где его ждет такое же безрадостное существование в новой, чуждой ему семье матери, надолго запомнится читателю. Короткая встреча с отцом, которому и жалко по-прежнему сына, но который бессилен ему помочь, написана скучно и ярко.

В обширной монографии о творчестве Сьюэтера Льюиса американский критик Марк Шорер рассказывает о малоизвестной новелле Льюиса, написанной им после завершения работы над романом «Гидеон Плеваш» и опубликованной летом 1943 года в одном американском журнале. Новелла носит полное глубокое прозвище название

«Писать не о ком». Речь идет о даме с претензиями, которая непременно желает заниматься сочинительством. Когда ей дают совет бросить исторический роман, который она тщится написать, и заняться людьми, населяющими ее квартал, она заявляет, что в их незаметной жизни нет решительно ничего заслуживающего внимания и драматичного. «А эти две вороны? Да кроме этого, как его, Эптона Слуклера, который написал «Главную улицу», ну, этого отъявленного сатирика, никто на свете не сумел бы из них чего-либо сотворить». Рассказ кончается тем, что одна из «этих ворон», собственный муж героини, кидается в первый же утренний поезд и удирает от нее навсегда.

Большинство рассказов, вошедших в сборник, привлекает именно тем, что острый глаз их авторов сумел выхватить из повседневной — вполне, казалось бы, заурядной — жизни городского квартала нечто такое, что помогает им воссоздать будни жизни во всей их превратности и драматизме.

В отличие от полных казенного оптимизма «историй», которые изготавливают ремесленники пера для нарядных, рассчитанных на массового потребителя «мэгэзис» с аляповатыми картинками на обложках и ходульными «героями», настоящая проза современной Америки не улыбочива, почти лишена радостей жизни, непосредственности человеческого счастья. Литературная критика Соединенных Штатов не раз привлекала к этому внимание писателей, не раз призывала почаще улыбаться читателю. Однако правда искусства не терпит наведения глянца на жизнь. Американская печать не раз бросала писателям-реалистам США упреки в неправомерном сгущении красок. Излюбленный тезис таких «патриотов» сводится к тому, что, мол, времена «Гроздьев гнева» с миллионной армией безработных, бездомных американцев, скитающихся по дорогам Америки в поисках самого грошового заработка, давным-давно миновали и что американский капитализм вступил в новую, «пародную» фазу своего развития, песущую благосостояние всем слоям населения. Вряд ли уместно здесь вступать в серьезную полемику с проповедниками такого рода утверждений. Но нельзя в то же время не сослаться хотя бы вскользь на очень трезвые суждения самих же американцев, решительным образом опровергающих миф о всеобщем благосостоянии амери-

канского народа. Таких суждений можно было бы привести множество. Ограничимся одной только ссылкой на весьма примечательную книгу американского журналиста Майкла Харрингтона «Другая Америка», вышедшую в прошлом году в США и недавно переведенную в Советском Союзе. Приведя на двухстах с лишним страницах поразительное обилие статистических данных, человеческих документов и фактов, взятых из самой жизни американцев, в заключение книги автор, предвидя возможные обвинения в искажении картины, пишет:

«Если в своей оценке я несколько сгустил краски, то сделал это померенно. Моя совесть возмущена. Существующая нищета настолько очевидна и настолько потрясающа, что при ее описании лучше сгустить краски, чем преуменьшить ее подлинные размеры. Пессимизм при оценке положения никому не повредит; неоправданный же оптимизм может привести к самодовольству, к тому, что Другая Америка будет по-прежнему существовать...» (стр. 195 русского издания, ИЛ, 1963).

И мы и американцы помним речь злодейски убитого президента США Кеннеди в январе 1961 года, при вступлении в должность. Торжественность момента не помешала ему привести ряд фактов, свидетельствующих о серьезности тех социальных недугов, которые коренятся в американском обществе сегодня.

Внимательный читатель, несомненно, подметил, что при всем разнообразии сюжетов значительная часть рассказов оставляет тягостное ощущение человеческой неустроенности, неодолимого чувства одиночества и равнодушия, которым окружен человек. Даже самые лирические, самые теплые новеллы, которые рассыпаны по сборнику, и те овеяны дымкой грусти, предчувствием какой-то беды и все тем же одиночеством, подкарауливающим человека за углом после мимолетной надежды на то, что жизнь вот-вот подарит ему лучик света и радости.

Такова новелла Саноры Бэбб «Санта-ана», написанная в манере хемпингуэвской прозы, с недосказанностью в лаконичном диалоге, с подтекстом душевных движений, в которых человек боится признаться даже самому себе, с мучительным нарастанием эмоционального напряжения, ведущего в никуда...

Такова пзыцная и по-хорошему простая новелла Хельги Сэндберг «Птица-ведьма», полная бесхитростной нежности героя к издавна желанной ему дочке знакомого фермера с далекого хуторка, заброшенного высоко в горы, и печальной и чистой тревоги за ее будущее, когда он узнает о помолвке девушки.

В основе многих рассказов сборника — высокое чувство человеческого достоинства, присущее простому труженнику во всем мире. И то, что такие разные писатели, присматривающиеся к жизни таких разных по возрасту, по национальности, по профессии людей Америки, каждый по-своему говорит о достоинстве, об этой великодушной черте человеческого характера, — очень ясное и неоспоримо убедительное свидетельство того, что именно так — в жизни. Припомните рассказ Прентис Комбс «Дичок»; это рассказ о высоких чувствах, и вместе с тем он удивительно бесхитростен и прост.

А сколько благородного презрения к толстосумам, воображающим, будто деньги открывают им любые пути, делают легко осуществимой любую прихоть, в рассказе Поля Дарси Болза «Чудесная колесница». Какая неодолимая пропасть взаимного непонимания между простым содержанием крохотной лавчонки в пзлюбленном туристами уголке и преуспевающими богачами. Чтение рассказа невольно воспроизводит в памяти заключительные кадры фильма «Старик и море», когда надменные бездельники, нахлынувшие в поисках сильных ощущений в рыбацкий поселок на берегу океана, с усмешкой и любопытством разглядывают жалкий остов стариковской добычи.

Чрезвычайно ярко звучит в сборнике мотив пресловутых американских контрастов. Наряду с трудной, порою невыносимо трудной жизнью людей, не теряющих при этом подлинно человеческой красоты, гордости, чувства товарищества, перед читателем проходят и совсем иные персонажи, иные жизненные коллизии. Парадная, преуспевающая Америка тоже нашла свое место на страницах сборника. Читатель насчитает немало персонажей, перед которыми не встает вопрос о средствах к существованию. Они получают от жизни, казалось бы, сполна. Но счастлив ли хоть один из них? Писателям, которые изо дня в день наблюдают жизнь этих кругов американского общества, недалеко ходить за ответом. И Джон Чивер

(«Треволнения Марси Флипта»), и Ирвин Шоу («Три месяца»), и Джин Стаффорд («По образу и подобию») уже не новички в американской литературе. В галерее созданных ими литературных персонажей есть также, которые заняли прочное место в памяти читателей. Наряду с ними в сознании читателя останется и домохозяйка из буржуазного предместья, этого символа обывательщины, невежественной игры в культуру-трегерство, Марси Флипт, которая изо всех сил тщится сохранить respectableное спокойствие в дни, когда рушится ее семейное благополучие; и ее муж Чарльз, сбежавший было от постыдного ему уклада жизни, но ясно понимающий, что рано еще поздно он вернется, что никогда ему не вырваться из этого замкнутого мирка. Они запомнятся читателем как люди глубоко несчастные, бессильные противостоять тем мещанским устоям косности и невежества, которые с безжалостной неумолимостью довлеют над ними.

Три месяца из жизни Констанс, единственной дочери весьма respectableного отца, по воле родителей покинувшей дом и жениха для того, чтобы по возвращении лишь выйти замуж, либо отказать Марку, оказывается невыносимым для этого брака. Счастье подстерегает Констанс не всем с другой стороны, она узнала его в Берне, но оно промелькнуло, как короткий сон, и кончилось трагической и нелепой гибелью человека, который принес ей это недолгое счастье. Констанс сломлена утратой. Но теперь она уже не та и не могла бы мириться с судьбой, которая до пережитого вдали от дома казалась ей весьма ответственней. А впереди что? Никакого прозрения, ни какой надежды. Таков интересный психологический этюд Ирвин Шоу, автора пьес, известных у нас еще с 1930-х годов.

Незамысловато-анекдотический этюд — весьма яркое вторжение в дом упрежденного на покой профессора одним из его давних корреспондентов и издавна его приглашенного гостя — лег в основу рассказа известной писательницы Джин Стаффорд «По образу и подобию». Он так и остался умело рассказанным анекдотом и в то же время привнес в сборник еще одну сторону человеческого существования, очень типичную для определенных слоев «respectableного» буржуазного общества сороковых годов.

Опустошенность и бессилие человеческих душ, разочарованных пресыщенной жизнью американского общества, ярко показаны в рассказе Эвана С. Коннора «Мороз».

гости». Символическое противопоставление преуспевающим богачам, ничтожным, скучающим и мелким личностям затравленной, закованной в цепи, обреченной, но величавой в своей гордости и силе птицы кондора, составляет, пожалуй, самые значительные страницы сборника. Автор — молодой еще прозаик из Сан-Франциско, вступивший в литературу в конце 1950-х годов, — несомненно, обладает незаурядным талантом сатирика. Надо надеяться, что он развернет свое дарование в последующих произведениях.

Очень любопытное отражение получила в сборнике еще одна тема, ярко характеризующая состояние культуры в сегодняшней Америке. Из множества публицистических статей и книг на тему о положении искусства у каждого, кто когда-либо проявлял к этому интерес, издавна сложилось впечатление, что американцы глубоко встревожены его судьбой, его будущим. Не получая государственной поддержки, не имея больших творческих объединений, которые могли бы оказывать ему постоянную помощь, оно существует либо на чистом энтузиазме отдельных художников, либо на субсидии и пожертвования меценатов и частных благотворительных фондов. Пресловутая «свобода творчества», о которой с таким рвением разглагольствуют американские журналисты и «знатоки искусств», приобретает при этом формы столь причудливо-уродливые, извращенные, что диву даешься, как можно произносить эти слова всерьез.

В сборнике нет никаких высоких фраз о свободе искусства. Прямо этой проблеме не посвящено даже ни одного рассказа. Но прочтите превосходно написанный и пронзанный глубокой иронией рассказ Дж. Сэллинджера «Голубой период де Домье-Смита», само название которого немедленно настраивает нас на иронический лад, и вас потрясет тот накал негодования, которое продиктовало писателю это страстное обличение шарлатанства на ниве искусства, шарлатанства, процветающего под пышными фразами о свободе. Люди, в руки которых попадают самородки из народа, подлинно талантливые повички, — жалкие, ничтожные люди, делающие на искусстве свой низкий бизнес. Примерно о том же и другой рассказ сборника — «Череп с соей» Джорджа Брэдшоу. Предельный цинизм торгашей, монополизировавших распространение работ всемирно известных художников и ловко извлекаю-

щих выгоду из самых трагических обстоятельств, показан в рассказе очень убедительно. Но если «герои» Брэдшоу остаются в сознании читателя жалкими единицами, то под талантливым пером Сэлинджера вырастает нечто очень страшное силой обобщения, присущей произведениям только настоящих мастеров.

Как и в большинстве известных нам произведений Сэлинджера, герой рассказа — мятущийся одинок, мучительно ищущий выхода своим перестраченным возможностям и на каждом шагу наталкивающийся на неодолимые, неумолимо жестокие препятствия, воздвигнутые на пути человека. Такова одна линия рассказа. Другая же подсказана чувством глухой ярости против тех церковных, светских и иных условностей, которые душат ростки настоящего искусства, пробивающиеся из глубин жизни, несмотря на препятствия и вопреки им. Тем, кто следит за литературной печатью США последнего времени, заметно, как нарастает среди определенной части американской критики раздражение против Дж. Сэлинджера, против тех слоев американской молодежи, в среде которых произведения писателя вызывают наиболее живой отклик. Находящая все более ясное выражение тенденциозность его произведений не по душе тем, кто так боится ущерба, который может нанести престижу Соединенных Штатов в мире подлинная правда искусства.

При чтении этого сильного, талантливого рассказа вспоминаются строки из размышлений Эдгара Аллана По над искусством рассказа: «...Во всей композиции не должно быть ни одного слова, которое прямо или косвенно не служило бы тенденции изначального замысла автора. Только такими средствами, только таким тщанием и умением он наконец сможет создать картину, которая вызовет в сознании созерцающего ее... чувство полнейшего удовлетворения».

Не опасаясь впасть в преувеличение, хотелось бы подчеркнуть, что все написанное до сих пор Сэлинджером таит в себе то более, то менее заметные следы полемики, внутреннего протеста против попыток замолчать, залакировать те глубоко трагические явления в американском обществе, которые лишают многих его соотечественников самого простого человеческого покоя и счастья. В этом смысле он достойно продолжает пафосные всемирные признания честные, демократические тенденции лучших

образцов американской прозы. Трагедия такого художника в наши дни в том, что суженное видение мира, полное душевное бессилие перед бедствиями, испытываемыми близкими ему по образу жизни людьми, мешают ему увидеть пути, которыми он сам и его герои могли бы вырваться из тягостно узкого кольца этих бедствий, обрести в себе силы для преодоления прочно укоренившегося в душе чувства обреченности. Ему не хватает того, о чем так хорошо сказал в авторском предисловии к своему последнему публицистическому сборнику «Остаемся здесь» известный американский прозаик Джон Херсп: «...у человека есть и воля и сила пережить и, пережив, — обновить и перестроить». Эти слова звучат как прямой ответ на размышления героя сэлинджеровского рассказа, только что прочитанного читателем нашего сборника: «После обеда я вышел из «Les Amis» и куда-то пошел, может быть, в кино, может быть, просто побродить — что было в тот вечер, я не помню, а в моем дневнике... нужная мне страница совершенно пуста. Впрочем, я знаю, почему эта страница пуста. Возвращаясь откуда-то, где я провел вечер, — я хорошо помню, что было уже совсем темно, — я остановился возле школы на тротуаре и заглянул в освещенную витрину магазина ортопедических принадлежностей. И тут произошло то страшное и непонятное, чего я не могу забыть до сих пор. Меня оглушила мысль, что как бы спокойно, благоразумно и изящно я ни научился жить в будущем, я навсегда останусь в лучшем случае всего лишь гостем в саду из эмалированных писсуаров и ночных горшков, где над всем возвышается слепое деревянное божество — манекен в уцененном бандаже против грижи...»

Это раздумье Сэлинджера имеет в рассказе свое продолжение, и продолжение это многозначительно для возможного развития всего творчества этого даровитого художника. Описывая последующие дни своего героя, автор заставляет его пережить еще несколько не менее странных минут, о которых он говорит как о чем-то «совершенно необъяснимом», «непостижимом». Еще раз проходя мимо той же витрины, он видит «крепкую здоровую девушку лет тридцати», меняющую бандаж на деревянном манекене. «Внезапно взошло солнце... и устремилось к моей переносице со скоростью девяноста трех миллионов миль в секунду. Ослепленный и крайне напуганный, я

вынужден был опереться о стекло витрины, чтобы устоять на ногах. Все вместе это длилось не более нескольких секунд. Когда ко мне вернулось зрение, девушки уже не было, а в витрине сверкало лишь дважды благословенное поле изысканных эмалированных цветов. Я отшатнулся от окна и дважды обошел вокруг квартала, пока не перестали дрожать колени. Потом, не смея еще раз взглянуть на витрину, я поднялся к себе в комнату и лег...»

Взволнованная символка этих строк красноречлива. Она свидетельствует о том, какие серьезные процессы происходят в сознании американских писателей сегодня, как глубоко не удовлетворены они состоянием своего национального искусства и как все чаще начинают задумываться над собственным восприятием жизни.

Наряду с писателями наиболее вдумчивые из литературных критиков проявляют все более глубокое беспокойство по поводу отдельных литературных судеб и по поводу все яснее вырисовывающегося облика литературного героя в нынешней прозе США. Интересно в этом смысле вчитаться в начальные строки рецензии, появившейся летом 1960 года в «Гудзон ревью» в связи с выходом сборника рассказов интересного и одаренного прозаика Герберта Голда. Строки эти содержат в себе попытку к некоторому обобщению процессов, обозначившихся, по мнению автора, в литературе США.

«Главной пружиной большинства прозаических произведений американских писателей является розоволицый, ясноглазый юноша с покрытыми пушком щеками и таким же неоперившимся сознанием, в противовес природной жизнерадостности которого жизнь приготовила цепкие когти непонятных ему символов. Когда он уже достаточно потрепан и очерствел душой, поближе к зрелости, смятение сменяется способностью к внезапным падениям: мало-помалу все завлакивается мрачным чувством самоотвращения. В этом общем виде такой шаблон применим в одинаковой мере как к создателям американской прозы, так и к ее героям. В то время как американский герой низвергается в драматические бездны пьянства, наркомании и самоубийств, его создатель чаще всего падает в объятия телевидения или Голливуда и перестает создавать, не переставая двигать пером по бумаге...»

Если бы встать на точку зрения критика Р. М. Адамса, автора этих мрачных обобщений, вряд ли стоило бы рас-

шпрять круг знакомств наших читателей и предпринимать издание серии сборников американского рассказа. Пристальное наблюдение за развитием литературы в США, за появлением в последние годы ряда интересных и обещающих имен и произведений решительно опровергает, однако, достоверность подобных обобщений, хотя они отнюдь не бесполезны: в несколько гипертрофированном виде они сигнализируют о бедствиях, которые угрожают искусству там, где оно попадает в руки циников, невежд или хладнокровных дельцов, наживающихся состоянии на стандартизированном, подрумяненном и подлакированном подобии искусства или даже на грубых фальшивках, если подвергается возможность сбыть их неразборчивым обывателям.

Поэтому было бы просто несправедливым осуждать критиков, подобных Адамсу, — субъективно они и честны и по-своему смелы. Им можно только посочувствовать, потому что собственная узость взглядов мешает им разглядеть ростки нового, упорно пробивающиеся в американской литературе и несущие в себе заряд завтрашних ее побед и достижений. Эти ростки возникают порою там, где их меньше всего ждешь, и на первых порах они особенно нуждаются в бережном внимании и помощи. Бездушные законы современного общества во многих частях человеческого мира грозят затоптать эти ростки, если они не успели окрепнуть и пустить достаточно глубокие и прочные корни.

Думается, сборник, о котором сейчас идет речь, привлечет внимание советских читателей к некоторым очень обнадеживающим тенденциям в развитии американской новеллы. В этом — его главная ценность. Усилия Издательства в направлении дальнейших поисков в сфере американского рассказа могут принести еще более зрелые плоды.

Е. Л. Романова

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| От Издательства | 5 |
| Джеймс Болдуин. Выйди из пустыни. <i>Перевод Т. Шинкарь</i> | 7 |
| Поль Дарси Болз. Чудесная колесница. <i>Перевод Н. Куперджи</i> | 34 |
| Рэй Брэдбери. Чудесный костюм цвета сливочного мороженого. <i>Перевод Т. Шинкарь</i> | 43 |
| Джордж Брэдшоу. «Череп с соевой». <i>Перевод В. Мачавариани</i> | 74 |
| Сапора Бэбб. Санта-ана. <i>Перевод П. Флакман</i> | 83 |
| Гордон Вудворд. Уехал в город. <i>Перевод А. Любовцова</i> | 100 |
| Ширли Эйн Грау. Дом охотника. <i>Перевод П. Знаменской</i> | 115 |
| Уильям Истлейк. Еще увидимся, Крокодил. <i>Перевод Ю. Петровой</i> | 130 |
| Прентис Комбс. Дичок. <i>Перевод О. Волкова</i> | 142 |
| Эван С. Коннел Младший. Кондор в гостях. <i>Перевод Ю. Петровой</i> | 159 |
| Джон Лэнгдон. Спный габардиновый костюм. <i>Перевод Н. Ветшиной</i> | 167 |
| Фрад Макморроу. Я сумею себя оградить. <i>Перевод В. Бельчук</i> | 183 |
| Альберт Мальц. Картины. <i>Перевод Н. Кулаковской</i> | 192 |
| Роби Маколи. Легенда о двух пловцах. <i>Перевод Г. Коблова</i> | 209 |
| Уильям Сароян. Во имя любви к Дззи. <i>Перевод Н. Видуэцкой</i> | 234 |
| Хоберт Скидмор. О моя возлюбленная Керолайн! <i>Перевод О. Волкова</i> | 244 |
| Боб ван Скойк. После капикул. <i>Перевод В. Тельми</i> | 261 |
| Джин Стафффорд. По образу и подобию. <i>Перевод Е. Гальперина</i> | 265 |
| Дж. Д. Сэлинджер. Голубой период де Домье-Смпта. <i>Перевод Ю. Жуковой</i> | 292 |
| Хельга Сэндберг. Птица-ведьма. <i>Перевод И. Эпштейн</i> | 322 |
| Мак Хаймен. Столетний юбилей. <i>Перевод В. Бельчук</i> | 339 |
| Ленгстон Хьюз. Тост в честь Гарлема. <i>Перевод Т. Шинкарь</i> | 366 |
| Джон Чпвер. Треволнения Марси Флпнт. <i>Перевод Ю. Осноса</i> | 370 |
| Ирвин Шоу. Три месяца. <i>Перевод Ю. Жуковой</i> | 388 |
| Стэйли Эллин. День судьбы. <i>Перевод П. Дановского</i> | 416 |
| Сеймур Эпштейн. Мистер Айзекс. <i>Перевод О. Базовской</i> | 436 |
| Послесловие | 446 |

**СОВРЕМЕННАЯ
АМЕРИКАНСКАЯ
НОВЕЛЛА**

Редактор *Н. Н. Кристалльная*
Художник *А. Ф. Корнак*
Художественный редактор *В. Я. Быкова*
Технический редактор *А. В. Грушин*

Сдано в производство 10/VII 1963 г.
Подписано к печати 12/XI 1963 г.
Бумага 84×108¹/₃₂ = 7,3 бум. л.
23,8 печ. л.
Уч.-пад. л. 24,6. Изд. № 12/1044
Цена 1 р. 38 к. Зак. 1539

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УЦБ и ПП Ленсовнархоза
Ленинград, Измайловский пр., 29

БИБЛИОТЕКА КНИМ

Инв. № 69023

1963 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ

Аурднасон Йонас. Рассказы (название условное). Сборник, перевод с исландского, 6 изд. л., цена 30 коп.

В книге собраны лучшие произведения исландского во-веллпста, созданные в последние годы. Это живописные картинки из жизни современной Исландии, то грустные, то забавные, то резко сатирические. Герои их — простые, рядовые люди, которые страдают от социальной несправедливости, царящей в буржуазном обществе.

Моравиа Альберто. Дом, где совершено преступление. Сборник рассказов, перевод с итальянского, 20 изд. л., цена в переплете 1 р. 15 к.

В сборнике представлено творчество Моравиа — новеллиста во всем его идейно-тематическом и художественном многообразии. Тут и большие психологические рассказы о любви, ревности, о подлинно человеческих чувствах, которым нет места в бездушном мещанском мире («Английский офицер», «Одиночество»), и короткие остросюжетные новеллы о попытках «маленького человека» найти свое счастье и вырваться из тисков повседневных тягот, которые подчас толкают его на путь преступления («Прощай, предместье», «Атлантида», «Индеец»), и злободневные рассказы, направленные своим острием против войны и фашизма («Эпидемия», «Безнадежная война»).

В публикуемых новеллах Моравиа мы встречаемся с представителями самых различных слоев общества: шоферами, мелкими торговцами, представителями богемы, интеллигентами, промышленниками, богатыми и знатными буржуа.

Написаны они ярко, увлекательно.

Пеннанен Эйла. Вдвоем. Сборник новелл. Хельсинки, 1961, перевод с финского, 7 изд. л., цена 35 коп.

Эйла Пеннапеп — одна из известных представительниц молодого поколения в литературе Финляндии, мастер короткого рассказа. Ее новеллы отличаются лаконичностью и